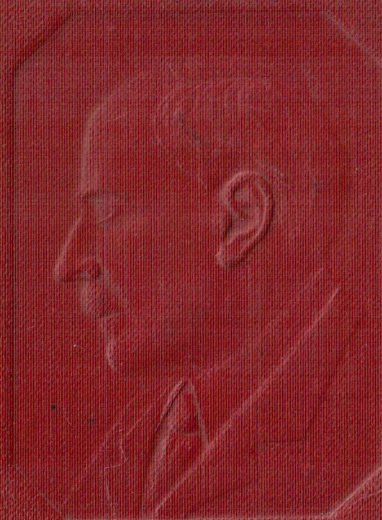
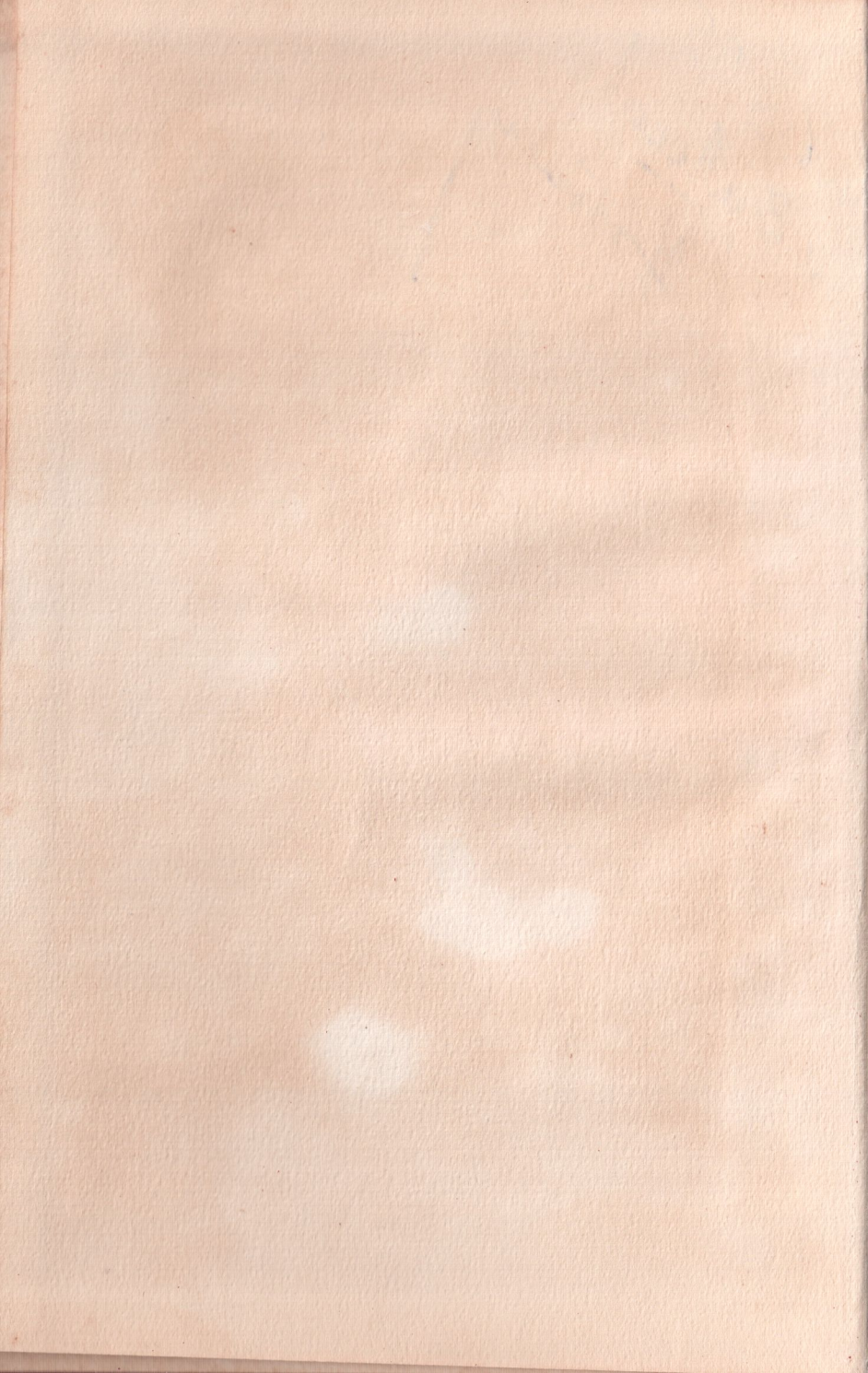


РОМѢН
РОЛАН



РОМѢН
РОЛАН

1



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

РОМЕН РОЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1954

РОМЕН РОЛЛАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ДРАМЫ РЕВОЛЮЦИИ



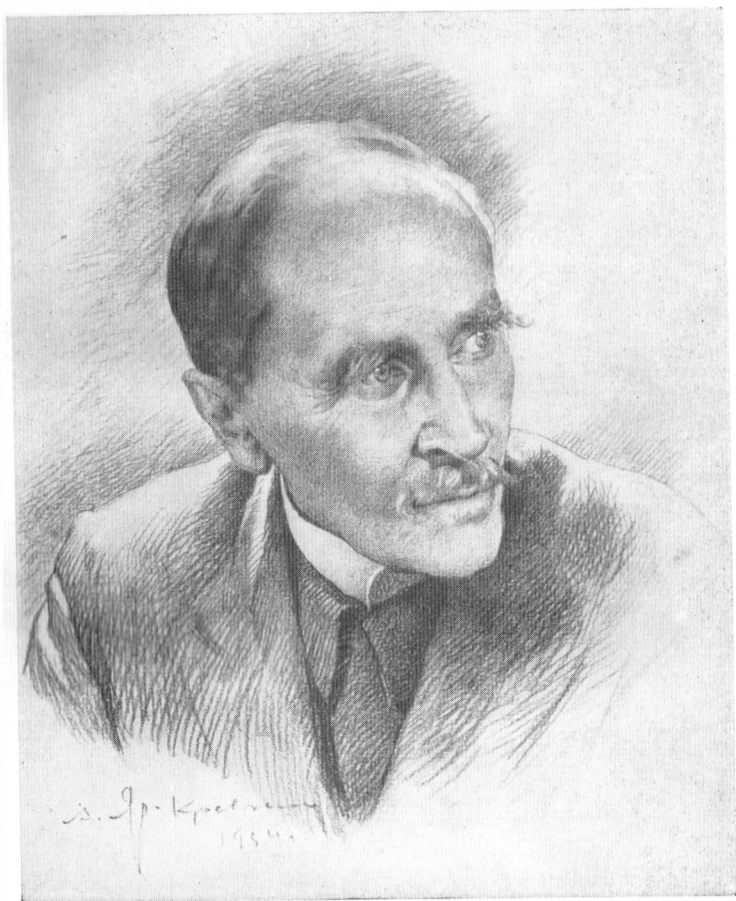
ВАЛЬМИ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1954

Собрание сочинений
осуществляется под общей редакцией
И. АНИСИМОВА

Переводы с французского
под редакцией
Б. ПЕСИСА



РОМЕН РОЛЛАН

(1866—1944)

I

Ромен Роллан вступил в литературу в самом конце XIX столетия. По известному определению В. И. Ленина, это была «эпоха полного господства и упадка буржуазии, эпоха перехода от прогрессивной буржуазии к реакционному и реакционнейшему финансовому капиталу». Но вместе с тем «это — эпоха подготовки и медленного собирания сил новым классом, современной демократией»¹. Творчество Роллана замечательно отразило это чреватое близкими потрясениями состояние общества.

Молодой Роллан был глубоко встревожен положением современного искусства. Он ясно видел, что буржуазная цивилизация зашла в тупик. С первых же шагов молодой писатель «решительно порывает со всеми условностями, установившимися во французской литературе». Он бросает вызов декадентшине и прикрашиванию действительности. Он ставит своей задачей смелое, мужественное и последовательное новаторство.

Борьба за новое искусство, начатая Ролланом, приобрела особое значение благодаря тому, что она далеко выходила за пределы эстетического протеста.

Роллан был пробужден к творчеству общественным движением, всколыхнувшим всю Францию в конце XIX столетия. Это было

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 126.

так называемое «дело Дрейфуса», которое обнажило противоречия капиталистического общества и послужило поводом к тому, чтобы накопившееся недовольство проявилось открыто. «Дело Дрейфуса» было, как пишет В. И. Ленин, выступлением «грубой военщины, способной на всякую дикость, варварство, насилие, преступление...»¹ Оно показало «ту правду, которую тщетно пытается скрыть буржуазия, именно, что в самых демократических республиках на деле господствуют террор и диктатура буржуазии, проявляющиеся открыто всякий раз, когда эксплуататорам начинает казаться, что власть капитала колеблется»². В годы «дела Дрейфуса» Франция была близка к состоянию гражданской войны.

Вот в каком бурном социальном конфликте берут свои истоки первые художественные замыслы Роллана. Но этим дело не ограничивается. Многое из того, что принадлежит еще отдаленному будущему, подобно замыслу «Жан-Кристофа», зарождается в сознании художника в этот исходный момент.

Исследователь творчества Роллана с изумлением останавливается перед картиной стремительного взлета. «Я бурлил произведениями», — пишет Роллан в своих воспоминаниях.

Дневники Роллана, очень подробно освещающие этот этап его жизни, убедительно свидетельствуют о том, что социальные потрясения конца 90-х годов оказали глубочайшее воздействие на основные произведения Роллана.

Стремление дать ответ на жизненные вопросы своего времени определяет самые характерные черты роллановского творчества: отсюда монументальность его произведений, в основе которых всегда лежат общественные конфликты крупного масштаба, отсюда прекрасный, возвышенный пафос и сочетание его с гневной сатирой, отражавшей нарастание общественного недовольства.

В эти годы молодой профессор истории искусств и истории музыки, перед которым открывалась блестящая карьера, проявляет напряженный интерес к социалистическому движению. «Социалистические идеи просачиваются в меня вопреки моей воле, вопреки моим интересам, вопреки моему отвращению к этим идеям, вопреки моему эгоизму. Я не хочу думать о них, а они все-таки каждый день проникают в мое сердце...» — пишет Роллан в дневнике за май 1895 года, чутко улавливая настроение, которое в те годы было широко распространено среди передовой интеллигенции, когда

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 464.

² Там же, т. 28, стр. 439.

Эмиль Золя, Анатоль Франс и другие писатели приходят в лагерь социализма.

«По мере того как я проникаюсь истинами социализма, беспредельная радость овладевает мною. Я чувствую, как передо мною открывается бесконечная жизнь... Я никогда еще не видел такого света...»

Роллан прямо связывает свои творческие замыслы с идеей обновления искусства при помощи социализма. «Если есть какая-нибудь надежда избежать гибели, которая угрожает современной Европе, ее обществу, ее искусству, то надежда эта заключается в социализме. Только в нем усматриваю я начало жизни... В течение ближайших ста лет Европа будет социалистической, или она перестанет существовать».

Благодаря вере в социализм отвращение к буржуазному обществу и его «выдохшейся цивилизации» не носит у Роллана пессимистического характера. В свете новой открывшейся перед ним перспективы он рассуждает о своем писательском предназначении: «Быть может, социализм станет для меня хлебом насущным, в котором так нуждается мой дух... Я хочу работать изо всех сил над возрождением искусства, которое вместе с Гедом я вижу в свете нового идеала. Буржуазное искусство поражено старческой инфантильностью, а это — конец его развития. До сих пор я считал, что искусство обречено на гибель. Нет, угаснет одно искусство и возгорится другое. Я хочу показать в очерке о социалистическом искусстве предстоящее обновление сюжетов и действующих лиц, гармоническое здоровье, мужественное право нового искусства на существование» (Дневник, сентябрь 1895 года).

Правда, понимание социализма у Роллана отличается крайним своеобразием. Он был «социалистом чувства», совершенно неспособным разобраться в борьбе течений в социалистическом движении. Он принимает некоторое участие в работе социалистической партии, но теорию социализма считает делом второстепенным. В эти годы он еще совершенно не знаком с марксизмом и убеждения свои определяет следующей формулой: «индивидуалистический социализм». Полагая, что «политическое действие» не может принести ему какое-либо удовлетворение, Роллан подчеркивал, что его творческая деятельность представляет собою «протест одиночки». Таким образом, уже в самом начале писательского пути Роллан наталкивается на внутреннее противоречие: «Я начинаю чувствовать, что столь любезный моему сердцу индивидуализм, на основе которого я создавал свою жизнь и своих героев, был одним из тех «теплых башлыков»,

против которых предостерегал меня Толстой и которые не позволяют видеть истину. Это предрассудок целой эпохи...» (Дневник, сентябрь 1895 года).

Все первые замыслы Роллана были связаны с французской историей, и все они имели драматургический характер, поскольку Роллан в те годы считал, что театр предоставляет наилучшую возможность непосредственно воздействовать на массы. Среди этих замыслов лишь постепенно кристаллизуется замысел драм из эпохи Французской революции. Первоначально Роллан мечтает об охвате более широкого исторического пространства. В частности, он предполагал написать «Генриха IV», а также драму о Парижской коммуне. Намерения эти остались неосуществленными.

Почему Роллан обращается к истории, хотя его замыслы были вызваны к жизни весьма современными соображениями?

Он разъясняет это сам. Поставив перед собою задачу «написать ряд художественных произведений, которые явились бы решительным вмешательством в великую борьбу против лицемерия, чудовищной тирании старого мира, против моральных и социальных суеверий», он почувствовал, что у него не хватает современного материала для создания положительных героев того масштаба, который увлекал его. Он был переполнен отвращением к «кладбищам души», которые он находил в реакционной писанине Барреса («какая-то помесь комедианта, мыслителя, убийцы и садиста»). В поисках мощной антитезы его взор обращался к прошлому, стремясь обнаружить там героическое и великое, чего так не хватает современной эпохе упадка и без чего Роллан не мыслит себе подлинного искусства.

«У меня не будет недостатка в героях. Где найти более возвышенных героев, как не среди великих европейских революционеров, повсюду преследуемых, гонимых, разбитых, неукротимых! Сколько жертв, кажущихся напрасными!.. Нет, они не напрасны, ибо из их крови возникнет новый мир и, как его порождение, — новое искусство!» (Дневник, сентябрь 1895 года).

Постепенно этот поистине грандиозный замысел, включавший и драму о Парижской коммуне (набросок пьесы был сделан в августе 1898 года), превращается в известную концепцию «Театра Революции». Позднее он будет называть этот цикл «Илиадой французского народа».

Первой из пьес о Французской революции была драма «Волки», написанная в 1898 году под непосредственным впечатлением знаменитого выступления Эмиля Золя в защиту Дрейфуса. Автор стремился насытить образы, взятые из исторического прошлого, совре-

менным содержанием, превратив их в «рупоры духа времени». Этот свойственный многим романтикам прием (Роллан в те годы восторженно относился к Шиллеру и во многом следовал ему), конечно, не давал возможности глубоко воссоздать историческую действительность, но пьеса приобрела злободневный характер, и ее первое представление вызвало ожесточенные споры в зрительном зале. Все видели в Телье, в д'Уароне и других действующих лицах пьесы — Пикара, Дрейфуса и всю обстановку раздиравшего Францию конфликта. Страсти разгорелись, хотя автор стремился придать своему произведению отвлеченно-этический характер и ставил своей целью «облагородить столкновения нашего времени». Помимо своего желания, драматург открыто вмешался в политическую схватку, а театральная и литературная критика начала настоящую травлю Роллана, осмелившегося на подобное выступление. Как известно, тогда реакционная печать травила Золя и других передовых писателей. В их строй становится и молодой автор драмы «Волки». Так начиналась литературная деятельность Роллана.

В 1900 году Роллан публикует драму «Дантон», которая поставлена была в конце декабря того же года, причем один из спектаклей был сыгран в пользу бастующих рабочих Севера. Перед началом спектакля выступил с речью Жорес. Среди зрителей был Анатоль Франс. Золя присутствовал на генеральной репетиции.

Буржуазная критика поносит Роллана за «Дантона», так же как она поносила его за драму «Волки».

Важное место в стремительно разраставшемся революционном цикле занимает драма «Четырнадцатое июля» (1901), которую Роллан посвятил «народу Парижа». Он поставил себе задачей сделать народ главным действующим лицом.

Как мы узнаем из «Воспоминаний молодости», Роллан в период работы над этой драмой принял участие в социалистическом конгрессе, который собрался в 1900 году в Париже, в зале Ваграм. Он хотел воочию увидеть массу в политическом действии, массу, одушевленную страстным порывом, массу, становящуюся организован- ным целым.

В драме «Четырнадцатое июля» Роллан вдохновенно показал пробуждение народа, мощь восставшего народа, его несокрушимую энергию. Большие достоинства этой драмы находятся в прямой зависимости от того, что в ней, в качестве важнейшей движущей силы Французской буржуазной революции, представлены низы, народ, плебейство XVIII века. В этой драме гораздо больше шекспировского реалистического начала, чем в «Волках», в «Торжестве

разума», в «Дантоне», хотя и здесь автор, по его собственному признанию, «искал истины моральной больше, чем истины фактической».

Таким образом, у Роллана уже в начале работы над драмами, посвященными Французской революции, был ключ к пониманию исторических событий, которые он хотел воспроизвести. Но, несмотря на это, он в ряде случаев допускает серьезные отступления от исторической правды, неправильно изображая отдельные моменты Французской революции. В частности, он не выносит приговора Жиронде, которая в действительности была попыткой буржуазии остановить и «обуздать» сбросивший иго феодализма французский народ.

Хотя в те годы еще не были известны документы, доказывающие измену Дантона делу революции, все же Роллан, оставаясь верным исторической правде, должен был бы показать Дантона без той возвышенно симпатизирующей окраски, какую он придал ему. Предрассудки абстрактного гуманизма и стремление «поставить лицом к лицу две враждующие идеологии», одинаково возвышаясь над одной и другой (так было и в «Волках»), отдаляли Роллана от правды истории.

В драме «Дантон» народу отведено большое место. Он все время составляет активный фон разворачивающегося действия. Но автор настойчиво подчеркивает только хаотичность стихийных выступлений массы, ее неспособность найти отчетливую форму самоорганизации.

Столь двойственное отношение к народу, огромную силу которого Роллан ощущает всем своим существом, но который вместе с тем остается для него непостижимой загадкой и подчас внушает ему тревогу, будет сказываться и в последующих произведениях Роллана. Это одна из основных проблем его творчества, и разрешение ее откроет перед Ролланом необъятные горизонты.

Наряду с созданием драм, посвященных Французской революции, Роллан вместе с передовыми деятелями французской культуры вынашивал идею учреждения национального Народного театра. По его мысли, этот театр должен был «противопоставить изыскам парижских увеселителей искусство мужественное и мощное, отображающее жизнь великого коллектива — народа и подготовляющее возрождение нации».

Стремясь «создать новое искусство для нового общества», Роллан в ряде статей, которые впоследствии составили его книгу «Народный театр», горячо доказывает, что существуют все возможности для создания такого театра, нужны только энергия, способная пробудить дремлющий энтузиазм масс, и соответствующий репер-

туар, который вдохнул бы живую душу в смелое и прекрасное начинание. Роллан рассматривал свои исторические драмы как первый вклад в репертуар Народного театра, который предстояло создать общими усилиями.

Таким образом, у Роллана были очень широкие замыслы, но они оказались нереальными. Пьесы Роллана не ставились. Общественной поддержки планы устройства Народного театра не встретили. Буржуазная критика издевалась над молодым писателем и над его затеей какого-то небывалого театра. В конце концов Роллан остался наедине со своими разбитыми иллюзиями.

Вот почему начало века было для Роллана периодом глубочайшего разочарования. С негодованием обрушивается он на буржуазное общество, которое душит его творческие дерзания. Он открыто упрекает народ в безучастности к его поискам нового искусства. Признавая, что потерпели крушение его лучшие надежды, которые были «одной из самых чистых, самых священных сил» его молодости, он возлагает упования на отвлеченный «идеал индивидуалистической свободы».

Похоронив и оплавав величественные планы создания Народного театра, сердцем которого был бы героический репертуар из истории Французской революции, Роллан обращается к замыслу своего романа «Жан-Кристоф», который должен был воплотить в себе все то, что ему не удалось воплотить в своих театральных начинаниях.

«После 1900 года пришлось, — как пишет Роллан в «Воспоминаниях молодости», — отвернуться от театра, сохраняя, однако, за собой возможность когда-нибудь предпринять новую вылазку, а пока зарыться, как кроту, в землю, чтобы сквозь тьму подземных ходов прорваться к свету. Кристоф проложил этот путь».

В другом месте тех же «Воспоминаний» Роллан пишет: «Мой Кристоф отомстил за меня ярмарке тщеславия...»

Таким образом, первый роман-эпопея возникает на почве серьезного кризиса, пережитого писателем при столкновении с враждебной действительностью. Это произведение было попыткой найти новый путь и преодолеть ожесточенное сопротивление, которое оказывают подлинному творчеству реакционные силы.

II

С началом нового века совпадает поворот в творчестве Роллана. Полное разочарование в буржуазной демократии, которое Роллан испытал после того, как поднявшееся в годы «дела Дрейфуса»

общественное движение окончилось впустую, улегшись «на перину идейных компромиссов», проявляется с особой силой в его произведениях. Обнажая все убожество «дряблых грез декадентского искусства», он развертывает смелую программу литературы, проникнутой «духом реальности».

В статье 1900 года «Яд идеализма» ярко очерчены задачи, стоявшие, по мнению будущего автора «Жан-Кристофа», перед каждым писателем, который помнит о своем общественном долге. В обстановке, когда уже ясно чувствуется «приближение ужасного морального и социального кризиса, начинающего колебать почву», необходимо, — говорил он, — объявить войну широко распространившемуся «мистическому отупению» и «воспитывать в душах любовь к истине, чувство истины, властную потребность в истине...»

Роллану было ясно, что «все реакционные литературные и политические течения пользовались этим состоянием отупения». В противовес этому он призывал к одухотворенному реализму, к тому, «чтобы, изображая действительность, художник дерзал смотреть ей в лицо». Роллан ставил своею целью «работать для освобождения мира», создавая произведения, которые должны были «прочно стоять на земле» и деятельно «участвовать в земной жизни».

«Истина прежде всего!»

Эта в полном смысле слова программная статья была посвящена «Шарлю Пеги и его «Тетрадам», осуществляющим дело оздоровления общества». С Пеги и его двухнедельным журналом, который начал выходить в 1900 году, тесно связана деятельность Роллана в течение долгих лет. Здесь были напечатаны некоторые его драматические произведения, статьи о Народном театре, биографии Бетховена и Микеланджело, а также весь «Жан-Кристоф». Дружба Роллана с его бывшим учеником в Нормальной школе началась в годы «дела Дрейфуса», и в основе ее лежали симпатии к социализму, от которых Пеги вскоре отказался, и отвращение к обману буржуазной демократии. Пути Роллана и Пеги, сделавшегося наступленным националистом, разошлись еще до начала первой мировой войны. Пеги был убит в эту войну во время сражения на Марне.

Путь, намеченный в статье «Яд идеализма», ведет к тому, что Роллан уже не обращается к истории, а упорно ищет современного героя. Он находит его в образе Жан-Кристофа, чья сложная, большая и патетическая жизнь с такой полнотой раскрывается на страницах одноименного романа.

«Жан-Кристоф» отразил новую для меня эпоху от 1900 до 1914 года», — говорит автор.

Но открытие «героя с чистыми глазами и сердцем» совершается не сразу. Не случайно апопея «Жан-Кристоф» имеет своей прелюдией «Жизнь Бетховена» (1903). Хотя внешнее совпадение исторической биографии Бетховена и некоторых событий жизни Кристофа бросается в глаза, но главное не в этом, а в глубоком внутреннем сходстве с Бетховеном, в преемственности, которая сразу придает образу этого современного героя Роллана необыкновенно крупный масштаб.

Предисловие к этой маленькой книжке стало знаменитым. Оно начинается словами, которые как бы перешли на ее страницы из цитированного выше авторского дневника:

«Вокруг нас душный, спертый воздух. Дряхлая Европа впадает в спячку в этой гнетущей, затхлой атмосфере... Мир погибает, задущенный своим трусливым и подлым эгоизмом. Мир задыхается. Распахнем же окна! Впустим вольный воздух! Пусть нас овеет дыханием героев».

Для того чтобы современный герой мог быть поднят на такую высоту, его образ следовало осветить яркими историческими воспоминаниями. Другого пути Роллан в то время не знал. Подготавливая появление Кристофа полным горечи напоминанием о трагической судьбе Бетховена, автор, конечно, не ставил перед собою задачу историка. Он стремился подчеркнуть в облике Бетховена черты, которые ему особенно импонировали в эти годы, и не намеревался дать полную картину его жизни. Вот почему героические жизнеописания Бетховена и других великих людей (сопоставление с биографиями Плутарха, которое делает и сам автор, имеет очень приблизительный смысл) получают в трактовке Роллана своеобразный оттенок, не всегда и не во всем соответствующий исторической правде.

Эти произведения были «посвящены несчастным», в них запечатлен «крик горя», «крик невероятных страданий братского человечества».

В таком освещении Бетховен и другие великие люди становятся страдальцами, их удел — мученичество и одиночество. Причины этого следует искать скорее в зарождающемся образе Кристофа и в соответствующем умонастроении самого автора, чем в исторической действительности.

В предисловии к «Жизни Бетховена» сказано: «Я называю героями не тех, кто побеждал мыслью или силой. Я называю героями

лишь тех, кто был велик сердцем». В этих словах дается ключ и к образу Бетховена и к образу Кристофа.

Здесь содержится достаточно точная формула своеобразия таких произведений Фоллана, как «Жизни великих людей» (за «Жизнью Бетховена» последовали, как известно, «Жизнь Микеланджело» и «Жизнь Толстого») и современная эпопея — «Жан-Кристоф».

Этот роман, задуманный еще в середине 90-х годов, был начат печатанием в 1904 году. Он развернулся в обширный десяти томный цикл и был закончен в 1912 году. Написанное как бы одним дыханием, огромное произведение, занимающее более двух тысяч страниц, было смелой попыткой создать роман нового типа, проложить новый путь для литературы, задыхавшейся от недостатка воздуха. Грандиозность замысла вполне соответствует богатому внутреннему содержанию романа, который был так непохож на все то, что служило упадочной моде, и был глубоко связан с демократической традицией французского классического наследия, несмотря на всю свою вызывающую новизну.

В романе предстает перед нами всеобъемлющая картина современной действительности: общественная жизнь, развитие современной мысли, поиски выхода из тупика буржуазной псевдокультуры, борьба с засильем реакции — множество вопросов, властно выдвигаемых жизнью.

Образ Кристофа является центром этого сложного построения. Перед нами проходят все этапы его жизни. Мы присутствуем при рождении Кристофа и при его одинокой смерти. Жизнь Кристофа, заполненная непрестанными исканиями, принесшая ему великие муки и великие победы, раскрывается перед нами как высокий образец современной героики.

К этой большой человеческой судьбе не сводится содержание романа, хотя все оно к ней тяготеет. Горизонты эпопеи удивительно широки — в ней показана вся Европа: место действия простирается далеко за пределы Франции, где происходят основные события. Первые четыре книги «Жан-Кристофа» полностью посвящены изображению Германии в годы детства и молодости героя; роман содержит также картины современной итальянской жизни. В нем описана и Швейцария.

«Жан-Кристоф» — роман больших идей, больших чувств, больших социальных конфликтов. Всю эпоху со всеми ее противоречиями стремится вместить это произведение. И хотя автора интересует прежде всего область духовной жизни, хотя подробнее всего он

пишет о культуре и об искусстве, об их роковом упадке, — все это представлено на широчайшем общественно-политическом фоне. Перед нами социальный роман в полном смысле слова.

Фигура Кристофа позволяет автору очень ярко осветить социальную действительность. Этот безгранично одаренный человек не может не вступить в резкое противоречие с окружающей средой. Гений и современное буржуазное общество не могут не быть враждебны друг другу. Все поднимается против Кристофа, стремясь задушить этого Бетховена двадцатого столетия. Кристофу свойственна большая смелость в решении творческих вопросов, и это делает его столкновения с враждебной буржуазной средой всегда очень острыми. Они ведут к полному и окончательному разрыву.

Кристоф — немец, и первые этапы действия романа протекают на его родине. Здесь он получает воспитание и жизненную закалку, здесь делает свои первые шаги в искусстве и становится зрелым музыкантом. Здесь происходит первый «бунт» Кристофа, его первый конфликт с буржуазным миром.

То редкостное обстоятельство, что героем французского романа стал немец, с самого начала вызвало серьезные нарекания на автора. Вскоре после окончания работы над этим произведением Роллан в статье «Германское происхождение Жан-Кристофа» счел необходимым разъяснить, почему его выбор пал на такого героя. Он мотивировал это прежде всего своим намерением посмотреть на Францию глазами человека со стороны, «свежим взглядом чистосердечного и простодушного гурона...» Наряду с этим Роллан подчеркивает «затаенную и более глубокую причину» своего выбора: он хотел бросить вызов и французским националистам и наглому немецкому империализму.

Детство и юность Кристофа протекают в карликовом немецком герцогстве, в маленьком провинциальном городке, погруженном в сплетни и скуку. Сын бедного придворного музыканта растет в среде простых людей, которые оказывают глубокое влияние на будущего композитора. Демократическая основа его творчества закладывается с ранних пор, и это представляет залог особой устойчивости и прочности фигуры Кристофа. Роллан подчеркивает, что настоящий гений может выйти только из народа.

Кристоф поднимается из низов, и его плебейский характер сказывается в его жизненной поступи. Твердая воля Кристофа и его непримиримость постоянно проявляются в той борьбе, которую он ведет. Кристофу не свойственно колебаться и отступать. Это человек,

рожденный для великих дел, и столкновение его с буржуазным обществом неизбежно.

Глубочайшая убедительность романа и сила его неотразимого художественного воздействия заключены прежде всего в раскрытии антагонистического конфликта современной действительности, конфликта, не допускающего какого-либо примирения интересов. В романе были подняты на поверхность жгучие, неотвратимые, жизненно важные вопросы.

Уже в «немецкой» части романа показано, что, по мере формирования духовной личности Кристофа, все более ненавистной становится молодому музыканту общественная среда, которая навязывала свои вкусы немецкому искусству.

С каждым днем приближающаяся катастрофа показана в четвертой книге романа, которая называется «Бунт». Кристофу уже давно нечем дышать в Германии, где солдафонско-полицейский режим сочетается с господством самой отвратительной реакции во всех областях культуры и искусства. Он покидает свою родину и бежит во Францию, которая из немецкого далека представлялась ему центром подлинной цивилизации.

«Немецкая» часть эпопеи, содержащая очень резкую критику реакционной Германии, свидетельствует о том, что автор превосходно был осведомлен о положении дел в этой стране. С фактами в руках он обличает господство германских милитаристов, которые душат все живое; он свидетельствует об упадке художественного творчества, об утрате великих традиций германской культуры.

Начиная с пятой книги, действие романа переносится во Францию. Эта книга носит нашумевшее название «Ярмарка на площади»; в ней раскрыт новый важный этап на жизненном пути героя.

Кристоф приезжает в Париж с иллюзиями, которые когда-то туманили голову героям Бальзака. Он рассчитывает найти здесь все, что ему надо. Он готовится к смелому творческому взлету. Но очень скоро ему приходится испытать серьезное разочарование. Оказывается, он совершенно напрасно тешил себя надеждой, что в Париже легко, просто и естественно развернутся его творческие способности, которые душила реакционная среда в Германии.

Кристоф приезжает в Париж с розовыми мечтами, но они быстро рассыпаются в прах. Перед ним не расцвет подлинного искусства, а «ярмарка на площади», где все продается и где надувательство стало законом.

Знакомясь с деятелями музыкального, театрального и литературного мира, Кристоф приходит к выводу, что здесь и не пахнет

настоящим искусством. Здесь много прожженных дельцов, людей, которые умеют наживаться на искусстве и торговать им как товаром. Здесь все «пропитано духом рассудочной проституции».

Того прометеева огня, к которому стремился Кристоф, покидая родину, здесь нет и в помине. Его окружает убогое псевдоискусство, произрастающее в «пропитанном плесенью подполье».

Пятая книга романа разрастается в ожесточенный и беспощадный памфлет. Это книга, полная гнева, развенчивающая «глиняных гениев», срывающая маски с «блюдолизов славы», которыми кишит «ярмарка».

Во имя правды и во имя «величия Франции грядущей» Роллан ведет атаку на улагодное французское искусство со всеми его «грязными подлостями». Он возмущен поруганием прекрасных традиций «великого классического искусства» своей родины. Беспощадной критикой искусства, от которого исходит «запах смерти», он стремится расчистить путь для искусства, брызжущего соками жизни. Обращаясь к «жалкому и нелепому зрелищу», которое являла собою некогда прославленная французская литература, Роллан отмечает здесь ужасающее измелъчение. Литература стала «описанием мерзостей»; не способная ни на что значительное, она занимается тем, что «забивает мозги» и старается «низвести самые героические порывы человеческой души к роли модных галстуков».

Временами Кристоф спрашивает себя: «Неужели у Франции нет больше солнца?»

С горечью и возмущением наблюдая окружающую его сутолоку «сумеречного искусства», Кристоф убеждается, что в этом бесстыдном и циничном мире честному художнику никогда не позволит свободно развиваться, творить и расти, не дадут ему расправить крылья.

Так нарастает неизбежность нового «бунта». В Париже молодого художника, поставившего своей целью создать великое новое искусство, встречают с крайней враждебностью, хотя и бахвалятся на каждом углу, что озабочены процветанием духовной жизни.

Ромен Роллан разоблачил тщательно оберегаемую «тайну» выродившегося буржуазного искусства, уже не способного на что-либо значительное. Дельцы от искусства, скрывавшие его бесплодие шумом и гамом «ярмарки», испытывают ужас при виде Кристофа. Почувяв в смелом новаторе опаснейшего противника, они делают все, чтобы закрыть ему пути к успеху и славе.

Разобравшись в положении дел, Кристоф без колебаний переходит в наступление. Он идет напролом и наносит удары направо

и налево, расталкивая толпу «торговцев безобразием». Но столько вокруг отвратительной нечисти, что пробиться сквозь эту толпу не под силу даже такому человеку, как Кристоф.

Роллан показывает, что его герой питает отвращение к какому бы то ни было компромиссу. В схватке с «ярмаркой» буржуазной цивилизации Кристоф непримирим. Оставляя повсюду «след своего внутреннего огня», он выступает как обличитель коварных обманов, мужественно отстаивающий свои идеалы. Эти черты очень существенны в Кристофе; и в этот период своей жизни целомудренный герой, «герой с чистыми глазами и сердцем», настойчиво зовет к деятельности.

«Воспряньте, — говорит Кристоф, — и если вам суждено умереть, то умрите стоя!»

Хотя содержание пятой книги охватывает преимущественно сферу культуры и искусства, большое значение имеют в ней и картины политической жизни Франции. Здесь дана беспощадная сатира на жесоциалистов, на реакционных политиканов Третьей республики. Роллан язвительно называет Францию «республиканской империей», разоблачая цинизм правящей верхушки и те маневры, при помощи которых буржуазия пыталась обмануть народ. То «правительство симулирует в политике социалистические приемы», то предпринимает другие попытки «переманивания народа на сторону буржуазии», — выставляя все это напоказ, Роллан обнажал действительную сущность буржуазной демократии.

Необходимо отметить, что в полных жгучей правды картинах «Ярмарки на площади» и в других книгах эпопеи чувствуется всестороннее и глубокое знание действительности. Очень часто за персонажами, выступающими в романе, мы угадываем тех или иных реальных лиц того времени. Так, в неприглядном облике салонного социалиста Лэви-Кэра дан сатирический портрет Леона Блюма, который в те времена начинал играть роль в социалистическом движении, вернее «подтачивать социализм», по меткому выражению Роллана.

«В противоположность Кристофу Лэви-Кэр олицетворял дух холодной иронии и разложения, мягко, вежливо, глухо подкапывался под все великое, что было в умирившем старом обществе: семью, брак, религию, любовь к родине; в искусстве — под все мужественное, чистое, здоровое, народное; под всякую веру в идеалы, в истинные чувства, в великих людей, в человека». У него «какая-то животная потребность подтачивать мысль, инстинкт могильного червя».

Лэви-Кэр «пришелся как нельзя более ко двору в обществе на-

ивничающих развращенных представительниц богатой и праздной буржуазии. Для них он был своего рода компаньонкой, чем-то вроде распутной служанки, более искушенной, чем они, и более свободной в своем поведении, просвещавшей их и вызывавшей у них зависть. С ним они не стеснялись и, держа в руках светильник Психеи, с любопытством разглядывали голого андрогина, любезно предоставлявшего себя в их распоряжение».

Этот уничтожающий набросок с натуры, показывающий известного французского социал-соглашателя в начале его карьеры, свидетельствует о глубоком презрении Роллана к подобным политикам и о том, как прозорлив он был и как безошибочно различал мертвечину и гниль под обманчивой, пестро размалованной внешней оболочкой.

В огромной галерее фигур, встречающихся в эпосе «Жан-Кристоф», можно обнаружить и еще много подобных портретов, выхваченных прямо из жизни.

После «бунта», заставившего Кристофа покинуть Германию, после бурного столкновения, которым закончилось его знакомство с Парижем, ему надо собраться с мыслями и с силами. До сих пор он был одинок и на опыте убедился, что начатая им борьба обязывает искать единомышленников и соратников. Он мучится своей изолированностью, и положение кажется ему трагическим.

Большую поддержку Кристофу в его борьбе и в исканиях приносит горячая дружба с молодым Оливье Жаненом, одаренным французским литератором, который относится к «ярмарке на площади» примерно так же, как и Кристоф. Их быстро сближает ненависть к лживому искусству и к фальшивой демократии. Они живут вместе, вместе работают и, соединив свои усилия, ведут борьбу.

Очень важная в общем замысле эпопеи седьмая книга — «В доме» — посвящена дружбе Кристофа и Оливье. Особое значение имеет широкий народный фон разворачивающегося действия. Дом, в котором поселились друзья, представляет собой как бы всю Францию в разрезе. «Это был целый мирок в миниатюре, крошечная Франция, честная и трудолюбивая...»

Связи и отношения, которые устанавливаются у Кристофа и Оливье с их соседями, показаны в романе так, чтобы читатель мог ясно себе представить, где сосредоточены живые силы нации. Возникает убедительный контраст развращенной, изоглавшейся буржуазной верхушки и простых людей Франции, ее социальных низов.

Оливье открывает Кристофу глаза на подлинный облик французского народа, не имеющий ничего общего с шарлатанами, кото-

рые подвизаются на «ярмарке». Это — «простой народ, маленькие люди, хозяйственные, рассудительные, трудолюбивые, спокойные, в чьих сердцах дремлет пламень... вечно приносимый в жертву народ... народ, который вот уже больше десяти веков творит и действует, народ, создавший целый мир по своему образу и подобию в готике, в творениях семнадцатого века, в делах революции, народ, который десятки раз проходил через испытания огнем и только закалялся в них, народ, который, побеждая смерть, десятки раз воскресал!»

Глубокое восхищение силой и талантливостью родного народа пронизывает все творчество Роллана. Книга «В доме» отразила эту особенность очень ярко. Выступая в защиту угнетенного и обманутого народа, который до поры до времени «равнодушен к свистопляске своих недолговечных хозяев», Роллан с возмущением и горечью говорит устами Оливье о том, что люди, составившие о Франции поверхностное представление, «не видят ничего, кроме присосавшихся к ней паразитов, авантюристов от литературы, от политики, от финансов с их поставщиками, клиентами и проститутками; и они судят о Франции по этим негодаям, пожирающим ее».

Таким образом, книга «В доме», раскрывающая духовное богатство простых людей Франции, закономерно становится гневным разоблачением врагов Франции и ее народа.

Оливье и Кристоф горячо интересуются жизнью социальных низов, и одно время кажется, что они обретают твердую почву под ногами, но это только кажется. «Я понял свою силу, силу моего народа», — говорит Оливье, но это не мешает ему заблуждаться и сновать на то, что народ равнодушен к борьбе, которую ведут он и Кристоф: «Ему нет до нас дела».

Между талантливыми молодыми интеллигентами и миром простых людей возникает глухая стена взаимного непонимания. Весьма смущенные тем, что в народной среде они часто встречаются с косностью и буржуазными предрассудками, убедившись, что во французское рабочее движение проникла зараза оппортунизма, они отворачиваются от народа, пытаются найти выход в бесплодном индивидуализме.

Наряду с книгой «В доме» девятая книга романа — «Неопалимая купина» — в значительной части посвящена поискам пути к народу. Это жизненно важная для Кристофа проблема, ибо здесь заложены великие возможности революционного искусства.

С большими надеждами Кристоф идет в рабочее и социалистическое движение, но не находит там прочной опоры своим исканиям.

В критике оппортунизма, которая дана на страницах «Неопалимой купины», почти все справедливо, проникательно и точно, кроме неверного окончательного вывода, который делает Кристоф. Он испытывает мучительные приступы отчаяния и, потеряв своего друга Оливье, убитого во время политической демонстрации, замыкается в той самой индивидуалистической скорлупе, которую ему так хотелось отбросить. Поиски пути к народу, поиски силы, которая могла бы обеспечить подлинную свободу его творчества, в конце концов окончились неудачей, и Кристоф сворачивает с единственно правильного пути, который мог привести к победе.

Конечно, он не может примириться с торжествующей реакцией и здесь никогда не отступит, но и рабочий класс не внушает ему доверия. Кристоф начинает бояться, что, вмешавшись в политическую борьбу, он потеряет свою драгоценную независимость, а вместе с тем и всякую возможность творчества.

В 1909 году в обращении «К друзьям Жан-Кристофа» автор писал:

«...Необходимо изложить обстоятельства, при которых я начал этот цикл.

Я был одинок. Как многие и многие во Франции, я задыхался в морально враждебном мне мире, я хотел дышать, я стремился бороться с этой нездоровой цивилизацией, с этим растленным мировоззрением людей, которые считались «избранными», которым мне хотелось сказать: «Вы лжете, вы не представляете собой Франции».

Таким образом, автор сам ставил своей целью борьбу с враждебными народу силами, борьбу, которая не по плечу одиночкам, будь они даже титанами. Кристоф мог одержать полную победу только в том случае, если бы перестал быть одиноким. Как видим, именно это ему и не удалось.

Вот почему, приближаясь к своему концу, роман приобретает все более и более отвлеченный характер. Последняя книга, имеющая задачей заглянуть в будущее человечества, называется «Грядущий день». Она во многом напоминает последние произведения Золя, его абстрактно-утопические «Евангелия».

Хотя Кристоф и умирает очень патетически, все же ясно, что ему не удалось победить. И необычайно величественный, прекрасный, чистый образ, так высоко поднявшийся над уровнем современной ему литературы, образ, в котором была заложена могучая сила гнева и ненависти к буржуазному миру и который стал таким ярким воплощением духовной красоты человека, — этот образ остался незавершенным.

Кристоф умирает, отстранившись от борьбы, отстранившись от социальных бурь, оставшись наедине с самим собой. И, как бы ни был красив и трогателен финал эпопеи, он до известной степени разочаровывает. Человек, вступивший в великую борьбу, человек, завоевавший самые горячие наши симпатии, в конце концов успокаивается в каком-то восторженном всепримиряющем самосозерцании.

Вот почему в книге «Грядущий день» перестает нарастать возмущение. Здесь уже нет прежней силы гнева, нет и глубины реализма, которая была в предыдущих книгах эпопеи. И та туманная философия, которая окутывает умирающего Кристофа, то своеобразное богонискательство, которое проявляется на страницах «Грядущего дня», принадлежат, конечно, к слабым сторонам замечательного произведения.

Впоследствии Роллан неоднократно говорил о причинах, которые помешали ему поднять образ Жан-Кристофа до масштабов революционного образа. Он признавал, что сам он нашел путь к народу с большим трудом и что долгое время его «убежищем попрежнему оставался индивидуализм». Это сдерживало размах его творчества в те годы, когда он писал «Жан-Кристофа». Еще не была обретена почва, на которой могли бы развернуться во всю ширь его великие замыслы. Это предстояло в будущем.

Исключительный интерес имеют выдержки из дневника 1896 года, которые Роллан приводит со своими комментариями в «Воспоминаниях молодости». Речь идет о первоначальном замысле «Жан-Кристофа» и о том, как он видоизменялся впоследствии.

«Первый вполне отчетливый набросок замысла относится к маю 1896 года. Однако этот замысел был обширнее того, что из него вышло. Передо мной возникали два героя, а не один, их судьбы все время переплетались, дополняя друг друга: Мечта и Действие. Я приношу выдержку:

«Это будет поэма всей моей жизни. Мой герой будет своего рода Бетховеном, великим музыкантом, который приезжает в современный Париж, чтобы начать борьбу. На своем пути он встречается с итальянцем Мадзини (задуманным свободно. Я сам только что встретился с ним в октябре 1895 года, в томе его «Переписки», и искренне был восхищен им)... заговорщиком и изгнанником, преследуемым во всей Европе и в своей ссылке ожесточенно борющимся за торжество своих идей. Они признают друг в друге людей одного закала, но не питают друг к другу симпатии; каждый из них увлечен своими стремлениями, своим идеалом: один хочет воплотить его в но-

вом социальном строе, другой — в мечте своего искусства, с каждым днем все более погружаясь в эту мечту. Это будет обширное произведение, охватывающее жизнь моего героя от рождения до кончины в пятидесятилетнем возрасте. А вокруг вращается целый мир существ. Своеобразие произведения будет заключаться в том, что это первый из романов, героями которого будут гении, показанные во всей их целостности, а не в поступках и чувствах, не имеющих отношения к их гениальности. Я сказал уже где-то, что Бетховен сам по себе (независимо от его произведений) является драмой Шекспира. Это справедливо и в отношении Мадзини и всех могучих гениев. Такие драмы я и хочу написать».

Драма действия не была написана. У меня хватило сил написать только драму мечты — «Жан-Кристофа» и добиться, чтобы его приняли властители жизни и смерти наших грез — издатели. Они нашли «Жан-Кристофа» слишком длинным. И мне пришлось отсечь целую книгу — о революции и о социальной войне во всем мире, которая должна была, согласно моему первоначальному плану, открыть путь другой буре — «Неопалимой купине».

Таким образом, в процессе работы над эпопеей автору пришлось значительно уменьшить масштабы и размах первоначального замысла. Отпала вызывающая огромный интерес и глубоко значительная «сторона Мадзини», а с нею вместе поблекла и «сторона действия» в облике Кристофа, сделавшегося единым центром всего романа.

Не является случайным, что одновременно с эпопеей «Жан-Кристоф» разрастался дальше и цикл «Жизни великих людей». Это родственные замыслы. Если «Жизнь Бетховена» составляет своеобразное введение в эпопею, то другие жизнеописания великих людей сопутствуют ее дальнейшему развитию и оказывают на нее определенное воздействие.

В 1906 году Роллан пишет и «Жизнь Микеланджело» и четвертую книгу эпопеи — «Бунт». Внутреннее сходство этих произведений несомненно. И «кризис отворачивания», который пережил Кристоф в последние годы своего пребывания на родине, и та горечь, которую вызвала в нем травля со стороны филистерской среды, соответствуют трагической и полной мрака судьбе гениального итальянского художника, как она раскрывается перед нами в проникновенном описании Роллана. Ценою великих мук, ценою полного, беспросветного одиночества достигает Микеланджело осуществления своих творческих замыслов. Если это и не во всем соответствует исторической правде, то это очень близко к переживаниям Кристофа.

Еще одним подобным вторжением в развитие эпопеи «Жан-Кристоф» является «Жизнь Толстого», которая писалась под впечатлением смерти Толстого и была напечатана в 1911 году одновременно с «Неопалимой купиной». Здесь также выражена очень любезная сердцу Роллана мысль о том, что великий художник обязательно бывает одинок. «Чистота сердца», «героизм и доброта великой души», «духовное одиночество», бесконечное страдание от неосуществимости внутренней гармонии — вот что влечет Роллана к Толстому. Есть черты сходства между тем, как представлен великий русский писатель в книге Роллана, и переживаниями Кристофа в «Неопалимой купине».

Читатель, знакомый со статьями Ленина о Толстом, в которых показана могучая сила реализма произведений Толстого и кричащие противоречия в его взглядах и творчестве, явившиеся отражением силы и слабости крестьянских масс, участвовавших в первой русской революции, — особенно ясно увидит своеобразную тенденциозность роллановской «Жизни Толстого».

Характерно, что в этих одновременно вышедших произведениях Роллан остро ставит вопрос о народной почве подлинного искусства. Но и в «Жизни Толстого» и в «Неопалимой купине» еще не дано на этот вопрос удовлетворительного ответа, поскольку Роллан еще не решался в те годы открыто связать искусство и литературу с борьбой за интересы народа, с революционной политикой.

На «Жизни Толстого» закончился весь цикл, который первоначально был задуман очень широко. По свидетельству Ж. Бонниеро, предполагалось дать следующие жизнеописания: «Франсуа Милле, бедного и прозябающего в неизвестности, жертвы торговцев картинами; Гоша, доблестного воина, ставшего легендарным солдатом революции; Гарибальди, героя борьбы за независимость Италии; славного английского революционера Томаса Пейна; романтика и друга свободы Шиллера; итальянского патриота Мадзини». Как видим, кроме Милле, все это герои действия, и отклонение в сторону «мечты» абстрактного гуманизма сказалось как на развитии образа Жан-Кристофа, так и на подборе «героических жизней» и на том освещении, в котором они предстанут перед нами.

Эпопея «Жан-Кристоф» произвела огромное впечатление во всем мире не только необычайностью своей «симфонической» формы, но и беспощадностью заключенной в ней социальной критики, своим возвышенным, гуманистическим содержанием. Она немедленно вызвала множество откликов.

Герберт Уэллс в проницательном суждении о «Жан-Кристофе» отметил его новаторские черты и указал, что смелая и крайне своеобразная форма этой эпопеи дает возможность невиданно широкого охвата действительности. Уэллс горячо приветствовал роман.

Французский критик А. Тибодэ сделал попытку связать «Жан-Кристофа» с традицией социального романа. Он сопоставлял это произведение с «Современной историей» Анатolia Франса и с «Отверженными» Гюго. При известной парадоксальности этих сравнений в них есть нечто существенное. В «Отверженных» Гюго была сделана в свое время великолепная попытка передать средствами романа безграничное многообразие действительности. Кроме того, несомненно, что этому произведению Гюго присущ тот пафос высоких чувств и духовного благородства, который переполняет и эпопею Роллана.

Что касается «Современной истории» Анатolia Франса, то при всем несхождении манеры, в которой написаны эти произведения, и замысла нельзя не обратить внимания на то, что эти замечательные французские романы одинаково ставят своей целью показать освобождение честного «мастера культуры» из-под власти капитализма.

«Жан-Кристоф» был закончен в 1912 году, накануне первой мировой войны. В последней книге романа уже чувствуется, что тучи нависли над Европой, чувствуется дыхание приближающейся войны. Уже «тлеет искра будущего пожара».

Это предвидение, которым завершается реалистическое исследование действительности, показывает, что «Жан-Кристоф» — огромное и подлинно прогрессивное явление литературы.

Современный читатель знает, на какую высоту еще предстояло подняться автору «Жан-Кристофа». Можно сказать, что время только подняло значение романа. «Жан-Кристоф» зазвучал с особой силой после того, как Роллан в 30-х годах вступил в исторически подготовленный новый период своего творчества. Тогда особенно ярко обозначилось все величие этого произведения, удивительное мужество, которым оно проникнуто, и вся привлекательность его образов.

Современный читатель отчетливо видит, насколько противоречив роман. С одной стороны, это беспощадно смелое произведение, и многое из того, что написано в нем о Франции и Европе, так проницательно и верно, что может быть повторено и сегодня. С другой стороны, это роман тщетных иллюзий, которые помешали великану победить лилипутов и выпрямиться во весь рост.

Много лет спустя после завершения эпопеи Роллану предстояло вернуться к излюбленной героической теме и показать настоящего победителя, который слил мечту с действием. Ему предстояло вернуть картину современной действительности в произведении, которое стало одним из первых явлений французского социалистического реализма, — в «Очарованной душе».

Роллан ощущал необходимость немедленного продолжения той борьбы, которая начата была усилиями Кристофа. В ноябре 1912 года он писал одному из своих друзей: «После того как я окончил «Жан-Кристофа», я испытываю такое чувство, что я еще ничего, ничего не сказал... Мне кажется, что «Жан-Кристоф» оказал мне услугу, освободив меня от огромной тяжести прошлого. Я себя чувствую у врат мира новой эстетики и новой морали, и если бог даст мне сил, я постараюсь туда войти. Вы не можете представить, какой радостью меня переполняет зрелище новой жизни».

Эти слова представляют своеобразное авторское послесловие. Они показывают, что Роллан принадлежит к тем взыскательным художникам, которые весьма требовательны к самим себе. Даже такое великое достижение, как «Жан-Кристоф», не дает Роллану чувства удовлетворенности, ибо перед его духовным взором открывались еще более широкие, дальние горизонты.

Подобно своему герою, Ромен Роллан всегда был «человеком в пути».

III

Годы первой мировой войны были для Роллана великим испытанием. Автору «Жан-Кристофа» предстояло продолжить искания в обстановке бури, потрясшей все человечество. Перед ним возникло много острейших вопросов, которые властно требовали немедленного и безоговорочного ответа. Дать этот ответ Роллану было нелегко, и впоследствии он сам признавал свое положение трагическим, говоря о том, что события застигли его «в состоянии нерешительности, на перекрестке двух дорог».

Когда началась война, Роллан находился в Швейцарии, где он и остался. Незадолго до того была закончена повесть «Кола Брюньон», самое солнечное и радостное из его произведений. Он отмечает в обращении «К читателю», что эта книга «явилась реакцией против десятилетней скованности в доспехах «Жан-Кристофа». Несомненно, что Роллан рассматривал работу над исторической повестью как противопоставление безрадостным переживаниям, свя-

занным с современностью. Он расстался с этой неприглядной современностью, чтобы перенестись в жестокое и великолепное время. Его вдохновили старинные народные предания. Он заговорил на языке, расцвеченном красками XVI столетия.

Конечно, это была не прогулка в далекое прошлое для развлечения и отдыха. Это был «вызов войне», как говорит сам автор, а также вызов реакционному засилью в области культуры.

Время действия — рубеж двух столетий, шестнадцатого и семнадцатого, когда бушевали ожесточенные религиозные войны, всколыхнувшие широкие народные массы.

Место действия — Кламси, где родился и провел свои юные годы Роллан.

Переходный и насыщенный противоречиями период, когда «новизна и старина делили ложе», привлек внимание автора «Жан-Кристофа». Роллана восхищали обнаженные и глубокие контрасты того времени и изумительная творческая сила его художников и мыслителей.

С великолепной естественностью и глубоким ощущением эпохи Роллан воссоздает в повести «Кола Брюньон» историческое прошлое. Он раскрывает необычайную всесторонность культуры позднего французского Возрождения, одинаково проявлявшей себя и в гении Рабле и в гении безымянных мастеров, которые создавали шедевры домашней утвари и шедевры деревянной церковной скульптуры.

Вступая в бодрящую атмосферу романа «Кола Брюньон», мы отчетливо чувствуем, что это восхищение французской культурой прошлого, эта нежная и горячая любовь к родной земле противопостоят недавнему горькому разочарованию Кристофа. Смотрите, хочет сказать Роллан, как низко пала «выдохшаяся цивилизация» XX столетия, как уличает ее самое простое сопоставление с прошлым!

Роман представляет запись событий одного года жизни Кола Брюньона, талантливого резчика по дереву, в котором буйная творческая сила, заставляющая вспоминать Челлини, сочетается с редкостным жизнелюбием, с отменной способностью выпить, поесть, похлословить. Роллан говорит языком этого одареннейшего самородка XVI столетия. Книга разливается весенним половодьем присказок, неожиданных и острых словечек, поражающих своей яркостью. Она сверкает неисчерпаемым богатством народного языка, от которого брезгливо отвернулась современная литература.

Облик Брюньона, человека из народа, глубоко привлекателен своею цельностью, своим мужеством, своей не знающей преград

энергией. Этот художник так прочно стоит на земле и так крепко связан с народной почвой своего творчества, что ему не страшны никакие испытания. Создавая эту мощную фигуру победителя, Роллан не только бросал вызов реакции, но и стремился вложить в образ Брюньона свою мечту о подлинно свободном творчестве.

Самой существенной особенностью этого произведения является его народность. Патетический реализм книги, особенно проявившийся в изображении яркой пласбейской личности Брюньона, и дух всего повествования свидетельствуют о том, что автор «Жан-Кристофа» был гораздо ближе к глубинам народной жизни, чем это ему самому представлялось в те годы. Склонившись над судьбою Брюньона, придав этому образу такие черты, что он кажется почерпнутым из источников народной фантазии, писатель как бы нащупывал путь к будущему, к слиянию творчества с жизнью и борьбой трудящихся, что оказалось неосуществимым для Кристофа, мысли которого так часто были мыслями автора.

Таким образом, война застала Роллана в момент очень важных для него раздумий о судьбах творчества. Значение этих раздумий нельзя переоценить, ибо повесть о Кола Брюньоне убедительно свидетельствовала о том, что автор ее готов был решительно предпочесть индивидуалистическому одиночеству море народной жизни. Впечатляющий оптимизм этой повести, ее жизнерадостность, ее переливающаяся через край творческая сила коренятся в том, что вместе с «доспехами» абстрактного гуманизма, которые исправно носил Кристоф, была отброшена и кристофская индивидуалистическая «скованность». Вот что дало тот великолепный разряд творческой энергии, который так потрясает нас в «Кола Брюньоне».

Тем не менее «Кола Брюньон» не был произведением переломным. Эта повесть открывала определенные перспективы и намечала определенный путь, но она еще не разрубала всех гордиевых узлов.

В годы войны обнажились сильные и слабые стороны идейных исканий Роллана и его творчества. Как он сам признает в «Прощании с прошлым» или в опубликованном недавно «Дневнике военных лет», ему пришлось пережить чувство мучительного внутреннего разлада. Он ясно видел преступный, захватнический характер войны, что одинаково относилось к обоим враждующим лагерям, но еще не был способен сделать из этого своего открытия действенный вывод.

С первых дней войны Роллан проявил замечательное мужество. Хотя он был «в полном одиночестве» и брюньоновская атмосфера, в которую он с наслаждением окунулся, являлась ошеломляющим контрастом тому, что творилось вокруг, Роллан трезво взвесил со-

здавшуюся обстановку и начал борьбу «против убийц, преступных руководителей, растленных интеллигентов обоих лагерей».

Первой из серии статей, напечатанных им, было «Открытое письмо Гергардту Гауптману», опубликованное 2 сентября 1914 года. Роллан сурово осудил Гауптмана, поддерживавшего своим писательским авторитетом германский империализм. За этой статьей последовали другие. Позднее из них составил знаменитый сборник «Над схваткой». Роллан смело выразил свое отношение к событиям. Он осудил империалистическую бойню, разоблачив чудовищный обман народов, прикрываемый лживыми разглагольствованиями о «защите отечества». Он убедительно показал, что пропаганда человеконенавистничества и кровавого иступления, которую с одинаковым упорством вели шовинисты обоих лагерей, была направлена против всех народов, против всего прогрессивного человечества.

В этом была сила антивоенной публицистики Роллана. Всегда попадали в цель удары, которые он наносил империалистам обоих лагерей, разоблачая их преступления перед человечеством, их подлое лицемерие, их циничное презрение к тем, кого они заставляли умирать на полях сражений. Именно за это Роллан подвергся ожесточенной травле, и его спасло от тюрьмы и расправы только то, что он находился в нейтральной Швейцарии, где еще оставалась некоторая, хотя и минимальная, возможность сказать слово правды о войне.

Но наряду с этой сильной и яркой стороной позиции Роллана в годы войны была и другая, которую сам Роллан впоследствии будет сурово осуждать. Боязнь политики, недоверие к политическим партиям, изолированность, предубеждение относительно того, что массы якобы не способны ни к чему другому, кроме стихийного возмущения, — все это мешало Роллану найти правильный выход и возвращало его к тем самым иллюзиям абстрактного гуманизма, которые после «Жан-Кристофа», по его собственным словам, стали «слишком тесны». Отсюда — совет «всем честным людям» заняться «организацией своего внутреннего мира», совет, который Роллан давал в статье «Кумиры». Отсюда — сделавшееся знаменитым название сборника его статей «Над схваткой», которое означало в конечном счете призыв не вмешиваться в борьбу, ограничиться осуждением совершавшегося вокруг.

«Что я мог еще сделать? На что я был способен в ту пору, слабый и одинокий человек?..

Единственно возможной для меня деятельностью оставалась попытка собрать одиночек, сохранивших независимость, чтобы защи-

тять хотя бы свободу духа...» — пишет Роллан в «Прощании с прошлым».

Не удивительно, что он испытывал острую неудовлетворенность и его настроения в эти годы были крайне мрачными. Часто ему казалось, что «все погибло: друзья, родина, цивилизация. Чувствуешь себя так, точно и ты сам погиб вместе с ними».

Много лет спустя, вспоминая об этих годах, Роллан находит точные слова, в которых выражено его состояние: «Бьюсь и не могу выбраться из ямы».

Впрочем, это состояние трагического одиночества ни на минуту не делало Роллана пророком отчаяния, а таких было немало в те годы. Он боролся против шовинистического иступления с надеждой на то, что начнется «новая жизнь и мирный завтрашний день», как он говорит в статье «Жорес», завершающей сборник «Над схваткой».

Этот получивший широкую известность сборник статей, написанных в течение первого года войны, подводит итог, который не принес автору удовлетворения. Роллан заявляет о своем уходе «в искусство», но это «неприкосновенное убежище» не долго укрывало его. Сделав первые наброски «Лилюли» и «Клерамбо», Роллан спустя несколько месяцев снова «вернулся к бою». Опыт первого года войны многому научил его, и написанная в ноябре 1916 года статья «Убиваемым народам», по его собственному признанию, «открывает собой новый период» в его «антивоенных мыслях».

В чем заключалась особенность этого нового периода? Прежде всего в том, что Роллан начинает связывать свою деятельность с судьбою народных масс. Все более укрепляется в нем убеждение, что назревают революционные потрясения, которые спасут человечество. Всем существом своим он ощущает начавшееся пробуждение народов, обманутых и убиваемых империалистами. Народ, который с таким вдохновением был воспет им в повести «Кола Брюньон», все более и более становится единственной надеждой Роллана.

О статье «Убиваемым народам» автор писал впоследствии, что она «была своего рода провозглашением полного разрыва не только с войной, но и со старым обществом, с капиталистическим и буржуазным строем, который является ее очагом».

Во втором сборнике статей военных лет — «Предтечи» — важное место занимают попытки Роллана найти новых друзей, единомышленников, собрать хотя бы небольшой отряд, представляющий более надежную и внушительную силу, чем протест одиночки. Он востор-

женно приветствует появление романа Анри Барбюса «Огонь» и с удовлетворением подчеркивает, что это голос просыпающихся народных масс. Так проявляются новые черты в отношении Роллана к событиям, и занятая им в начале войны позиция начинает меняться.

Роман Барбюса, это «беспощадное зеркало войны», был воспринят Ролланом как многозначительное явление, свидетельствующее о том, что «в пролетариате армий смутно возникает сознание всемирного братства», что «воюющий народ делает героические усилия вырваться из ужасов страдания и грозящей смерти».

Завязывается дружба Роллана с Горьким. В январе 1917 года в Женеве перед докладом Луначарского о Горьком было зачитано приветствие Роллана, где он писал с глубоким волнением: «Через окровавленные поля Европы мы протягиваем ему руку».

Но Роллан все еще не решается пойти на сближение с революционными силами, которые накапливались в Европе. Недалеко от тех мест, где жил Роллан, происходили известные совещания, вошедшие в историю под именем Циммервальдской и Кинтальской конференций. Это движение еще не вовлекает Роллана в свой поток. Его приглашают, но он не решается принять участие в этих конференциях, которые имели такое большое значение для народов, искавших революционный выход из империалистической войны.

В одном из писем, в мае 1917 года, он так разъяснял свою позицию: «Я полностью сочувствую циммервальдскому движению, и если лично не принимаю в нем участия, то лишь потому, что считаю себя обособленным индивидуалистом, который не имеет мандата какой-либо партии или какой-либо страны и представляет только самого себя. Я весьма сочувствую социализму, при условии, что он не будет применять к классам, которые он ниспровергнет, деспотических методов и не будет посягать на индивидуальную свободу» («Дневник военных лет»).

Необходимо принять во внимание, что в эти годы в скромной вилле «Ольга», где жил Роллан, все чаще раздавался голос масс, преисполненный негодования; сюда в большом количестве приходят раздраженные письма французских солдат. «Из французской армии доносились до меня грозные раскаты грома», — признает Роллан. И все же он еще держится за свои индивидуалистические предрассудки, и глубокие внутренние изменения происходят в нем не сразу.

Огромное влияние оказали на судьбу Роллана революционные события в России. Он видит в них надежду на спасение человечества. Еще в марте 1917 года он передает через Луначарского следующее приветствие для опубликования в «Правде»:

«Русские братья! Вы только что разбили цепи и одним прыжком догнали революционную Францию. Стремитесь же превзойти ее и завершить ваше и наше дело и дать Западу пример великого, свободного сплоченного народа, который отбрасывает и укрощает всех империалистов, внешних и внутренних. Не убаюкивайте себя. Избегайте всяких эксцессов, которыми неизбежно воспользуется реакция. Чтобы победить, установите порядок и дисциплину. Будьте справедливы, спокойны, тверды, терпеливы. Не спешите строить до тех пор, пока не удостоверитесь в прочности фундамента. Камень за камнем воздвигайте несокрушимую крепость. Продвигайтесь шаг за шагом вперед и никогда не отступайте. Вы трудитесь во имя свободы всего мира. И пусть за вами последует весь мир, пробужденный вашим голосом» (приводится по «Дневнику военных лет»).

Как видим, это был первый вариант широко известной статьи Роллана «Привет свободной и несущей свободу России», опубликованной 1 мая 1917 года.

Роллан внимательно следит за ходом русской революции, за борьбой, которую вела большевистская партия против попыток реакционных сил остановить развитие революции. Он сурово осуждает керенщину и ее подлинных хозяев — англо-американо-французских империалистов. О большевиках он говорит как о «людях Коммуны», воплощающих великую революционную традицию. Глубочайшую симпатию Роллана вызывает деятельность Ленина. Он называет его «мозгом всего революционного движения».

До глубины сердца он возмущался той клеветой, которой осыпала Ленина русская и международная реакция. Он защищал от клеветы и своего друга Горького, чье имя для Роллана неразрывно связывается с делом русской революции.

После Великой Октябрьской революции Роллан одним из первых западноевропейских «мастеров культуры» высказывает «восхищение новой Россией» и пожелание успеха «самой молодой, самой подлинной и самой смелой демократии в мире».

«Победа русской революции кажется нам необходимым условием всей будущности Европы», — записывает он в свой дневник 6 декабря 1917 года, и это убеждение становится основой его нового взгляда на мир. И хотя Роллан еще по многим вопросам не соглашался с Лениным и большевиками, он стал их «ярким союзником», как писала одна реакционная французская газета, на этот раз сказавшая истинную правду.

Роллан явственно различает теперь пропасть, разверзшуюся «между двумя народами внутри каждой нации», и стремится содей-

ствовать своим творчеством пробуждению масс. Помимо публицистики, которой принадлежит львиная доля его творчества, он заканчивает в 1919 году «аристофановскую», по его собственному определению, сатиру «Лилюли». Это сокрушительное разоблачение лжедемократии, разоблачение обмана, при помощи которого империалистические правительства гонят народы на бойню. Если Роллан уже в «Жан-Кристофе» развенчал легенду о буржуазной демократии, обнажив всю отвратительную лживость ее, то в «Лилюли» он придал сатирическим образам особую силу и остроту, осветив их зловещим пламенем пожара мировой войны.

«Что касается возвышенных деклараций о праве и свободе, — пишет он в своем «Дневнике военных лет», — то... я уже давно почувствовал ужасающее лицемерие, скрытое под этой выставкой всех добродетелей, которых придерживаются, когда это выгодно, и охотно нарушают в ущерб другим. Моя «Лилюли» рождена этими настроениями. У меня есть и другие замыслы аристофановских сатир, которые так и просятся на бумагу...»

К сожалению, замысел целого сатирического цикла остался неосуществленным, но и одна «Лилюли» с такой огромной силой выражает ненависть Роллана к буржуазному обществу, обманывающему народы лозунгами свободы и равенства, с такой грозной решительностью срывает с буржуазной демократии все и всяческие маски, что эта небольшая пьеса является одним из самых замечательных произведений Роллана.

С искренней радостью встречает Роллан те революционные потрясения в Европе, которыми сопровождается конец войны. Он разделяет стремление трудящихся покончить с капиталистическим строем и с удовлетворением наблюдает, как «распадаются железные оковы войны», как «вся Европа трещит по швам».

«Революция повсюду», — записывает он в своем дневнике, отмечая события в Австрии, в Венгрии, в Германии и даже в Швейцарии, где, как известно, тоже заколебалась почва под зданием капитализма. Он выражает уверенность в том, что в Англии «вот-вот разразится рабочая революция», и многозначительно подчеркивает, что «в Париже все пуало-фронтовики отзываются о правительстве с величайшим озлоблением».

Роллан приветствует широко распространяющееся «влияние русской революции». Он предвидит приближение того часа, когда народы везде «смогут сказать свое слово». От всей души Роллан сочувствует движению широких масс. С негодованием клеймит он попытки империалистов уничтожить молодую Советскую республику,

которая воодушевила трудящихся всего мира. Он поднимает свой голос в защиту Советской России.

Возникновение великого социалистического государства и пробуждение народных масс во всем мире открыли перед автором «Жан-Кристофа» необъятные горизонты. Соприкоснувшись с глубинами народного духа, он, как никогда, почувствовал, что творчество его приобрело прочную основу. И хотя предстояло преодолеть еще немало трудностей, годы войны и революции высоко подняли Роллана, и голос его приобрел поистине всемирное звучание.

IV

Двадцатилетие между двумя войнами — самая большая эпоха в творчестве Роллана. Он называет это время «годами борьбы». Его творчество тесным образом связано с теми глубочайшими переменами в жизни человечества, которые происходят в эти годы.

Роллан становится проповедником идеалов социальной революции, после того как он преодолел сложные препятствия, встретившиеся на пути. Разрушение цепких иллюзий, с которыми он вступает в последнее единоборство, дается с трудом, и самой замечательной особенностью всего, что пишет Роллан в эти годы, является чувство огромной ответственности, глубочайшая откровенность и предельное мужество самокритики.

Над этим необыкновенно плодотворным периодом его творчества господствует, как горная вершина, «Прощание с прошлым», откровенная, смелая исповедь, увидевшая свет в 1931 году.

Этим произведением озарен весь сложный и богатый внутренними событиями путь его жизни и творчества.

Для того чтобы представить себе масштаб перемен, совершившихся в мировоззрении и творчестве Роллана, необходимо сопоставить «Прощание с прошлым» и знаменитую «Декларацию независимости духа», которую Роллан опубликовал в «Юманите» летом 1919 года. Всего двенадцатью годами разделены эти документы, но они несхожи один с другим. «Декларация» была выступлением интеллигенции, разочаровавшейся в капитализме и выдвигавшей на первый план свою духовную автономию. В «Декларации» не говорилось ни слова о том, каким образом будет осуществлено стремление «мастеров культуры» стать независимыми от капитализма. Это заявление полно благих намерений, но совершенно абстрактно. Оно не намечало определенной программы действий.

В противоположность «Декларации», под которой подписались многие передовые писатели и ученые, искавшие возможности выразить свое возмущение капиталистическим варварством, «Прощание с прошлым» давало ясную перспективу будущего, обретенную Ролланом в результате многих лет творчества и борьбы. Роллан предлагал всем передовым деятелям культуры воспользоваться его опытом и выводами, к которым он пришел. Именно в «Прощании с прошлым» у Роллана впервые было показано, что социализм и коммунизм представляют «единственную гарантию подлинной независимости духа, единственную возможность полного и интегрального развития индивидуальности».

Однако в первое время после опубликования «Декларации независимости духа» Роллан был увлечен ее успехом среди интеллигенции и, как бы в разъяснение содержащихся в ней мыслей, выпустил в свет роман «Клерамбо», над которым начал работать еще до войны.

Клерамбо — честный ученый, поднявший голос возмущения против империалистической войны, но совершенно не способный перейти от слов к действию, к борьбе против врагов человечества. Его одиночество приобретает все более трагический характер, по мере того как нарастает возмущение народа преступлениями капитализма. Чем дальше, тем больше обнаруживается его «полное бессилие примкнуть к новому движению масс».

И, хотя Клерамбо с надеждой и глубокой симпатией взирает на социалистический переворот в России, он все же не может освободиться от предрассудков, которые крепко держат его в своей власти. Этот «апостол и мученик идеи духа» остается «один против всех» (так первоначально и назывался роман), противопоставляя свою индивидуалистическую гордыню народному движению, под ударами которого давало зияющие трещины здание капитализма.

Глубокие изменения, происходившие в сознании передовой интеллигенции под влиянием опыта империалистической войны, под влиянием могучего излучения идей советской революции, породили международное движение «Кларте», которое возникло почти одновременно с опубликованием роллановской «Декларации». Так наметились два противоположных пути. Вскоре стала неизбежной дискуссия между этими двумя направлениями. В 1922 году она вылилась в историческую полемику между основателем «Кларте» Барбюсом и Ролланом.

Напечатанные в «Кларте» статьи Барбюса и последовавшие за ними ответы Роллана показали наличие коренных расхождений, хотя, по признанию Роллана, противопоставлявшиеся друг другу

тезисы и «представляли две стороны одной и той же монеты». Автор «Декларации» упрекал Барбюса и его единомышленников в том, что, становясь на сторону революции и рабочего класса и осознав, «какое огромное влияние могут иметь коллективные силы», они «чересчур увлекались ими» и якобы допускали, чтобы «индивидуальное сознание оставалось... в тени». Это было отзвуком настроений клерамбизма.

Барбюс, со своей стороны, с большой настойчивостью призывал Роллана и его сторонников расстаться с бесплодными иллюзиями «независимости духа» и безоговорочно стать на сторону рабочего класса, что даст им возможность реального участия в борьбе против империалистического варварства.

Барбюс горячо доказывал в своих статьях, что иллюзии «независимости духа» весьма выгодны капитализму, ибо они обрекают на бездействие честных интеллигентов. Только решительный разрыв с подобными предрассудками может расчистить путь. Возмущаясь четкой «социальной геометрией» Барбюса, Роллан пылко возражал ему и даже подписал первый из своих ответов шиллеровской строчкой — «Против тиранов».

В этой полемике и во всех других выступлениях Роллана первой половины 20-х годов нашли выражение мучительные противоречия, его терзавшие. Хотя такой непримиримый и беспощадный обличитель капиталистического варварства мог только приветствовать перспективу революционного устранения «изжившей себя социальной системы», это еще не означало, что все стало на свое место. Роллану приходится отсекать один за другим коварные и обессиливающие предрассудки, воспитанные тем самым прошлым, с которым ему предстояло проститься в 1931 году. Его очень тревожит проблема, как «служить революции и делу человечества» и одновременно «сохранять целостность своей свободной мысли». Долгое время ему представляется невозможным совместить одно с другим. Лишь постепенно Роллан отбрасывает это наивное заблуждение. Он сам говорит, какую неоценимую поддержку оказал здесь Горький, «верховный судья Советской республики изящных искусств», который в своем творчестве «добился примирения двух крайних начал: один и все».

Прежде чем прийти к выводу, что в Советской стране «проявился индивидуализм более широкий, более многосторонний, более действенный, сливающийся с коллективом, им оплодотворяемый и оплодотворяющий его», Роллан испытывает болезненные сомнения. Писатель упрекает Октябрьскую революцию, искреннюю симпатию

к которой он выказал с самого первого дня, в том, что она прибегала к насилию для достижения своих целей. Он опасается, как бы интересы личности не пострадали от расширения сферы коллективной жизни.

В романе «Клерамбо», в знаменитой полемике с Барбюсом проявились с большой наглядностью все эти заблуждения и предрассудки, затруднявшие движение Роллана по новому пути. Он ощущал могучие подземные толчки, оповещавшие о пробуждении народа, и это влекло его на сторону революции. Однако иллюзии абстрактного гуманизма препятствовали его духовному освобождению. Впоследствии Роллан самым тщательным образом исследует все перипетии этой внутренней борьбы, имея в виду, что многие честные интеллигенты в странах капитализма должны пережить нечто подобное.

В 1922 году Роллан приступает к осуществлению своего второго романа — цикла «Очарованная душа». В первых двух частях этого огромного произведения, которое будет окончено лишь много лет спустя, в книгах «Аннета и Сильвия» и «Лето», возникает своеобразное продолжение «Жан-Кристофа». Начинаясь здесь история жизни Аннеты Ривьер намечена такими чертами, которые по многом роднят новую героиню Роллана с Кристофом.

Совпадет и время действия — это тоже начало века. Подобно роману «Жан-Кристоф», завершение «Лета» приходится на самый канун первой мировой войны.

Роман в его начале воспринимается как нечто хорошо знакомое. В результате повторного развития старой темы возникает впечатляющее художественное произведение, но в нем еще не отражаются те великие перемены, которые совершались в мире, с тех пор как окончилась бурная и страдальческая жизнь Кристофа.

Действие течет замедленно, его движение в первых книгах почти незаметно. Сравнительно малую роль играют в начале романа черты политического памфлета, и грозная сатира «Ярмарки на площади» отзывается здесь лишь отдаленным эхо.

Более всего обличительное начало, столь свойственное Роллану, сказывается в желчных репликах Филиппа Виллара, разоблачающего тех интеллигентов, которые «обладают способностью прикрашивать нищету мира», что «избавляет их от обязанности бороться с ней». Удары по «шайке тартюфов», обманывающих народ приманкой демократии, по лицемерию эстетов, торгующих отвратительными отбросами, попадают не в бровь, а в глаз. Но все это лишь отдельные

вспышки молнии на фоне спокойного течения романа, многими своими сторонами обращенного к реалистической традиции Бальзака и Стендаля.

Если взять произведение в целом, эти две книги составляют несколько затянувшуюся экспозицию, в которой ярко очерчены заслуживающие пристального внимания характеры, взятые из разных слоев общества. Очевидно, что все значение нового замысла Роллана находилось в прямой зависимости от того, окажется ли Аннета Ривьер способной пойти дальше Кристофа. И до тех пор, пока этот вопрос оставался нерешенным, роман, при всех его достоинствах, не мог приобрести тех грандиозных масштабов, которых он достигает впоследствии.

Характерно, что работа над первыми книгами «Очарованной души» совпадает не только с полемикой против Барбюса, но и с двумя очень далекими от исторической правды драмами о Французской революции — «Игра любви и смерти» и «Вербное воскресенье». В этих произведениях абстрактно-гуманистические идеи помешали автору раскрыть подлинное лицо жирондистов и других реакционных сил, выступавших против якобинцев, и привели его к серьезным искажениям исторической действительности. Одновременно Роллан пишет книгу о Ганди, в призывах которого ему послышался «отзвук «Клерамбо». Он высказывает полное сочувствие учению о непротавлении, стремясь противопоставить его идеям социальной революции.

Третья книга цикла — «Мать и сын» была опубликована в 1927 году. Она полностью посвящена годам первой мировой войны. По признанию автора, «главной осью этой книги являлось сопротивление войне». Аннета Ривьер пытается «найти свое место в трагедии человечества», и ей даже кажется, что она нашла его. Но это не совсем соответствует действительности, ибо она еще далека от цели.

В книге «Мать и сын» достигает большой остроты критика империализма, разоблачение тех темных сил, которые вызвали мировую бойню, но Аннета Ривьер еще не находит возможности применить всю таящуюся в ней энергию на благо народа. Тема народа, тема рабочего класса все время просвечивает сквозь духовные метания Аннеты Ривьер, но еще не возникает контакта между этими двумя потоками действия, и Аннета остается одинокой. Ее опора — только в ее мужестве, в ее духовной чистоте. Ей приходится часто говорить о своем «банкротстве».

По мере развития действия все больше места в романе занимает беспощадное разоблачение буржуазного общества. Это «вертеп лжи»,

это «ужасающее рабство», прикрытое фиговым листком «свободы». Сосредоточив внимание на карьере социал-патриотического пустозвона Рожэ Бриссо, который приобрел шумную популярность в годы войны, обманывая простых людей, prostituiруя высокие идеалы любви к родине, автор показал типическую фигуру политика. В превосходно написанной сцене, когда молодой Марк Ривьер, сын Аннеты, слушает одно из самых «успешных» ораторских выступлений Бриссо и испытывает чувство омерзения и возмущения, этот кумир буржуазии показан во всем его ничтожестве.

Такие места как бы предвещают то направление, которое роман приобретет в будущем, но в рамках книги «Мать и сын» он еще имеет преимущественно психологический характер: на первом плане — «строгий анализ души», и внутренние искания Аннеты Ривьер остаются пока что ее личной драмой. Поэтому итог романа оказывается двойственным, и смелое наступление, которое вела Аннета, еще не приводит к победе.

Многозначительный вывод, к которому она приходит, убеждаясь, что «нужно сломать, разрушить этот убийственный порядок смерти, который хуже, чем беспорядок, и создать вместо него более возвышенный и более широкий порядок, по мерке тех людей, которые придут и уже пришли», здесь же заслоняется весьма искусственным противопоставлением «социального» и «человеческого» долга.

«Мой лагерь уже найден, — говорит Аннета, — это законы сердца. Всякий социальный долг... мало имеет значения в моих глазах в сравнении со святыми чувствами — с любовью, материнством, непоколебимыми и вечными». Аннета настойчиво твердит: «Дальше этого я не иду».

Несколько лет спустя автор счел необходимым пояснить эту явно ощутимую неопределенность финала. «На том этапе, на каком находились тогда не только Мать и Сын, но и большинство честных людей на Западе, врагом являлось для них все капиталистическое общество; но это было как бы облако, расплывающееся и неслучайное: оно везде; вы готовы, не дрогнув, выдержать натиск, но вы не знаете точно, где он начнется и где предстоит схватиться с врагом».

Как и во время работы над двумя первыми частями «Очарованной души», в период создания книги «Мать и сын» Роллан продолжает серию драм о Французской революции, он пишет самую неудачную из них и самую антиисторичную. Это «Леониды». Сам автор называет это произведение «эпилогом цикла, где Революция

угасает у подножия швейцарской Юры, среди горсточки изгнанников, братьев-врагов, роялистов и цареубийц, наконец примирившихся». Уже из этих слов видна вся фальшивость замысла, в котором отразился внутренний кризис Роллана тех лет.

Вслед за книгой о Ганди в эти годы Роллан пишет еще две биографии индийских «духовидцев» — Рамакришны и Вивекананды. В этих произведениях автор делает попытку сблизить свои поиски независимости духа с философией и практикой непротивления, как оно проявилось в Индии.

Начало 30-х годов представляет водораздел и в развитии роллановского творчества в период между двумя войнами и во всей сложной и богатой истории его жизни. Годы трудных исканий завершаются тем, что Роллан окончательно становится на путь борьбы за всемирную победу социализма. На весь мир звучит его патетическое «Прощание с прошлым».

В обстановке стремительного прогресса советского общества и экономического кризиса, который до основания потряс здание капитализма, видя мощный подъем народного возмущения во Франции и в других странах буржуазного мира, Роллан подводит итог своим исканиям, с тем чтобы «с новыми силами ринуться в бой». Он сам называет это произведение «исповедью», и откровенность этих мудрых, предельно глубоких страниц производит неизгладимое впечатление.

«Теперь я смотрю на дело иначе. В те времена я еще не понимал, как понимаю сейчас, сущность буржуазной идеологии», — говорит Роллан, наглядно, на примерах собственного опыта показывая всю злокачественность софизмов, которыми прикрывает свое безобразие человеконенавистническая идеология империализма.

Роллан заканчивает свою искреннейшую «исповедь» признанием, что он решил «стать в ряды СССР». Окидывая взором путь к высотам, на которые он поднялся, Роллан признает, что это был «не легкий ход», но зато итог был истинно велик: безгранично расширились перспективы его творчества и непосредственного участия в борьбе за освобождение человечества.

Годы, последовавшие за «Прощанием с прошлым», можно с полным основанием считать годами наивысшего творческого подъема во всей жизни Роллана. Озаренный светом Октябрьской революции, выражая силу нарастающего движения народных масс Франции, великий писатель создает свои лучшие произведения.

Роллан становится писателем-трибуном, чьи призывы в защиту мира, свободы и демократии находят отклик в сердцах народов всех

стран. Окончательно преодолена старая, казавшаяся неизлечимой, болезнь разлада между мыслью и действием. Далеко отброшен обветшалый предрассудок, что интеллигент должен только ограничиться мышлением, чуждаясь действия.

Политическое действие, в котором творчество писателя сливается с борьбой трудящихся за мир и социальную справедливость, становится стихией Роллана. Он весь как бы обновляется в эти годы расцвета.

Могучее влияние социалистической революции, открывшей перспективу «действительно передовой культуры и действительно передовой цивилизации», вдохновило лучших писателей буржуазного мира, содействовало сближению их с народом, духовно раскрепостило их. Пример Роллана был здесь самым патетическим.

Широко и многогранно его творчество этих лет. Но самым славным, весомым, значительным его достижением является завершение романа «Очарованная душа».

Мы помним, что в книге «Мать и сын» звучали совершенно трагические ноты: «Раздираемому ненавистью человечеству, уже издававшему предсмертные стечения, Аннета противопоставила свою душу свободной одинокой женщины, которая не поддастся ненависти, не поддастся смерти, прославляет жизнь... Это была великая гордыня. Она переоценила себя...»

Этого горького разочарования уже нет и следа в продолжении, которое последовало пять лет спустя. Полная света заключительная часть всего цикла — «Провозвестница» — вобрала в себя колоссальную энергию, которую приобрело творчество Роллана на революционном пути.

Первая книга «Провозвестницы» носит название «Смерть одного мира» (1932). Это могучий удар по врагу. Это поистине сокрушительное разоблачение капиталистического мира, сочетающее в себе огромную силу гнева и глубочайшее знание действительности. Аннета Ривьер проходит суровую школу жизни. Постигая «гильюль» этого мира, она видит, какой хаос царит в послевоенной Франции, где господствует реакция, где «Мажино и Бриан, война и мир скачут в одной упряжке». Судьба сталкивает ее с крупным воротилой Тимомом, чей жизненный лозунг — «Бей и записывай в доход». Это циничекский делец, «затаивший жестокую ненависть к сообщникам», хищник, который «беспощадно топчет всех, кто стоит ниже». Погорьковски убедительными и яркими чертами очерчена эта крайне типичная для послевоенной Европы фигура авантюриста, «готового

ударом кулака оглушить вселенную», человека, поднявшегося из самых грязных низин буржуазного общества.

Перед нами разворачивается реалистическая, впечатляющая глубиной своей перспективы картина послевоенной Европы. Это «цивилизация накануне взрыва, под ней горит земля, через трещины пробивается дыхание пламени».

В гневе, с каким изображает Роллан исторически неизбежную и бесславную «смерть одного мира», этот крах изжившей себя социальной системы, проявляется сила реализма, вооруженного знанием законов общественного развития. Читатель романа все время чувствует, что зреют силы будущего, что эти силы не только уничтожат господство капиталистических хищников, которые «содержат, как публичных девок, правительства», но и создадут новый социальный порядок на основах справедливости.

Очевидно, что изображение буржуазного мира дано в этом произведении не так, как в «Жан-Кристофе», а по-новому. В «Провозвестнице» уже властно проявляется своеобразие социалистического реализма. Эта часть романа создает впечатление необозримой дали, настоящее освещено здесь будущим.

Судьбы современной интеллигенции — важнейшая область романа, оказывающая воздействие на характер и развитие всего произведения. Здесь все проникнуто пафосом решающих перемен, происходящих в сознании интеллигенции в обстановке краха капитализма и подъема широкого народно-освободительного движения.

Действие романа разворачивается в годы, когда на историческую арену выступают дуче и фюреры, когда фашистский террор свирепствует в Европе. Оно выходит на большой путь истории, по мере того как основное значение в «Провозвестнице» начинают приобретать мотивы борьбы и собирания всех живых сил для отпора врагам человечества. Это произведение Роллана, пролагавшее — вслед за «Огнем» Барбюса — дорогу социалистическому реализму во Франции, было первым и самым мощным антифашистским романом в европейской литературе.

Не ограничиваясь тем, что он обнажил «отвратительную пустоту бесплодной, иссушающей жизни» и показал, как всюду накапливается возмущение капиталистическим строем, автор «Провозвестницы» с горячим воодушевлением свидетельствует о том, что растут и закаляются преданные своему идеалу борцы за социальную справедливость.

Роман показывает людей, которые готовятся вступить в схватку или уже участвуют в ней. Долго шла по «джунглям» современного

капитализма Аннета Ривьер, израненная, продираясь сквозь чащу. Ее поддержкой была страстная жажда человеческой полноценности, жажда больших, подлинных, неоскверненных чувств, жажда искренности, жажда «человеческого величия». На каждом шагу Аннета убеждалась в неосуществимости своих стремлений, но лозунгом ее всегда было: «Не сдаваться, смотреть, не опуская глаз, умереть, идя вперед». И эта трагическая и смелая искательница шла с гордо поднятой головой, падала иной раз, сбита с ног, и, собрав силы, вставала, чтобы продолжать свой путь.

Образ «Аннеты в джунглях» — одна из вершин роллановского творчества. Даже если бы здесь остановилось движение романа, такой образ представлял бы исключительную ценность. Но это было лишь преддверием будущего Аннеты, лишь подготовкой к самым большим событиям ее большой жизни.

В книге «Смерть одного мира» и в последовавших за нею «Родах» (1933) Аннета Ривьер становится участницей антифашистской борьбы. Она вовлечена в широкий поток событий. Она уже не одинока, как была когда-то, ее стремления поддержаны честными и смелыми людьми, которые становятся рядом с нею. Вырастает, чтобы «продолжить» Аннету, сын ее Марк.

Образ молодого человека, в которого мать постаралась вложить все лучшее, что могла дать ему, занимает главное место в последних частях романа. Сравнивая своего героя то со стендаловским Жюльеном Сорелем, то с Люсьеном из «Утраченных иллюзий» Бальзака, автор как бы подчеркивает значение этой фигуры, восходящей к великой национальной реалистической традиции и вместе с тем дающей новое направление французскому роману.

Марк Ривьер — мужественный и смелый человек, который «никогда не сложит оружия» в борьбе за социальную справедливость. Однако переход от стихийного возмущения к антифашистской борьбе дается ему нелегко. Он видел, как один из его друзей, Симон Бюшер, был буквально стерт с лица земли за попытку анархического протеста, и он хорошо знает, что один в поле не воин. И все же Марк Ривьер с трудом выходит на широкий путь, и первые шаги его отмечены трагической двойственностью. С университетской наукой, со всем жизненным опытом, который он приобрел в Париже, Марк впитал в себя иллюзии буржуазного индивидуализма, и для того, чтобы отбросить их, нужны серьезные усилия.

Затруднения, через которые проходит сын Аннеты, имеют типическое значение. В романе дана широкая картина кризиса современной интеллигенции в странах капитализма. Многочисленные интел-

лигенты, «проститутирующие разум», покорно служат реакции и помогают обманывать народ. Они всячески раздувают «болезнь всего европейского сознания» и суеются вокруг разлагающегося «трупа цивилизации». Это ничтожества, способные совершить любую гнусность, любое преступление по приказу своих господ.

Роллан клеймит таких интеллигентов презрением. Это — сатирическая сторона романа. Но самое пристальное внимание автора привлекает интеллигенция среднего слоя, утешающая себя иллюзиями свободы и независимости и занимающая позицию невмешательства. Здесь много искреннейших людей, которые предрассудки принимают за самое ценное и носятся с косностью как с сокровищем.

Такие интеллигенты, «словно запутавшиеся в паутине большие мухи, продолжают жужжать, они хотят убедить себя в том, что они еще свободны, но с каждым движением крыльев запутываются все больше».

В романе дана всесторонняя оценка широко распространенных иллюзий и вскрыты их корни. Автор недаром подошел к этому произведению после того, как было написано «Прощание с прошлым», где вступление интеллигенции на новый путь было аргументировано с неотразимой убедительностью. Сила и привлекательность изображения передовых людей в «Провозвестнице» заключена в том, что это глубокий реалистический анализ, показывающий неизбежность образования широкого прогрессивного движения интеллигенции, идущей с народом.

В романе показано, что поколебалось основание всех иллюзий, которые воспитывал в интеллигентах капитализм, что разрушены привычные представления. «Служители духа» охвачены тревогой, они чувствуют, что разорванная глубокими трещинами почва колеблется у них под ногами. На том месте, где еще недавно высился рухнувший фасад буржуазной цивилизации, осталась куча мусора. О том, что они выросли в «пустыне индивидуализма», что им было привито «индивидуалистическое бесплодие», начинают догадываться учителя, профессора, инженеры, писатели, еще недавно пребывавшие в состоянии спокойствия.

Для многих деятелей культуры в этот «решающий час» открывается путь в будущее. Происходит превращение людей, «привыкших только думать», в людей, «умеющих действовать».

Мы видим, как совершается отрыв лучших мастеров культуры от своего прошлого, их второе рождение. Люди неузнаваемо меняются, очищаясь от грязи старого мира. Рассматривая путь современной интеллигенции, Роллан не сторонится ни одной возникаю-

щей здесь проблемы, невзирая на ее сложность или болезненность. Откровенность и беспощадность позволяют ему с необходимой полнотой отобразить великий процесс духовного раскрепощения лучших элементов интеллигенции, становящихся на сторону народа.

Два особенно ярких, сложных образа возникают в романе: «старый Улисс», бывший аристократ, утонченнейший знаток старых культур — Бруно Кьяренца, и профессор Жюльен Дави, «неисправимый пессимист» и «стойк». Эти мудрецы, оплакивающие развалины европейской цивилизации, переживают горькое разочарование и становятся скитальцами. Бруно Кьяренца проводит годы в среднеазиатских пустынях, «раскапывая мертвые города, погребенные в песках», а Жюльен Дави мечется с такой же безнадежностью по пустыням современной Европы, тщетно зывая к «человеческому достоинству».

Жюльен Дави видит, что перед миром «разверзлась пропасть», и относится к этому с «ницшеанским пессимизмом». Как и Бруно, он бесконечно далек от «действия». Он — «чистый» мыслитель. Велико отчаяние этих людей, видящих, как варварство захлестывает мир. Но как могут эти мыслители решиться на то, чтобы «действовать»?

И все же так остро создавшееся положение, так острый «решающий момент» истории, что и они, «никогда не думавшие в один прекрасный день попасть в самый водоворот политики», становятся застрельщиками антифашистского движения интеллигенции и сближения с народными массами.

«Великий отшельник» Дави «вовлекается в армию революции». Он идет на разрыв со своим старым учителем, который продолжает верить в спасительную силу уединения. Он становится участником массовых митингов. Старый профессор, знавший до сих пор лишь кресло своего кабинета и кафедру в университете, выходит на трибуну бурных рабочих собраний. Ему очень скоро начинает казаться, что он всегда был борцом — настолько легко и радостно осваивается он с новой ролью: «Разве и раньше не метал я железных стрел в убеждения врага!»

Происходит стремительная и глубокая переоценка ценностей. Отбрасывается хлам «индивидуалистического бесплодия». Молодеют, зажигаются огнем глаза «старого Улисса», «великий отшельник» становится в ряды борцов против войны и фашизма.

Аннета Ривьер идет с Бруно и Жюльеном. Через них она узнает очень многое о «джунглях» современного духа, и это помогает ей составить более правильное представление о действительности.

Вместе с ними она вступает в международное движение прогрессивной интеллигенции. Аннета уже далека от того тяжелого времени, когда ей казалось, что она обанкротилась. Найдя твердую опору и большую общественную цель своих исканий, она уверенно смотрит в будущее. Сын Аннеты, который всегда занимал самое важное место в ее жизни, которого она готовила к тяжелой и беззаветной борьбе, начинает активно проявлять себя.

«Продолжая» Аннету, Марк выходит на широкий путь. Мать, с такой заботой и нежностью растившая своего «зверька», настороженно следит за тем, как Марк становится взрослым и самостоятельным. Образ формирующегося молодого человека, готового вступить в бой за социальную справедливость, раскрыт в романе очень полно, глубоко, проникновенно. В этом образе, содержащем так много нового и небывалого и вместе с тем перекликающемся с французской демократической традицией, скрестились самые существенные, самые волнующие мотивы всего произведения.

Развитие Марка не идет по прямой линии — оно связано с серьезными трудностями. Молодой человек, похожий на свою мать непримиримостью, мужеством, стойкостью, вылеплен из прекрасного, добротного материала, но и его коснулась грязь старого мира, и над ним тяготеет наследие «хаотического индивидуализма». Как и многим другим, ему приходится преодолевать цепкие предрассудки фальшивой свободы, «мушинные» иллюзии. И хотя он уже давно понял, что необходимо вступить в борьбу против варварства, которое готово захлестнуть весь мир, он еще долго путается в тенетах сомнений и опасений.

Сделавшись участником антифашистского движения, он начинает ненавидеть обособленность многих интеллигентов от народа. Он «изголодался по действию». Но он недаром в течение долгих лет оставался «Дон Кихотом, защищающим проигранное дело». Он хочет действия и боится его. Ему отвратительны пассивность, «приклеенность к креслу», но он еще долго колеблется, прежде чем перейти на сторону рабочего класса.

«Идеология борьбы наталкивалась в нем на сопротивление».

О том, как это происходит, в «Провозвестнице» рассказано самым подробным образом. Не для того, чтобы заняться чисто психологическими изысканиями в манере какого-нибудь Бурже, а для того, чтобы вскрыть до конца все противоречия, с которыми встречается молодежь, вступающая на новый путь борьбы, Роллан так тщательно, с таким вниманием к тончайшим деталям изображает трудную «борьбу с чудовищами», которую ведет его молодой герой.

Фашизм находит в Марке Ривьере яростного и мужественного противника. Он непримирим и не пойдет на компромисс с прошлым, но в нем еще копошатся опасения относительно того, совместим ли социализм со свободой личности и удастся ли ему «найти свое настоящее место в рядах рабочего мира». «Хаотический индивидуализм» поднимает голову. Марк проходит через мучительные резкие колебания.

Следуя за страстными метаниями Марка, мы видим, как настойчиво он ищет путь к народу. Ни одно сомнение героя не обойдено автором. Картина приобретает исключительную насыщенность, ибо шаг за шагом, с непреодолимой логикой, события приводят к тому, что разрушаются иллюзия за иллюзией, предрассудок за предрассудком.

Раскрывая с такой полнотой и наглядностью, с такой силой убеждения образ Марка Ривьера, который не может не вызывать самой искренней симпатии, автор романа стремится показать необходимость прогрессивного пути для каждого честного интеллигента в капиталистическом мире. Он резко разоблачил попытки компромисса, «сочетания одного и другого».

От «трагической двойственности» Марк идет к цельности, от отчаяния — к мужеству. Роман, далекий от схематизма, вводит читателя в лабиринт этих сложнейших колебаний. С мастерством и мудростью настоящего «инженера человеческих душ» автор «Провозвещницы» показывает, насколько трудно бывает вырвать прочно укоренившиеся предрассудки.

Как и самому Роллану, его герою удастся в конце концов «разрешить кажущееся непримиримым противоречие между стремлением мыслить *над схваткой* и необходимостью действовать *в схватке*».

И когда, наконец, Марк, пройдя трудный путь, покидает «бесплодную пустыню индивидуализма» и «принимает решение посвятить себя великому делу, подготовиться к надвигающейся социальной битве, собрав все свои силы», то это воспринимается как великая и заслуженная победа. Сын Аннеты Ривьер поднимает на свои молодые плечи всю тяжесть исканий матери. «Действие входит, как солнце», в его жизнь.

Отныне он считает своим высшим долгом «служить в армии угнетенных, которая должна сломать старый порядок социальной несправедливости». И он с честью выполняет эту свою священную обязанность.

В Марке Ривьере дан жизненный образ интеллигента, который становится в ряды антифашистского движения. Это полнокровный

и цельный образ, в котором очень важное место занимают идейные искания и который обрисован многогранно — так, что человеческая личность предстает перед нами во всех своих проявлениях — любви и ненависти, радости и горя, торжества и разочарования.

В «Очарованной душе» во весь рост показаны передовые люди своего времени. Творчество Роллана всегда тяготело к изображению положительного героя; в частности, «Жан-Кристоф» был серьезной попыткой в этом направлении. Продолжая следовать этой творческой программе, угадывая то новое, что приносит действительность, Роллан с глубоким проникновением раскрывает в «Очарованной душе» образы новых людей, не только бросающих вызов буржуазному обществу, подобно Кристофу, но и творящих будущее, участвуя в «создании нового порядка, нового мира», подобно Аннете, Марку, Жюльену Дави, Бруно Кьяренца.

Это было огромным творческим достижением Роллана, смелым новаторским открытием на пути социалистического реализма. Переход лучших представителей западноевропейской интеллигенции на сторону народа раскрывается в романе как историческая необходимость. В «Провозвестнице» освещена интереснейшая область современной жизни, на страницах этого произведения запечатлены явления огромной значительности, взятые в перспективе того будущего, которое было заложено в них.

Сегодня этот роман 30-х годов воспринимается не только как замечательно глубокое реалистическое изображение процесса расщепления интеллигенции, сделанное, так сказать, по горячему следу, но и как предистория могучего движения сторонников мира, охватывающего в наше время все страны и континенты. Роман и поныне сохраняет всю свою злободневность и остроту.

Привлекательной особенностью романа «Очарованная душа» является то, что, будучи насыщен политикой и философией, он никогда не перестает быть повествованием о людях со всеми их страстями. Вспомним, как много трогательнейших страниц в романе посвящено материнству. И, как всегда, мысль Роллана поднимается в изображении материнства до патетического обобщения: если Аннете пришлось бесконечно много выстрадать, воспитывая своего ребенка, то каким же прекрасным представляется то время, когда дети всего человечества будут расти в свободных, ясных, плодотворных условиях социалистического общества!

С глубоким волнением рисует Роллан величественный образ СССР, который занимает важнейшее место в двух заключительных

книгах «Очарованной души». Это образ нового мира, образ будущего, образ человеческого счастья.

Перед взорами всех честных людей во всем мире он постоянно возникает «как пример и как опора».

Ромен Роллан создал произведение, насквозь пронизанное сознанием того, что в великой борьбе рождается новый мир. Еще в 20-х годах в переписке Роллана с Горьким возникает замечательная формула «эстетики справедливости». В «Очарованной душе» она внушительно проявляется в общем замысле и развитии основных мотивов произведения, направленного к тому, чтобы послужить великой цели освобождения человечества от капиталистического рабства. Пафос произведения коренится не только в ясном понимании того, куда идет действительность, но и в активном вмешательстве в ход исторического развития, в борьбе за новый, справедливый социальный порядок.

В годы работы над «Провозвестницей», когда происходят решающие перемены во взглядах Роллана, он внимательно изучает труды В. И. Ленина, черпая в них вдохновение. Он обращается к Ленину и за ответом на вопрос, каким путем должна идти литература, являющаяся голосом пробуждающихся масс. В статье «Ленин. Искусство и действие» (1934) он выводит «высший закон искусства» из глубочайшей связи искусства с освободительным движением, с историческим творчеством масс. Исходя из учения Ленина, он формулирует творческую программу реализма, который можно назвать по праву социалистическим, хотя Роллан и не применяет этого термина. Замечательная статья бросает свет на те революционные изменения в творческом методе писателя, которые заметны в заключительной части «Очарованной души» и которые особенно наглядны при сопоставлении этого произведения с романом «Жан-Кристоф».

Все, что было так неотразимо привлекательно в Кристофе, воплощено в новых героях Роллана, но к кристофовским качествам присоединяется и нечто новое, очень важное. Перед нами люди, уверенно борющиеся за освобождение человечества. Они наделены могучей способностью действия. В их облике отразились великие перемены, происшедшие в мире. Это не святые гуманизма, а гуманисты с оружием в руках, как сказал Генрих Манн.

Недаром впоследствии, в «Панораме», с жестокою прямою будет сказано о Кристофе, что этот «человек в пути» слишком похож на свое подобие — человека, изваянного Роденом: у него широкий

шаг, но нет головы; у него только торс, внутри которого бьется могучее сердце».

Характерно, что сквозь весь роман «Очарованная душа» проходит мысль о преемственности. Выбывший из строя всегда будет «продолжен» другими. Так, Аннета Ривьер, потерявшая сына, убитого итальянскими чернорубашечниками, становится на его место, а на пороге своей смерти она твердо уверена в том, что «будет продолжена». Это новое для Роллана сознание непобедимости очень существенно. В нем выражен оптимистический пафос романа.

Нельзя не обратить внимания на очень своеобразный прием, который несколько раз применяется в «Провозвестнице»: для того чтобы придать повествованию предельную наглядность, автор сам вступает в действие и сообщает о том, что он видел Марка в Париже и долго беседовал с ним или что видел Аннету и Марка в Тессино, во время пребывания их в Швейцарии. Он как бы свидетельствует о подлинности своих любимых героев, о том, что они существовали в действительности.

Такое приближение художественного вымысла к жизненной реальности нельзя не поставить в связь с тем, что создание последних частей «Очарованной души» было неотделимо от участия Роллана в антифашистском движении. Многие публицистические страницы этого произведения возникли в пылу борьбы. Мужественные антифашистские герои «Очарованной души» были выхвачены из жизни в полном смысле этого слова. Это было смелое творческое обобщение явлений действительности, которые еще только намечались. Актуальность «Провозвестницы» заключалась не в каких-либо внешних моментах, а в том, что пылкий взор писателя проник в новую область действительности, представляющую огромный и жгучий интерес. Так глубок, отчетлив, увлекателен реализм событий и героев этого произведения, что о романе его можно сказать: это сама жизнь.

Это великий роман, в котором подняты жизненно важные вопросы и который является призывом к борьбе за счастье человечества; это неповторимое по форме, современное в самом глубоком смысле слова произведение, — между страницами романа и страницами публицистики, которая становится в эти годы боевым оружием Роллана, трудно провести резкую грань. Здесь есть глубочайшая внутренняя связь, полное совпадение идей и полное единство настроения. Подобно каждому публицистическому выступлению Роллана, поднимавшему самые животрепещущие вопросы своего времени и объединявшему людей, роман был средством воздействия на ши-

рокие массы, средством дружеского общения с миллионами людей, которые черпали в «Очарованной душе» уверенность в своих силах, энергию и волю к борьбе за мир и социальную справедливость.

Как известно, в 30-е годы Роллан ведет неустанную работу по собиранию сил демократии. Он разоблачает маневры империализма, готовящего новую мировую войну, он становится одним из крупнейших деятелей антифашистского движения и борцом за мир. К его голосу прислушиваются во всех уголках земного шара.

«Мужественный и непоколебимый рыцарь справедливости», — говорит о нем Горький.

С негодованием и возмущением Роллан клеймит каждое новое преступление фашиста Муссолини, клеймит фашизм Гитлера, чьи преступные намерения он разгадал задолго до того, как коричневая чума завладела государственной властью в Германии. Он разоблачает затеи тогдашних «панъевропейцев» вроде Гастона Риу, срывая с них маску и показывая, что они служат империализму.

Он прилагает все усилия к тому, чтобы организовать широкое народное движение в защиту мира. Амстердамский конгресс 1932 года, конгресс, состоявшийся в зале Плейель в следующем году, Парижский конгресс в защиту культуры (1935) — во все эти мероприятия, вместе с Горьким и Барбюсом, вложил свою огненную энергию и Роллан.

Вскоре после завершения «Очарованной души» Роллан выпускает две замечательные книги: «Пятнадцать лет борьбы» и «Мир посредством революции» (1935). Это — сборники его публицистических выступлений; каждый из них проникнут единой цементирующей идеей.

Перелистывая страницы этих книг, подводящих итог самой блистательной поре жизни и творчества великого писателя, постоянно ощущаешь творческое горение, неудержимую целеустремленность, ясность мысли, настойчивость и последовательность, которые отличают Роллана-борца.

Книга «Пятнадцать лет борьбы» дает представление о том, как освобождался Роллан от предрассудков «абстрактного прекраснотушения», как он вступил в антифашистское движение и действовал в его рядах, как совершился переход Роллана «на сторону СССР». Собранные здесь выступления наглядно показывают политическое и творческое развитие Роллана в охватываемый книгой период: 1919—1934 годы. Книга открывается большим вступлением — «Панорамой», в котором еще полнее и еще глубже, чем в памятном «Прощании с прошлым», показано, как обогатило, воодушевило и

подняло великого писателя влияние Октябрьской революции, как осуществилось теснейшее его сближение с жизнью и чаяниями французского народа. Здесь много очень острой самокритики. Здесь все проникнуто пафосом участия в могучем народном движении, пафосом борьбы за новый мир.

Эта «панорама» духовных исканий Роллана охватывает лучшие его годы, когда писатель «бросается в схватку» и оказывается в первых рядах борцов за новый социальный порядок. Он рассказывает, как настойчиво шел по «неосвященному пути» к этой цели, «то и дело спотыкаясь о преграды, ушибаясь, падая, уклоняясь в сторону, поднимаясь и вновь упорно продолжая идти», и как он «достиг, наконец, нового мира».

«Панорама» дает наглядное представление о том, что «революция в умах», происходившая во всем мире после войны 1914—1918 годов и Великой Октябрьской социалистической революции, отразилась и на взглядах Роллана и вызвала глубокие изменения во всем его творчестве. Это одно из тех выдающихся произведений мировой литературы, которые дают возможность заглянуть во внутренний мир художника в период решающего и плодотворного перелома. Роллан написал «Панораму» столь же откровенно и страстно, как «Прощание с прошлым», стремясь сделать и это произведение примером и уроком для тех, кто последует по проложенному здесь пути.

Роллан неоднократно подчеркивает в «Панораме», что Аннета и Марк Ривьер являются художественной проекцией его собственных взглядов и настроений. Роллан прямо сближает их путь, их искания с тем, что он пережил сам, но это не значит, конечно, что он собирался сделать Ривьеров простыми «рупорами» своих взглядов. Он хотел подчеркнуть типичность этих образов, в которых могли легко узнать себя многие и многие честно мыслящие интеллигенты капиталистического мира.

В этом отношении крайне интересно отмеченное в «Панораме» совпадение работы над образами Марка и Аннеты с подготовкой исторического Амстердамского конгресса. В двух, казалось бы совершенно различных, планах разворачивались одни и те же идеи, одни и те же чувства. Вот это место:

«Кто за войну, тот за фашизм, тот за реакцию, ибо молодые силы, перестраивающие жизнь на социалистических и коммунистических началах, силы, растущие в СССР, нуждаются только в мире и стремятся к нему, чтобы жить и победить.

Такова программа, которую я ранее изложил устами «Очарованной души» и которую я предложил Всемирному антивоенному конгрессу всех партий, происходившему с 27 по 29 августа 1932 года в Амстердаме».

Вот как тесно переплеталась действительность с ее отражением в романе, который сам был оружием действия, а не только картиной событий.

Сборник «Пятнадцать лет борьбы» начинается «Декларацией независимости духа», которая приводится как исторический документ, подвергаемый критике, и заканчивается семнадцатью выступлениями 1933—1934 годов под общим названием «Против фашизма в Европе». Огромный размах антиимпериалистической, антифашистской борьбы, которую вел Роллан в эти годы, отражен в этой книге. В противоположность прошлому, она могла бы быть названа «В схватке».

Сам автор счел нужным наметить в «Панораме» основное направление боевых публицистических статей, собранных в книге:

«Их можно разделить на четыре категории, и это будут четыре стороны одной и той же деятельности:

1. Защита СССР.

2. Защита мира во всем мире.

И с другой стороны:

3. Борьба против капиталистического и военного империализма как в Европе, так и в колониальных странах.

4. Борьба против фашизма, особенно усилившаяся за последние годы».

Во всех этих направлениях, составляющих одно главное направление, неутомимо сражался Ромен Роллан, став «славным воином Армии действия, преобразующей мир».

Характерно, что сборник «Пятнадцать лет борьбы», являющийся зеркалом этой беззаветной деятельности, сопровождается авторской ремаркой: «Эту книгу я завершаю в разгар боя».

Величественный, сверкающий образ СССР проходит сквозь всю «книгу. Вот некоторые высказывания Роллана, получившие широчайшую известность:

«Если СССР подвергнется угрозе, то, кто бы ни были его враги, я стану на его сторону... Я верю и знаю, что он воплощает самый героический опыт, самую прочную социальную надежду будущего. Если бы он исчез, я перестал бы интересоваться будущим Европы».

«Я не приемлю Европы, не приемлющей, без задней

мысли, СССР... СССР неизменно остается необходимым оплотом против европейской реакции».

«Мы видим из сумерек нашего Запада, как на Востоке занимается новая заря... широкие горизонты новой эры». «Вы несете на своих плечах человечество», — говорит Роллан, обращаясь к советским людям.

И в романе «Очарованная душа» и в публицистике славных «годов борьбы» образ Советского Союза имеет основополагающее значение. Он освещает своим светом новые произведения Роллана, весь путь его.

В книге «Мир посредством революции» содержится самое последовательное, отчетливое и глубокое определение роли интеллигенции в борьбе против фашизма и новой мировой войны. Красной нитью сквозь всю эту книгу проходит утверждение, что только в народе интеллигенция обретает свою настоящую почву, что, только выражая интересы народа, писатель, как и всякий другой мастер культуры, обретает подлинную возможность творчества.

Рассматривая современную эпоху как «эпоху великих изменений», Роллан призывает мастеров культуры действовать в интересах народа, отбросив все «фантомы высоких слов». Роллан стремится помочь интеллигентам «прояснить свою идеологию».

Это книга, раскрывающая перед народами величественную перспективу освобождения, зовущая все демократические силы к сплочению, к отпору фашизму и войне. Самую надежную защиту человечества, самую надежную опору в борьбе против фашизма Роллан видит в СССР, которому он предан всеми своими мыслями, чаяниями и надеждами.

В этих двух книгах не раз возникает имя Горького, которого Роллан считает своим ближайшим другом и товарищем по оружию.

С величайшей нежностью говорит Роллан о Горьком, называя его «строгим наставником интеллигенции». «Анализ и истолкование взглядов Горького на истинный и ложный индивидуализм, на волю масс, как она проявляется в великие эпохи их творческой активности, и на их героический порыв, передающийся отдельной личности, — пишет он, — рассеяли последние тени, еще тяготевшие над моей идеологией, и помогли мне обрести, наконец, ту гармонию между личным и общественным, которую я искал годами».

Роллан находит прекрасное образное сравнение, чтобы выразить свою родственную близость к Горькому: «Почва вокруг меня была истощена, иссушена. Но я протянул свои корни и достиг под почвой Европы плодородных пластов русского народа, необъятной жизни,

пробужденной в глубинах СССР. Как раз в конце этой подземной работы мои корни встретились с корнями Горького. И они братски сплелись с ними».

Внимательно изучавший советскую литературу, гордившийся ее успехами, Роллан оставил много глубоких и содержательных суждений о ней.

Важнейшим событием в жизни Роллана был его приезд в Советский Союз летом 1935 года. Он был гостем Горького и, несмотря на свою болезнь, жадно стремился побольше впитать в себя впечатлений и знаний о Советском Союзе, который он называл своей новой родиной.

Творчество Роллана как бы обретает секрет вечной молодости. Только что закончив с таким огромным подъемом, с такой чудесной свежестью цикл «Очарованная душа», Роллан блистательно завершает серию драм о Французской революции, к которой восходят истоки всего его творчества. Драма «Робеспьер» венчает этот величественный замысел, Шекспировское начало торжествует здесь над тем «абстрактным прекраснодушием», которое проявлялось в наиболее слабых частях цикла. Глубина познания исторической действительности позволяет автору воссоздать момент высшего подъема революции и вскрыть причины поражения якобинцев. Драма производит глубокое впечатление заложенными в ней идеями, силой и яркостью встающих в ней образов прошлого.

Огромную, вызывающую всеобщее восхищение работу ведет Роллан-публицист. Вместе с голосом Горького его голос звучит на весь мир, призывая человечество собрать силы для отпора фашизму и войне, которая «надвигалась со всех сторон и угрожала всем народам».

Ни одно историческое событие предвоенного времени не проходит без активного вмешательства Роллана. Всю свою могучую энергию народный писатель употребляет на то, чтобы воспитать широчайшие массы во Франции и во всем мире в духе ненависти к фашизму, к империалистическому угнетению, к войне. Он звал массы дать отпор врагам человечества и делал все, чтобы сплотить их в грозную силу, способную защитить мир, свободу и демократию.

Он верил в неодолимую силу народных масс. «Судьба грядущей войны в руках рабочего народа, — писал он. — В его власти задумать ее». Стремясь поднять своими выступлениями «самосознание народов мира», Роллан исходил во всей своей деятельности из неопровержимого убеждения, что народы имеют достаточно силы и авторитета, чтобы «предписать миру мир».

В 1936 году все прогрессивное человечество отметило семидесятилетие Роллана. Особенностью этого юбилея было то, что он далеко вышел за пределы литературного торжества. Воочию предстали перед всем миром тесные и многообразные связи творчества великого французского писателя с жизнью и освободительной борьбой народов. Роллана чествовали как неумоимого борца за дело трудящихся, и это было самым высоким признанием его исторических заслуг.

В годы, предшествующие второй мировой войне, Роллан находится на передовых позициях антифашистской борьбы. Он неустанно напоминает всем честным людям об «опустошениях, произведенных зверской победой необузданного фашизма» в Италии и в Германии, предупреждая, что гитлеровские бандиты сделали ставку на войну и что «Германия в их кулаке — огромный зажженный факел».

Он поднимает свой голос в защиту республиканской Испании и стремится сплотить вокруг этого благородного дела «все силы прогресса, всех людей доброй и мужественной воли, сражающихся за социальную справедливость». С возмущением он разоблачает комедию «невмешательства», требуя, чтобы Французская республика оказала помощь испанскому народу, который мужественно боролся за свою свободу.

Коммунистическая партия Франции постоянно поддерживает Роллана в борьбе против фашизма и войны. Роллан относится к партии с глубоким доверием и симпатией. В обращении к Национальной конференции КПФ в январе 1937 года он подчеркивает с искренним удовлетворением, что «эта партия по логике исторического процесса и благодаря ее собственной мудрости стала истинной представительницей не только французского народа и его международной миссии, но и правильной, здоровой французской национальной политики». Эти мудрые слова могут быть полностью повторены и сегодня.

После возвращения из Советского Союза Роллан часто говорил о том, что у него прибавилось сил и энергии. И это подтверждается его бурной и всесторонней активностью. Видя в СССР «величайшую надежду всего человечества», «самую мощную гарантию социального прогресса» и оплот мира во всем мире, Роллан ведет широкую разъяснительную работу, чтобы вырвать с корнем клевету буржуазной печати.

У автора «Очарованной души» завязались крепкие дружеские связи с советскими людьми. Охватывая самые разнообразные вопросы, разрасталась его переписка с рабочими завода «Электросталь» в Ногинске, с рабочими и колхозниками Азово-Черноморья, с пионерами Игарки, со студентами МГУ, с иностранными рабочими, участвовавшими в строительстве Магнитогорска, и с отдельными лицами. Этих писем было так много и в них было столько интересного, что Роллан одно время собирался опубликовать полученные им из СССР письма отдельной книгой.

«Невозможно устоять, — писал он, — перед порывом радости и энергии, которым дышит героический оптимизм этого идущего вперед мира».

Незадолго до начала новой мировой войны Роллана постигли тяжелые утраты. Умер Барбюс, «храбрый солдат социальной мысли, который действовал и боролся» до последнего своего часа. Умер великий Горький, с которым Роллана связывали двадцатилетняя тесная дружба и братство в борьбе за мир. С глубокой скорбью он оплакал гибель «старого буревестника, воспевавшего бури, которые потрясают и обновляют человечество».

Неоднократно в эти годы Роллан окидывал взором весь пройденный им путь, и о тех замечаниях, которые он делает в этой связи, нельзя не упомянуть.

«Я — автор не только книги «Над схваткой», которая не более, чем один час моей жизни, и на которую вы ссылаетесь двадцать лет спустя, — пишет Роллан, полемизируя с одним американским инженером, работавшим в СССР, но не понимавшим сущности советского образа жизни. — Я — автор «Очарованной души», последние томы которой рисуют внутреннюю борьбу свободомыслящих интеллигентов перед лицом трагических социальных проблем сегодняшнего дня... Больше того, я также автор «Театра Революции», давшего мне с юных лет возможность жить в духовной близости с деятелями Французской революции...»

«Моим глубоким желанием, как писателя, всегда, с молодых лет было почувствовать себя духовно связанным с трудящимися массами, заслужить их любовь и доверие, — писал Роллан рабочим «Электростали», выражая благодарность за посвященный ему специальный номер заводской газеты. — Их доверие и любовь мне дороже, чем признание моих собратьев писателей, ибо искусство, которое я люблю и которому я служу, не является роскошью, предназначенной для избранных, а есть и должно быть для всех людей

хлебом насущным, оно соткано из их радостей и горестей, из их борьбы и труда».

Эти слова бросают яркий свет на все творчество Роллана. В этих признаниях — весь Роллан лучшей поры своей жизни. Уверенно идет он к великой цели, сознавая, что говорит и действует от имени пробуждающегося, ощутившего свою силу народа.

Незадолго до начала второй мировой войны Роллан публикует драму «Робеспьер», завершив этим произведением давно начатый цикл, посвященный Французской революции. По его признанию, еще «дело Дрейфуса» «пробудило в нем Французскую революцию», но раскрыть все значение этого исторического события Роллану удастся лишь в годы своего великого творческого расцвета.

В драме «Робеспьер» дана — в противовес многому, что ранее изображалось в других частях эпоса, — правильная оценка деятельности якобинцев как высшей точки, которой достигла буржуазная революция. Огромный политический опыт, накопленный Ролланом за «годы борьбы», помог ему правильно понять борьбу классовых сил в период революции и оказал глубочайшее влияние на его историческую концепцию. В драме «Робеспьер» Роллан пересматривает свое отношение к Французской революции, выраженное в «Торжестве разума», «Леонидах», «Игре любви и смерти». Это позволило ему создать произведение, полное героического пафоса. Фигуры великих якобинцев — Робеспьера, Сен-Жюста, Леба, Кутона — отличаются увлекательной жизненностью, они представлены правдиво, в их подлинном историческом значении.

Роллан справедливо видит в якобинской диктатуре вершину Французской буржуазной революции. Он показывает, что Робеспьер и его сподвижники были революционными демократами, отстаивали интересы плебейских низов и стремились обуздать разбушевавшуюся буржуазную реакцию. Как столкновение величия и низости, исторической правды и лжи, героического великодушия и мелкого шкурничества дано в драме столкновение якобинской диктатуры и контрреволюционного термидорианского подполья.

С глубоким сочувствием рисует Роллан Робеспьера и его друзей. Их человеческое достоинство, их мужество, их кристальная честность, их беззаветная преданность народу показаны убедительными и проникновенными чертами.

Тема народа проходит сквозь всю драму. Она начинается в первой реплике Робеспьера: «Разве я не связал свою судьбу с судьбой народа?» Она преломляется в ряде сцен, где показан страх перед народом, которым охвачены термидорианцы. Она замечательно рас-

кривается в чисто шекспировской одиннадцатой картине, в разговоре Робеспьера со старухой в Монморанси. («Сынок...» — с нежностью говорит Робеспьеру старуха мать, отдавшая революции пять своих сыновей.) Эта тема, наконец, получает самое полное свое развитие в трагической двадцать первой картине, когда вечером 9 термидора на площади у ратуши народ собирается, чтобы защищать Робеспьера.

Хотя в ней и удерживаются некоторые черты отброшенной, порочной трактовки событий, что особенно проявилось в неудачной заключительной сцене, где враги якобинства как бы получают амнистию, драма «Робеспьер» является не только высшей точкой обширного исторического цикла, но и одним из крупнейших достижений всего роллановского творчества.

На глазах Роллана совершилась национальная катастрофа Франции, которую продали и предали реакционные заправилы. Черные годы разгрома и немецкой оккупации писатель провел в местечке Везеле, тяжело больной, прикованный к постели. Этот трагический период был, однако, заполнен не прекращавшейся творческой активностью.

Роллан много написал, но силы ему изменяли, и созданное им не отличается той боевой энергией, которая так бурно проявлялась в его произведениях 30-х годов. Ощущается созерцательность, сказавшаяся в мемуарном характере большинства последних сочинений Роллана.

Пробывая «вне зоны борьбы», он подготавливает к печати ряд воспоминаний, в значительной части написанных, по его признанию, еще в 20-х годах. Таковы «Внутреннее путешествие», «Кругосветное путешествие», «Порог».

Обильно документированное жизнеописание Шарля Пеге, с которым Роллан был тесно связан в начале века, опять-таки имеет мемуарный оттенок. Это весьма внушительное по размерам произведение не дает достаточно глубокого представления о личности Пеге и том сложном и полном противоречий пути, который он прошел. Пеге не рассмотрен здесь внимательным и трезвым взором историка. Исторический портрет написан идеализирующей кистью.

Однако некоторые детали этого произведения производят глубокое впечатление на современного читателя. В тяжелые годы немецкой оккупации Роллан стремится сообщить образу Пеге черты

мужества и героизма, которые так нужны были в те годы защитникам Франции. По его убеждению, «громовой удар 1940 года, в несколько дней изменивший ход истории и взрыхливший почву Франции и дух ее, ослепительным светом озарил образ Пеги».

Роллан стремится представить Пеги в качестве беззаветно преданного Франции человека. Он бросает вызов «апокалиптическому всевластию чудовищной машины смерти, миллионов военных машин, вышедших из германского леса и заполнивших воздух, землю и моря Запада и всей Европы». Он призывает к мужеству и энергии французских патриотов, которые спасут когда-нибудь «маленькую Грецию Запада», как он нежно называет Францию, и «остановят натиск огромных сил, которые завтра будут бушевать на всем земном шаре», если их не сокрушить во-время.

Роллан призывает к ожесточенным битвам за спасение Франции. В жизни Пеги он видит «суровую школу мужества». По его мнению, это «героический облик несокрушимой моральной стойкости», которая «больше всего нужна нашей Франции в наше время».

Если последняя работа Роллана и заслуживала бы серьезных упреков как историческое исследование, то патриотическая воодушевленность этой книги, которая была написана в условиях оккупации, весьма убедительно свидетельствует о том, что писатель был всей душою с тем, кто боролся за честь и свободу родины в рядах французского Сопротивления. Опубликованная позже переписка с участником Сопротивления Э. Валахом свидетельствует, что Роллан ценил всякую возможность войти в соприкосновение с народом в эти трагические и полные опасностей дни.

Он трудится не покладая рук и заканчивает так называемого «большого Бетховена», который является одним из самых грандиозных его замыслов. Таким образом, в черные годы оккупации напряженная творческая активность Роллана не прекращается, несмотря на крайний упадок физических сил. Творческое горение одно только и поддерживает стареющего и подтачиваемого болезнью писателя.

Освобождение Франции осветило солнечным светом его последние дни. Незадолго до своей смерти Роллан приветствовал возвращение во Францию Мориса Тореза:

«Мой дорогой друг!

Я горячо приветствую Ваше возвращение, которого так ждали во Франции. Вашего голоса не доставало Парижу. Пока Париж не слышал его, он не чувствовал себя окончательно освобожденным. Теперь пришел конец страшному кошмару пяти истекших лет. Сделаем же все, чтобы он не мог повториться, и будем работать для

возрождения Франции на ее развалинах. Надо воссоздать национальное умиротворение и мир во всем мире посредством союза всех свободных народов».

Этот документ свидетельствует о том, что Роллан не представлял своей дальнейшей жизни и борьбы вне тесной связи с коммунистами, вместе с которыми он шел, начиная с 30-х годов.

Последним общественным выступлением Роллана было присутствие его в 1944 году на приеме в советском посольстве в Париже в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Он умер, дождавшись рассвета. Французская коммунистическая партия, отдавая «последний долг своему другу, великому учителю французской литературы, светлому борцу за все благородное, одному из лучших представителей прогресса и великодушия», отмечала в своем траурном обращении, что Роллан всегда будет близок народу Франции, а также другим народам, чье дело он преданно защищал.

Этот «мужественный мыслитель» стал поистине народным писателем, которого горячо любили и считали своим верным другом трудящиеся Франции и других стран.

Неоценим вклад Роллана в дело борьбы за мир и счастье человечества. Его творчество обогатило прогрессивную литературу его страны и всего мира. По мере того как углублялись и крепились связи его творчества с жизнью народа, с освободительной антифашистской борьбой, разворачивались во всю мощь и заложенные в нем возможности. Возвысившись до понимания того, что судьбы мира коренным образом изменились и началась новая эпоха в истории человечества, великий писатель правдиво отразил в своих произведениях существенные стороны этой новой эпохи.

В наши дни могучий антиимпериалистический лагерь, отстаивающий дело мира во всем мире, по праву гордится тем, что Ромэн Роллан находится в его рядах, как гордится своим верным сыном народ Франции, чье мужество, чье духовное богатство проникновенно воссозданы автором «Очарованной души».

И. АНИСИМОВ

ДРАМЫ РЕВОЛЮЦИИ

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ

НАРОДУ ПАРИЖА

Перевод
Т. ИВАНОВОЙ

Чтобы нация стала свободной,
ей нужно только захотеть этого.

Лафайет (11 июля 1879 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор стремился здесь не столько к точному описанию событий, сколько к раскрытию моральных истин. Изображая борьбу, овеянную поэтической легендой, он считал возможным свободнее обращаться с историей, чем когда писал «Дантона». В «Дантоне» автор ставил себе задачу как можно точнее обрисовать психологию нескольких действующих лиц, — там вся драма сосредоточена в судьбах трех или четырех великих людей. «Четырнадцатое июля» — полная противоположность: здесь отдельные личности растворяются в народном океане. Чтобы изобразить бурю, нет надобности выписывать отдельно каждую волну — нужно написать бушующее море. Точность в передаче деталей не так важна, как страстный и правдивый схват целого. Есть что-то фальшивое и даже оскорбительное в несоразмерном значении, которое придается теперь маловажным событиям — мельчайшей пыли истории — за счет живой человеческой души. Оживить силы прошлого, все то, что в них сохранилось действенного, — вот в чем наша задача. Мы отнюдь не собираемся предлагать вниманию десятка избранных ценителей старины одну из тех бесстрастных миниатюр, где чувствуется скорее стремление воспроизвести костюмы и моды времени, нежели внутренний мир героев. Разжечь пламенем республиканской эпопеи героизм и веру нации, достичь того, чтобы дело, прерванное в 1794 году, было возобновлено

и завершено народом более зрелым и глубже понимающим свое предназначение, — вот к чему мы стремимся. Если мы недостаточно сильны для того, чтобы осуществить все наши стремления, мы все же полны твердой решимости продвигаться вперед к намеченной цели. Искусство призвано служить не мечте, а жизни. Под влиянием зрелища, изображающего действие, должна родиться и воля к действию.

Июнь 1901.

Ромен Роллан.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Лавар Гош, 21 года. — Высокий, худой; волосы и глаза черные; с правой стороны лба легкий шрам до середины носа; небольшой рот; прекрасные зубы. Выражение серьезности отличает задумчивое с оттенком печали лицо, на котором, как и на всем облике Гоша, лежит отпечаток сильной воли. Печаль едва заметна — он скрывает ее. («Человек этот умрет молодым, изнуренный непосильной работой, неудачами, подозрениями и недугом, который исподволь подтачивает его могучий организм».) Бодрость и отвага берут верх, и в тяжелые минуты он изумляет всех своим юношески-звонким смехом.

Пьер-Огюст Гюлен, 31 года. — Очень высокий, широкоплечий блондин. Флегматичен, молчалив, медлителен, смеется беззвучно, невозмутимо упрям, подвержен внезапным припадкам необузданной ярости. Он остался бы в стороне от борьбы, если бы его не заставлял действовать пример его друга Гоша, а также врожденная порядочность и потребность дать выход своей богатырской силе. («Человек этот, хотя и не проявляет собственной инициативы, но ни перед чем не отступит. Выйдя из ничтожества, достигнет всего и все примет как должное. Впоследствии — граф империи, дивизионный генерал, кавалер ордена Почетного Легиона, губернатор покоренного Милана, Вены, Берлина, комендант Парижа, председатель военного суда, который вынес смертный приговор герцогу Энгиенскому».)

Жан-Поль Марат, 46 лет. — По происхождению испанец, родился в Швейцарии. Очень мал ростом (меньше пяти футов), крепкого сложения, но не толст. Фабр д'Эглантин великолепно набросал его портрет: «Мощная шея, широкое, скуластое лицо, на котором выдавался мясистый нос с горбинкой, чуть загнутый у кончика, почти сплюснутый у основания; небольшой рот часто искривлялся судорожным подергиванием; тонкие губы; большой лоб; серо-желтые глаза, от природы мягкие и проницательные; взгляд уверенный; редкие брови; лицо нездорового, свинцового оттенка; волосы

темные, всегда в беспорядке, растительность на лице темнее волос. Ходил он быстро, размеренным шагом, слегка враскачку, высоко поднимая откинутую назад голову. Руки обычно держал крепко скрещенными на груди, но стоило ему начать говорить, как жесты становились порывистыми. Подчеркивая свою мысль, он выставлял вперед ногу, пристукивал ею о землю и вдруг поднимался на носки, как бы желая дотянуться до высоты высказываемых им мыслей. Сила его голоса, мужественного и звучного, потрясала. Дефект произношения, мешавший точно выговаривать звук «с», который у него получался скорее как «з», и некоторая связанность речи — из-за чрезмерно тяжелой нижней челюсти — искупались убежденностью и энергией, с какою он говорил. Одевался он, не считаясь с условностями моды и вкуса, настолько небрежно, что производил впечатление человека неряшливого». Крайне обостренное восприятие всего окружающего держало его в постоянном напряжении, которое разряжалось иногда неистовыми взрывами. Он обладал редкостным здравым смыслом, глубоко развитым нравственным чувством и был по-настоящему добродушен, хотя и пытался это скрывать. Страстная любовь к истине, стремление к душевной чистоте заставляли его, не лукавя, признавать свои ошибки, когда он их осознавал.

К а м и л л Д е м у л е н, 29 лет. — Адвокат при парламенте. Его портрет дан в «Дантоне». В ту пору, о которой идет речь, он моложе, чем в «Дантоне», но выглядит старше: счастье еще не улыбнулось ему. Он похож на поджарую борзую собаку. Парижский озорник — смелый и бесшабашный; лицо пожелтело, преждевременно увяло от нужды, бессонных ночей и рассеянной жизни; улыбающийся, гримасничающий рот, неправильные черты лица.

М а к с и м и л и а н д е Р о б е с п ь е р, 31 года. — Депутат Национального собрания. Его портрет смотри в «Дантоне». Но сейчас лицо Робеспьера округлее и мягче, на нем еще нет отпечатка суровости, который наложат на него впоследствии усталость и сознание ответственности. Безмолвно возгорающееся светлое пламя. Душа еще не знает, какая таится в ней сила. Но сила эта уже зреет, хотя она и проявляется пока только в его высокомерном, холодном, пессимистическом стоицизме, в том, что, не веря в успех своего дела, он жертвовал ему всем.

Г о н ш о н - «П а т р и о т», 40 лет. — Содержатель игорных при-тонов в Пале-Рояле. Маленького роста, коренастый; большое, одутловатое, изрытое оспой лицо. Тщеславный фигляр, хвастун и лжец, старается казаться грозным, неуклюже пародируя Мирабо.

Ф е л и к с - Ю б е р д е В е н т и м и л ь, маркиз де Кастельно, 60 лет.

Б е р н а р - Р е н е Ж у р д е н, маркиз де Лоней — губернатор Баскии, 49 лет.

Д е Ф л ю з — командир отряда швейцарцев, 50 лет.

Б е к а р — инвалид, 70 лет.

Л у и з - Ф р а н с у а з К о н т а́ — актриса «Театр франсэ», 29 лет. Напоминает женские образы Буше. Полная блондинка, хохотунья, с насмешливым ртом, глазами немного навывкате, покатым лбом и мягкими очертаниями подбородка; дерзкая и чувственная.

«Глаза говорят, взгляд жалит» (Гонкур). Эльмира из «Тартюфа» или, скорее, Сюзанна из «Фигаро». Талия из «Театр франсэ».

Анна-Люсиль-Филиппа Ларидон-Дюплесси (Люсиль Демулен), 18 лет. — Смотри ее описание в «Дантоне», а также прелестный ее портрет работы Буальи в музее Карнавалё. Нежна, чувствительна, ребячлива, романтична и насмешлива.

Маленькая Жюли, 9—10 лет. — Юная дочь народа, голубоглазая, хрупкая, тоненькая, бледненькая.

Мари-Луиз Бужю — торговка овощами. За 60 лет.

Народ, жители Парижа:

Женщина из народа — мать Жюли.

Мальчик 7 лет.

Носильщик.

Маньяк.

Студент.

Владелец столярной мастерской.

Нотариус.

Продавцы газет.

Торговцы из Пале-Рояля.

Девушки из Пале-Рояля.

Солдаты французской гвардии.

Инвалиды.

Швейцарцы.

Зеваки, гуляющие, шеголи.

Рабочие, босаки, женщины из народа, дети.

Все классы. Все возрасты.

Действие происходит в Париже 12—14 июля 1789 года.

Первое действие — в Пале-Рояле, воскресное утро 12 июля.

Второе действие — в Сент-Антуанском предместье, в ночь на вторник 14 июля.

Третье действие — в Бастилии и на площади Ратуши, во вторник 14 июля, между четырьмя и семью часами пополудни.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Воскресенье, 12 июля 1789 года, около 10 часов утра. Из кафе «Фуа» открывается вид на сад Пале-Рояля. В глубине сцены — «Круг»¹. Направо — бассейн с бьющим фонтаном. Между «Кругом» и галереями Пале-Рояля — аллея. Торговцы стоят, не решаясь отойти ни на шаг, у порога своих лавок с патриотическими надписями на вывесках, прославляющими «великого Неккера» и Национальное собрание. Девуцы с обнаженной грудью, с голыми плечами и руками, с букетами цветов, торчащими в прическах, точно султаны, прогуливаются в толпе, вызываясь оглядывая встречных. Разносчики выкрикивают названия газет. Содержатели притонов (и среди них Гоншон) спуют взад и вперед в домашних халатах в сопровождении людей, вооруженных дубинками. Банкометы со складными табуретами подмышкой подходят то к одной, то к другой группе, останавливаются на минуту и тут же, на открытом воздухе, располагаются со своей игрой, сворачиваемой как географическая карта, достают мешки с деньгами и исчезают так же внезапно, как и появляются. Оживленная, беспокойная толпа, еще не знающая, что предпринять. Люди то рассаживаются перед кафе, то вскакивают и убегают при малейшем шуме, становятся на стулья и столы, приходят, уходят. Толпа мало-помалу растет и к концу акта заполняет весь сад и галереи, многие даже влезают на деревья, цепляются за ветви. Тут все классы общества — голодные нищие, рабочие, буржуа, аристократы, солдаты, священники, женщины. Дети продолжают играть, путаясь под ногами прохожих.

Продавцы газет. Раскрыт крупный заговор! Голос! Настает голодуха! Душегубы под Парижем!

Голоса из толпы (*подзывая их*). Эй!.. Сюда!..

Человек из народа (*с тревогой, к буржуа, читающему газету*). Ну, что там?

¹ Так называлась огороженная трельяжем терраса, нечто вроде цветущего грота посреди сада. — Р. Р.

Буржуа. Вы только послушайте, друг мой! Они идут! Немцы, швейцарцы... Париж окружен! Боже! С минуты на минуту они будут здесь!

Человек из народа. Король не допустит этого.

Оборванец. Король? Так ведь и он там, с немцами, в Саблонском лагере!

Человек из народа. Король — француз.

Буржуа. Король — да. Но не королева. Австриячка нас ненавидит. Ее маршал, старик де Брольи, — разбойник, он поклялся раздавить Париж. Мы — в тисках между пушками Бастилии и войсками Марсова поля.

Студент. Войско не тронется с места. Господин Неккер в Версале — он печется о нас.

Буржуа. Да, пока господин Неккер — министр, еще не вся надежда потеряна.

Оборванец. А почему вы знаете, что он еще министр? Они уже убрали его.

Все (*протестуя*). Нет, нет, он остается!.. В газете сказано, что он остается!.. Ах! Не будь господина Неккера, все уже было бы потеряно!

Девуцы (*прогуливаясь*). Сегодня ни от кого никакого проку! Все словно рехнулись! Версаль да Версаль, другого разговору нет!

— У меня был один мальчишка, тот тоже все твердил о Неккере.

— Подумать только! Неужели и вправду эта потаскуха-австриячка засадила наших депутатов в тюрьму?!

Банкометы (*таинственно позвякивая под носом у гуляющих мешками с монетами*). Крепс, десять да десять, тридцать одно, бириби... Попытаем счастья, господа, попытаем счастья!

Торговцы. Еще девяти нету, а в саду полным-полно. Вот что значит воскресенье и хорошая погода, а к вечеру тут совсем не пройдешь.

— Снаружи густо, а внутри пусто. Все приходят сюда, просто чтобы разузнать новости.

— Неважно! Надо только уметь взяться за них!

Гоншон (*торговцам*). Ну как, друзья мои? Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь! Обделявать свои делишки — это еще не все! Разумеется, и о делах не следует забывать, но сейчас надо прежде всего быть добрыми па-

триотами. А главное, не зевайте, черт подери. Имейте в виду, каша заваривается.

Торговцы. Вам что-нибудь известно, господин Гоншон?

Гоншон. Будьте начеку! Шторм надвигается. Все по местам! А как придет момент, подбейте-ка этих болванов и горланьте вместе с ними напропалую...

Торговец. Да здравствует Нация!

Гоншон *(дает ему тумака)*. Замолчи, олух!.. Да здравствует герцог Орлеанский!.. А теперь можешь горланить и в честь нее и в честь него. Так он у нас незаметнее проскочит!

Камилл Демулен *(выходит из игорного дома; он возбужден, смеется, бормочет что-то)*. Ободрали! Обчистили! Предупреждал я тебя, Камилл, что тебя обворуют. Ну и хорошо: все потеряно. Значит, терять больше нечего! Я всегда предвижу свои безумства, но, благодарение богу, это не мешает мне совершать их... Как-никак убил два часа. Где же этот курьер из Версаля? Неужели до сих пор не прибыл? Вот мошенник! Все они спелись, как ярмарочные воры. А ты здесь жди, умирай от нетерпения! Тут тебя и подстерегают эти жулики в своих притонах. Вот и заходишь туда, лишь бы провести время. Надо же чем-нибудь занять руки и все остальное. На то ведь и существуют карты и женщины. Они уж сумеют избавить вас от лишних денег. У меня в карманах гуляет ветер. Кошелек — новехонек! Не желаете ли убедиться? Вот! Ни одной монетки!

Девуцы *(подсмеиваясь над ним)*. Тебя обчистили, чистили, чистили... и еще почистят...

Камилл Демулен. Нашли чем гордиться, летучие мыши Венеры! Обобрали голяка! Ну да черт с вами со всеми, я на вас не в обиде.

Будь у меня, что просадить,
Я просадил бы снова.

Старый буржуа. Кошелек игрока — всегда настежь.

Гоншон. Молодой человек, я вижу, вы нуждаетесь в деньгах. Я готов ссудить под вашу цепочку три эку — только из уважения к вам.

Демулен. Великодушный Гоншон, тебе не терпится содрать с меня последнюю рубашку и, как святого Иоанна, пустить по миру нагишом... Предоставь это здешним девицам — они сумеют управиться и без тебя.

Гоншон. Ах ты, прощелыга, да понимаешь ли ты, с кем говоришь?

Демулен. Ты — Гоншон; этим все сказано. Ты — ювелир, ростовщик, часовщик, банкир, кабатчик, сводник. Ты — все. Ты — Гоншон, король притонов.

Гоншон. Что ты там мелешь о притонах? Я основал несколько клубов, где люди встречаются для естественных и добропорядочных развлечений, а также обсуждают способы преобразования государства. Это собрания свободных граждан, патриотов, заботящихся о благе родины...

Демулен. Бедная родина! Кто только ею не клянется!

Гоншон. Это общество людей, берущих за образец природу и естественного человека.

Демулен. И общество женщин, не противящихся нашему естеству.

Гоншон. Висельник! Если ты так низко пал, что неспособен уважать достойного гражданина, уважай по крайней мере того, под чьим покровительством находится мое заведение и чье имя оно носит.

Демулен (*не глядя на вывеску*). Какое имя? «Сорок воров»?

Гоншон (*в ярости*). Имя великого Неккера.

Демулен. Ты беспощаден к нему, Гоншон... (*Взглянув на надпись.*) А что там, с изнанки?

Гоншон. Так, ничего.

Демулен. Здесь изображен еще кто-то.

Гоншон. Это герцог Орлеанский. Два лика одной персоны.

Демулен. Перед и зад!

В толпе, прислушивающейся к их разговору, смех. Гоншон, которого окружили торговцы, угрожающе наступает на Демулена.

Ладно, ладно, попридержи-ка своих телохранителей! Им ведь ничего не стоит убить человека. Ты хочешь, чтобы я удостоверил твою благонадежность? О, Янус Гоншон! Из-

воль, вот справка: ты отбираешь хлеб у честных людей, чтобы кормить парижских прохвостов. Честным людям не остается ничего другого, как взяться за оружие. Audax et edax¹. Да здравствует Революция!

Гоншон. Я прощаю тебя. Не драться же нам, когда неприятель стоит у стен... Да к тому же ты мой клиент. Но мы еще встретимся, когда версальцы будут здесь.

Демулен. Разве они в самом деле подходят?

Гоншон. А! Бледнеешь! Да, будет бой! Лотарингские и фландрские наемники на Гренельской равнине; артиллерия в Сен-Дени, немецкая кавалерия в Военной школе. В Версале маршал, окруженный адъютантами, отдает приказы перед боем. Они атакуют нас сегодня ночью.

Женщина. Помилуй, господи! Что с нами станется?

Буржуа. Разбойники! Мы, французы, для них хуже неприятеля.

Рабочий (Гоншону). Откуда тебе все известно? Ведь дорога в Версаль отрезана. Они установили пушки на Севрском мосту. Никого не пропускают.

Гоншон. Ты что, подозреваешь меня? Смотри! Всякий, кто посмеет сомневаться в моей преданности Нации, отведает моего кулака. Разве Гоншон не всем здесь известен?

Рабочий. Никто тебя не подозревает. Успокойся. И без того хватит дела. Не время теперь грызться друг с другом. У тебя только спрашивают, откуда ты получил сведения.

Гоншон. Я никому не обязан давать отчет. Что знаю, то знаю. У меня свои источники.

Другой рабочий (первому). Оставь его! Он парень ничего, простецкий.

Буржуа. Боже мой! Что же нам делать?!

Студент. К воротам! Все к воротам! Не допустим, чтобы они вошли!

Буржуа. Как же это мы можем не допустить?! Жалкие, безоружные люди, не обученные военному делу, да

¹ Отвага и беспощадность (лат.).

разве мы сумеем оказать сопротивление лучшим войскам королевства!

Другой. Какое там! Они уже вошли! А здесь эта Бастилия въелась в нас, как язва, подтачивает наши силы, и не избавишься от нее никак!

Рабочий. А! Проклятая! Кто нам поможет свалить ее?

Студент. Сегодня в Бастилию ввели еще одну роту швейцарцев.

Другой. Пушки оттуда направлены прямо на Сент-Антуанское предместье.

Рабочий. Ничего, ничего не удастся сделать, пока у нас в зубах эти удила. Надо прежде всего освободиться от них.

Буржуа. Но каким способом?

Рабочий. Способа я не знаю. Надо просто взять ее.

Все (*сумрачно и недоверчиво*). Взять Бастилию?! (*Отворачиваются, не глядя друг на друга.*)

Продавцы газет (*издали*). Новости!.. Самые свежие новости... Смертельная схватка под Парижем!..

Мужчина (*маниакального вида, истощенный, в поношенном платье*). Не солдат мы должны опасаться. Они не нападут на нас.

Все. Что?

Маниак. Они не нападут на нас. Их план куда проще: держать нас в осаде, пока мы не умрем с голоду.

Рабочий. Сдается мне, что с их помощью дело уже идет к тому. Стоишь, стоишь у булочных с утра и до поздней ночи.

Женщина. Мука стала роскошью.

Маниак. С завтрашнего дня подвоза вовсе не будет.

Буржуа. Куда же они девают зерно?

Маниак. Уж я-то знаю. Они ссыпали его в каменоломни, в Сенлисс и Шантильи, пусть, мол, сгниет, лишь бы не досталось нам.

Буржуа (*недоверчиво*). Быть этого не может!

Маниак. Это именно так.

Женщина. Он верно говорит. В Шампани кавалерия уничтожила хлеб на корню, чтобы уморить нас с голоду.

Маниак. Они кладут отраву в хлеб, который продают нам. Съешь — обжигает горло и внутренности. В моем квартале уже умерло двадцать человек. Таков приказ из Версаля. Уморить нас, точно крыс.

Демулен. Как бы ни был плох король, не станет он истреблять свой народ. Для этого нужно быть Нероном. Франция еще не дошла до такого безумия.

Маниак (*таинственно*). Я знаю, в чем секрет. Французов развелось слишком много. Вот они и решили поубавить народу во Франции.

Демулен. Ты болен, дружище, тебе надо полегчить.

Рабочий. В его словах есть доля истины. Королева хотела бы, чтобы все мы подошли.

Демулен. Какой ей в этом прок?

Рабочий. Она же — австриячка, черт подери! Австрияки всегда были врагами Франции. Если австриячка и вышла за нашего короля, так только для того, чтобы легче было напасть на нас. До тех пор, пока она у нас, не будет нам покоя.

Другие. Он прав. Вон из Франции австриячку!

Конта (*из толпы*). А почему вон?

Толпа. Кто сказал — «почему»?

Конта (*выступая вперед*). Я. Я спрашиваю. Очумели вы, что ли, что кидаетесь на самую очаровательную из женщин?

Толпа. Этого еще не хватало! Кто смеет заступаться за австриячку?

— Какова наглость! Это уж слишком! Издеваются над нами прямо в лицо!

Демулен (*Конта*). Молчите, не надо отвечать им. Уходите отсюда скорее.

Конта. Я никуда не тороплюсь.

Демулен. Смотрите, нас окружают. Сбегаются со всех сторон.

Конта. Тем лучше!

Оборванец. Что ты там бормочешь, аристократка? Повтори-ка.

Конта (*отстраняя его*). Не дыши мне в лицо. Я сказала: «Да здравствует королева!»

Толпа (*вне себя*). А! Проклятая ведьма!

Приказчик. Вот красotka, которой не худо бы задать хорошую порку.

Конта. А вот глупая рожа, которой недолго придется ждать оплеухи. *(Бьет его по лицу.)*

Приказчик. На помощь!

Одни смеются, другие кричат.

Толпа *(сбегаясь)*. Сюда, сюда! Что случилось? Аристократка избивает патриота! В воду ее!..

Демулен. Граждане! Это — шутка...

Толпа *(в ярости)*. В воду ее!..

Гюлен *(расталкивая толпу)*. Эй! *(Заслоняет собою Конта.)* Вы знаете меня, друзья! Я — Гюлен. Вы видели меня в деле. Это я выломал ворота Аббатства, чтобы освободить наших товарищей, французских гвардейцев. И вот так же я проломлю голову первому, кто сунется. Уважайте женщин, черт вас дери! Если хотите драться — врагов хватает. Нетрудно их сыскать!

Толпа. А ведь он прав!

— Браво!

— Вовсе нет! Она нас оскорбила. Пусть просит прощения!

— На колени, аристократка!

— Пусть кричит: «Долой королеву»!

Конта. И не подумаю. *(Демулену.)* Помогите-ка мне. *(Взбирается на стол.)* Если ко мне будут приставать, я закричу: «Долой Неккера». *(В толпе гул.)* Тише, меня не запугаете. Вы думаете, я струшу оттого, что вас много и что вы рычите на меня сотней глоток? У меня глотка всего-навсего одна, но она стоит ваших. Я привыкла говорить с народом. Каждый вечер я встречаюсь с вами. Я — Конта.

Толпа. Конта из «Театр франсэ»!

— Из «Театр франсэ»!

— А! а!..

— Дай-ка посмотреть!

— Да замолчите вы!

Конта. Вы не любите королеву? Вы хотите избавиться от нее? Что ж, выгоняйте из Франции всех красивых женщин! Только скажите: мы быстро соберем пожитки. Посмотрим, как вы обойдетесь без нас. Какой ду-

рак назвал меня аристократкой? Смешно слушать. Я — дочь торговли жареными селедками, моя мать содержала лавчонку возле Шатлэ. Я так же работаю, как и вы. Я так же, как и вы, люблю Неккера. Я — за Национальное собрание! Но я не потерплю, чтобы мною командовали; и я уверена, черт подери, если бы вы потребовали, чтобы я закричала: «Да здравствует Комедия!» — я бы крикнула: «Долой Мольера!» Думайте, что хотите. Дуракам закон не писан. Но такого закона нет, чтобы здравомыслящих людей заставлять делать глупости. Я люблю королеву и открыто заявляю об этом.

Студент. Еще бы! Они работают на паях. У них общий любовник — граф д'Артуа.

Двое рабочих. Ну и баба! Этой пальца в рот не клади.

— За словом в карман не полезет!

Демулен. Граждане, нельзя требовать от королевы, чтобы она высказывалась против королевской власти. Истинная королева — вот она, перед вами! Те, кого называют королевами, — призрачные властительницы, чучела в коронах! В лучшем случае они способны произвести на свет дофина. Как только он вылупится, их можно бросить на свалку. А ведь они живут на наш счет и обходятся нам недешево. Разумнее всего было бы отправить австрийскую наседку обратно в курятник, откуда ее заполучили за большие деньги. Будто француженки сами не способны рожать детей! Другое дело — королевы театра! Они созданы на радость народу. Каждый час их жизни посвящен служению нам. Каждый их взгляд дарит нам наслаждение. Они — наша вещь, наше достояние, наша национальная собственность. Именем пухленькой Венеры защитим ее и крикнем все вместе: да здравствует королева подлинная, вот эта, да здравствует Конта!

Аплодисменты и смех.

Толпа. Да здравствует королева Конта!

Конта. Спасибо. (Демулену.) Помогите же мне, вы, кажется, любезнее других. Ну что, насмотрелись на меня? Вот и хорошо, а теперь пропустите. Если пожелаете снова меня увидеть — дорога в театр всем известна. Как вас зовут?

Демулен. Камилл Демулен. Неосторожная! Я ведь предупреждал вас! Натерпелись страху?

Конта. Страху? Еще чего!

Демулен. Вас чуть не убили.

Конта. Какие пустяки! Они всегда так — горланят и никому не причиняют зла.

Демулен. О, слепота! Справедливо говорят, что презирует опасность лишь тот, кто ее не подозревает.

Толпа. Эта бабенка не растеряется!

— Да, черт возьми, уж если она чего-нибудь захочет...

Рабочий. И все же, сударыня, нехорошо ополчаться на нас, бедняков, и становиться на сторону эксплуататоров.

Маниак. Да что с ней говорить! Спекулянтка!

Конта. Это еще что? Я — спекулянтка?

Маниак. Смотрите, какой у нее парик.

Конта. Ну и что же?

Маниак. Сколько на нем пудры! Мукой, которой эти бездельницы посыпают себе башку, можно было бы накормить всех бедняков Парижа.

Рабочий (Конта). Не обращайтесь на него внимания. Это слабоумный. Но если у вас доброе сердце, сударыня, а я вижу по вашим глазам, что вы добрая, как же вы можете защищать негодяев, жаждущих нашей смерти?

Конта. Твоей смерти, дружок? С чего ты это взял?

Студент. Так вам, значит, ничего не известно? Вот смотрите: последнее письмо приспешника австриячки, маршала иезуитов, старого палача, осла, увешанного амулетами, ладанками и медалями, этого де Брольи. Знаете, что он пишет?

Толпа. Читайте! Читайте!

Студент. Они вступили в заговор. Хотят уничтожить наши Генеральные Штаты, похитить наших депутатов, бросить их в тюрьму, изгнать нашего Неккера, продать Лотарингию императору, чтоб было чем заплатить за наемное войско, бомбардировать Париж, усмирить народ. Заговорщики выступают этой ночью.

Гоншон. Слыхали? Довольно с вас, или вас и этим не проймешь? Благодарю покорно! Неужели мы позволим, чтобы нас закололи, как свиней? А! Тысяча чертей!

К оружию! По счастью, у нас есть защитник, который неустанно печется о нашем благе. Да здравствует герцог Орлеанский!

Люди Гоншона. Да здравствует герцог Орлеанский!

Толпа. К оружию! Бей их!

Марат (*вскакивает на стул; маленького роста, нервный; когда волнуется, повышает голос и встает на носки*). Остановитесь, несчастные! Куда вы? Разве вы не понимаете, что эти душегубы только и ждут, чтобы вы взбунтовались, — тогда, воспользовавшись смутой, они обрушат на вас свою злобу. Не слушайте коварных подстрекателей. Все их гнусные уловки направлены к тому, чтобы погубить вас. Вот ты, да, да, именно ты — ты разжигашь страсти в народе, изображаешь из себя патриота, а кто поручится, что ты не агент деспотов, что не тебе именно велено мутить народ, предавать добрых граждан версальским разбойникам? Кто ты такой? Откуда ты взялся? Кто может нам поручиться за тебя? Я тебя не знаю.

Гоншон. Но ведь и я не знаю тебя.

Марат. Если ты не знаешь меня, так это потому, что ты негодяй. Я известен всюду, где нищета и добродетель. Ночами я ухаживаю за больными; дни мои посвящены заботам о благе народа. Меня зовут Марат.

Гоншон. Ну, а я не знаю тебя.

Марат. Если ты не знал меня до сих пор, так скоро узнаешь, предатель! О народ, легковерный и безрассудный, открой, наконец, глаза! Да знаешь ли ты хотя бы, что это за место? Подумал ли ты об этом? Вот, значит, куда стекается парижский люд, где держит он речи о свободе и где собирается ее добывать... Оглянись, оглянись же вокруг! Ведь это логово эксплуататоров, бездельников, мошенников-банкометов, жуликов, проституток, перодетых полицейских — прихвостней аристократии!

В толпе раздаются протестующие вопли: «Долой!», поднимаются кулаки.

Демулен. Браво, Марат! Здорово сказано!

Конта. Кто этот маленький неряха с такими прекрасными глазами?

Демулен. Он врач и журналист.
Другая часть толпы. Продолжайте!

Аплодисменты.

Марат. Меня не смутят вопли этих предателей, этих пособников голода и рабства! Они отбирают у вас последние деньги ухищрениями шулеров; последнюю энергию — ухищрениями девок; последние остатки здравого смысла — оглушая вас водкой! Дураки! Вы добровольно предаетесь им. Доверяете им свои тайны, свою жизнь! Здесь, в каждом кафе, за любой из этих колонн, всюду — рядом с вами, из-за угла, за вашим столом — вас подслушивает шпион, подсматривает, записывает ваши слова, готовя вам гибель. Вы стремитесь к свободе — так бегите же из этого вертепа! Прежде чем вступить в решительную схватку, подсчитайте свои силы. Где ваше оружие? Его у вас нет. Куйте пики, изготавливайте ружья... Где ваши друзья? Их у вас нет. Ваш сосед готов обмануть вас. Тот, кто протягивает вам руку, возможно, уже решил предать вас. А вы сами — так ли уж вы уверены в себе? Вы воюете с развратом, а сами развращены. *(Улюлюканье в толпе.)* Вам не нравятся мои слова? Ну, что ж... А если бы аристократы не пожалели золота и втянули вас в свои оргии, — можете ли вы поручиться, что устояли бы и не перешли поголовно на их сторону? Вы не заставите меня молчать. Я выскажу вам всю правду. Вы слишком привыкли к льстецам, которые угождают вам и предают вас. Вы суетны, тщеславны и легкомысленны, у вас нет ни настоящей силы, ни выдержки, ни доблести. Весь ваш порыв растрачивается на болтовню. Вы мягкотелы, нерешительны, безвольны, вы трепещете при одном виде ружейного дула...

Толпа. Хватит! Довольно!

Марат. Вы кричите: довольно! Я кричу с вами вместе, и вам не заглушить меня. Да, довольно! Довольно распутства, перестаньте слушать глупцов. Довольно подлостей! Соберитесь с силами, образумьтесь, очиститесь, закалите ваши сердца, препояшьте ваши чресла! О сограждане мои, я говорю вам правду в глаза, может быть чересчур резко говорю, но ведь это потому, что я люблю вас.

Конта. Смотрите! Теперь он плачет.

Марат. Вас одурманивают опиумом. А я буду беречь ваши раны до тех пор, пока вы не осознаете ваши права и ваши обязанности, до тех пор, пока вы не станете свободными, до тех пор, пока вы не станете счастливыми. Да, наперекор вашему безрассудству, вы будете счастливы, будете счастливы, или я умру! *(Обливается слезами и заканчивает свою речь прерывающимся от рыданий голосом.)*

Конта. Он весь в слезах! До чего же он смешной!

Народ *(одни смеются, другие громко одобряют)*. Вот истинный друг народа! Да здравствует Марат!

Народ окружает Марата, его поднимают и проносят на плечах несколько шагов, не обращая внимания на его протесты.

Гюлен *(заметив девочку, которая смотрит на Марата глазами, полными слез)*. Малютка, что с тобой? Ты-то о чем плачешь?

Девочка не сводит глаз с Марата, которого уже опустили на землю. Она бежит к нему.

Маленькая Жюли *(Марату, умоляюще сложив руки)*. Не плачьте! Не плачьте!

Марат *(глядя на ребенка)*. Что с тобой, малютка?

Жюли. Умоляю вас — не огорчайтесь!.. Мы исправимся, да, я вам обещаю, мы не будем больше подлыми, мы не будем лгать, мы будем добродетельными, клянусь вам!..

Толпа смеется. Гюлен знаком призывает окружающих замолчать и не смущать девочку. Марат садится и слушает Жюли. Выражение его лица меняется, светлеет. Он смотрит на ребенка с большой нежностью, берет ее руки в свои.

Марат. О чем же ты плачешь?

Жюли. Я плачу, потому что вы плачете.

Марат. Разве ты меня знаешь?

Жюли. Когда я была больна, вы лечили меня.

Марат *(нежно привлекает ее к себе, отбрасывает ей волосы со лба, смотрит в глаза)*. Тебя зовут Жюли. Твоя мать прачка. Этой зимой ты болела корью. Ты испугалась тогда. Ты кричала, что не хочешь умереть.

Она отворачивается, он, улыбаясь, прижимает ее к груди.

Не смущайся. Значит, ты понимаешь меня? Ты за меня? А знаешь ли ты, чего я хочу?

Жюли. Да, я тоже хочу... *(Невнятно бормочет что-то.)*

Марат. Чего же ты хочешь?

Жюли *(поднимает голову и говорит с убежденностью в голосе, вызывающей улыбки взрослых)*. Свободы.

Марат. Для чего?

Жюли. Чтобы освободить.

Марат. Кого?

Жюли. Несчастных, которые заперты...

Марат. Где же они заперты?

Жюли. Там, в громадной тюрьме. Они совсем одни, всегда одни — все забыли о них.

В настроении толпы наступает перелом. Внезапно люди становятся серьезными; некоторые насупили брови и, не глядя друг на друга, устались в землю, что-то бормочут, точно говорят сами с собой.

Марат. Откуда ты знаешь об этом, малютка?

Жюли. Я знаю... Мне говорили... Я часто думаю об этом ночью.

Марат *(гладя ее по головке)*. По ночам надо спать.

Жюли *(помолчав немного, с живостью хватая руку Марата)*. Мы ведь освободим их, правда?

Марат. Как же это?

Жюли. Надо только пойти всем вместе.

Толпа *(хохочет)*. Вот именно! Только пойти — и дело в шляпе!

Девочка поднимает голову и видит плотное кольцо людей, которые с любопытством смотрят на нее. Смущенная, она задумчиво облокотилась на стол Гюлена и спрятала личико в сгиб руки.

Конта. Как она мила!

Марат *(смотрит на Жюли)*. О, святость детства, чистая звезда доброты, как услаждает душу твоё сиянье! Какой беспросветный мрак окутал бы землю, если бы не существовало детских глаз! *(Он направляется к ребенку и подносит к губам ее повисшую вдоль тела ручку.)*

Женщина из народа *(вбегая)*. Жюли!.. Как ты сюда попала?! Что тут происходит? Почему ее окружили все эти люди?

Демулен. Она держала речь к народу.

Хохот.

Мать. Боже мой! Она — такая робкая! Что на нее нашло?!

Мать устремляется к Жюли, но не успевает прикоснуться к ней, как Жюли с ребячьей дикостью вскакивает и убегает, не произнеся ни слова.

Толпа (хохоча и хлопая в ладоши). Спасайся, чертенок!

В глубине сада слышны громкие крики.

— Бежим туда! Скорее!

— Что там случилось?

— Графиню искупали!

Конта. Купают графиню?

Толпа. Она поносила народ; за это ее окунули в бассейн.

Конта (взяв Демулена под руку, хохочет). Бежим скорее! Господи! До чего же это забавно!

Демулен. Самое увлекательное зрелище во всей Европе!

Конта. Дерзкий!.. А наша Комедия!

Рассмеявшись, оба уходят. Народ с криками и смехом убегает. На первом плане остаются только Марат и Гюлен — первый стоит, второй сидит за одним из столиков кафе. В глубине сцены — плотная толпа; некоторые, взобравшись на стулья, смотрят на что-то, происходящее за сценой. На втором плане, под сводами галерей, продолжают сновать прохожие.

Марат (*угрожая толпе кулаком*). Шуты! Им нужна не свобода, а зрелища. Даже в такой день, как сегодня, когда их жизнь поставлена на карту, они изощряются в нелепых выдумках. На все готовы, только бы потешить друг друга. Нет! Хватит с меня. Их восстания похожи на фарс. Если б можно было не видеть всего этого, запереться бы в подземелье, куда не доходят извне никакие звуки, — оградить себя от людской низости! (*Опускается на стул и роняет голову на руки.*)

Гюлен (*продолжает спокойно сидеть, покуривая трубку и равнодушно, не без иронии, поглядывая на Марата*). Полно, господин Марат, к чему отчаиваться? Не

стоит. Они всего лишь большие дети — вот и забавляются, как могут. Вы их знаете так же хорошо, как я. Ведь это не всерьез. Зачем же принимать все так трагически?

Марат (*поднимая голову и сурово глядя на него*). А ты кто такой?

Гюлен. Я — ваш земляк из Невшателя в Швейцарии. Не узнаете? Я-то вас хорошо знаю. Еще ребенком видел в Будри.

Марат. Ты — Гюлен? Огюстен Гюлен?

Гюлен. Он самый.

Марат. Что ты здесь делаешь? Ты ведь был часовщиком в Женеве.

Гюлен. Там я жил спокойно. Но мое спокойствие длилось недолго. Мой брат занялся какими-то сомнительными махинациями и опозорил свое честное имя. Затем он счел за благо умереть, оставив жену и трехлетнего ребенка без средств к существованию. Чтобы вытащить их из беды, я продал свою мастерскую. Пришлось отправиться в Париж на заработки, и вот я поступил на службу к маркизу де Вентимиллю.

Марат. Теперь меня не удивляют твои гнусные речи. Ты — лакей.

Гюлен. Не вижу в этом ничего дурного.

Марат. И тебе не стыдно прислуживать? Разве ты не такой же человек, как и он?

Гюлен. Тут нечего стыдиться! Все мы кому-нибудь служим, каждый на свой лад. Вот вы — врач, господин Марат. Весь день вы осматриваете всякие болячки и стараетесь возможно лучше лечить их. Вы ложитесь спать чуть не на рассвете и вскакиваете среди ночи по первому зову ваших больных. Разве это не служба?

Марат. Я служу не хозяину, я служу человечеству. А ты пошел в лакеи к негодяю, к презренному аристократу.

Гюлен. Как он ни плох, он все же нуждается в услугах. Вы ведь не спрашиваете тех, кого вы лечите, хороши они или плохи. Они люди, я хочу сказать — такие же бедняги-смертные, как и мы с вами. Когда они нуждаются в помощи, надо помочь — тут уж нечего торговаться! Богатство развратило моего хозяина, как и всех прочих ему подобных, и он не способен обслуживать себя сам. Надо

не меньше пятидесяти рук ему на подмогу! А у меня сил хоть отбавляй, еще на троих хватило бы! Иной раз так и разнес бы все... Поскольку этому болвану нужны мои услуги, я ему продаю их. Мы квиты. Польза от этого не только ему, но и мне.

Марат. Но ведь ты продаешь заодно и свою свободную душу и свою совесть.

Гюлен. С чего ты взял? Попробуй сунься кто-нибудь отнять их у меня!

Марат. Но ты же ему подчиняешься, не смсешь высказать свое мнение?

Гюлен. Какой мне прок от того, что я его выскажу? Что я думаю, то думаю. Только пустозвоны орут на ветер. Свои мысли я храню про себя — других они не касаются.

Марат. Ничто, даже твои мысли, не принадлежит тебе. Ты сам себе не принадлежишь. Ты — только частица мироздания. Ты обязан ему своей силой, своей волей, своим умом, как бы мало всего этого не было тебе отпущено.

Гюлен. Что же, мне отрабатывать эти дары прикажете? На другого работаешь всегда хуже, чем на самого себя. Я стал свободным. Пусть другие добьются того же.

Марат. Как я узнаю в этих словах моих ненавистных соотечественников! Оттого только, что природа наделила их ростом в шесть футов и здоровенными мускулами, они позволяют себе презирать всех, кто слаб и немощен. Управившись с работой на своем поле, собрав свой урожай, они усаживаются на пороге своих домиков с трубкой во рту и смрадным табачным дымом усыпляют свое и без того слабое сознание. Напрасно тогда молить их о помощи — они считают, что долг их выполнен, и всем, кто несчастен, твердят: «Никто не мешает тебе добиваться того же, чего добился я!»

Гюлен (спокойно). Вы отлично разобрались во мне. Я именно такой и есть. (Смеется про себя.)

Гош (входит в мундире капрала французской гвардии. Через руку переброшены какие-то портняжные изделия. Обращается к Марату). Не верь ему, гражданин! Он клеветает на себя. Он не может видеть чужое горе без того, чтобы тут же не оказать помощи. На прошлой неделе,

когда мы шли освобождать наших товарищей, французских гвардейцев, которых аристократы заперли в Аббатстве, он не только примкнул к нам, но пошел впереди.

Гюлен (*не оборачиваясь, через плечо протягивает ему руку*). Это ты, Гош? Что ты суешься не в свое дело? И рассказываешь всякие небывицы. Я уже объяснил, что мне некуда девать свою силу; когда она разгуляется во мне, я вышибаю ворота или ломаю стены. Да, черт подери! Если я вижу, что человек тонет, я его вытаскиваю — тут, по-моему, раздумывать нечего. Но я не подстерегаю людей, собирающихся топиться, и уж ни в коем случае не стану топить их для того, чтобы потом спасать, как поступают наши любители революций.

Марат. Ты стесняешься признаться, что способен делать добро? Я презираю фанфаронов, которые кичатся своими пороками. (*Поворачивается к нему спиной; Гошу.*) Что это у тебя?

Гош. Я вышиваю жилеты и ношу их на продажу.

Марат. Нечего сказать, занятие для солдата! Так ты шьешь одежду?

Гош. Не думаю, чтобы это было менее достойно, чем дырявить ее штыком.

Марат. И тебе не стыдно отбивать хлеб у женщин? Так вот чем ты занимаешься! Торгуешь, подсчитываешь барыши, стараешься загрести деньгу! И это в то время, когда Париж может захлебнуться в крови!

Гош (*спокойно и немного пренебрежительно*). Пока у нас еще есть время. Всему своя пора.

Марат. У тебя ледяное сердце. И пульс, наверно, едва бьется. Нет! Ты — не патриот! (*Гюлену.*) А ты, ты — преступнее любого злодея. По природе ты добродетелен, тебя тянет к добру, но ты стремишься извратить свою натуру. О свобода! Вот каковы твои защитники! Равнодушные к опасностям, тебе угрожающим, они пальцем не пошевельнут, чтобы отстоять тебя... Хорошо же! Пусть все покинут меня — я никогда от тебя не отрекусь. Буду блюсти интересы народа. И спасу его, вопреки ему самому. (*Уходит.*)

Гюлен (*не двигаясь и не вынимая трубки изо рта, смотрит вслед Марату и усмехается*). Веселый парень, нечего сказать! Этот не станет смотреть через розовые

очки! Он ведь мой соотечественник, лекарь. Сразу видно, что привык отправлять людей на тот свет. Должно быть, в розницу ему это занятие прискучило, вот он и перешел к оптовой отправке, занявшись врачеванием человечества.

Гош (с выражением интереса и жалости провожает взглядом уходящего Марата). Честнейший человек! Страдания человечества терзают его сердце. Он не в состоянии рассуждать спокойно. Он болен добродетелью.

Гюлен. Откуда ты знаешь Марата?

Гош. Я читал его книги.

Гюлен. Не нашел занятия получше! Где ты их взял?

Гош. Купил на деньги, вырученные от продажи жилетов, которыми он так попрекал меня.

Гюлен (приглядываясь). А ну, покажись! Что это у тебя? Опять дрался с кем-нибудь?

Гош. Ты угадал.

Гюлен. Дикарь! Где это тебя так отделали?

Гош. На площади Людовика Пятнадцатого... Немцы. Наглость этих чужестранцев, расположившихся, как у себя дома, в моем Париже, взорвала меня. Я не мог удержаться и высмеял их. Они кинулись на меня — все на одного. Народ пришел мне на выручку, нас розняли, но я все же успел здорово отделать парочку-другую этих господ.

Гюлен. Нечего сказать, хорош! Дорого тебе обойдется твоя проделка.

Гош. Ерунда! Окажи мне услугу, Гюлен, прочитай это письмо.

Гюлен. Письмо кому?

Гош. Королю.

Гюлен. Королю? Ты пишешь королю?

Гош. А почему бы мне и не писать королю? Он такой же потомок Адама, как и я. Если я в состоянии дать ему хороший совет, кто может запретить мне советовать, а ему — слушать?

Гюлен (насмешливо). Что же ты ему присоветовал — королю?

Гош. Вот что: я пишу ему, что следует распустить войска, вернуться в Париж и самому произвести Революцию.

Гюлен громко хохочет.

(Улыбаясь.) Спасибо. Я понял. Твои советы великолепны, и к ним стоит прислушаться, но... не они меня интересуют.

Гюлен. Чего же ты хочешь в таком случае?

Гош (смущенно). Я не уверен насчет слога... и орфографии... Не очень я силен во всем этом.

Гюлен. Ты и вправду думаешь, что он станет читать твоё письмо?

Гош. Неважно!

Гюлен. Ну, ладно! Я подправлю твоё сочинение.

Гош. Ах, Гюлен! Какой ты счастливiec, что получил образование! А вот я, сколько бы ни корпел теперь, никогда уже не наверстаю упущенных лет.

Гюлен. Наивный человек! Неужели и вправду ты считаываешь на это письмо?

Гош (добродушно). Сказать откровенно — не слишком. И все же неужели все эти скоты, которые управляют Европой, не могли бы хоть раз прислушаться к голосу разума, к самому обыкновенному здравому смыслу! Ведь такое великодушие ничего бы им не стоило. А если не захотят — пусть пеняют на себя. Обойдемся и без них!

Гюлен. Чем заниматься переустройством мира, ты бы лучше подумал, как самому выпутаться из беды. На тебя донесут, если уже не донесли. Знаешь, что будет с тобой, когда ты вернешься в казарму?

Гош. Я-то знаю, а вот знаешь ли ты, что будет с казармой, когда я вернусь?

Гюлен. А что?

Гош. Увидишь.

Гюлен. Что такое ты еще задумал? Угомонись! И без тебя беспорядка достаточно!..

Гош. Когда порядок равносильен несправедливости, тогда беспорядок становится началом справедливости.

Гюлен. Справедливость! Справедливость требует доволствоваться тем, что имеешь. Раз ты не в силах перевернуть вселенную, принимай ее такой, какова она есть. Зачем стремиться к невозможному?

Гош. Бедняга Гюлен, ты так уверен, что знаешь, где граница возможного?

Гюлен. Что ты имеешь в виду?

Гош. Пусть только народ свершит то, что он в состоянии свершить, и ты увидишь, что мир можно переделать.

Гюлен. Если тебе нравится заблуждаться, оставайся при своих иллюзиях. Я не стану тебя разубеждать.

Гош. Почему же? Не церемонься со мной, Гюлен, разблачай мои заблуждения. Я презираю игру в прятки с самим собой, трусливый идеализм, который закрывает глаза, лишь бы не видеть зло. Я вижу зло, и оно не смущает меня. Я знаю не хуже тебя нашу злосчастную, легковерную толпу, знаю, как часто она становится жертвой своих страстей, пугается даже тени и, забывая правое дело, предает своих друзей.

Гюлен. Так что же?

Гош. Ведь и пламя капризно; оно колеблется от малейшего дуновения, отклоняется в сторону, дым заволакивает его. И все же пламя горит и поднимается к небу.

Гюлен. Сравнение еще не доказательство. Вглядись в это сборище бездельников и болтунов, посмотри на этого смутьяна-адвокатишку, на эту здоровенную девицу, которой только бы орать на всех этих пожилых младенцев, заносчивых и трусливых!.. Верить народу! Да тебя обязательно надуют! Мое жизненное правило: ни на кого не рассчитывай! Оказывай им услуги всякий раз, когда сможешь, но сам от них ничего не жди. У меня голова на плечах и крепкие кулаки. Вот во что я верю: в себя.

Гош. Что и говорить, ты надежный товарищ. И все же в этой темной массе больше силы и здравого смысла, чем в любом из нас. Даже и нравственно она выше. Без народа мы — ничто. Откуда во мне эта жажда справедливости, это необъяснимое волнение, от которого у меня захватывало дух еще в детстве, когда к нам приходили вести из Америки, поднявшейся против английских деспотов? Откуда опьянение, которое я испытал две недели назад, когда наши депутаты поклялись не расходиться до тех пор, пока не освободят народ?

Гюлен. Откуда же, как не из тебя самого!

Гош. Нет, ты не понимаешь. Это такая сила, которая в тысячу раз превосходит мою собственную. Она всегда окрыляла меня. И я чувствовал ее присутствие во многих других простых людях — таких же рабочих и солдатах, как я. Ты не родился среди них, ты не умеешь читать в их сердцах. Да и сами они не разбираются в своих чувствах. Нищета, невежество, голод, заботы не оставляют

им ни времени, ни сил познать самих себя. Они видят, но не доверяют своим глазам. Чувствуют, как бурлит в них сила, но сомневаются в ней — она пугает их. Чего бы только они не могли свершить, если б понимали свою силу! И чего они не свершат, когда поймут!

Гюлен. А что же способно объединить и направить в нужную сторону этот хаос?

Гош. Необходимость! Настанет момент, когда достаточно будет одного мановения — и миры рухнут.

Гюлен (*ударяя его по плечу*). Ты — честолюбец! Ты мечтаешь властвовать над народом.

Гош. Безмозглый силач! Нашел честолюбца! Ты и вправду думаешь, что втайне я мечтаю о чинах? (*Оглядывает свой мундир.*)

Гюлен. А тебе так уж ничего и не надо? Что это с тобой сегодня? У тебя такой радостный вид. Уж не произведен ли в сержанты?

Гош (*пожимая плечами*). Сегодня воздух насыщен радостью.

Гюлен. Однако ты не слишком требователен! Голод. Неминуемая резня. Твой народ на краю гибели... А с тобой что будет? Придется или идти против тех, кого ты любишь, или умереть вместе с ними.

Гош (*улыбаясь*). Ну и прекрасно.

Гюлен. Ты находишь, что это прекрасно? Вот-вот грянет гром и все сокрушит...

Гош (*смеется*). Да, прекрасно.

Гюлен (*смотрит на него*). Ты веришь в свою звезду?

Гош (*со смехом пожимает плечами*). Нет, Гюлен, не верю. Звезды — это для бездельников, для аристократов. У таких бедняков, как я, не бывает своей звезды. Ты-то знаешь, как я жил до сих пор. Крестной матерью мне была нужда. Ведь я сирота от рождения и никогда не знал матери. Если б не моя старая тетка, торговка овощами, я бы воспитывался в каком-нибудь ханжеском приюте или был бы предоставлен своим дурным наклонностям. Благодаря тетке я познал трудолюбивую бедность, которая закаляет душу. Благодаря ей я узнал, сколько скрытых достоинств, сколько железной энергии в этом народе, над которым легко издеваться, сидя здесь за столиком кафе. Славная женщина! Всю жизнь она трудилась,

как каторжная, но даже в старости так и не довелось ей узнать ни минуты отдыха; чтобы не умереть с голоду, она и в жару и в стужу выходила из дому и опухшими руками толкала свою тележку — и так до последних дней, когда она уже была тяжело больна и останавливалась на каждом шагу, до того мучило ее удушье. Но, несмотря ни на что, Гюлен, она умела смеяться. Я так и вижу ее румяное, улыбающееся лицо. Я, конечно, всячески старался найти себе в жизни какое-нибудь применение, снять с нее бремя забот обо мне. Начал я свой жизненный путь конюхом. Если меня произведут когда-нибудь в генералы, я, конечно, буду очень доволен, но ничто не сравнится с тем восторгом, который я испытал, когда впервые заработал себе на кусок хлеба. Да! Это было совсем не плохое время! Даже и теперь я вспоминаю нашу конюшню с благодарностью! И есть за что! Там я прочитал Руссо. Как-то я подобрал в канаве несколько грязных страничек, вырванных из книги. (Я и сейчас не расстаюсь с ними.) Однажды в воскресенье товарищи мои разошлись, и я остался один в конюшне, растянулся на соломе подле лошадей и принялся читать... Нет, это было не чтение — я слышал, видел... Все окружающее исчезло. Дыхание Природы коснулось моего лица. Будто и не было между нею и мной Версаля. Я ощутил божественную силу сознания. Я остановился, я не мог читать дальше — я слышал, как кровь бурно приливает к сердцу, будто река струилась во мне. Я поднялся, плача и смеясь. Я кричал, я задыхался, я обнимал своих славных лошадок, я готов был заключить в объятия весь мир. Когда я думаю, Гюлен, что человек, даровавший нам такой неиссякаемый источник счастья, сам был глубоко несчастен, жил в бедности, преданный друзьями, преследуемый глупыми насмешками, ожесточенный горем, — ему казалось, что все люди ненавидят и презирают его, — мне становится так стыдно, точно я сам повинен в этом позоре... Ах, зачем меня не было подле него, когда он нуждался в защите от этих мерзавцев!.. Теперь ты поймешь, почему я так сочувствую бедняге Марату, невзирая на все его заблуждения. Марат тоже страдает, как страдал Руссо, как страдают все, кто любит неблагодарный род человеческий. Я и сам часто только кажусь спокойным. Вот уже пять лет я принужден

тянуть лямку, в которую впрягли меня подлым обманом вербовщики королевской армии, но я не падаю духом: всюду можно трудиться на благо другим и прославиться. Конечно, не с легким сердцем я подчинился отвратительному произволу и позору этой жизни... Ты спросишь, как же я все это переносил? Насмотревшись и натерпевшись вдоволь, становишься неуязвимым для любого зла. Вот и теперь я всего несколько дней как вышел из карцера, куда меня посадили по доносу клеветника. Три месяца меня гноили там, я терпел ужасающие лишения, задыхался среди нечистот. Если бы мне уже суждено было умереть, я бы умер в этом карцере, но предусмотрительная природа закалила меня так, что я не дрогну под любым обстрелом судьбы. Пять лет я надрываюсь, и я все еще только капрал; никакой надежды выбраться из этой ямы, ибо нам запрещено все — даже мечты о повышении. Вот она, моя звезда, Гюлен! Жизнь жестока ко мне, и так будет всегда, я это чувствую. Я не из тех, кому везет от рождения. Пускай! Я не возлагаю никаких надежд на звезды. Единственное мое прибежище — во мне самом. И мне этого достаточно. Зло может неистовствовать сегодня; торжество несправедливости, все преступления деспотов и богачей, все безумие предрассудков, оглуляющих человека, не поколеблют моей веры, потому что свет во мне (*показывает на свою грудь*) и в сердцах моих братьев, таких же обездоленных, как и я. Ничто не способно погасить свет истины, она победит во всем мире! Но она не торопится, имея в запасе вечность. И я тоже терпелив. Победа придет... Взгляни на облака. Ты боишься грозы? Но ведь только во время бури вспыхивает небесный огонь. Так греми же, гром! Истина, испепели мрак!

Гюлен. Я не боюсь грозы. Все, что я сказал тебе, все, что я вижу, не пугает меня. Я не жажду славы и не опасюсь за свою шкуру. Но куда идти? Если у тебя глаза зорче моих — укажи дорогу. Всюду, где потребуются крепкие кулаки, смело рассчитывай на меня, я не промахнусь. Руководи мной. Что нужно делать?

Гош. Не надо составлять планов заранее. Наблюдай за ходом событий и в подходящий момент не упускай случая, хватай его за гриву и держись крепко в седле.

А пока займемся нашими обычными делами... Будем торговать жилетами...

Толпа вновь вторгается на сцену, давая знать о своем приближении громкими криками и хохотом. Верзила-носильщик несет на плечах мальчугана шести-семи лет. Их сопровождают смеющиеся Конта, Демулен и другие.

Ребенок (*кричит пронзительным голосом*). Долой аристократов, аристокривляк, аристокровопийц!

Гюлен. Во что это они играют? Ага! Суд над аристократами. Сейчас это их излюбленное развлечение...

Носильщик. Внимайте голосу народа! К чему мы присудим... Эй, что ты там уснул, Леонид? К чему мы присудим д'Артуа?

Ребенок (*писклявым голосом*). К железному ошейнику!

Носильщик. А Полиньячиху?

Ребенок. К порке!

Носильщик. А Кондэ?

Ребенок. К виселице!

Носильщик. А королеву?

Ребенок. Отправим в кабак!

Толпа разражается бешеным хохотом и криками одобрения; ребенок, вне себя от собственного успеха, пытается перекричать всех. Носильщик уходит, унося его на плече.

Конта. Ах, милашка! Он так хорош, что прямо съесть его хочется!

Демулен. Ну что ж, проглотим мальчишку! Браво, гроза аристократов! Господа, юный Леонид забыл еще одного нашего друга, господина де Вентимиля, маркиза де Кастельно.

Гюлен (*Гошу*). Слушай, это он о моем хозяине.

Демулен. Господину де Вентимилю мы и впрямь кой-чем обязаны. Маршал призвал его охранять Бастилию совместно с господином де Лонеом, и он поклялся, что через два дня мы все, босиком и с веревками на шее, будем молить его о пощаде. Я предлагаю кому-нибудь из присутствующих пожертвовать веревку этому другу народа.

Толпа. Спалить его!.. Он живет неподалеку!.. Подожжем его дом — пусть сгорит все его добро вместе с женой и детьми...

Вентимиль (*холодный и насмешливый внезапно появляется в толпе*). Господа...

Конта. Что это? Боже мой!

Гюлен. Гош! (*Хватает Гоша за руку.*)

Гош. Что с тобой?

Гюлен. Это он.

Гош. Кто?

Гюлен. Вентимиль.

Вентимиль. Господа! Ваш покорный слуга — торговец мебелью. Я поставщик господина де Вентимиля, и я прошу слова.

Толпа. Пусть говорит мебельщик!

Вентимиль. Господа, без сомнения вы правы, намереваясь подпалить этого злобного аристократишку. Он ведь насмехается над вами, презирует вас и не перестает повторять, что, когда собака показывает зубы, ее полезно отхлестать. Подожгите его, господа! Жгите, будьте беспощадны! Но остерегайтесь, как бы справедливый гнев, который вы обрушите на него, не обратился против вас самих; как бы вместе с его добром не погибло и ваше собственное. Прежде всего, господа, справедливо ли разорять вместе с господином Вентимилем и тех, кто его разоряет, — я говорю о его кредиторах! Разрешите мне просить вас не трогать хотя бы мебель, которую я поставил ему и за которую этот выжига не заплатил мне ни гроша!

Толпа. Это справедливо! Забирай свою мебель!

Вентимиль. Успех моей просьбы придает мне храбрости, и я хочу указать вам, господа, еще одного кредитора — архитектора. Так же как и мне, ему не посчастливилось даже прикоснуться к деньгам господина де Вентимиля; будь он тут, он бы просил вас взвесить, какой огромный ущерб вы ему причините, сжигая недвижимость, которая является единственным залогом расплаты с ним.

Толпа. Не трогать дом!

Вентимиль. Что же касается его жены, господа, зачем жечь то, что принадлежит вам самим? Его жена — публичная девка. При дворе, да и в городе, и среди духовенства, и среди разночинцев — все имели возможность

неоднократно оценить ее отменные качества. Она чужда социальных предрассудков, — все три сословия равны перед ней. Она как бы объединяет нацию. Отдадим должное столь редкой добродетели, господа! Поощрим супругу и мать!

Демулен. Поощрим эту парижскую богоматерь!

Толпа (смеясь). Да, да, поощрим женщину!

Вентимиль. Наконец... Но, может быть, господа, я злоупотребил...

Толпа. Да нет! Нет же!

Вентимиль. Наконец, господа, намереваясь спалить детей господина де Вентимиля, не уподобитесь ли вы нашим вульгарным трагикам и не станете ли вы, так сказать, детоубийцами поневоле?

Толпа (надрываясь от хохота). Ха! ха! ха! Да здравствуют ублюдки!

Вентимиль (меняя тон к концу речи). Что же касается его самого, господа, повесьте его, зарежьте, сожгите! Больше того, если вы его не сожжете, то уж он-то сожжет вас наверняка. (Спрыгивает со стула и смешивается с толпой, которая одобрительно шумит и смеется.)

Конта (подбегая к Вентимилью). Скорее уходите! Они могут узнать вас!

Вентимиль. Вот так встреча! Конта! Вы были тут? Что вы делаете среди этого сброда?

Конта. Незачем дразнить собак, пока еще не выбрался из деревни!

Вентимиль. Не все собаки, которые лают, кусаются... Идемте.

Конта. Не сейчас. Позднее.

Вентимиль. Назначаю вам свидание. В Бастилии.

Конта. В Бастилии — согласна!

Вентимиль уходит.

Гош. Мерзавец! Каково бесстыдство!

Гюлен. Бесстыдство, не лишенное, впрочем, смелости!

Гош. Не такое уж редкое сочетание у тех, кто стоит над нами!

Гюлен. Этот субъект начал свою карьеру, женившись на одной из любовниц бывшего короля. Подумать

только, что такой человек мог совершать чудеса при Крефельде и Росбахе!

Старуха-торговка. Дети мои, что это вы все толкуете о том, чтобы жечь, вешать да грабить? К чему это приведет? Я отлично понимаю, что ничего такого вы не сделаете. Тогда зачем же зря трепать языком? Ну, свари́те вы в вашей похлебке несколько аристократов, но станет ли она вкуснее? Аристократы удерут и золото свое с собой захватят, а мы останемся и будем еще несчастнее, чем до сих пор. Я так думаю, что надо принимать все как оно есть и не верить лжецам, которые говорят, что они все могут исправить своими криками. Послушайте меня! Мы здесь зря время теряем. Ничего не произойдет. Ничего и не может произойти. Вам угрожают голодом, войной, прямо светопреставлением. Все это выдумки газет, которым не о чем писать, да провокаторов всяких. С королем мы не поладили, это верно, но все устроится, если каждый из нас спокойно вернется к своему делу. Король у нас хороший — он нам обещал сохранить нашего доброго господина Неккера, который уж позаботится, чтобы у нас была хорошая конституция. Тут и сомневаться нечего — во всяком случае людям здравомыслящим. А почему не может так получиться, как думают здравомыслящие? Я, например, верю, что получится. Ну, хватит, потеряла я здесь с вами битых четыре часа! Нечего глазеть! Пойду торговать — меня моя репа ждет!

Толпа (одобрительно.) А она ведь права!

— Ты права, мамаша!

— Расходись, ребята, по домам!

Гюлен. Ну, что ты скажешь?

Гош (улыбаясь). Она мне напомнила мою старую тетку, та всегда говорила о терпении, когда собиралась меня колотить.

Гюлен. А по-моему, она правильно рассуждает.

Гош. Я бы очень хотел обладать ее верой. Преклонение перед здравым смыслом так естественно! Я сам, если б думал, что противник способен стать на защиту разума, доверил бы ему это. Но увы, мой жизненный опыт не оставляет места самообольщению. Вот и сейчас я не могу не видеть, что Гоншон и его приспешники торопятся за-

крыть свои лавки. А они ничего зря делать не станут. Опасаюсь, что это внезапное спокойствие лишь затишье перед бурей. В глубине души никто сейчас не верит в успокоение. Заметил ты — никто не двинулся с места, даже сама старуха? Они пытаются обмануть сами себя, но это им не удастся. Вот и мечутся, как в лихорадке. Вслушайся в гул толпы. Теперь она уже не вопит, а еле шепчет... Но ведь и листья чуть шелестят под ветром, который предвещает бурю... (*Хватает Гюлена за руку.*) Постой-ка!.. Прислушайся! Гюлен!.. Вот! Вот!

Гул, сначала смутный, потом все более явственный. Все встают и смотрят в ту сторону.

Человек (*запыхавшись, с непокрытой головой, одежда в беспорядке, выбегает на сцену и кричит в неистовом страхе*). Неккера изгнали!

Толпа (*потрясенная, устремляется к нему*). Что? Что такое? Неккер!.. Нет! Не может быть!..

Человек (*кричит*). Неккера сослали! Он уже изгнан из Парижа!

Толпа (*ревет*). Смерть провокатору!

— Это провокатор из Версаля! Смерть ему!

Человек (*в ужасе отбивается*). Да что вы делаете? Вы меня не поняли! Я вам говорю, что Неккер...

Толпа. В бассейн его! Топите шпика!

Человек (*задыхаясь*). На помощь!

Гош. Спаси его, Гюлен!

Гюлен. Чтобы спасти его одного, пришлось бы уколоть не меньше двадцати человек.

Они тщетно пытаются пробиться сквозь толпу, которая улоакивает несчастного. Робеспьер, внезапно появляясь, вскакивает на стол и делает знак, что хочет говорить.

Гош. Кто этот тшедушный человек?

Демулен. Это Робеспьер, депутат от Арраса.

Гош. Гаркни, Гюлен! Заставь их замолчать!

Гюлен. Слушайте! Слушайте гражданина Робеспьера!

Робеспьер вначале так волнуется, что за криком толпы его слов совсем не слышно, раздаются возгласы: «Громче!»

Демулен. Говори, Робеспьер!
Гюлен. Не бойтесь!

Робеспьер смотрит на него застенчиво и вместе с тем презрительно.

Демулен. Он еще не привык выступать перед народом.

Гош. Да помолчите же, друзья!

Робеспьер (*подавляя волнение*). Граждане! Я — депутат от третьего сословия. Я только что из Версаля. Этот человек сказал правду: Неккера прогнали. Власть перешла к врагам народа: де Броли, Фулону, Бретейлю. Резня, Грабеж, Голод — вот наши теперешние министры. Это — война. Я пришел сюда к вам, чтобы разделить с вами вашу участь.

Народ (*в ужасе*). Мы погибли!

Демулен. Что же нам делать?

Робеспьер. Достоинно умереть.

Гош (*пожимая плечами*). Адвокатишка!

Гюлен. Поговорите с народом, господин депутат!

Робеспьер. К чему слова? Пусть каждый прислушается к голосу своей совести!

Гош. Они совсем обезумели. Если сейчас же не заставить их действовать, они в самом деле погубят себя.

Робеспьер достает из кармана листки рукописи и типографские гранки.

Гюлен. Что он там? Читать собрался? Оставьте в покое ваши бумаги. Одно мужественное слово стоит в тысячу раз больше, чем вся ваша писанина!

Робеспьер (*не обращая внимания на Гюлена, разворачивает рукопись и читает своим холодным, слабым, но резким голосом*). «Декларация прав...»

Гош. Слушайте!

Робеспьер. «Декларация прав, предложенная на заседании Национального собрания вчера, одиннадцатого июля: «Национальное собрание провозглашает перед лицом Вселенной и всевидящего ока верховного существа нижеследующие права человека и гражданина:

Природа создала людей свободными и равными...»

Гром аплодисментов заглушает конец фразы.

«Все люди рождаются с неотъемлемыми и нерушимыми правами: свободно мыслить, заботиться о своей чести и жизни, распоряжаться по собственному усмотрению своей личностью, стремиться к счастью и противиться гнету».

Аплодисменты, возгласы одобрения со всех сторон.

Гош (*выхватывая саблю*). Соппротивление гнету!

Ему подражают; мгновенно толпа оцетинивается пиками.

Робеспьер. «Все общество подвергается угнетению, если угнетен хотя бы один из его членов. Если отдельный член общества подвергается угнетению, угнетено все общество».

Гоншон. Долго они тут будут канителиться? Надо удалить всех отсюда. Пусть подставляют свои головы под пули в другом месте — ведь войска могут с минуты на минуту войти в Париж. (*Что-то шепчет своим людям.*)

Робеспьер. «Верховная власть принадлежит Нации...»

Доносится чей-то крик. Толпа содрогается и слушает Робеспьера уже рассеянно.

Гош. Пришло время братья за руль, Гюлен! Буря разразилась.

Чей-то голос (*кричит в ужасе*). Они идут! Идут! Кавалерия!

Один из приспешников Гоншона (*пронзительным голосом*). Спасайся, кто может!

Давка, вопли.

Гюлен (*кидаясь на кричащего человека и отпуская ему такую здоровенную оплеуху, что у того захватило дух*). Тысяча чертей! (*Робеспьеру.*) Продолжайте!

Робеспьер пытается продолжать, но его голос гложет и теряется в шуме толпы. Гош вскакивает на стол и становится рядом с Робеспьером — он выше его на две головы; вырывает у него рукопись и читает проникновенным голосом; его пыл сейчас же передается толпе.

Гош. «Верховная власть принадлежит Нации, она создает правительство.

Когда правительство нарушает права Нации, восстание против него — ее священный долг...

Тех, кто вступает в борьбу с народом, чтобы воспрепятствовать торжеству Свободы, должно преследовать не как обыкновенных врагов, но как рабов, посягнувших на владыку земли, на человечество».

Крики одобрения. Демулен, с развевающимися волосами и сверкающими глазами, вскакивает на стол, с которого сошел Гош.

Демулен. Свобода! Свобода!.. Она парит над нашими головами. Она увлекает меня в свой священный полет. Пусть она осенит нас своими крылами! Вперед к победе! Рабству приходит конец... Да, оно позади! Восстаньте! Обращим молнию против злодеев, которые вызвали ее! Во дворец! К королю!

Толпа повторяет: «Во дворец!»

Смотрите на меня, притаившиеся шпионы! Это я, Камилл Демулен, призываю Париж к восстанию! Я не боюсь ничего! Что бы ни случилось — живым я не дамся! *(Вынимает из-за пазухи пистолет.)* Я страшусь только одного — вновь увидеть Францию порабощенной. Но мы этого не допустим. Она будет свободной, как и мы, или умрет вместе с нами. Да, подобно Виргинию, мы скорее убьем ее своими руками, чем позволим тиранам надругаться над ней... Братья! Мы будем свободны! Мы уже свободны! Каменным бастилиям противопоставим твердыню наших сердец, несокрушимую крепость Свободы! Смотрите! Небеса разверзлись, боги за нас. Солнце прорвало облака. Листва каштанов радостно трепещет. О листья, весело шумящие в едином порыве с народом, который пробуждается к новой жизни, будьте нашей эмблемой! Знаком нашего единения! Залогом нашей победы! Листья цвета надежды, цвета моря, цвета природы — вечно юной и свободной! *(Он срывает веточку.)* In hoc signo vinces! ¹ Свобода! Свобода!

¹ Сим победиши! *(лат.)*

Н а р о д. Свобода!

Все теснятся к Демулену, обнимают, целуют его.

К о н т а (*украшая волосы листьями*). О юная Свобода! Зеленой в моих волосах и цветы в моем сердце! (*Она пригоршнями разбрасывает листья вокруг себя.*)
Друзья, украсьте себя эмблемой лета!

Народ срывает листья, оголяя деревья.

Старуха-торговка. К королю! Это он хорошо сказал! Надо идти к королю! В Версаль, ребята!

Гю л е н (*показывая на старуху и на Конта*). Вот они и зажглись раньше всех!

Го ш. Теперь уж их ничем не остановишь!

Н а р о д. Все — на Марсово поле!

— Навстречу версальцам! Мы им покажем! Дадим жару!

— Негодяи! Думали тишком задушить народ Парижа!

Ст а р у х а. Я с них шкуру спущу! Повыдеру все волосенки этим разбойникам-немцам!

Д е м у л е н. Они прогнали нашего Неккера. А мы выгоним их самих! Мы хотим, чтобы Неккер остался. Пусть мир узнает нашу волю.

Н а р о д. Устроим шествие в честь Неккера!

— Его портрет есть у Курциуса в кабинете восковых фигур.

— Пронесем его с почестями по городу!

— Курциус закрыл свою лавочку!

— А мы вышибем двери!

Го н ш о н (*своим людям*). Внимание! Не зевать!

Один из людей Гоншона. Господин Гоншон! Они всё растащат!

Го н ш о н. Оставь их в покое — поступай, как они!

Т о р г о в е ц. Эдак они и к нам заберутся!

Го н ш о н. Против рожна не поперешь!

Входит в лавку следом за народом и горланит вместе с другими. Сбегаются все новые люди; через несколько минут у всех оказываются в руках палки, шпаги, пистолеты, топоры.

Н а р о д. К порядку, товарищи!

— Не допустим самоуправства!

— Эй, карапуз, иди-ка в школу! Нам тут некогда с тобой шутить!

— Нужно, чтобы наше шествие было торжественным и грозным! Пусть тираны поймут, как страшен священный гнев народа!

Атлетического сложения носильщик торжественно выносит из паноптикума бюст Неккера, прижимая его к груди. Все теснится к нему.

— Шапки долой! Вот он, наш защитник, наш отец!

— Накиньте на него креп! Родина в трауре!

Гоншон и его люди тоже выходят из лавки, неся бюст герцога Орлеанского. Держась позади всех, они, в подражание остальным, принимают возбужденно-сосредоточенный вид. Народ не обращает на них внимания.

Гюлен. Это еще что такое?

Гош. Это покровитель нашего друга Гоншона — гражданин д'Орлеан.

Гюлен. Пойду-ка проломлю ему башку, а заодно и тем, кто его тащит.

Гош (*улыбаясь*). Нет, нет, оставь. Пусть покажут себя во всей красе, это не вредно.

Гюлен. А ты его знаешь?

Гош. Орлеанского? Кто знает одного из шайки — знает всех. Порочный мальчишка! Путается под ногами у Свободы в надежде залезть ей под юбку. Ему, видно, хочется, чтобы его смазали по роже. Ну что ж, этого он добьется и без твоей помощи.

Гюлен. А если он надругается над Свободой?

Гош. Этот недоносок? Пусть бережется, как бы она не оттапала ему башку.

Гоншон и его приспешники покрывают крепом бюст герцога Орлеанского, подражая тем, кто несет бюст Неккера. Торжественно выстраивается причудливое шествие. Полное молчание. Внезапно появившаяся откуда-то старуха-торговка бьет в барабан. Поднимается невообразимый шум.

Народ. Вперед!

Шествие трогается с места. Впереди всех старуха с барабаном. За ней носильщик с бюстом Неккера на голове. Вокруг народ, вооруженный палками и топорами; молодые люди, разряженные в цветные шелка, щеголяют дорогими часами и перстнями — в руках у них шпаги и дубинки; гвардейцы с саблями наголо; женщины, среди которых, в первом ряду, Конта под руку с Демуленом. Сзади всех Гоншон, окруженный торговцами из Пале-Рояля; он несет бюст герцога Орлеанского. За ним толпа. Торжественная пауза, наполненная гудением, сквозь которое вдруг прорываются приветственные крики, пробегающие, словно дрожь, по толпе и внезапно умолкающие.

Гош (показывая Гюлену на народ). Ну как, Гюлен, сдаешься, малOVER?

Гюлен. Так ведь это же нелепость. Беспорядочная толпа воображает, что она в состоянии атаковать армию... Они все погибнут. Бессмысленно погибнут! (Присоединяется к толпе.)

Гош. Куда же ты?

Гюлен. С ними, конечно.

Гош. Дружище, поступай, как подсказывает сердце, — оно у тебя мудрее, чем голова.

Гюлен. А сам-то ты разбираешься во всем этом? Знаешь, куда устремился одержимый слепец — народ?

Гош. Не старайся понять. Он знает и видит и за себя и за тебя.

Гюлен. Кто?

Гош. Слепец.

Зловеще бьет барабан и постепенно затихает вдали. Народ медленно проходит. Тишина.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Ночь с понедельника 13-го на вторник 14 июля. Между двумя и тремя часами ночи.

Улица в Сент-Антуанском предместье. В глубине, над домами, возвышается темный громадный массив — это Бастилия, башни которой, окутанные мраком, вырисовываются по мере того как приближается рассвет. На углу справа дом Люсиль. По перилам балкона ползет вьюнок, закрывая и часть стены. Ни одного фонаря. Улица освещена свечами, поставленными на подоконники. Из далеких кузниц доносятся удары молотов, бьющих по наковальням; временами набат и отдаленная ружейная стрельба. На углу, около дома Люсиль, люди из народа вместе с несколькими буржуа сооружают баррикаду из бочек, всяческого домашнего скарба и булыжников.

Каменщик. Не мешало бы еще булыжника подбросить.

Рабочий (*тащит свою кровать*). А моя кровать не сгодится?

Каменщик. Ты хочешь здесь лечь?

Рабочий. Вскорости улягусь с пулей, которая меня настигнет.

Каменщик. Да ты весельчак!

Рабочий. Если эти разбойники придут сюда, нам уже ничего не понадобится. Постели будут постланы в другом месте.

Столяр. Помоги мне протянуть веревку.

Подмастерье. Зачем это?

Столяр. Чтобы лошади споткнулись.

Рабочий из типографии. Эй, Камюзо!

Другой. Чего тебе?

Рабочий из типографии. Слушай.

Другой. Ну?

Рабочий из типографии. Ты ничего не слышишь?

Другой. Я слышу, как звенят наковальни; во всех кузницах куют пики.

Рабочий из типографии. Нет, я не об этом. Вон оттуда... *(Показывает на землю.)*

Другой. Оттуда?

Рабочий из типографии. Да. Из-под земли. *(Ложится и прикидывается ухом к земле.)*

Другой. Ты бредишь.

Рабочий *(лежа на земле.)* Похоже на то, что там закладывают мину.

Другой. Проклятые! Они хотят, чтобы мы взлетели на воздух!

Столяр *(недоверчиво)*. Да будет тебе!

Рабочий *(лежа)*. У них там под землей тысячи бочек с порохом.

Другой рабочий. Вот поэтому-то его нигде и не сыщешь.

Столяр. Что ж, по-твоему, армии так же просто пробраться под землей, как крысам?

Рабочий *(лежа)*. Ты что же, не знаешь, что у них есть подземные ходы от Бастилии до самого Венсена?

Столяр. Ну, это уж бабьи бредни.

Другой рабочий *(тоже припадает к земле и прислушивается)*. Потихо стало.

Первый рабочий *(вставая)*. Все-таки загляну-ка я в погреб — послушаю там. Пойдем, Камюзо!

Оба уходят в один из домов.

Столяр *(смеясь)*. В погреб! Вот это ловко! Должно быть, просто глотку промочить захотелось. Однако пора кончать работу.

Каменщик *(не прекращая работы, оглядывается назад)*. А, черт!

Столяр. Что это тебя разбирает?

Каменщик *(показывая на Бастилию)*. Вот смотришь на нее и чувствуешь, как она на тебя давит, — стоит обернуться, и она тут как тут, даже дыхание перехватывает.

Столяр. Отлично! Нечего сказать. Один смотрит под землю, другой зевает по сторонам. Не оглядывайся! Работай!

Каменщик. Я и так стараюсь! Да только я ее все равно чувствую. Словно кто-то подкрался сзади и занес кулак у меня над головой. Провались она в тартарары!

Старый буржуа. Он прав. Ее пушки подстерегают нас. К чему мы все это сооружаем? Одно мановение руки — и она разнесет наши баррикады, как карточные домики.

Столяр. Да нет же, нет!

Каменщик (*грозя кулаком Бастилии*). Мерзавка! Ах, когда только мы от тебя избавимся!

Столяр. Скоро.

Многие. Ты так думаешь? Каким же образом?

Столяр. Ну, этого я не знаю. Только знаю, что непременно так будет. Не робей, знай работай! Как ни темна ночь, а рассвет придет.

Все работают.

Подмастерье. А пока что ни черта не видно.

Столяр (*кричит, обращаясь к окнам*). Эй, вы там! Бабы! Смотрите, чтобы свечи не потухли! Нам нужно получше видеть этой ночью.

Женщина (*у одного из окон, оправляя свечи*). Ну, как там у вас, подвигается?

Столяр. Да уж будь покойна, пусть кто-нибудь попробует сунуться, разом свернет себе шею.

Женщина. А они скоро придут?

Столяр. Говорят, что в Гренели уже льется кровь. Со стороны Вожирара тоже слышны выстрелы.

Старый буржуа. Они ждут только восхода солнца, чтобы выступить.

Каменщик. А который сейчас час?

Женщина. Три часа. Слышишь, петух поет.

Каменщик (*вытираясь рукавом*). Поторопимся же! Поторопимся. Черт подери! Какая, однако, жарница!

Столяр. Тем лучше. Пролитый пот зря не пропадет.

Старый буржуа. Я больше не могу.

Столяр. Отдохните немного, господин нотариус! Каждый может сделать только то, что в его силах.

Старый буржуа (*тащит булыжник*). Мне хочется пристроить еще вот это.

Столяр. Не надрывайтесь. Кто не может скакать, пусть трусит рысцой.

Женщина. Ружья-то есть у вас в конце концов?

Столяр. Держи карман шире! В Ратуше нас попрже-
нему кормят завтраками. Их там несколько сотен бур-
жуа. И они всё себе заграбастали.

Каменщик. Ну и черт с ними! У нас есть ножи, палки, камни. Чтобы бить, все сгодится.

Женщина. Я натаскала к себе в комнату черепиц, битых бутылок; а посуду и мебель пододвинула к окну. Пусть только полезут — все полетит им в рожи.

Другая женщина (*в окне*). А у меня котел стоит на огне и кипит ключом с самого обеда — булыжники для них варю. Пускай приходят — окачу их горячими камушками.

Оборванец (*с ружьем через плечо, обращаясь к буржуа*). Дай мне денег.

Буржуа. Здесь не попрошайничают.

Оборванец. Я не прошу хлеба, хотя кишки у меня и подвело. Видишь, у меня ружье, а вот пороху купить не на что. Дай мне денег.

Другой оборванец (*несколько навеселе*). Денег? Так у меня их девать некуда. (*Вытаскивает пригоршню монет.*)

Первый оборванец. Откуда они у тебя?

Второй оборванец. А я позаимствовал у святых отцов, когда сегодня грабили монастырь.

Первый оборванец (*хватая его за горло*). Ты что же, свинья, смеешь позорить народ?

Второй оборванец (*пытаясь вырваться от него*). Ну, ну, чего еще? С ума ты спятил?

Первый оборванец (*трясет его*). Выворачивай карманы!

Второй оборванец. Но...

Первый оборванец (*выворачивая карманы второго*). Выворачивай карманы, ворюга!

Второй оборванец. Разве мы уж не имеем права и воровать у аристократов?

Толпа. Повесить его!

- Вздернуть его на крюк вместо вывески!
— Да нет, вздуть его — и все тут! Проси прощения у народа.
— Ладно! Теперь улепетывай!

Оборванец стремительно убегает.

Первый оборванец (*принимаясь за работу*).
Лучше бы повесить его, чтобы другим повадно не было. А то и другие полезут. С такими воругами можно ведь и самому запачкаться. Это мне не по душе.

Камилл Демулен (*входит, как всегда, с рассеянным видом, словно ища развлечений, а на самом деле не упуская ничего из происходящего*). Почистись хорошенько щеткой — и дело в шляпе.

Все хохочут и снова принимаются за работу.

Народ. Подналяжем, надо кончать.

Демулен (*глядя на окна дома и на работающих*). Тут где-то моя Люсиль. Дом их опустел. Когда мне сказали, что вся ее семья отправилась на обед к родственникам в Сент-Антуанское предместье, я сразу подумал: домой они не сумеют вернуться. Так и есть. Они оказались отрезанными. Еще бы, такие укрепления! Эскарпы и контрэскарпы, люнеты — словом, все, как полагается! Осаждают дом по всем правилам... Только вот что, дети мои! Вы как-никак должны сокрушить Бастилию, а не возводить ее подобие. Не знаю, что скажут враги, но для ваших друзей здесь небезопасно. Вот я, например, едва не запутался в веревках, еще немного и сломал бы себе шею. Эта бочка еле держится — надо подложить под нее булыжники.

Столяр. А работаешь ты так же ловко, как мелешь языком?

Демулен (*весело хватая кирку*). Точно так же я и работаю. (*Поднявшись на верхушку баррикады, добирается до окон. В глубине дома — свет. Демулен всматривается.*) Она — там.

Старый буржуа. Судья Флессель — изменник. Он прикидывается, что заодно с нами, а сам переписывается с Версалем.

Каменщик. Это он придумал набрать милицию из буржуа, якобы для того, чтобы охранять нас. Но это только предлог. На самом деле они стараются связать нас по рукам и по ногам. Все они там нуды — сами продались и готовы продать нас.

Столяр. Ну что ж, друзья мои, значит нам не на кого больше рассчитывать, кроме как на самих себя. Я-то уже давно это понял.

Между тем Камилла стучит легонько пальцем в окно и шепчет: «Люсиль!» Свет гаснет. Окно приоткрывается. Появляется хорошенькое личико Люсиль. Она улыбается, мило поблескивая зубками. Оба предостерегающе прикладывают палец к губам. Они разговаривают знаками, влюбленные и радостные. Всякий раз, как кто-нибудь из работающих на баррикаде поднимает голову и смотрит в их сторону, Люсиль быстро захлопывает полуоткрытое окно. Тем не менее двое рабочих замечают их.

Рабочий (показывая на Демулена). Что он там такое делает?

Второй рабочий. Мальчишка влюблен! Ну, что ж! Не будем ему мешать!

Первый рабочий. От этого он хуже драться не станет. Петух всегда защитит курочку. (Продолжает работать, и время от времени с любопытством, но добродушно, остерегаясь спугнуть влюбленную парочку, поглядывает в сторону Камиллы и Люсиль.)

Люсиль (шепотом). Что вы тут строите?

Демулен. Укрепления, чтобы защищать вас.

Смотрят друг на друга смеющимися глазами.

Люсиль. Мне больше нельзя оставаться с вами. Родители услышат.

Демулен. Ну, еще немножечко!

Люсиль. Позже. Когда все улягутся. (Та же игра. Люсиль прислушивается к звукам внутри дома.) Меня зовут. Ждите меня здесь. (Посылает ему воздушный поцелуй и исчезает.)

Каменщик (осматривая баррикаду). Вот это да! Теперь она готова! И, уж поверьте, сделана на совесть! Эх, букет бы сюда, чтобы украсить верхушку.

Столяр (хлопая по плечу Демулена). Не надрывайся так, а то чего доброго чихотку схватишь!

Демулен. Каждому своя работа, товарищ! Быть может, эта баррикада воздвигнута именно силою моего голоса!

Каменщик. Что ты мелешь?

Столяр. Значит, ты работаешь глоткой?

Демулен. Разве никто из вас не был вчера в Пале-Рояле?

Толпа. В Пале-Рояле?

— Подожди-ка!

— Так это ты — тот парень, что призывал нас взяться за оружие? Это ты придумал для нас кокарду? Значит, ты и есть господин Демулен?

— Черт подери! Молодец! Здорово тогда говорил! Я ревел, как теленок!

— А ты и впрямь молодчага!

— Господин Демулен, господин Демулен, позвольте!.. Мне просто необходимо пожать вам руку! Да здравствует господин Демулен! Да здравствует наш малыш Камилл!

Гоншон (*уже капитан милиции буржуа, входит в сопровождении патруля, состоящего из его молодчиков*). Чего вы тут наворотили? Из-за чего горланите? Вы нарушаете порядок, будите весь квартал. Проваливайте! По домам!

Народ. Опять эти проклятые буржуи-охранники! Плюем мы на ваш дозор! Начхать на таких сержантов!

— Нарушаем порядок! Ну, не наглость ли это!

— Мы защищаем Париж!

Гоншон. Это не ваша забота.

Народ (*пораженный и возмущенный*). Не наша забота?!

Гоншон (*еще громче*). Да, вас это не касается. Это наша обязанность. Постоянный комитет поручил нам защиту города. Прочь отсюда!

Демулен (*приближается, всматриваясь*). Да ведь это Гоншон!

Гоншон (*натываясь на баррикаду*). Проклятье! А, черти, мерзавцы, разрази вас гром! Лопни ваши глаза! Какие сукины дети осмелились нагромоздить эту рухлядь, разобрать мостовую, преградить уличное движение?.. Сейчас же расшвырять все это!

Н а р о д (*вне себя*). Разрушить нашу баррикаду! Пусть-ка сунутся!

С т о л я р. Послушай, капитан! Да слушай хорошенько и взвесь все, что я тебе скажу. Мы согласны разойтись и не спорить против приказов комитета, хоть и писали их, видно, дураки безмозглые. Что ж, раз мы воюем, значит нужна дисциплина. Поэтому мы подчиняемся. Но если только хоть пальцем тронут один кирпичик в наших сооружениях, мы свернем тебе шею, а заодно и твоим обезьянам.

Н а р о д. Уничтожить нашу баррикаду!

Г о н ш о н. Да никто и не думает разбирать вашу баррикаду. Вот еще! Разве мы каменщики? У нас и своих дел хватает. Расходись.

К а м е н щ и к (*угрожающе*). Мы уйдем, но, надеюсь, ты понял?

Г о н ш о н (*с апломбом*). Я сказал, что никто ее не тронет, — значит, никто и не тронет. Хватит болтать!

Стронтелы баррикады расходятся. Демулен задерживается.

А ты что, оглох, что ли?

Д е м у л е н. Разве для друзей нельзя сделать исключение, Гоншон?

Г о н ш о н. Это ты, проклятый болтун? Арестуйте этого хулигана!

Р о б е с п ь е р (*входя*). Кошунство! Кто тут осмеливается поднять руку на одного из зачинателей Свободы?

Д е м у л е н. А, Робеспьер! Спасибо!

Г о н ш о н (*выпуская Демулена, в сторону*). Депутат! Черт его дери! (*Громко*.) Я обязан охранять порядок. И буду поддерживать порядок, чего бы мне это ни стоило.

Р о б е с п ь е р. Пойдем со мной, Камилл! Наши друзья собираются сегодня ночью вон в том доме. (*Показывает на дом, находящийся на первом плане слева*.)

Д е м у л е н (*в сторону*). Оттуда мне будет видно окно Люсиль.

Они подходят к дому, у дверей которого в темной нише какой-то человек, в блузе, босой и с ружьем на плече, несет караул, покуривая трубочку.

Человек, стоящий на часах. Кто вы такие?

Робеспьер. Робеспьер.

Человек. Не знаю такого.

Робеспьер. Депутат от Арраса.

Человек. Покажите ваше удостоверение.

Демулен. Демулен.

Человек. А, так ты тот парень, который придумал кокарду? Проходи, товарищ!

Демулен (*показывая на Робеспьера*). Он со мной.

Человек. Хорошо, хорошо, проходите, гражданин Робер-Пьер.

Демулен (*рисуюсь*). Вы имеете случай, мой друг, оценить силу красноречия.

Робеспьер, горько улыбаясь, смотрит на Демулена, вздыхает и молча следует за ним.

Гоншон (*подходя к человеку, несущему караул*). Этот еще откуда взялся?

Человек. Проваливай!

Гоншон. Что, что ты сказал, мошенник? Ты чем тут занимаешься?

Человек (*напыщенно*). Стою на страже Нации; охраняю мозг народа!

Гоншон. Это что еще за выдумки! У тебя есть удостоверение? Кто поручил тебе стоять здесь?

Человек. Я сам.

Гоншон. Ну, так марш домой!

Человек. А я и так у себя дома. Мой дом — улица. Другого дома у меня нет. Убирайся-ка ты сам домой, буржуй! Проваливай с моей мостовой! (*С угрожающим видом наступает на него.*)

Гоншон. Ладно уж! Не будем ссориться... Стану я еще драться с пьянчужгой. Проспись лучше! А мы продолжим наш обход... Ах, мерзавцы! Когда только мы разделаемся с ними! Хоть ты разорвись тут — баррикады так и лезут из-под земли, как грибы. И все-то улицы полны сбродом, которому только бы сцепиться с нами! Дай им волю, так они завтра же скинут короля. (*Уходит со своими людьми.*)

Человек, стоящий на часах. Разъелись, черти, синегривые гады, им не ружье носить, бездельникам, а кур щупать по курятникам! Ты думаешь, назвал себя

командиром, так и можешь распоряжаться свободным человеком!.. Буржуи! Соберется их четверо или пятеро — и сразу пошли комитеты всякие, бумаги изводят груды, а главное, стараются установить свои порядки. «Покажи, говорит, удостоверение!» Как будто кто-то еще нуждается в их разрешениях, подписях и во всем прочем их кривлянье. Не беспокойтесь, без вас себя отстоим, раз уж на нас напали! Пусть каждый за собой смотрит! Хорош мужчина, который ждет, чтобы его защитили другие! Будто мы не понимаем! Они, конечно, рады бы отнять у нас ружья и снова узду на нас надеть по старинке. Да только руки коротки — кончилось их времечко. А эти-то чудаки: орут, что их предали, сами же при первом окрике бросают на произвол судьбы свою баррикаду из страха перед властями и богатеями с туго набитой мошной! Привыкли, чтобы их водили на поводу, — в один день от этого не отучишься! Счастье еще, что существуют на свете бродячие псы вроде меня, у которых ни угла своего нет, ни почтительности. Вот и стой здесь на посту вместо них и смотри в оба. Нет уж! Мы не отдадим нашего Парижа! Париж все-таки, хоть у нас и нет ничего, принадлежит нам, а не только аристократам, теперь он нам особенно полюбился, Париж-то. Еще вчера я ни о чем не заботился. Что мне было до этого города, ведь у меня даже конуры нет, где укрыться от дождя и перекусить, когда одолевает голод? Какое мне было дело до того, счастливы или несчастливы все прочие? Теперь все переменилось. Все, что происходит здесь, касается и меня; все стало вроде и моим — их дома, их деньги и их глупые башки. Я обязан за всем этим приглядеть — ведь они работают и на меня. Все равны, как они говорят, равны и свободны... Боже мой... да я же всегда это чувствовал, только выразить не мог... Свободны! Пусть мы голь, пусть жрать нам нечего, пусть кишки у нас сводит — наплевать!.. Свободны! Мы теперь свободны!.. Можем расправить груды!.. Дышать! Мы короли! Мы завоюем весь мир! *(Увлекаясь все больше и больше, начинает расхаживать крупными шагами.)* Что это со мной? Я — как пьяный, голова кружится, а я ведь ничего не пил. Что же это? Это — слава!

Гюлен (выходя из дома). Уф! Чуть не задохнулся, надо проветриться.

Человек, стоящий на часах. Это ты, Гюлен! Что они там делают?

Гюлен. Что делают? Говорят, говорят. А! Проклятые болтуны! Как примутся нанизывать фразу за фразой — ничем их не остановишь... Демулен несет невероятную чепуху, пересыпая ее латынью. Робеспьер мрачен и призывает всех к самопожертвованию. Они все ставят под вопрос: законы, общественный договор, разум, происхождение мира. Один восстает на бога, другой — на природу. А когда надо подумать о том, что идет война, что мы должны отразить реальную опасность, все молчат! Решать? Пусть, мол, все решится само: никто ведь не беспокоится, когда идет дождь в Париже. Пойдет, да и перестанет. Так вот и они рассуждают, фразеры проклятые!

Человек. Не нужно ругать их! Уметь красиво говорить — это ведь тоже хорошо! Иной раз они скажут словечко, так насквозь тебя и проймет. Даже дрожь по спине проходит. Тут можно и разрыдаться и на родного отца руку поднять! Кажется, ты всех сильнее в мире, вроде бога! Но что поделаешь — каждому свое! Они думают за нас. Наша обязанность действовать за них!

Гюлен. А ты вот попробуй тут действовать!.. Видишь? (Показывает на Бастилию.)

Человек. Огоньки перебегают по левой башне. И там наверху не спят вроде нас. Наводят красоту на свои пушки.

Гюлен. А наши пушки где? Нет, мы не сможем сопротивляться.

Человек. Посмотрим.

Гюлен. Что ты сказал?

Человек. Я говорю: посмотрим. Стая скворцов забьет и коршуна.

Гюлен. Ты оптимист.

Человек. Такова уж моя натура.

Гюлен. На тебя глядя, не захочешь быть оптимистом!

Человек (добродушно). Вот тут ты прав! Удача мне несродни. С тех пор как я себя знаю, не могу припомнить, чтобы хоть раз удалось то, что я задумал.

(Смеется.) А, пропади все пропадом! Натерпелся я всяких напастей на своем веку! Что поделаешь, не для одних радостей мы на свет родились. В жизни все перемешано — бывают и хорошие и плохие дни! Только я не теряю надежды! Конечно, иногда можно и просчитаться. Но сейчас-то, Гюлен, я чувствую, что дело к хорошему клонится. Ветер переменился. Праздник на нашей улице.

Гюлен (насмешливо). Хорош праздник! Ты бы себе хоть обувку-то приличную справил к празднику.

Человек (рассматривая свои босые ноги). Спроси у Капета: он тебе скажет, что сегодня спокойнее без сапог на ногах, чем с короной на голове. Я и босиком дойду, если понадобится, до Вены, а то и до Берлина да еще проучу всех королишек.

Гюлен. Что, тебе дома дела мало?

Человек. Пока дела хватит. А вот когда мы покончим у себя, наведем порядок в Париже и по всей Франции, почему бы нам не прогуляться всем вместе, а, Гюлен, взявшись за руки, — солдатам, буржуа и беднякам, и не почистить Европу? Немало ведь червей ее точит. Мы же не эгоисты, верно? Какая радость хранить свою радость про себя? Когда я узнаю какую-нибудь новость, мне не терпится поделиться со всеми. С тех пор как началось все это, у меня в голове точно гул стоит от слова «свобода» и от всех наших речей — так и хочется без конца повторять их всем и каждому, орать на весь мир. Будь я неладен, если вру! Если бы все были на меня похожи, вот бы было шуму! Я уже слышу, как дрожит земля от наших шагов и вся Европа бурлит, будто вино в чане. Народы бросаются нам на грудь — знаешь, как ручьи, которые сливаются в реку. И мы — река, смывающая все на своем пути.

Гюлен. Ты случайно не болен?

Человек. Я? Я крепок, как кочерыжка.

Гюлен. И часто тебе снятся сны вот так, наяву?

Человек. Всегда. Так легче жить. Что-нибудь да сбудется в конце концов из моих снов. А ты, Гюлен, разве не согласен, что это была бы недурная прогулка? И разве тебе не хочется принять в ней участие?

Гюлен. Ну, ладно! Когда ты возьмешь Вену и Берлин, я постараюсь удержать их,

Человек. Не смейся. Кто знает, что может случиться!

Гюлен. Правда, случается всякое.

Человек. Все сбывается, надо только захотеть, конечно.

Гюлен. Пока что я бы очень хотел знать, что произойдет в ближайший час.

Человек. Это-то как раз всего труднее угадать. Что мы будем делать? Ну, там видно будет. Всему свое время.

Гюлен. Ох, уж эти мне французы! Все на один лад; любят думать о том, что произойдет через сто лет, и совсем не заботятся о завтрашнем дне.

Человек. Возможно и так. Зато и о нас будут помнить столетия.

Гюлен. А тебе от этого легче?

Человек. Мои кости заранее ликуют. Одно только досадно — мое имя не останется в истории.

Гюлен. Честолюбец!

Человек. Ничего не поделаешь! Я равнодушен к славе.

Гюлен. Прекрасная вещь — слава. Все несчастье в том, что она достается в большинстве случаев покойникам. Я предпочитаю хорошую трубку.

Справа появляется Вентимиль.

Вентимиль. Пустые улицы. Два босняка, почесываясь, разглагольствуют о славе. Обломки мебели, разбитой бесноватыми парижанами. Вот оно — великое восстание! Достаточно было бы одного патруля, чтобы навести порядок в Париже. Чего они дожидаются там, в Версале?

Человек (*внезапно поднявшись, направляется к Вентимилью*). Эй, ты! Чего тебе здесь надо?

Вентимиль (*иронически разглядывая его*). Вот какова теперь форма господ стрелков ночного караула! Прочь с дороги, уважаемый!

Человек. Кто вы? Куда идете в такой поздний час?

Вентимиль (*протягивая ему какую-то бумагу*). Умеешь читать?

Человек. Бумажонки? Ну, разумеется, умею. (*Гюлену*.) Читай. Что там написано?

Гюлен (*прочитав*). Пропуск. Все по форме. Подписано Комитетом городской ратуши. Скреплено Гоншоном, капитаном милиции буржуа.

Человек. Так я им и поверил. Все это покупается за деньги. (*Ворча, пропускает Вентимилья.*)

Вентимиль. Бесспорно, все можно купить за деньги. (*Проходя, безразлично протягивает человеку деньги.*) До свиданья.

Человек (*подскакивая*). Что? Это еще что такое?

Вентимиль (*не оглядываясь*). Ты же отлично видишь. Бери и молчи.

Человек (*подбегает к Вентимилью и загоразживает ему путь*). Так ты, значит, аристократ? Ты хочешь купить меня?

Гюлен (*вмешиваясь*). Успокойся, товарищ, успокойся! Я его отлично знаю. (*Подходит к Вентимилью.*)

Вентимиль (*не смущаясь*). В самом деле, это...

Гюлен. Это Гюлен.

Вентимиль. Ну да.

Короткая пауза. Оба смотрят друг на друга.

Гюлен (*человеку*). Пропусти его.

Человек (*взбешенный, кричит*). Он хотел купить меня! Купить мою совесть!

Вентимиль. Твою совесть? На что она мне? Нечего сказать, хорош товар! Я плачу тем, кто мне оказывает услуги. Живо, получай!

Человек. Я не оказываю услуг. Я исполняю свой долг.

Вентимиль. Ну что ж, в таком случае получай за исполнение долга. Не все ли мне равно за что платить...

Человек. За исполнение долга не платят. Я — свободный человек!

Вентимиль. Ни твой долг, ни твоя свобода не прокормят тебя. Ненавижу фразеров. Поторапливайся. Деньги всегда стоит брать — за что бы ни платили. Не ломайся! Ведь самому не терпится взять. Я знаю, что ты не устоишь, дело только в цене. Может, мало тебе показалось? Сколько же ты хочешь, господин свободный человек?

Человек (который несколько раз уже порывался взять деньги, кидается на Вентимиля. Гюлен его останавливает). Пусти меня, Гюлен, пусти меня!

Гюлен. Спокойно!

Человек. Нет! Я должен убить его!

Вентимиль. Что с ним такое?

Человек (удерживаемый Гюленом, Вентимилем). Убирайтесь отсюда! Зачем вы явились? Я был счастлив, я забыл о своей нищете; я был свободен, я был властелином вселенной. А вы мне напоминаете, что я голоден, что я даже и себе-то не хозяин, что любой подлец, у которого есть пригоршня серебра, может стать моим господином и унижить мое человеческое достоинство. Деньги — это грязь, но без них мы не можем обойтись. Вы отравили мою радость. Убирайтесь!

Вентимиль. Вот уж действительно много шума из ничего. Кого ты думаешь поразить своей щепетильностью? Мне это совсем не нужно. Ну, довольно, бери!

Человек. Лучше подохнуть!.. Вот если ты, Гюлен, мне дашь...

Вентимиль протягивает деньги Гюлену, который отдергивает руку. Деньги падают. Человек поднимает их.

Гюлен. Куда ты?

Человек. Напиться, чтобы забыть.

Вентимиль. Что забыть?

Человек. Что я на самом деле не свободен. Негодяй! (Уходит.)

Вентимиль. Кривляка! Трудно придумать что-либо глупее оборванца, который изображает из себя гордеца, не имея никаких оснований для этого. До свиданья, уважаемый. Спасибо.

Гюлен. Оставьте при себе вашу благодарность. Я не хотел называть вас, иначе вы не ушли бы отсюда живым. Это было бы предательством с моей стороны, а я человек честный. К тому же я не поклонник всего этого насилия и нисколько не верю в их революции. Но я не с вами, и уж ни в коем случае не допущу, чтобы вы причинили вред моим товарищам. Зачем вы сюда пожаловали?

Вентимиль. Я нахожу, что ты чересчур любопытен.

Гюлен. Прошу прощения. Но вы играете со смертью. Разве вам не известно, как вас ненавидят?

Вентимиль. Я возвращаюсь от любовницы. Не менять же мне свои привычки из-за двух-трех сумасшедших!

Гюлен. Вы и не представляете себе, какое их множество!

Вентимиль. Вот и прекрасно. Чем они многочисленнее и наглее, тем лучше.

Гюлен. Для кого?

Вентимиль. Для нас. В наше время слишком много развелось чувствительных душонок. Оттого никто и не решается действовать. Из страха пролить несколько капель крови не смеют отдать приказ о пресечении гнусного своеволия черни. Слабость — причина беспорядков, разоряющих королевство. Мы не избавимся от зла, если не доведем его до предела. Хороший мятеж — вот что нам нужно. Повод для расправы. Мы не заставим себя просить. В двадцать четыре часа мы покончим, по крайней мере лет на пятьдесят, со всеми дурацкими бреднями наших философов и адвокатов.

Гюлен. Значит, Революция вам на руку? Вы ничего не имеете против того, чтобы народ совершал кровавые насилия? А при случае даже и преступления?

Вентимиль. Почему бы нет? Любое — лишь бы побольше шума.

Гюлен. А если начнут с вас?

Вентимиль. Что за вздор!

Гюлен. Представьте, что я бы сам не прочь...

Вентимиль. Не верю.

Гюлен. Не дразните меня.

Вентимиль. Ну, ты-то, дружище, этого не сделаешь. Ты честен.

Гюлен. Откуда вам известно? Я сам уверил вас в этом, но я нахвастал.

Вентимиль. Ну, нет, вот сейчас ты действительно хвастаешь. Что бы ты о себе ни говорил, от этого ты не переменишься. Ты честен — это написано на твоём лице.

Гюлен. Разве это помешает мне арестовать вас, если я захочу?

В е н т и м и л ь. Безусловно. Кто хочет быть порядочным, должен идти на известные жертвы. Что бы ты стал думать о самом себе, Гюлен, если бы ты меня предал? Разве ты не потерял бы навеки неоценимый дар — самоуважение? Не так-то легко заставить совесть молчать. Ты напрасну выходишь из себя, Гюлен. Поверь мне — ты честный человек. Прощай! (*Удаляется.*)

Г ю л е н. Он издевается надо мной. Да, он меня изучил. Он прав — у мерзавцев есть и будет преимущество перед честными людьми: одни подчиняются принципам, другие — нет. Но к чему тогда честность, если по ее милости остаешься в дураках? Все дело в том, что я не могу поступать иначе. А, впрочем, так оно все-таки лучше! Да разве можно дышать, будучи нравственным уродом, человеком с низкой душой? Они одолеют нас, это яснее ясного... И довольно скоро!.. А хорошо все-таки было бы победить... Бедные мы! Они нас уничтожат! (*Пожимает плечами.*) Ну и что ж...

Вдалеке слышен веселый голос Гоша, прерываемый смехом и криками одобрения. Окна в домах раскрываются. Люди высовываются посмотреть, что происходит. Демулен, Робеспьер и их друзья выходят из кафе, где они совещались.

Это Гош! Узнаю его смех! Сразу отлегло от сердца, как его слышал!

Гош входит, окруженный отрядом гвардейцев. Они, как и он, при оружии. Военных сопровождает смеющаяся и кричащая толпа. Конта выделяется на общем фоне своим искрящимся весельем. Марат, встревоженный, подозрительно оглядываясь вокруг, выходит из другой улицы.

Гош (*смеясь, показывает своим товарищам воздвигнутые народом укрепления*). Какова работа! Посмотрите! Да у них завелись свои Вобаны! Вот молодцы! Так бы всех вас и расцеловал! Потрудились-таки! Но, черт подери, чего ради? Против кого все это, друзья мои? Не против друзей же! А враги и не подумают прийти сюда — будьте спокойны!

Н а р о д. Да здравствует гвардия!

Марат устремляется к Гошу и, расставив руки, загораживает ему дорогу.

Марат. Остановись, солдат! Ни шагу дальше!

Изумленная и заинтересованная толпа перешептывается и теснится ближе.

Демулен. Что с ним? Совсем голову потерял...

Гюлен. И давно уж.

Марат. Отдай саблю! Разоружайтесь все!

Демулен. Дождется он, что его зарубят.

Гвардейцы. Каков прохвост!

— Чтобы я отдал мою саблю? Вот воткну ее тебе в брюхо, тогда и получишь!

Народ. Уничтожить его!

Гош. Спокойствие! Дайте мне объясниться с ним. Я его знаю. А ну-ка, уברי руки, дружище!

Марат (*поднимаясь на цыпочки, чтобы ухватить Гоша за ворот*). Отдай саблю!

Гош (*спокойно высвобождаясь, удерживает вырывающегося Марата*). Что ты намерен с ней делать, приятель?

Марат. Я не позволю тебе сразить Свободу.

Гош. Не доверяешь людям, которые пришли сюда, чтобы пролить свою кровь за народ?

Марат. Кто поручится за твою преданность делу народа? Почему должен я доверять этим солдатам? Мы их не знаем!

Гвардейцы. Руби его, Гош!

Гош успокаивает их жестом; улыбаясь, смотрит на Марата и отпускает его.

Гош. Он прав. Почему он должен доверять нам? Он ведь не видел нас в деле.

Озадаченный Марат внезапно умолкает и замирает на месте.

Гвардейцы. Хороши, нечего сказать! Рискуешь ради них жизнью, а они же еще и подозревают тебя!

Гош. Ну так ведь он и вправду не знает нас. (*Ласково.*) Ты ошибаешься, Марат, но ты хорошо делаешь, что так твердо охраняешь интересы народа. (*Народу.*) Мы, солдаты и народ, понимаем друг друга с полуслова; нам не нужно долго раздумывать, чтобы распознать тех, кто достоин доверия. И все же необходима бдитель-

ность, — мы на войне, и ваше право спрашивать у всех отчет в их поступках. Никто не смеет уклониться от этого.

Н а р о д. Мы знаем тебя, Гош! Ты — друг.

Гош. Остерегайтесь друзей. (*Улыбается.*) Я это не о себе говорю. Помните: пока вам трудно, можете не бояться избытка друзей — сейчас такая опасность еще не грозит вам. Но когда вы станете могущественны, ложные друзья появятся со всех сторон, и вот тогда-то надо будет неусыпно следить за ними.

Г в а р д е й ц ы. Вот он каков, наш Гош, — любит давать советы другим. Учит нас быть настороже, а сам готов довериться каждому.

Гош (*смеясь*). Это правда! Если мне приглянутся чьи-нибудь глазки, я сразу попадаюсь! Но моя глупость не приносит вреда никому, кроме меня самого. А вам ведь предстоит спасти весь мир. Не подражайте мне! Нас несколько сотен — гвардейцев. Офицеры, пронюхав о наших симпатиях к народу, хотели отправить нас в Сен-Дени, чтобы разлучить с вами. Мы ушли из казармы и явились сюда предложить вам свою службу. Чтобы успокоить Марата, разделите нас на группы по десять или по двадцать человек, и пусть каждая из этих групп волеется в народные батальоны... Таким образом, вы будете хозяевами над нами, а мы сможем руководить вами и обучать вас. А со мной пусть идет Марат. Ты согласен, Марат? Мы оба не останемся в накладе. Ты убедишься, что честные люди еще существуют на свете, а меня, быть может, научишь распознавать предателей, хоть я и боюсь, что ты зря потратишь время на мое перевоспитание.

Марат, который до тех пор пожирал Гоша глазами, с напряженным вниманием следя за его речью, приближается и протягивает ему руку.

М а р а т. Я ошибся.

Гош (*улыбаясь, пожимает ему руку*). Как это должно быть тяжело — вечно подозревать! Я бы предпочел умереть.

М а р а т (*вздыхая*). Я тоже. Но ты ведь только что сказал — речь идет не о нас, а о Нации.

Гош. Оставайся же бдительным оком народа. Но не завидую тебе; моя обязанность легче!

М а р а т (глядя на Гоша). О, Природа! Если глаза и голос этого человека лгут, тогда честности не существует больше. Солдат, я тебя публично оскорбил. Перед лицом народа я прошу у тебя прощения.

Гош. Ты не оскорбил меня. Кому лучше меня знать, что такое военачальник и как он может быть опасен для дела Свободы! «Правительство, опирающееся на военную силу, подходит только рабам, но не свободным людям — мы ненавидим его так же, как и ты»¹. Мы по собственной воле только что разделились с той слепой силой, частью которой мы сами являлись. Мы хотим, чтобы армия склонилась перед разумом. Примите же нас в свои объятия, дайте нам место в кругу вашей семьи, верните нам нашу былую свободу, нашу совесть, которая так долго была закована в кандалы, наше право быть людьми — такими же, как вы, равными вам, быть вашими братьями. Солдаты, станемте вновь народом! А ты, народ, весь как один стань воином — защищайся, защищай нас, защищай нашу поруганную душу! Возьмемся за руки, обнимемся, сольемся в едином дыхании! Друзья! Каждый за всех! Все за одного!

Народ и солдаты (в порыве восторга и братских чувств целуются; слышны плач и крики). Да! За вас! Ради вас! Ради наших братьев — простых людей! Ради наших братьев — солдат! Ради всех угнетенных! Всех страдающих! Всех людей!

Восклицания раздаются со всех сторон, сливаясь в общий гул; слышен голос народа, голоса солдат, кричат с улицы, из окон, с балконов, переполненных женщинами и детьми.

Г ю л е н. Урра! Гош! Наконец-то! Вот кто умеет разогнать тоску!

Гош (дружелюбно обращаясь к тем, кто приветствует его из окон домов). Что вы торчите по своим каморкам? Какое безумие сидеть взаперти в эту дивную июльскую ночь! Человек тоскует, когда отгораживается от себе подобных! В затхлом воздухе рождаются неверие и сомнения! Выходите на улицу! Достаточно вы насиделись дома! Настала пора дышать свежим воздухом! Идите все сюда

¹ Подлинные слова Гоша. — Р. Р.

насладиться пробуждающимся утром! Осажденный город дышит полной грудью! Ни городские стены, ни подступающие к ним полчища не могут преградить доступ ветру полей! Он несет нам привет от наших братьев крестьян. Хлеб созрел: мы соберем урожай.

Конт а. До чего же он хорош! Он так и излучает радость. (*Направляется к Гошу.*)

Гош. А вот и вы — цветочница Свободы, госпожа роялистка, обрывавшая своими прекрасными ручками листья с деревьев Пале-Рояля, чтобы одарить народ эмблемой раскрепощения! Я знал, что вы сюда придете! Вы, значит, все-таки уверовали в нас?

Конт а. Я поверю во все, во что ты захочешь. Человек с таким лицом (*показывая на него*) способен обратить меня в любую веру.

Народ смеется.

Гош (*смеясь*). Ну, это меня не удивляет — ведь я прирожденный апостол. Что ж, становитесь в ряды — мы никого не отталкиваем. Вооружайтесь пикой — такая девушка должна уметь постоять за себя.

Конт а. Меньше прыти! Ты слишком уверен, что уже завербовал меня! Я смотрю, аплодирую, даже нахожу спектакль занимательным, но сама не играю сегодня.

Гош. Вы называете все это занимательным? Вы думаете, что это игра? Посмотрите на беднягу, у которого под блузой все кости можно пересчитать, на женщину, протягивающую младенцу пустую грудь... вас все забавляет, даже эти существа, умирающие с голоду? Для вас то, что здесь происходит, занятная пьеса? Вы не думаете о том, что только народ способен, не имея ни хлеба, ни уверенности в завтрашнем дне, утверждать права человека и вечную справедливость? Разве вам не ясно, что это посерьезнее трагедии Корнеля!

Конт а. Да, но все-таки это игра.

Гош. Трагедия — не игра. В ней все серьезно. Цинна и Никомед существуют так же, как и я.

Конт а. Ты — чудак! Авторы и актеры создают видимость жизни, а ты все принимаешь за чистую монету.

Гош. Вы ошибаетесь, для вас это не только видимость; вы сами не знаете себя.

Конта. До чего ты забавен! Что же, ты меня знаешь лучше, чем я сама?

Гош. Я видел вас в театре. Я видел, сколько чувства вы вкладывали в ваши роли.

Конта. И ты думаешь — это истинное чувство?

Гош. Вы невольно отдаетесь чувству, сколько бы вы ни отрицали это. Настоящая сила всегда подлинна. Она ведет вас. И я знаю лучше, чем вы сами, куда она вас приведет.

Конта. Куда же?

Гош. Тот, кто силен, идет дорогой сильных. Вы будете с нами.

Конта. Не думаю.

Гош. Что вы думаете — не имеет значения. Мир делится на здоровых и больных. Все, что здорово, тянется к жизни. Жизнь с нами. Идемте!

Конта. С тобой — куда угодно!

Гош. Однако вы решительны! Что ж! Об этом подумаем позже, если у нас будет время подумать.

Конта. Для любви всегда есть время.

Гош. Вам это внушили, и зря. Вы воображаете, что наша Революция сведется к любовной истории? О, женское легкомыслие! Вот уже полвека, как вы привыкли всем заправлять во Франции, все подчинено вам, вашим капризам, вашим причудам; и вам даже не приходит в голову, что существуют вещи поважнее вас? Забавы кончились, мадам! Начинается серьезная игра, на карту поставлены судьбы мира. Дорогу мужчинам! Если вы сумеете — следуйте за нами в наших битвах, поддержите нас, примкните к нашей вере, но, черт возьми, не пытайтесь ее поколебать! Вы не много стоите по сравнению с ней! Не взыщите, Конта! На мимолетное увлечение у меня нет времени. Что же касается любви, я уже отдал свое сердце.

Конта. Кому?

Гош. Свободе.

Конта. Хотела бы я взглянуть на эту деву.

Гош. Я думаю, она должна быть похожа на тебя. Сильная, хорошо сложенная, белокурая, отважная, страстная; но без твоих румян и мушек, без твоего жеманства и насмешек; она борется, а не смеется, как ты, над теми,

кто борется! Она нашептывает нам не твои двусмысленности, а слова преданности и братства! Я — ее любовник! Когда ты станешь, как она, я буду твой! Вот мои условия!

Конт а. Я принимаю их. Ты будешь моим. Идем сражаться! *(Вырывает ружье у своего соседа и с подъёмом декламирует несколько стихов из «Цинны».)*

Погибнешь ты — твоя не омрачится слава:
На честь посмертную смерть не отнимет права.
Не честь, а только жизнь теряет в битве тот,
Кто жертвой случая в сражении падет.
Несчастья Кассия и Брута не затмили
Сиянья их имен; и хоть они в могиле,
Они живут еще в величии своем:
Мы римлянами их последними зовем...

Иди за ними вслед, как честь тебе велела!

(Бросается в толпу, которая рукоплещет ей.)

Гош. В добрый час! Пусть нас ведет Корнель! Пусть потрясает перед нами факелом героизма!

Гю л е н. Куда вы идете?

Гош. Куда мы идем? *(Поднимает глаза и смотрит на дом, стоящий напротив.)*

Маленькая Жю л и в одной рубашонке, радостно взволнованная, высовывается из окна.

Спроси у этой крошки, у этого мышонка с блестящими глазками. Я хочу, чтобы она сказала за нас, что таится в наших сердцах. Пусть невинность станет нашим голосом. Куда мы идем? Куда мы должны идти?

Жю л и *(поддерживаемая матерью, высовывается всем телом из окна и, протягивая к народу руки, кричит изо всех сил).* На Бастилию!

Н а р о д. На Бастилию!

Сквозь невероятный шум прорываются резкие, исполненные ярости выкрики; они раздаются со всех сторон сразу, их выкрикивают целые группы и отдельные лица — рабочие и буржуа, студенты и женщины.

Н а р о д *(в неистовстве).* В Бастилию! В Бастилию!
— Свершилось!

— Сбросим этот гнет!
 — Сорвем с себя ошейник!
 — Опрокинем эту проклятую глыбу, которая давит на нас!
 — Символ нашего поражения и унижения!
 — Могилу всех, кто осмелился сказать правду!
 — Темницу Вольтера!
 — Темницу Мирабо!
 — Темницу Свободы!
 — Воздуху! Воздуху!
 — Чудовище, ты рухнешь!
 — Мы тебя сроем до основания, пожирательница людей, убийца, презренная, подлая, сообщница палачей!

Угрожают Бастилии кулаками; возбуждение передается от одного к другому, голоса хрипнут от крика: Гюлен, Робеспьер, Марат размахивают руками, тщетно стараясь заставить себя слушать: видно, что они не одобряют принятое народом решение, но их голоса теряются в невообразимом шуме.

Гюлен (*кричит, стараясь перекрыть шум*). Да вы с ума сошли! Вы — сумасшедшие! Мы же разможем себе головы об эту громаду!

Марат (*скреживая руки на груди*). Я преклоняюсь перед вашим порывом! Но стоит ли так трудиться только затем, чтобы освободить горсточку аристократов! Разве вы не знаете, что там находятся одни богачи? Это тюрьма для аристократов, только для них! Пусть они сами разбираются между собой. Вас это не касается.

Гош. Нас касается любая несправедливость. Наша Революция — не семейное дело. Если мы не так богаты, чтобы иметь родственников в Бастилии, мы все же можем породниться с теми богачами, которые несчастны, как и мы. Все, кто несправедливо обездолен, — наши братья!

Марат. Ты прав!

Народ. Мы хотим взять Бастилию!

Гюлен. Но как же вы ее возьмете, одержимые? У вас нет оружия, а у них сколько угодно!

Гош. Правильно. Надо забрать у них оружие!

В глубине сцены возникает гул.

Рабочий (вбегая). Я с левого берега. Там все поднялись! С площади Мобер, с Базоша, с горы Святой Жевьевы — народ двинулся к Дому Инвалидов, чтобы добыть себе оружие. Говорят, там на складе тысячи ружей. А в толпе — и гвардейцы, и монахи, и женщины, и студенты — их целая армия. Королевский прокурор и священник Сент-Этьен-дю-Мон идут во главе восставших.

Гош. Ты требовал, Гюлен, оружия. Вот оно!

Гюлен. С несколькими сотнями старых аркебуз и заржавленных касок — пусть даже с несколькими пушками, если у Инвалидов найдутся исправные, — Бастилия не возьмешь. Это все равно что пытаться скovyрнуть ножом утес.

Гош. Я тоже думаю, что не при помощи пушек Бастилия будет взята. Но она будет взята.

Гюлен. Каким же образом?

Гош. Надо, чтобы Бастилия пала. И она падет. Боги с нами.

Гюлен (пожимая плечами). Какие боги?

Гош. Справедливость, разум. Ты падешь, Бастилия!

Народ. Ты падешь!

Гюлен. Я предпочел бы союзников более реальных. Я не верю всем этим бредням. Ну что ж! А все-таки никто не посмеет сказать, что я отстал от других. Я даже хочу идти впереди всех. Вы, возможно, знаете лучше меня, что надо делать. Но действовать буду я. Вы хотите идти на Бастилию, дурачье? Идемте же!

Гош. Ты всегда будешь впереди и всегда будешь твердить, что ничего нельзя сделать!

Гоншон возвращается со своим патрулем.

Гоншон. Они опять здесь! Проклятье! Вот сволочь! Гонишь их в дверь — они лезут в окно! Так-то вы меня слушаетесь? Разве я не приказал вам разойтись по домам? (Хватает одного за шиворот.) Ты слышишь, что я сказал? Я тебя узнаю — ты уже был тут сегодня. Слушай! Мне это надоело! Я прикажу арестовать тебя. Я всех вас переарестую. Мы обязаны блюсти порядок. Всякий гражданин, который шатается ночью без пропуска, считается подозрительным.

Гош (*смзясь*). Эга скотина собирается упрятать под арест весь народ.

Марат. Кто этот предатель, осмеливающийся уподоблять себя народу? По какому праву приказывает он Нации? Я узнаю этот мерзкий голос. Это толстяк с физиономией Силена, опухший от пороков, сочащийся распутством и наглостью. И этот спекулянт воображает, что он может командовать Революцией, как он командовал оргиями своего Пале-Рояля? Прочь отсюда! Или я немедленно арестую тебя именем народа-владыки!

Гоншон (*бормочет*). Я представитель власти, я избран Центральным комитетом.

Народ. Власть — это мы! Мы избрали Центральный комитет. Придется тебе повиноваться нам!

Марат (*говорит с напускной свирепостью, желая подиутить над смертельно перепуганным Гоншоном*). Этому предателю нельзя верить: он стал на сторону народа, чтобы погубить нас. Гош хорошо сказал: если мы не будем настороже, нам скоро некуда станет деваться от подобных друзей. Предлагаю отрезать уши или по крайней мере большие пальцы рук всем уличенным приспешникам аристократии — это необходимая мера предосторожности.

Народ смеется.

Гоншон (*перепуганный, Гошу*). Солдат, ты здесь для того, чтобы оказывать поддержку закону...

Гош. Стань вон там: тебе не причинят вреда. А теперь иди вперед — мы последуем за тобой.

Гоншон. Вы последуете за мной? Куда это?

Народ. К Бастилии!

Гоншон. Что?

Гош. Ты не ослышался. Брать Бастилию. Вы ведь защищаете интересы народа, господа из буржуазной милиции? Значит, ваше место в первых рядах. Не стесняйтесь, проходите вперед! Как, ты недоволен? (*Наклонясь к уху Гоншона*.) Я знаю все твои проделки, голубчик, — ты в переписке с герцогом Орлеанским... Так вот — смирно!.. Марш вперед, — и знай: я буду глядеть за тобой в оба! Одно мое слово Марату, и... День еще не наступил, ты недурно будешь светить нам с верхушки вот этого фонаря.

Гоншон. Отпустите меня домой.

Гош. Нет! Либо мы тебя повесим, либо ты пойдешь с нами брать Бастилию. Выбери!

Гоншон (*поспешно*). Брать Бастилию!

Народ смеется.

Гош. Ты — храбрец! А мы, жители предместья, не позволим, чтобы гора Святой Женевьевы раньше нас прошла в дамки. Ты думаешь, Сент-Антуан так и будет сидеть сложа руки, в то время как у Сен-Жака пошли в ход и кулаки и дубинки! Звоните в колокола, бейте в барабаны, сзывайте всех граждан! (*К избирателям и депутатам.*) А вы, граждане, следите за Ратушей, чтобы нам не всадили ножа в спину! Зорко следите за буржуями! Мы же пойдем заарканим зверя. (*Показывает на Бастилию.*)

Маленькая Жюли спустилась с матерью вниз. Они стоят на пороге дома. Чтобы лучше видеть, Жюли взобралась на каменную тумбу и умоляюще смотрит на Гоша. Гош замечает ее и улыбается.

А, малютка! Ты тоже хочешь идти с нами? Не сидится на месте?

Она протягивает к нему свои дрожащие ручки и молча кивает головой.

Хорошо, идем! (*Он поднимает ее и сажает к себе на плечо.*)

Мать. Вы — сумасшедший! Оставьте ее! Разве можно тащить ребенка туда, где сражаются!

Гош. А разве не она нас туда послала? Она будет нашим знаменосцем!

Мать. Не отнимайте ее у меня!

Гош. Так идемте же с нами, мать! Сегодня никто не должен отсиживаться дома! Вылезайте, улитки, из раковин! Весь город выходит из своей тюрьмы! Никто не должен отставать! Это не армия, ведущая войну, это — восставший народ!

Мать. Правильно! И уж если помирать — так всем вместе!

Гош. Помирать? Ну, нет! Умирает лишь тот, кто ищет смерти!

Небо позади домов и Бастилии начинает светлеть.

Урра! Зарождается день, новый день! Смотрите на зарю Свободы!

Жюли (до тех пор молча улыбавшаяся, сидя на плече у Гоша и держа пальчик во рту, теперь запела тоненьким голоском народную песенку того времени).

Свобода, в этот день чудесный
Приди, наполни душу нам!

Гош (смеясь). Зачирикал наш воробышек.

Народ смеется.

Идемте же. Веселей! Навстречу солнцу!

Подхватывает песенку Жюли и устремляется вперед; вся масса народа приходит в движение, присоединяясь к пению Гоша и маленькой Жюли. У кого-то нашлась флейта, и ее резкие и пронзительные звуки аккомпанируют песне. С музыкой сливаются восторженные возгласы народа и все нарастающий звон колоколов; этот неясный гул служит фоном для последующей сцены. Гоншон и дрожащие от страха полицейские идут вместе со всеми, подталкиваемые насмехающейся над ними веселой толпой, среди которой Конта и Гюлен. Мужчины и женщины выходят из домов, присоединяются к народу, бегут вслед за шествием. Буря радости.

В то время как народ шумно удаляется со сцены, Демулен, который шел со всеми до кулис, поворачивает назад, быстро влезает на баррикаду, пробирается к окну Люсиль и прижимается лицом к стеклу. До самого конца действия из-за сцены доносится шум толпы, звон колоколов, барабанный бой. Замешкавшиеся люди выбегают из своих домов, не обращая внимания на влюбленных.

Камилла (вполголоса). Люсиль!..

Окно тихонько открывается. Люсиль обнимает Камилла.

Люсиль. Камилла...

Целуются.

Камилла. Ты все время была тут?

Люсиль. Тише!.. Рядом спят. А я спряталась здесь и никуда не уходила. Я все слышала и все видела.

Камилла. Ты совсем не спала?

Люсиль. Как можно спать при таком невероятном шуме? Ах, Камилла! Как они превозносили тебя!

Камилла (довольный). Ты слышала?

Люсиль. Стены дрожали от их криков. А я только посмеивалась. Мне хотелось кричать вместе с ними. Но

кричать я не могла, вот и начала дурачиться; я влезла на стул и... Угадай, что я сделала?

К а м и л л. Как же я могу догадаться?

Л ю с и л ь. Догадайся, если ты меня любишь. Если ты ничего не почувствовал, значит ты не любишь меня. Что я тебе посылала?

К а м и л л. Поцелуи.

Л ю с и л ь. Ты меня любишь! Ну, конечно! Целые корзины поцелуев! Правда, некоторые мои поцелуи доставались тем, кто тебе аплодировал... Они такие хорошие, они так кричали! Как ты прославился, мой Камилл, за один день, за один только день! Еще на прошлой неделе никто, кроме твоей Люсиль, не знал тебе цены... А сегодня весь народ...

К а м и л л. Слушай...

Слышен радостный, нестройный шум Парижа.

Л ю с и л ь. Все это... это ты вызвал к жизни все это... Всю эту чудесную кутерьму...

К а м и л л. Мне и самому не верится!..

Л ю с и л ь. И все это сделало твое красноречие! Как ты сумел? Мне рассказывали, что твои слова привели всех в неистовство. Как бы я хотела быть там!

К а м и л л. Не помню даже, что я говорил. Меня как бы подхватило и подняло над землей. Я слышал свой голос и видел свои жесты как будто со стороны. Все плакали, и я сам плакал. Когда я кончил, они понесли меня на руках. В самом деле удивительный день!

Л ю с и л ь. О, ты великий человек! Ты — мой Патрю, мой Демосфен! И ты мог говорить перед целой толпой, и тысячи людей смотрели на тебя? И ты не смутился? Память не изменила тебе? И ты даже ни разу...

К а м и л л. Что?

Л ю с и л ь. Ты отлично знаешь, что заикаешься иногда... как чересчур полный флакон, из которого жидкость никак не может вылиться... (Смеется.)

К а м и л л. Злючка! Рада надо мной произдеваться! Кошечка показывает коготки!

Л ю с и л ь (смеясь). Да нет же! Говорю тебе, что я люблю тебя. Люблю таким, как ты есть. Мало этого — я отыскиваю в тебе недостатки и, когда нахожу, влюбляюсь

в них. Вовсе я не злючка. Вот уж нет! Мне нравится твое заикание, уверяю тебя; я даже учусь теперь заикаться, как ты.

Оба смеются.

К а м и л л. Подумать только, что за один день стало с народом! Чего-чего мы не увидим с тобой! О Люсиль, сколько прекрасного нам предстоит свершить вместе! Это лишь первые раскаты грома! Какая радость все смести к черту — тиранов, их законы, несправедливости, предрассудки! Наконец-то! Мы расквасим носы всем этим дурацким идолам, которые с мерзкой гримасой восставали против всего, все запрещали, мешали нам думать, дышать, жить! Настала пора очистить дом, сжечь старое тряпье! Нет больше господ! Пути сброшены! Весело, правда?

Л ю с и л ь. Кто будет теперь править Парижем?

К а м и л л. Мы, черт побери. Разум.

Л ю с и л ь. Они кричат уж слишком громко. Я боюсь.

К а м и л л. Это все наделала моя речь.

Л ю с и л ь. Ты думаешь, они всегда будут слушать тебя?

К а м и л л. Они слушали меня, когда я был безвестен; чего же не смогу я теперь, ведь они обожают меня! Славные люди! Когда они избавятся от зол, их удручающих, все станет легким, приятным, радостным... Ах, Люсиль! Столько счастья, и все разом! Нет! Его не слишком много! И никогда не бывает слишком много!.. Но счастье пьянит меня после стольких невзгод!

Л ю с и л ь. Бедный Камилл! Ты был так несчастлив!

К а м и л л. Да, солоно мне приходилось!.. Шесть лет подряд!.. Ни денег, ни друзей, ни надежды... Покинутый близкими, я был вынужден заниматься самыми унижительными делами, рыская в погоне за несколькими су и не всегда находя их... Частенько я ложился спать голодным. Не хочу рассказывать об этом... Когда-нибудь потом я расскажу тебе все... Я доходил до крайности!

Л ю с и л ь. Возможно ли? О господи! Почему же ты не пришел ко мне?

К а м и л л. Чтобы ты отдала мне свой кусок хлеба?.. Да и не голод пугал меня больше всего! Без обеда можно

обойтись. Но усомниться в себе, не видеть впереди никакого просвета... А потом явилась девушка, очаровательная крошка со светлыми локонами, чьи карие глазки улыбались мне из окна как раз напротив моего дома. Я шел за ней по аллеям Люксембургского сада, издали любовался невинной грацией ее движений, прелестью ее тонкого девичьего стана... Ах, Люсиль, благодаря тебе я забывал иногда о своей нищете, но еще чаще именно из-за тебя нищета казалась мне особенно невыносимой. Ты была так недосыгаема! Разве мог я мечтать, что придет день... И вот оно, это счастье, я держу его! О, я крепко держу его! Оно уже не ускользнет от меня. Ты — моя! Целовать ямочки на твоих ручках — в этом для меня блаженство мира. Мира свободного благодаря мне! Как я счастлив!

Оба замирают в объятиях друг друга.

(Глядя на Люсиль.) Ты плачешь?
Люсиль (улыбаясь). Ты тоже.

В соседних окнах меркнут плашки.

Гаснут огни. Наступает рассвет.

Вдали шум толпы.

Камилл (после минутного молчания). Помнишь старинную английскую повесть, которую мы читали вместе, о юноше и девушке из Вероны, которые полюбили друг друга в восставшем городе?

Люсиль (утвердительно кивает головой). Почему ты вспомнил о них?

Камилл. Сам не знаю. Кто может знать, что готовит нам будущее?

Люсиль (закрывая ему рот поцелуем). Камилл...

Камилл. Бедная Люсиль, хватит ли у тебя сил, если несчастье постигнет нас?

Люсиль. Как знать! Возможно, именно тогда я и обрету силу, а вот ты, боюсь, будешь жестоко страдать.

Камилл (недовольный и встревоженный). Ты говоришь так, словно уверена, что с нами стрясется беда.

Люсиль (улыбаясь). Ты слабее меня, мой герой.

К а м и л л *(улыбаясь)*. Ты права. Да, мне нужно знать, что я любим. Одиночество для меня непереносимо.

Л ю с и л ь. Никогда я не покину тебя!

К а м и л л. Никогда! Что бы ни произошло, мы все примем вместе, ничто не разлучит нас, ничто не сможет разомкнуть наши объятия...

Короткая пауза. Люсиль замирает, склонившись головой к плечу Камилла.

(Смотрит на нее.) Ты спишь?

Л ю с и л ь *(поднимая голову)*. Нет. *(Вздыхает.)* Сохрани нас бог от испытаний!

К а м и л л *(скептически)*. Бог?

Л ю с и л ь *(молчит, прислонившись щекой к оконной раме и обняв Камилла за шею; после паузы)*. Ты не веришь, что бог существует?

К а м и л л. Еще нет.

Л ю с и л ь. Что ты хочешь сказать?

К а м и л л. Мы как раз создаем его. Завтра, если только меня не обманывает сердце, завтра уже будет бог — человек.

Люсиль закрывает глаза и засыпает.

(Нежно.) Люсиль... Спит...

Робеспьер *(переходя улицу, замечает Камилла)*. Ты все еще тут, Камилл?

К а м и л л. Тише!

Робеспьер. Ты забываешь свой долг.

Камилл показывает на Люсиль.

(Понижая голос и разглядывая Люсиль.) Бедняжка... *(Мгновение он неподвижно созерцает обоих.)*

Приближающийся барабанный бой будит Люсиль.

Л ю с и л ь *(заметив Робеспьера, вздрагивает в испуге)*. Ах!

К а м и л л. Что с тобой, Люсиль? Это наш друг, это Максимилиан.

Робеспьер *(улыбаясь, кланяется ей)*. Вы не узнаете меня?

Л ю с и л ь *(не переставая дрожать)*. Вы так испугали меня!

Робеспьер. Простите.

Камилл. Ты все еще дрожишь.

Люсиль. Мне холодно. До свиданья, Камилл! Я так устала. Пойду спать.

Камилл, улыбаясь, посылает ей воздушный поцелуй.

Робеспьер кланяется. Она скрывается, так и не оправившись от испуга, ответив им лишь кивком головы.

Занимается заря. Небо за Бастилией розовеет. Вместе с отдаленными криками доносится сухое щелканье первых ружейных залпов.

Робеспьер (*поворачиваясь в ту сторону, откуда доносится шум*). Идем! Сегодня не до любви!.. (*Уходит.*)

Камилл (*спускаясь с баррикады*). Не до любви?.. Тогда до чего же? Разве не любовь взбудоражила весь город; разве не любовь переполнила все сердца; разве не на алтаре любви приносится обильная жертва человеческих жизней? О моя любовь, ты не себялюбива, ты крепкими узами привязываешь меня к людям. Ты — все. Ты объемлешь мир. Не одну только Люсиль я люблю. Я люблю вселенную. Любя Люсиль, я люблю всех, кто влюблен, всех, кто страдает, всех, кто счастлив. Люблю все, что живет и умирает. Люблю! Я чувствую, как от пламени, который горит в моем сердце, закипает сила народная, а на востоке, за Бастилией, алеет небо. Все тени ночи исчезают, и Бастилия тоже исчезнет, как кошмар!

Бастилия, чудовищная и мрачная, возвышается в глубине сцены на фоне пурпурного неба. Внезапно раздается выстрел из пушки, ему сопутствуют крики, ружейная пальба, колокольный звон, бой барабанов.

Камилл (*смеется и наставляет нос в сторону Бастилии*). Зверь рычит... Ворчи, щерься! Свора гончих уже окружила тебя! Король любит охоту — ну что ж, поохотимся на короля!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Вторник, 14 июля, после полудня.

Внутренний двор Бастилии¹. Налево — подножие двух огромных башен; сами башни не видны зрителю. Башни соединены каменной громадой толстых крепостных стен, которые возвышаются подобно уступам гор. В центре сцены — ворота и подъемный мост, сообщающиеся со двором Управления. Направо расположено одноэтажное здание, примыкающее к другим башням. При поднятии занавеса инвалид Бекар и его товарищи находятся на сцене — около пушек. Вентимиль, командующий инвалидами, сидит со скучающим, рассеянным видом. По подъемному мосту снуют взад и вперед швейцарцы, сообщая о ходе сражения, завязавшегося по ту сторону внешних ворот двора Управления. За сценой перестрелка, бой барабанов и крики толпы. Над стенами поднимаются клубы дыма.

Де Лоней (*комендант Бастилии, взволнованный, возбужденный, появляется со стороны внешнего двора*). Как вам это нравится, господин де Вентимиль, они атакуют, подумать только: атакуют нас!

Вентимиль (*не подымаясь с места, усталым, слегка насмешливым тоном*). Прекрасно, господин де Лоней, пусть их атакуют. Нам-то что? Если только они не обзаведутся крыльями, как господа Монгольфье, им ни за что не проникнуть к нам.

Инвалиды (*между собой*). Черт побери!

¹ В Бастилии было два главных двора: двор Управления коменданта, окруженный глубоким рвом и сообщающийся с городом посредством подъемного моста с двумя караульнями, и внутренний двор, огражденный стенами и башнями; его отделял от двора Управления второй ров, второй подъемный мост и третья караульня.

Бекар. Мне жаль этих дурней! Ведь их раздавят. Все они тут полягут. Эти подлецы швейцарцы стреляют по ним всюю. Нечего сказать, хорошее занятие — расстреливать беззащитных людей, когда сам находишься в укрытии, за крепостными стенами!

Один из инвалидов. Но ведь и то сказать: как могло им прийти в голову полезть на нас!

Бекар. Кто их разберет, что у них на уме! Нам этого не понять; в наши времена было по-другому. Теперь все какие-то свихнувшиеся, в особенности за последний месяц. И все же нельзя обращаться с ними, как с врагами. Не такие уж они плохие люди и к тому же ведь французы.

Инвалид. Что поделаешь, когда есть приказ! Не нужно было им соваться.

Бекар. Уж это само собой. И, знаешь ли, все-таки приятно, когда слушаешь эту музыку. Не думал я, что мне еще придется участвовать в сражении.

Де Флюэ (*командир швейцарцев, выходит из внешнего двора*). Господин комендант, прошу вас, распорядитесь сжечь соседние дома. С крыш этих домов они могут держать под обстрелом двор крепости.

Де Лоней. Нет, нет, я не имею права уничтожать частную собственность. Не могу этого сделать.

Де Флюэ. Война без пожарниц — то же, что ветчина без горчицы. Ваша щепетильность делает вам честь. Но на войне надо или ни перед чем не останавливаться, или уж ни во что не вмешиваться.

Де Лоней. Ваше мнение, господин де Вентимиль?

Вентимиль (*пожимая плечами*). Думаю, что это безразлично. Делайте, как знаете. Нечего опасаться, что они войдут в крепость. Но если вы хотите воспользоваться случаем, чтобы очистить квартал, прилегающий к Бастилии, от мусора и заодно разогнать припожаловавших сюда крикунов, действуйте, я бы на вашем месте не стал с ними церемониться. Их отродье плодовито. Поступайте, как вам заблагорассудится, — все это не имеет ни малейшего значения.

Де Лоней. Ну, раз нам ничто не угрожает, нечего торопиться. Нас много, боевых припасов предостаточно,

незачем прибегать к крайним мерам. Так ведь, папаша Бекар?

Бекар. Мы продержимся здесь до второго пришествия, господин комендант! Сорок семь лет назад я был в Праге под командой господина де Шевера. Маршал де Бель-Иль бросил нас там одних. И было нас всего лишь жалкая горсточка, а кругом вражеская страна. Мы нуждались буквально во всем. Камни, и те были против нас. И все-таки нас не вытеснили оттуда, пока мы сами не решили уйти. А сейчас кто наступает на нас? Всякий сброд — женщины, лавочники. К тому же мы защищены крепостными стенами, а в двух шагах отсюда стоят войска на Марсовом поле и в Севре. Можем сидеть спокойно и покуривать трубочку.

Де Флюэ. Если мы будем выжидать — эти лягушки-парижане чего доброго перепрыгнут через стены прямо нам на голову. Тогда как сейчас стоит бросить в них камень, и они нырнут обратно в свое болото.

Де Лоней. Незачем доводить их до крайности.

Де Флюэ. Дай волку палец, он тебе руку отгрызет. Вынь висельника из петли, он тебя самого вздернет.

Бекар. Это всё бедняки, господин де Флюэ. Не надо быть с ними чересчур жестоким. Они сами толком не знают, что творят.

Де Флюэ. Разрази их гром! Ну, если они не знают, так я зато знаю. Надеюсь, этого достаточно.

Де Лоней. Вы озабочены только успешным исходом сражения, господин де Флюэ. Для меня же все обстоит иначе. Я обязан думать о последствиях. Вся ответственность лежит на мне. Откуда мне знать, что угодно и что неужгодно двору и чего от меня ждут там?

Де Флюэ. Как! Вы не знаете, где враги короля? Мы здесь находимся по воле короля, и если на нас нападают, в нашем лице нападают на него.

Де Лоней. При крайней нерешительности его величества никто ни в чем не может быть уверен; вчерашние его враги становятся сегодня друзьями. Я либо вовсе не получаю приказов, либо получаю самые противоречивые. То мне приказывают: «Сопротивляйтесь любыми средствами», то: «Не стреляйте». Судья Флессель тайно сообщил мне, что водит народ за нос, а на самом деле он

с нами. А народу он говорит, что водит за нос меня, а на самом деле он с ними. Кого же он предает? Как я могу быть уверен, что, исполняя свой долг, я не навлеку на себя гнев двора? Если бы там хотели действовать, разве нет у них тысячи возможностей для этого? Почему господин де Бретейль, в распоряжении которого войска Марсова поля, не ударит в спину мятежникам?

Де Флюэ. Вот это действительно было бы великолепно! Настоящая мясорубка.

Вентимиль (де Лонею). Друг мой, запомните: победителей не судят. (Отходит и садится в тень, в углу двора.)

Бекар (перенеся вслед за ним его кресло). Сегодня ваша светлость что-то не проявляет особого пыла, как обычно в дни битвы.

Вентимиль. Они меня утомляют своими спорами. (Показывает на де Лонея.) Во всем он видит только затруднения; вечно спрашивает у всех совета — сам не может ничего решить. Ну, что мне тут делать среди таких господ? Один — тюфяк, другой — шкурник. Дурацкое положение! И зачем только я согласился! Ни чести, ни удовольствия. Не мое дело приводить в чувство чернь — пусть этим занимается полиция.

Бекар. Да какое уж тут удовольствие стрелять по этим беднякам.

Вентимиль. Ты становишься сентиментальным? Видно, такова теперь мода. Только я ей не следую. Эти мерзавцы нисколько меня не трогают... Слышишь, как рычат? Отвратительно! Что им нужно?

Бекар. Хлеба.

Вентимиль. Однако им должно быть известно, что Бастилия не булочная! Опять! Какое упорство! Значит, они так дорожат своей жизнью? Не понимаю, какая может быть радость в столь нищенском существовании? Неряхи-жены да дрянное вино — вот и все доступные им удовольствия.

Бекар. Знаете, ваша светлость, как бы мало человек ни имел, он всегда дорожит тем, что у него есть.

Вентимиль. Неужели? Ну, это ты по себе судишь.

Бекар. Конечно, вы-то имели в жизни все, о чем только можно мечтать.

Вентимиль. Ты мне завидуешь? Нечему, мой милый.

Бекар. Как так нечему?

Вентимиль. Ты удивлен? Впрочем, тебе, пожалуй, и в самом деле не понять. Оставим этот разговор. Жара на меня плохо действует, я что-то захандрил.

Швейцарцы (появляясь из внешнего двора, де Лонею). Ваша светлость, мятежники примостились на крышах соседних домов и шпарят оттуда.

Де Флюэ. Вот и прекрасно — уничтожьте их! Это же детская забава для таких стрелков!

За сценой Гош поет припев песенки, которую он уже пел во втором действии:

«Свобода, в этот день чудесный
Приди, наполни душу нам!»

Швейцарцы (за сценой). Ну, ну, не задерживайся! К коменданту!

Де Флюэ. Что там происходит?

Швейцарцы (входят из внешнего двора, толкая перед собой Гоша, который несет на плече Жюли). Господин комендант, мы его зацапали, когда он прыгал через крепостную стену.

Гош (ставит Жюли на землю). Гоп-ля! Вот мы и у цели! Я ведь обещал тебе, что ты войдешь первая.

Жюли (вне себя от восторга, всплескивая руками). Бастилия!

Вентимиль. Это еще что за шутовство?

Гоша и ребенка обступают со всех сторон.

Гош (спокойно). Господин комендант! Мы — парламентареры.

Солдаты смеются.

Де Лоней. Станные парламентареры!

Гош. У нас не было выбора. Мы подавали вам знаки, вы их не замечали. Нам не оставалось ничего другого, как перепрыгнуть через стену.

Жюли (направляясь к швейцарцам). Ах, вот они!

Швейцарцы. Что тебе от нас нужно, шалунья?

Жюли. Вы заключенные?

Швейцарцы (смеясь). Мы заключенные? Ну, нет! Мы те, кто их стережет.

Гош. Ты не так уж ошиблась. Они тоже узники и, пожалуй, еще больше достойны жалости, потому что у них отняли все, даже стремление к Свободе.

Де Лоней. Что это за девочка?

Гош. Наш добрый гений. Она умоляла взять ее с собой. Вот я и притащил ее сюда!

Вентимиль. Ты что, ума лишился? Можно ли подвергать ребенка смертельной опасности?

Гош. Почему бы ей не разделить с нами опасность? Ведь если умрем мы, у нее нет надежды на жизнь. Не играйте в милосердие. Ваши пушки не разбирают, в кого бьют.

Вентимиль (со свойственной ему надменной и насмешливой холодностью). Солдат, унтер-офицер — дезертир! Вот кого послал к нам парламентарем этот сброд! Отлично, расстреляйте его — только такой конец может достойно увенчать его миссию.

Де Лоней. Подождите! Надо же узнать, чего они хотят.

Вентимиль. Они не смеют ничего хотеть!

Де Флюэ. С мятежниками в переговоры не вступают.

Де Лоней. Все же не мешает узнать; повредить нам это не может.

Вентимиль. Но это непристойно: соглашаясь разговаривать с бунтовщиками, мы как бы ставим себя на одну доску с ними.

Де Лоней. Как мог ты принять на себя подобную миссию? Что это — наглость или ослепление?

Гош. Я лишь стремился помочь и вам и моим товарищам.

Вентимиль. Отдаешь ли ты себе отчет в своих поступках? Тебе, значит, непонятно, что такое изменник?

Гош. Как же, ваша светлость, изменник тот, кто поднимает оружие против своего народа.

Вентимиль (пожимает плечами и поворачивается к нему спиной). Глупец!

Гош. Прошу прощения. Я не хотел оскорбить вас. Напротив, я пришел как друг. Меня обещали расстрелять. Это возможно. Но, по чести говоря, было бы неумно: я пришел ведь, чтобы уладить дело миром. Если тем не менее я буду расстрелян, — ну, что ж, как говорится: «Достойной смертью вся жизнь красна».

Де Лоней. Что тебе велено нам передать?

Гош (*передавая письмо*). От Постоянного комитета города Парижа.

Де Лоней берет письмо и, отделившись от остальных, читает его вместе с двумя другими начальниками. Жюли уселась на колени к одному из инвалидов, остальные обступили ее.

Бекар. Почему же тебе так захотелось попасть сюда, плутовка? Разве ты знаешь кого-нибудь из здешних?

Жюли. Многих.

Бекар. Где же они?

Жюли. В тюрьме.

Бекар. Нечего сказать, хорошие у тебя знакомства. Кто же они? Твои родственники?

Жюли. Нет.

Бекар. А как их зовут?

Жюли. Не знаю.

Бекар. Как! Не знаешь? Ну, скажи хоть, как они выглядят?

Жюли. Право, не могу сказать.

Бекар. Ах, вот как! Значит, ты смеешься над нами, шалунья!

Жюли. Нет, нет, я их отлично знаю, я их всех видела. Только это очень трудно рассказать...

Бекар. А ты расскажи.

Жюли. Мы с мамой живем недалеко отсюда, на улице Сент-Антуан. Повозки с заключенными проезжают по ночам мимо нашего дома. Я часто просыпаюсь, чтобы поглядеть на них. Я их почти всегда вижу. Но иногда я крепко сплю и не слышу, как подъезжает повозка, проснусь, а она уже проехала.

Бекар. Что тебе до них?

Жюли. Но ведь они страдают.

Бекар. Зачем тебе-то на них смотреть? Только сама расстроишься на них глядя.

Жюли (как нечто само собой понятное). Мне их так жалко!

Один из инвалидов (смеясь). Ха-ха! Вот так причина!

Бекар. Замолчи, болван!

Инвалид (вначале рассвирепев). Болван? (Подумав, почесывает голову.) Да, ты прав.

Жюли (усевшись на лафет, поглаживает пушку). Вы ведь не будете стрелять в нас, правда?

Инвалиды не отвечают.

Скажите же, что не будете! Я вас очень прошу! Я ведь люблю вас. Пожалуйста, полюбите и вы меня!

Бекар (целует ее). Да как же можно не любить тебя, душенька!

Де Лоней (дочитав письмо, переданное Гошем, пожимает плечами). Это переходит всякие границы! Господа, в переданном мне странном послании, которое составлено какими-то крючкотворами, именующими себя Постоянным комитетом, нам предъявляют нелепейшее требование: чтобы банды мятежников охраняли Бастилию вместе с нашими войсками.

Солдаты прыскают со смеху, начальники возмущаются.

Вентимиль. Блестящее предложение!

Гош (де Лоней). Выслушайте меня, ваша светлость! Предотвратите резню. Против вас мы ничего не имеем. Но эта груда камней, эта злобная сила, она уже много веков давит на Париж! Позорно подчиняться слепой силе, но столь же позорно и угнетать с ее помощью народ. Это противно разуму. Вы образованнее нас и должны бы страдать от этого гораздо сильнее, чем мы. Помогите же нам, а не убивайте нас! Ведь мы боремся за торжество разума, а он столько же ваше, сколько и наше достояние. Сдайте Бастилию, не ждите, пока ее возьмут силой.

Вентимиль. Разум, совесть — так и сыпет через каждые два слова... Начитались Руссо и твердят, как попугаи, одно и то же. (Де Флюэ.) Нечего сказать, удружили вы нам!

Де Флюэ. Чем это?

Вентимиль. Да вашим Жан-Жаком. Держали бы лучше его у себя в Швейцарии.

Де Флюэ. Нам и самим он не особенно нужен.

Де Лоней (*Гошу*). Ты — сумасшедший. Где это видано, чтобы более сильный по доброй воле сдал оружие более слабому?

Гош. Вы не сильнее нас...

Де Лоней. А эти храбрецы, а двадцать пушек, двадцать ящиков со снарядами, неисчерпаемые запасы картечи? По-твоему, это не сила?

Гош. Предположим, что вы убьете несколько сот человек. К чему это послужит? На место убитых встанут тысячи других.

Де Лоней. Нам придут на помощь.

Гош. Нет, вам не придут на помощь. Ведь вы могли бы уже давно получить поддержку. Но вы ее не получили. Король не может уничтожить весь свой народ: это было бы не только убийством, но и самоубийством. Вы будете побеждены, уверяю вас. Вот вы выкатили нам на устрашение свою артиллерию. Вы привыкли к войнам прежних времен, вам непонятна сущность этой войны; вы не знаете, что такое народ, ставший свободным. Война для вас только времяпрепровождение, вы ведь ни во что не верите. Со дня сражения при Мальплакэ вы уже не думаете о родине. Интересы неприятеля, с которым вы сражаетесь, вам ближе, чем интересы родины. Вы радовались победам прусского короля. Победа для вас — не насущная необходимость. У нас же нет выбора — мы должны победить во что бы то ни стало! (*Инвалидам.*) Друзья мои, я вас отлично знаю, и я уважаю вас: вы славные старые вояки. Но ведь вы сражались только потому, что вам приказывали; вам неведомо, что значит сражаться за собственные интересы. (*Бекару.*) Вот хотя бы вы, папаша Бекар, все мы вас любим и чтим вашу доблесть, но когда вы были в Праге окружены врагами, вы защищали всего лишь свою шкуру. А мы — мы сражаемся за нашу душу, за душу наших сыновей и всех тех, кто последует за нами... Вы слышите гул у подножия этих башен? А ведь здесь только незначительная частица наших сил. В наших рядах борются миллионы, все поколения будущего — незримая и мощная сила, решающая исход всех сражений.

Де Флюэ. Хватит! Надоело. Несколько пушечных выстрелов — и мы сметем все твои незримые силы.

Гош. Не стреляйте! Если вы только выстрелите — вы погибли. Народ — не регулярная армия. Нельзя безнаказанно приводить его в ярость.

Вентимиль (*сам с собой, рассматривая Гоша*). Странная порода! И как только такие люди могли появиться у нас во Франции?.. Скорее им пристало быть немцами. Немцами? Тоже нет. Я знавал пруссаков, в которых было больше французского, чем в нем. Каким образом все так переменялось?

Гош. Подумайте о том, что сейчас еще можно договориться; но скоро будет уже поздно. Если только вы прольете кровь, ничто ее не остановит.

Де Флюэ. Скажи это твоим друзьям.

Гош (*пожимая плечами, Жюли*). Идем, голубь мира, они отвергают твою оливковую ветвь. (*Сажает Жюли себе на плечо.*)

Де Лоней (*Гошу*). Никому не взять Бастилию. Она может быть сдана, но не взята.

Гош. Она будет сдана.

Де Лоней. Кто же ее сдаст?

Гош. Ваша нечистая совесть.

Среди гробового молчания Гош уходит с Жюли; никто не пытается остановить его.

Вентимиль (*в раздумье*). Наша нечистая совесть...

Де Лоней (*резко*). Что же это! Почему ему дали уйти?

Де Флюэ. Он еще в первом дворе.

Де Лоней. Бегите за ним, схватите его!

Бекар. Ваша светлость, это невозможно.

Инвалиды (*глухим ропотом выражая свое согласие с ним*). Ведь он парламентар!

Де Лоней. Как так невозможно, негодяй? Чей же он парламентар? Какой державы?

Бекар (*торжественно*). Народа.

Де Флюэ (*швейцарцам*). Арестуйте его!

Бекар и инвалиды (*швейцарцам*). Нет, приятели, не выйдет! Вам его не арестовать!

Один из швейцарцев (*стараясь пройти*). Но ведь приказано!

Бекар и инвалиды. Если пойдете, будете иметь дело с нами.

Вентимиль (*наблюдая за ними; в сторону*). Ого! (*Громко.*) Прекрасно. (*Де Лоней.*) Не нужно настаивать.

Швейцарец (*вбегая из внешнего двора; де Лоней*). Ваша светлость! Громадная толпа приближается сюда по улице Сент-Антуан. Они взяли приступом Дом Инвалидов. Они тащат с собой пушки — двадцать пушек.

Де Флюэ. Проклятье! Нужно же в конце концов на что-то решиться и действовать, иначе наше положение, как бы выгодно оно ни было, может ухудшиться! Предоставьте нам расправиться с этими паразитами, а то они так обгложут нас, что одни косточки останутся.

Клубы дыма поднимаются над крепостными стенами.

Де Лоней. Что это за дым?

Один из швейцарцев. Они подожгли прилегающие к Бастилии дома.

Де Лоней. Презренные! Они хотят войны без милости и пощады. Ну, так они ее получают.

Де Флюэ. Открыть огонь?

Де Лоней. Подождите...

Де Флюэ. Чего же еще ждать?

Де Лоней (*спрашивая взглядом совета у Вентимиль*). Господин де Вентимиль!

Вентимиль (*несколько презрительно*). Я вам уже высказал свое мнение. Делайте, как знаете. Я могу дать только один совет: что бы вы ни решили, не перерешайте.

Де Лоней. Пусть будет по-вашему. Господин де Флюэ, откройте по ним огонь!

Де Лоней, де Флюэ и швейцарцы уходят во внешний двор.

Вентимиль (*иронически рассуждает сам с собой*). В нескольких шагах от него инвалиды стоят у своих пушек). Наша нечистая совесть... Этот капрал позволяет себе иметь совесть!.. Он богаче меня. Совесть... Чистая или нечистая совесть! Совесть просто нет. Честь, возможно, существует. Честь? При прежнем короле честь не мешала дворянину, если у него была красивая жена или

сестра, добиваться того, чтобы король взял ее к себе в фаворитки; не задумываясь, мы женились на любовнице короля, чтобы прикрыть своим аристократическим именем, как ярлыком, низкопробный товар, подобранный в грязном притоне... Оставим честь в покое. Разве я мог бы сказать, что я защищаю здесь, что толкает меня сражаться? Верность? Преданность королю? Мы-то знаем цену своей преданности и верности, к чему же дурачить себя пустыми словами! Уже давно я перестал верить в короля. Ну, так что же побуждает меня оставаться здесь? (*Пожимая плечами.*) Привычка, приличия, правила светской морали? Да, знать, что ты неправ, не верить в то, что делаешь, но идти до конца по своему пути, сохраняя корректность и утонченное изящество, так, повидимому, легче скрывать от самого себя полную бесполезность всего, что делаешь. За сценой невероятный шум. Швейцарцы с де Лонсем и де Флюэ стремительно отступают из внешнего двора.

Швейцарцы. Идут!

Вентимиль. Кто? Кто идет? Кто? Народ?.. Да будет вам! Не верю!

Де Флюэ (*не отвечая*). Скорее! Поднимите мост! Проклятье!

Де Лоней. Пушкари по местам!

Швейцарцы в спешке поднимают подъемный мост. Инвалиды наводят пушки на ворота. Тотчас слышится гул толпы, который, подобно морскому прибою, бьется о крепостные стены.

Вентимиль (*потрясенный*). Они вошли? Неужели же они и вправду вошли?

Де Флюэ (*запыхавшись*). Уф! Только-только успели! Мерзавцы! (*Вентимилью.*) Подумайте, ведь они ухитрились опустить первый подъемный мост! Знаете дом парфюмера у самых ворот?.. А! Черт их дер! Я был прав, когда требовал, чтобы сожгли все их логовища!.. Несколько человек — каменщики, кровельщики — забрались на крышу этого дома, а оттуда перебрались, как обезьяны, на стену у караульни. Их никто не заметил. Они достигли ворот и оборвали цепи подъемного моста; мост упал прямо в толпу и раздавил не меньше дюжины этих оголтелых. Остальные ринулись на него лавиной. Слышите, как режут? Ах, сволочи!

В суматохе, поднятой солдатами и офицерами на переднем плане, зрители не сразу обнаруживают в глубине сцены, у ворот, группу швейцарцев, окружившую пленницу.

Швейцарцы (*подводя Конта*). Нам все же удалось захватить недурную добычу.

Вентимиль (*кланяясь*). А, это вы, Конта?.. Вы верны своему слову — пришли на свидание? Серебряная каска на белокурой головке, в руках ружье — какое прекрасное олицетворение богини Свободы! Итак, вы хотите посмотреть спектакль? Отсюда отлично видно, и никакой опасности. (*Протягивает ей руку, она колеблется взять ее.*) Вы не хотите дать мне руку? Еще недавно мы ведь были друзьями, не так ли? Разве мы уже больше не друзья?

Она, наконец, пожимает протянутую руку.

Что с вами? Что вас смущает? Почему вы молчите и почему так злобно смотрят на меня ваши хорошенькие глазки? Вас напугали?

Конта. Простите, прошу вас, простите меня... Я перестала разбираться в своих чувствах, я уже не знаю, друг вы мне или враг.

Вентимиль. Враг? Но почему же? Так вы в самом деле сражались против нас?

Конта. Вы знаете, что я рождена актрисой, а не зрительницей, и я привыкла играть только первые роли. (*Показывает ружье, которое один из инвалидов по знаку Вентимилия тут же отбирает у нее.*)

Вентимиль. Вам надсело играть в Комедии, вот вы и захотели попробовать свои силы в драме. Но, понимаете ли вы, красавица моя, что ваш маскарад может стоить вам нескольких месяцев заключения?

Конта. Я рисковала большим.

Вентимиль. Что это вы придумали, Конта? Вы — с этими горлодерами? (*Осматривает ее с головы до ног.*) Ни румян, ни мушек. Руки в грязи. Лицо блестит от пота. Мокрые волосы прилипли к вискам. Едва переводите дух. Забрызгана грязью до колен. Вся прокопtilась пороком... Фи! Что это на вас нашло? Я же отлично вас знаю. Вам всегда было столько же дела до этого сброда, сколько и мне.

Конта. Да.

Вентимиль. Значит, вы влюбились? Он там, в этой толпе?

Конта. Я сама так думала. Но, оказывается, дело не в любви, а в чем-то другом.

Вентимиль. В чем же?

Конта. Не знаю. Я не могу объяснить вам, что увлекло меня в битву. Вот только что мне хотелось задушить вас.

Вентимиль (смеется). Вечные преувеличения.

Конта. Я не шучу, уверяю вас.

Вентимиль. Но, Конта, вам же никогда не изменял здравый смысл, вы всегда знаете, чего вы хотите.

Конта. Да, конечно, что-то меня толкало на это, но я уже не знаю сейчас что. Я все чувствовала и понимала так ясно и глубоко, когда была с ними... Вам этого не понять, но могучие чувства народа эхом отзываются во мне. А сейчас, когда меня оторвали от него, я уже ничего не знаю, ни в чем не могу разобраться...

Вентимиль. На вас нашло безумие. Согласитесь сами.

Конта. Нет, нет, я убеждена, что они правы.

Вентимиль. Правы, восстав на короля? Убивая порядочных людей? И подставляя свои головы под пушки? И все из-за пустяков?

Конта. Нет, не из-за пустяков.

Вентимиль. Ну, да, пожалуй, вы правы, золото герцога Орлеанского нельзя счесть пустяками.

Конта. С тех пор как я вас знаю, вы несколько не изменились, дорогой мой, вы всегда подыскиваете мелкие объяснения крупным событиям.

Вентимиль. Я не считаю, что деньги такая уж мелочь для босяков, у которых нет ничего. А по-вашему, их ведет что-то более возвышенное?

Конта. Их ведет Свобода.

Вентимиль. Что же это такое?

Конта. Ты смущаешь меня своей иронией. Когда ты так смотришь на меня, я не знаю, что тебе ответить. А если бы и знала, так не сказала бы. Это бесполезный спор. Ты не в состоянии понять. Так слушай же и смотри.

Народ (за сценой). Бастилию! Возьмем Бастилию!

Вентимиль (холодно). Конечно, это забавно! Весьма забавно!

Де Лоней (потрясенный). Что движет этими безумцами?

Инвалиды (с интересом и сочувствием наблюдая за народом сквозь бойницы, проделанные в настиле подъемного моста). Женщины. Священники. Буржуа. Солдаты... Смотри-ка, вот и наша девчурка на спине у Гюлена, она дрыгает ножками и вертится, как чертенок!

Де Флюэ (швейцарцам). Все идет хорошо. Теперь они в мышеловке, окружены со всех сторон стенами замка. С башен мы можем уничтожить их всех.

Де Лоней. Очистите двор! Раздавите их!

Де Флюэ и швейцарцы бегом устремляются к Бастилии и входят в башенные ворота.

Бекар и инвалиды. Это что же такое — бойню хотят устроить? У них и оружия-то почти нет. И дети с ними!..

Народ. Бастилию! Возьмем Бастилию!

Конта и Вентимиль не следили за переговорами де Флюэ и де Лоней. Конта, вся поглощенная происходящим за сценой, прислушивается к крикам народа.

Конта (кричит за сцену). Смелее! Я уже взяла ее раньше вас! Я первая вошла!

Слышится барабанная дробь.

Бекар и инвалиды (смотрят в бойницы). Они опять требуют переговоров. Машут платками. Подают нам знаки!

Вентимиль (всматриваясь). Прокурор города возглавляет их шествие.

Де Лоней. Узнаем же, чего они хотят.

Вентимиль. Прекратить стрельбу!

Инвалиды опустили ружья. Барабанный бой приближается к самому рву. Вентимиль и несколько инвалидов поднимаются к амбразуре, находящейся справа над воротами, откуда можно видеть нападающих.

(Народу.) Что вы хотите?

В это самое мгновение с башен раздается ружейный залп.

(Оборачиваясь.) Проклятье! Что они делают?

Инвалиды и де Лоней (пораженные). Это швейцарцы стреляют сверху. Остановите их! Остановите!

Несколько человек бегом бросаются к башенным воротам, чтобы остановить швейцарцев.

Вентимиль (спустившись во двор). Слишком поздно! А, черт их возьми, натворили дел! Слышите крики!.. Швейцарцы не промахнулись. Народ решит теперь, что мы заманили его в ловушку.

Люди за сценой кричат от боли и ярости. Вентимиль, обернувшись, видит подошедшую сзади Конта, взгляд ее полон ненависти.

(Пораженный.) Что с вами, Конта?

Конта, не отвечая, внезапно бросается на Вентимиля и, выхватив из его ножен шпагу, хочет нанести ему удар. Инвалиды хватают ее за руки и удерживают, несмотря на неистовое сопротивление.

(Недоуменно.) Вы хотели убить меня?

Конта молча кивает головой. Она пожирает его глазами, полными беспощадной ярости, и до конца сцены не может выговорить ни слова. Она судорожно дрожит, задыхается.

(Потрясенный.) Вы с ума сошли!.. Что с вами происходит? Я ведь не причинил вам никакого зла. Стреляли вопреки нашему приказу. Вы же сами были свидетельницей... Да узнаешь ли ты меня, Конта?

Она делает утвердительный знак.

Как? Значит, в самом деле ты возненавидела меня?

Та же игра.

Да говори же! Ты что, слова вымолвить не можешь?

Хочет прикоснуться к ней, она свирепо отстраняется, отбиваясь от солдат, держащих ее за руки. Вдруг она откидывается назад, падает, бьется в припадке, содрогаясь и рыдая. Ее уносят, но ее душераздирающие вопли долго еще слышны издали. Из-за сцены доносятся неистовые крики толпы.

Де Лоней (подавленный). Она просто озверела... И это — Конта! Кто бы мог подумать?

Вентимиль. Она не виновата. Какая-то отравка, идущая от этих толп, заразила ее непонятным безумием... Брр! Как все это мне ненавистно! Не могу постичь ни этой ярости, ни этой звериной страсти, словно вырвавшейся из глубин каменного века!

Швейцарцы и де Флюэ спускаются с башни.

Де Лоней *(вне себя, идет навстречу де Флюэ)*. Что вы натворили? Что вы натворили?

Де Флюэ *(взбешенный)*. Я добросовестно выполнял ваш приказ! Черт возьми! Вы же приказали мне уничтожить их. Я начал приводить ваш приказ в исполнение. А вы, повидимому, передумали, и ветер подул в другую сторону — в сторону перемирия. Кто вас тут разберет!

Де Лоней. Теперь мы погибли.

Де Флюэ. Погибли? *(Пожимает плечами и знаками приказывает швейцарцам подкатить пушки к воротам во внешний двор.)*

Бекар и инвалиды. Что вы собираетесь делать?

Швейцарцы. Три залпа из пушек — и мы очистим двор.

Бекар и инвалиды. Вы не станете стрелять.

Швейцарцы. Это еще почему?

Бекар. Стрелять в толпу? Да ведь это же гнусная бойня!

Швейцарцы. Нам-то что?

Бекар. А то, что эта толпа — наши близкие, такие же французы, как и мы. Откатывайте-ка лучше ваши пушки; никто не собирается из них стрелять.

Швейцарцы. С дороги, старый хрыч! Пропусти нас, а то хуже будет! *(Отталкивают Бекара.)*

Инвалиды. А, сволочи! Немчура проклятая! *(Скреживают штыки, преграждая им дорогу.)*

Швейцарцы. Вали их!

— Туда же задаются, лысые дьяволы!

— Вздумали пугать нас!

Бекар. Попробуй только двинься — получишь пулю в лоб. *(Целится.)*

Вентимиль и де Флюэ бросаются между ними.

Де Флюэ. Опустите ружья! Опустите ружья!
А, проклятье... (Бросается на них и начинает направо и налево наносить удары палкой.)

Вентимиль. Хуже бешеных псов!

Де Лоней (в отчаянье). Теперь и эти взбунтовались! Тоже не хотят сражаться! Все пропало! (Устремляется к пороховым складам.)

Вентимиль (останавливая его). Куда вы?

Де Лоней (вне себя). Умирать! Но и они умрут вместе с нами!

Вентимиль. Что вы намереваетесь делать?

Де Лоней. В подвалах... Тысячи тонн пороху... Я взорву...

Инвалиды (протестуя). Вы этого не сделаете!

Де Лоней. Нет, сделаю.

Вентимиль. Взорвать целый квартал Парижа? Вот так героизм! Нет, черт возьми, это совсем нелепо! Такой поступок может быть оправдан, если веришь в свое дело, но гибнуть и губить других без всякой цели — это уже совершенная бессмыслица. Зачем впадать в крайности? Хороший шахматист при угрозе мата никогда не позволит себе смешать фигуры.

Де Лоней. Но что же делать?

Инвалиды. Капитулировать.

Де Лоней. Никогда! Ни за что на свете!.. Король доверил мне Бастилию. Я не сдам ее!

Хочет войти внутрь. Инвалиды хватают его.

Инвалиды (Вентимилью). Ваша светлость, командуйте нами!

Вентимиль (холодно). Господин комендант заболел. Проводите его домой и позаботьтесь о нем.

Де Лоней (отбиваясь). Труссы! Предатели!

Его уводят.

Вентимиль (в сторону). Какой я дурак, что позволил заманить себя в это осиное гнездо... Теперь поздно предаваться сожалениям. Остается пристойно закончить игру. (Громко.) Господин де Флюэ...

Де Флюэ. Что вам угодно?

Вентимиль. Прошу вас, помогите мне составить текст капитуляции.

Де Флюэ. Марать бумагу? Благодарю, это не по моей части. *(Поворачивается к нему спиной.)*

Вентимиль пишет, облокотясь на пушку.

Один из швейцарцев *(де Флюэ)*. Они перебьют нас всех до одного.

Де Флюэ *(флегматично)*. Вполне возможно. *(Садится на барабан и закуривает трубку.)*

Швейцарцы *(вытирая пот со лба)*. Проклятая жарница! Неужели даже глотку нечем промочить?

Один из швейцарцев идет в помещение и возвращается с кувшином. Швейцарцы стоят слева, столпившись вокруг своего начальника, и со скучающим, безучастным видом ждут, что будет дальше. Инвалиды собираются направо, около пушки, и почтительно следят за всеми движениями Вентимиля. Бекар держит перед ним чернильницу. Вентимиль вполголоса читает Бекару то, что он уже написал. Бекар одобрительно кивает головой. Его товарищи повторяют отдельные слова, прочитанные Вентимилем, и в знак согласия тоже кивают головой.

Инвалиды *(удовлетворенно, но не без ехидства)*. Коза волка съела.

Вентимиль. Я требую, чтобы они дали слово никому не причинять вреда.

Бекар. Требовать-то все можно.

Вентимиль *(улыбаясь)*. И обещать нетрудно. *(Идет к де Флюэ.)* Угодно подписать?

Де Флюэ *(подписывая)*. Вот так война! Впрочем, меня все это не касается!

Вентимиль. Написать текст несложно, но захотят ли еще они читать его?

Инвалидов, приблизившихся к воротам, встречают градом пуль.

Инвалиды. Они взбесились. Никого не подпускают.

Бекар. Дайте-ка мне ваше посланьеце.

Инвалиды. Они уколошат тебя, Бекар!

Бекар. Ну и что с того? Ведь я капитулирую не для того, чтобы спасти свою шкуру.

Швейцарцы. А для чего же?

И н в а л и д ы (*показывая на народ*). Чтобы их спасти, черт возьми! (*Между собой, с презрением глядя на швейцарцев.*) А эти ничего не понимают.

Бекар идет к воротам.

(*Бекару.*) Как же ты ухитришься передать им бумагу?

Бекар (*показывая на свою пику*). На конце вот этого перышка.

В е н т и м и л ь (*повернувшись к башням*). Вывесить белый флаг!

И н в а л и д ы (*кричат*). Эй! Там, наверху! Флаг!

Ворота открываются. Бекар поднимается к амбразуре направо от подъемного моста.

Бекар (*размахивает руками и кричит*). Капитуляция! Капитуляция!

Его встречают бурей гневных выкриков и ружейной пальбой.

(*Он шатается и яростно кричит, показывая кулак.*) Свиньи! Ведь это ради вас! Ради вас же!

И н в а л и д ы (*толпятся у амбразуры подъемного моста и кричат*). Не стреляйте! Не стреляйте!

За сценой тоже слышны выкрики: «Не стреляйте!» и передающееся из уст в уста, нарастающее: «Капитуляция!», «Капитуляция!» Невнятный гул голосов. Спорят. Потом воцаряется полная тишина.

(*Наблюдая.*) Гош и Гюлен пробираются вперед и велют прекратить стрельбу...

— Они поняли. Вот они остановились...

— Подходят ко рву...

Бекар (*навалившись всем телом на стену, прбсовывает в амбразуру пику с нацепленным на острие текстом капитуляции*). Ребята! Торопитесь! У меня нет времени ждать!

И н в а л и д ы (*наблюдая*). Гюлен притащил доску. Кидает ее поперек рва...

— Вот уже кто-то переходит ров... Шатается. Падает... Нет. Удержался.

Бекар (*задыхаясь*). Скорее же! Скорей!

И н в а л и д ы. Вот он дотянулся до пики! Взял бумагу!..

Бекар (*выпрямляясь*). Дело сделано... (*Смотрит на толпу.*) Эх, вы... (*Поднимает руки и кричит.*) Да здравствует народ! (*Падает навзничь.*)

И н в а л и д ы. Негодяи! Они убили его!

Двое инвалидов идут к Бекару, поднимают его и, донеся тело до середины сцены, кладут у ног Вентимиля.

В е н т и м и л ь (*смотрит на мертвого Бекара полуприлично, полупрастроганно*). Идти до конца по своему пути? Вот один уже и дошел.

И н в а л и д ы (*прислушиваясь*). Слушайте!

За сценой слышны крики, подхватываемые инвалидами.

Капитуляция принята!

В е н т и м и л ь (*равнодушно*). Сообщите об этом господину коменданту.

И н в а л и д ы. Ваша светлость, он совсем спятил. Все переломал у себя в квартире, кричит и плачет, как ребенок...

В е н т и м и л ь (*пожимая плечами*). Ну что ж! Буду замещать его до конца. (*Про себя, иронически, с оттенком горечи.*) Вот никогда не думал, что мне выпадет честь вместе с этими стенами, насчитывающими четыре века, сдать господам адвокатам французское королевство. Приятная миссия! Издевка судьбы!.. Уф! Суета сует и всяческая суета. Все тщетно, все проходит, все имеет свой конец. Смерть все примиряет. Последнее прости. Мы сыграем для них небольшую сценку под занавес, споем финальную арию. (*Громко.*) По местам! Построиться в две шеренги!

Гарнизон выстраивается во дворе. Инвалиды направо, швейцарцы налево с де Флюэ во главе. Вентимиль встает, опираясь на трость.

Сдаемся, господа! Должен вас предупредить, что, несмотря на принятые мною меры, когда противник войдет сюда, возможны всякие неожиданности. Вы знаете, что мы имеем дело не с дисциплинированной армией. Но если у них не хватит выдержки, тем больше оснований у нас сохранить выдержку. Господа швейцарцы, от имени короля я выражаю вам благодарность за службу. Вы выполнили с честью свой долг. (*С еле заметной улыбкой пово-*

рачивает голову к инвалидам.) Что касается вас — мы с вами понимаем друг друга.

Одобрительный шепот в рядах инвалидов.

Де Флюэ *(равнодушно)*. Что поделаешь, война!

Один из инвалидов насвистывает «Где же может быть лучше, чем в лоне своей семьи».

Вентимиль *(поворачивается к нему с несколько пренебрежительным жестом)*. Замолчи! Не показывай так открыто свою радость! Она непристойна, мой друг!

И н в а л и д. Ваша светлость, это у меня нечаянно вырвалось.

Вентимиль. Ты так гордишься тем, что тебя побили?

И н в а л и д *(горячо)*. Нас не побили! Никогда бы им не взять Бастилии, если бы мы не хотели, чтобы они ее взяли.

Товарищи поддерживают его.

Вентимиль. Ты хочешь сказать, что это мы взяли Бастилию?

И н в а л и д. Что ж, может и так.

Вентимиль. В самом деле... Ну, становись на свое место! *(После паузы, громко.)* Откройте ворота... Опустите подъемный мост.

Под все усиливающиеся крики толпы несколько человек открывают ворота и медленно опускают подъемный мост.

Вентимиль *(презрительно)*. Вот он, новый король!

Мост опущен. Нарастает могучий гул. Людской поток стремительно врывается в распахнутые ворота. Мужчины и женщины кричат, размахивая ружьями, пиками и топорами. В первых рядах подталкиваемый сзади Гоншон потрясает саблей и орет во всю глотку. Гош и Гюлен выбиваются из сил, стараясь утихомирить крикунов. Победные клики и призывы к расправе.

(Обнажая голову.) Приветствуем госпожу чернь!

Инвалиды *(охваченные внезапным порывом, подбрасывают шапки в воздух)*. Да здравствует Свобода!

Вентимиль. Господа! Хоть бы приличия ради!

Инвалиды *(еще громче, приходя в неистовый вос-*

торг). Да здравствует Свобода! (Бросают оружие и обнимаются с народом.)

Вентимиль (презрительно, пожимая плечами). Как ты слаб, бедный человеческий разум! Прощайте, господин де Вентимиль! (Ломает свою шпагу.)

Подталкиваемый сзади, совсем потерявший голову Гоншон, старая торговка фруктами и толпа разъяренных женщин бросаются на Вентимиля, де Флюэ и солдат, окружают их, тащат, выталкивают со сцены, испуская неистовые вопли.

Гоншон. Потроши их, ребята!

Старуха. Аристократишки поганые!

Народ. Сволочи швейцарцы!

— Я-то их знаю! Вот она, хромоногая команда!

— Ха! Наши враги! Бей их!

— Они стреляли в нас!

Гош и Гюлен стараются удержать толпу. Их оттесняют и прижимают к стене.

Гош. Остановитесь! Остановитесь!

Гюлен. Куда там! Легче остановить разлив Сены.

Гош. Тебя ранили?

Гюлен (со смехом). И знаешь кто? Гоншон.

Гош. Этот трус!

Гюлен. Сейчас он озверел. Самые трусливые псы кусаются, когда у них вырывают кость. Посмотри-ка на него!.. А, Конта! Видишь, как она потрясает пикой; а эта старуха вцепилась в горло поверженному Вентимилю...

Гош (вне себя, наносит удары направо и налево, стремясь пробиться вперед). Я убью их!

Гюлен. Оставь, все равно не пробиться, не пробиться, говорю тебе!

Гош (оттесненный толпой). Безумные!

Гюлен. А ты разве не знал, каковы они?.. Что делаешь! Ведь не мы с тобой сотворили их такими.

Толпа. Инвалид убежал!.. Бей его!

Демулен. Старый, безногий урод! Уберите чучело! В воду этих страшилищ!

Гош (хватая Демулена за горло). Замолчи!

Демулен (ошеломленный). Почему?

Гош. Ты пьян.

Демулен (не понимая). Пьян? Но я... я...

Гош. Ты опьянел от крови. Замолчи!

Демулен (проводя рукой по лбу). Да... Да... Ты прав. (Садится на тумбу.)

Гюлен. Помоги нам!

Народ (расчищая дорогу Марату). Да здравствует Марат!

Марат. Что вы тут делаете, дети мои?

Женщины. Бейте их... Убивайте...

Марат. Убивать! А на что вам это? Разве вы собираетесь их съесть?

В народе раздается смех.

Гюлен. Он умеет с ними разговаривать. Их надо рассмешить.

Гош. Где малютка?

Гюлен. Малютка?

. Гош бежит искать Жюли.

Демулен (бросается вперед). Остановитесь, товарищи, вы убиваете заключенных.

Народ (недоуменно). Заключенных?

Демулен. Узников Бастилии. Видите, на них серые балахоны! Ведь это те, кого мы шли освободить.

Народ (в нерешительности). Да нет же, это наши враги.

Гюлен. У нас больше нет врагов.

Жюли (на плече у Гоша, простирает вперед руки с зеленой ветвью и кричит). Пощады нашим друзьям, нашим друзьям — врагам!

Народ (смеясь). Вы слышите, что говорит малютка?

Гош (ставит ее на лафет пушки так, что Жюли несколько возвышается над толпой). Кричи, малютка: «Все — братья, все — друзья!»

Жюли. Братья! Братья!..

Народ. Все — братья, она права!

Инвалиды. Да здравствует народ!

Народ. Да здравствуют наши славные ветераны!

Инвалиды (Жюли). Малютка, ты спасла нас!

Народ. Но она же и победила вас, товарищи! Эта крошка взяла Бастилию.

М а р а т. Ты — наша совесть!

Н а р о д. Ты — наша маленькая Свобода!

Протягивает к ней руки. Женщины посылают ей воздушные поцелуи.

Гош (ударяя по плечу Гюлена, разделяющего общий восторг). Ну как, Гюлен, вечный скептик, теперь и ты убедился?

Гюлен (вытирая глаза, упрямо). Да... но... (Смех Гоша и народа не дает ему договорить. Он умолкает и принимается смеяться громче всех. Осмотревшись по сторонам, он видит у входа во двор, в нише, статую короля, решительно направляется туда и вытаскивает статую.) К черту! Дай место Свободе! (Бросает статую на землю, берет на руки маленькую Жюли и ставит ее в нишу на место статуи.) Бастилия низвергнута!.. Я это совершил, я! Мы все совершили... И то ли мы еще сделаем! Мы очистим авгиевы конюшни, освободим землю от чудовищ, задушим своими руками льва монархии. Пусть наш кулак ударит по деспотизму, как молот по наковальне. Будем смело ковать Республику, товарищи!.. Слишком долго я сдерживал накопившуюся во мне силу, она распирает мне грудь и льется через край! Несись вперед, поток Революции!

Старая торговка фруктами (верхом на пушке, с красной повязкой на голове). На Версаль, к королю! Я уже оседлала лошадку! Я взяла ее с бою, запрягу в свою тележку, и поскачем в Версаль! Навесгим жирного Луи. Мне есть о чем поговорить с ним. Веками копилась во мне обида... И все-то я терпела... сил больше нет, пора и отдышаться. Я была покорной скотинкой, верила, что так и надо — страдать в угоду богачам!.. Теперь я прозрела!.. Я хочу жить, я жить хочу!.. Какая жалость, что я уже старуха. Черт побери! Я хочу наверстать упущенное!.. Н-но, н-но, моя милая, едем ко двору! (Проезжает верхом на пушке, подталкиваемая толпой, в которой выделяются люди в касках и боевых доспехах, но с обнаженными икрами.)

Н а р о д. Во дворец! В Версаль!

— Да, мы слишком долго страдали! Мы хотим счастья! И мы добудем себе счастье!

Демулен (с зеленой веткой в руке). Лес Свободы вырос на булыжниках мостовой. Зеленые ветви колышутся на ветру. Старое сердце Парижа вновь расцветает. Вот она — весна!

Народ (разражается криками ликования и гордости, все украшают себя зелеными ветками, зелеными кардами, зелеными бантами, зелеными листьями). Мы — свободны! Небеса — свободны!

Заходящее солнце проникает в пролет подъемного моста и затопляет пурпурными лучами двор Бастилии и толпу с ветвями в руках.

Гош. Солнце, усни спокойно, мы недаром прожили этот день.

Конта. Его заходящие лучи окрашивают в пурпур окна Бастилии, колеблющиеся на ветру ветви, безбрежное человеческое море и нашу юную Свободу.

Гюлен. Небо возвещает войну.

Марат. Как и тот, кто вошел в некий город семнадцать веков назад, приветствуемый колыханием ветвей, эта малютка появилась среди нас не для того, чтобы возвестить мир.

Демулен. На нас — кровь.

Робеспьер (с неистовым фанатизмом). Это наша кровь.

Народ (в крайнем возбуждении). Это моя кровь!.. — Нет, моя!..

— Мы приносим ее в дар тебе, Свобода!

Демулен. Что стоят наши жизни! Великое благо не достается даром!

Гош. Мы готовы заплатить за него.

Робеспьер (сосредоточенно). И заплатим.

Народ (восторженно). Заплатим!

Вокруг Свободы образуется хоровод. Музыка.

Конта. Какая радость быть вместе со всеми, любить вместе со всеми, радоваться и страдать со всеми! По-братски возьмемся за руки! Закружимся в братском хороводе! Пой, народ Парижа, ведь это твой праздник!

Марат. Возлюбленный народ, как долго ты страдал молча! После стольких веков мучений наступил, наконец, вожделенный час! Свобода принадлежит тебе. Храни же как зеницу ока свое завоевание!

Демулен (*в зрительный зал*). А теперь я обращаюсь к вам! Продолжите наше дело! Бастилия пала, но в мире остались другие Бастилии. На приступ! На приступ против всяческой лжи, против мрака! Разум победит силу! Прошлое уничтожено! Смерть умерла!

Гюлен (*Жюли*). О наша Свобода! Наш светоч, наша любовь! Как ты юна еще! Как хрупка! Сможешь ли ты устоять среди надвигающихся бурь? Набирайся же сил, крепни, наше дорогое растеньице, стань высоким и стройным, порадуй мир твоим чистым, как ветер полей, дыханием!

Гош (*с саблей наголо поднимается на ступеньки около ниши, где стоит юная Свобода*). Будь спокойна, Свобода, мы защитим, мы охраним тебя! Горе тем, кто посмеет тебе угрожать. Ты — наша, а мы — твои! Тебе принесены эти жертвы, тебе принадлежат наши трофеи!

Женщины бросают Свободе цветы; мужчины склоняют перед ней пики, знамена, зеленые ветви — трофеи Бастилии.

Но это только начало. Мы создадим тебе бессмертную славу. Дочь парижского народа, твои ясные глаза будут светить всем поработленным народам. Мы пронесем по всему свету мощный клич равенства и братства. Нашими саблями, нашими пушками мы в битвах проложим по всей вселенной путь твоей колеснице. Человечество придет к любви, к братству! Братья! Все — братья! Все — свободны!.. Идемте же освобождать мир!

Над головами вздымаются шпаги, пики, зеленые ветки, взмывают платки, летят шапки; раздаются крики восторга, звучат победные трубы. Народ образует хоронод вокруг Свободы.

Вариант для праздничного народного представления с оркестром и хорами

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

(См. соответствующую страницу)

Подъемный мост Бастилии опущен. Нарастает мощный гул. Людской поток стремительно врывается в распахнутые ворота на сцену. Мужчины и женщины кричат, размахивая ружьями, пиками и топорами. В первых рядах подталкиваемый сзади Гоншон потрясает саблей и орет во всю глотку. Гоши и Гюлен выбиваются из сил, стараясь утихомирить крикунов. Победные клики и призывы к расправе.

Вентимиль (*иронически*). Прощайте, господин де Вентимиль! (*Обнажает голову.*) Приветствуем госпожу чернь!

Инвалиды (*охваченные внезапным порывом, кричат и размахивают шапками*). Да здравствует Свобода!

Вентимиль. Господа, хоть бы приличия ради!..

Инвалиды (*в неистовом восторге*). Да здравствует Свобода! (*Бросают ружья и обнимаются с народом.*)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЦЕНА

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК¹. ТОРЖЕСТВО СВОБОДЫ

Вторник, 14 июля, 7 часов вечера. Площадь Ратуши.

Люди снуют во всех направлениях; все украшены зелеными кокардами, зелеными бантами, зелеными листьями; в руках — зеленые ветви; царит необычайное оживление — ощущение своей силы, гордости и радости, наполняющее все сердца, переливается через край. Над этим людским океаном, подобно пене на разбивающихся об

¹ См. примечание в конце текста.

утесы волнах, появляются фигуры мужчин, женщин и детей, взобравшихся на крыши карет и повозок, остановленных толпой, на лестницы, скамейки, фонари, на плечи друг к другу. У всех в руках зеленые ветви — целый лес ветвей, колышущихся в лучах заходящего солнца.

При поднятии занавеса — торжественная музыка, которая завершается взрывом народного ликования и восторга.

Н а р о д (*заполняя всю сцену, потрясает зелеными ветвями и восклицает хором*). Свободны! Мы — свободны!

Д е м у л е н (*с зеленой веткой в руке*). Лес Свободы вырос на булыжниках мостовой! Зеленые ветви колышутся на ветру! Старое сердце Парижа вновь расцветает. Вот она — весна!

Н а р о д (*в один голос*). Мы — свободны! Небеса — свободны!

Возгласы дробятся, передаваясь от одного к другому, как вспышки света.

— Отсекли-таки зверю лапу, которую он занес над нашей головой!

— Наступили пятой ему на горло!

— Бастилия взята! Взята!

В один голос.

— Мы победили!

Д е м у л е н. Это пугало, эта Бастилия, эта львиная шкура, которой они прикрывали свою кровожадную трусость, сдернута с их плеч!.. И вот перед нами голый король, дрожащий и смешной! Король — враг!

Н а р о д. Шах королю! Король побежден!

Старая торговка фруктами (*верхом на пушке, с красной повязкой на голове*). На Версаль, к королю! Я уже оседлала лошадку! Я взяла ее с бою! Запрягу ее в свою тележку, и поскачем в Версаль! Навестим жирного Луи, господина Капета-старшего. Мне есть о чем поговорить с ним. Веками копилась во мне обида... И все-то я терпела... Сил больше нет, пора и отдышаться. Я была покорной скотинкой, верила, что так и надо — страдать в угоду богачам! Теперь я прозрела!.. Я хочу жить, я жить хочу!.. Какая жалость, что я уже старуха!.. Черт побери! Я хочу наверстать упущенное! Н-но, н-но, моя милая, едем к королю!

Проезжает верхом на пушке, подталкиваемая толпой; здесь и народ и буржуа; на многих надеты каски, щиты и всяческие доспехи, в руках ружья, копья. Впереди четыре барабанщика, человек в отрепьях, женщина с ребенком и старый буржуа, тип судейского чиновника, степенный и полный чувства собственного достоинства. Воинственно-комический марш. Барабаны и флейта.

Народ. Во дворец! В Версаль! К королю!

— Да, мы слишком долго страдали! Мы хотим счастья! И мы добудем себе счастье!

Конта (белокурые волосы ее развеваются по ветру, руки, шея и грудь обнажены; в руках зеленая ветвь, и сама она обвита зелеными гирляндами; ее окружают женщины, юноши, дети, держащие, как и она, длинные зеленые ветви). Мы завоевали победу! Сердце у меня в груди прыгает от радости, я — как коза, пасущаяся в винограднике Свободы! Я опьянела от сознания свободы. Она неудержимо влечет меня вперед. Что сделала я для Свободы? Не знаю! Я знаю только, что я — победительница. Я заставила сдаться врагов. О, какое счастье чувствовать, что ты растворяешься в людском океане, что ты одна из волн, танцующих в его прибое!.. О народ, твоё дыхание стало моим, я люблю тебя, я хочу быть твоим голосом, голосом, возвещающим твою победу и твою радость.

Демулен. Вакханка Революции, опьяненная Свободой, чем проникнута ты — любовью или ненавистью? Твои влажные губы и твои взоры сулят одновременно и негу и смерть. Пальцы твои покраснели от вина или от крови? Все равно! Я люблю тебя, Победа! Эвоэ! Будем славить Свободу!

Музыка.

Монахи и священники (матуринцы, капуцины, вооруженные ружьями священники идут с крестами и хоругвями и поют). Domine, salvam fac gentem, et exaudi nos in die qua invocaverimus Te! ¹

Народ. Да здравствуют попы! Да здравствует святая Женевьева!

Демулен. Да здравствуют попики, кардиналишки, монахи и монашки всех сортов и видов! Да здравствуют бездельники! Да здравствуют архиболваниссимусы!

¹ Господи, помилуй нас и услыши нас в день, когда мы зовем к тебе! (лат.)

Студенты (в обнимку с девушками поют песенку
Вадэ под аккомпанемент кларнетов и гитар).

Дар неоценимый,
Горячо любимый —
Вольность, вольность, —
Лишь в нее
Сердце влюблено мое.

Народ. Да здравствует судейское сословие!

Демулен. Шапки долой перед канцелярской
братьей! Ведь это она сразила Бастилию!

Один из студентов (толкая перед собой тачку).
По десять су, всего по десять су — камни Бастилии!

Народ (смеясь). Ах, шутники! Медведь еще не до-
бит, а они уже торгуют его шкурой!

Студент. Булыжник!

Другой студент (несет плакат с надписью: «Пи-
сатель, оставшийся без квартиры по случаю закрытия
Бастилии!»). Сжальтесь, граждане, куда же теперь де-
ваться честным людям? Нет больше Бастилии.

Толпа смеется. Группа студентов, крича и смеясь, несет на плечах
Гоншона. У Гоншона в руке сабля, на голове лавровый венок. Он
похож на Силсена.

Студенты. Бесстрашный Гоншон!

— Герой поневоле!

— Гоншон Полиоркет!

Народ. Гоншон — враг королей! Гроза аристократов!

Студенты. Он так трусил, что вошел первым. Он
мчался сквозь неприятельский строй, всех врагов обращая
в паническое бегство.

Демулен. Негодяй! Кто тебе разрешил брать Ба-
стилию? Тебя бы надо высечь за то, что ты присвоил
себе честь, которой ты недостойн.

Студент. Его хозяева рассчитаются с ним за нас.
Они его повесят.

Студенты. Тебя повесят, Гоншон! Ты ведь взял
Бастилию!

Студенты подбрасывают Гоншона. Дрожащий, совсем растеряв-
шийся, Гоншон салютует саблей и приветственно размахивает своим
венком. Толпа танцует вокруг него, напевая на всем известный мо-
тив шуточной песенки: «Ты будешь повешен, Гоншон, будешь пове-
шен, повешен, повешен!..»

Демулен. Негодяй и впрямь возомнил себя героем. Вздуйте его!

Марат (*умиrotворенный, улыбаясь, радуясь вместе со всеми*). Дай им посмеяться вдоволь. Победители не чувствуют ненависти. Порок вызывает у них только насмешку. Пусть этот шут потешает народ!

Сзади Гоншона и группы студентов идут рабочие и крестьяне с орудиями своего труда: кузнецы в фартуках, с молотами в руках; мясники с ножами; дровосеки с топорами; крестьяне с косами и цепями. Следом за ними дюжина силачей несет ворота Бастилии, на которых прямо и неподвижно стоит маленькая Жюли с зеленой ветвью в руках. Крики восторга несутся со всех сторон, предшествуя появлению Жюли, сопутствуя ей и продолжая звучать ей вслед. У ног Жюли положены железные цепи. Возглавляют шествие Гош и Гюлен. Гюлен с непокрытой головой, с обнаженной шеей, засучив рукава, несет на плече топор, у Гоша на острие сабли — акт о капитуляции Бастилии.

Демулен. Диоскуры! Гош и Гюлен! И маленькая девственница попирает своими босыми ножками символ поверженного деспотизма — ворота Бастилии!

Народ. Акт о капитуляции!

— Ключи!

— Цепи!

Марат. Разбиты цепи, сковывавшие Человека!

Демулен. Клетка открыта. Лети, вольная птица — Свобода!

Народ (*узнает швейцарцев и инвалидов, тоже принимающих участие в шествии*). А это что за птицы?

— Это подлецы швейцарцы!

— А, этих я знаю! И хромоногая команда тут!

— Вот они, враги! Бей их! Они стреляли в нас!

Свист, попытки вступить в драку. Гош, Гюлен и Марат сдерживают толпу.

Марат. Что вы собираетесь делать? Съесть их, что ли?

Народ хохочет.

Гюлен. Битва окончена.

Гош. Нет больше врагов.

Маленькая Жюли (*кричит*). Пощады нашим друзьям — нашим друзьям-врагам!

Народ (смеясь). Слышите, что говорит малютка?

Гош. Все — братья, все — друзья!

Жюли. Братья! Братья!

Народ. Все — братья, она права!

Инвалиды. Да здоровствует народ!

Народ. Да здоровствуют наши славные ветераны!

Инвалиды (Жюли). Малютка, малютка, ведь ты спасла нас!

Народ. Но она же и победила вас, товарищи! Эта крошка взяла Бастилию.

Марат. Ты — наша совесть.

Народ. Ты — наша юная Свобода!

Все простирают к ней руки. Женщины посылают Жюли воздушные поцелуи. Она закрывает от волнения глаза и с улыбкой тоже протягивает им руки.

Гош (ударяя по плечу Гюлена, разделяющего общий восторг). Ну как, Гюлен, вечный скептик, теперь и ты убедился?

Гюлен (вытирая глаза, упрямо). Да... но...

Смех Гоша и народа не дает ему договорить. Он умолкает и принимается смеяться громче всех. Потом останавливается, осматривается вокруг, видит в угловой нише дома, выходящего на площадь, статую святого или короля, порывисто направляется туда и вытаскивает статую из ниши.

К черту! Дай место Свободе! (Бросает статую на землю, берет на руки маленькую Жюли и ставит ее в нишу, где стояла статуя.) Бастилия низвергнута!.. Я это совершил, я! Мы все совершили! И то ли мы еще сделаем! Мы очистим авгиевы конюшни, освободим землю от чудовищ, задушим своими руками льва монархии. Пусть наш кулак ударит по деспотизму, как молот по наковальне. Будем смело ковать Республику, товарищи!.. Слишком долго я сдерживал накопившуюся во мне силу, она распирает мне грудь и льется через край! Несись вперед, поток Революции!

Музыка. Оркестр без хора. Героический марш. Лучи заходящего солнца окрашивают пурпуром площадь, толпу, зеленые ветви и юную Свободу.

Гош. Солнце, спи спокойно, мы недаром прожили этот день.

Конта. Его заходящие лучи окрашивают в пурпур окна Бастилии, колеблющиеся на ветру ветви, безбрежное человеческое море и нашу юную Свободу.

Гюлен. Небо возвещает войну.

Марат. Как и тот, кто вошел в некий город семнадцать веков назад, приветствуемый колыханием ветвей, эта малютка появилась среди нас не для того, чтобы возвестить мир.

Демулен. На нас — кровь.

Робеспьер (с неистовым фанатизмом). Это наша кровь.

Народ (в крайнем возбуждении). Это моя кровь!..

— Нет, моя!..

— Мы приносим ее в дар тебе, Свобода!

Демулен. Что стоят наши жизни? Великое благо не дается даром.

Гош. Мы готовы заплатить за него.

Робеспьер (сосредоточенно). И заплатим!

Народ. Заплатим.

Возникают хороводы. Последующие слова произносятся под аккомпанемент музыки.

Демулен. Цветок Свободы распустился в темнице порабощенного мира. Твоя зеленая ветвь, о малютка, это — волшебная палочка; мы разбудим усыпленную землю, и она даст обильный урожай счастья. Свобода, ты истинное светило дня, ибо ты озаряешь жизнь светом нашей воли. Жизнь начинается только сегодня. Мы хозяева своей судьбы. Мы подчинили себе темные силы мира. (Внезапно поворачивается к зрителям.) А теперь я обращаюсь к вам! Доведите до конца наше дело! Бастилия пала, но в мире остались другие Бастилии. На приступ! На приступ против всяческой лжи, против мрака! Разум победит силу! Прошлое уничтожено! Смерть умерла!

Пение и танцы.

Конта (зрителям). Братья, будем петь вместе! Наш праздник — это и ваш праздник. Он не мимолетное воспоминание о прошлом и не пустой его образ, это наша

общая победа, это ваше раскрепощение! Мы разрушили стены, разделявшие людей! Души людей слились в одну человеческую душу! Века — в один век! Радость вселилась в нас. Радость быть заодно со всеми, любить и страдать со всеми! Возьмемся за руки! Закружимся в братском хороводе! Пой, ликуй, ведь это твой праздник, о народ Парижа!

Пение и оркестр в зрительном зале¹.

Марат (*зрителям*). Возлюбленный народ, как долго ты страждешь молча! После стольких веков мучений наступил, наконец, вожделенный час! Свобода принадлежит тебе. Храни же как зеницу ока свое завоевание!

Гюлен (*маленькой Жюли*). О наша Свобода! Наш светоч! Наша любовь! Как ты мала еще! Как хрупка! Сможешь ли ты устоять среди надвигающихся бурь? Набирайся же сил, крепни, наше дорогое растение, стань высоким и стройным, порадуй мир твоим чистым, как ветер полей, дыханием!

Трубы.

Гош (*с саблей наголо поднимается на ступеньки около ниши, где стоит маленькая Жюли*). Будь спокойна, Свобода! Мы защитим, мы охраним тебя! Горе тем, кто посмеет тебе угрожать! Ты — наша, а мы — твои! Тебе принесены эти жертвы, тебе принадлежат наши трофеи!

Женщины бросают к ногам Свободы цветы, мужчины склоняют перед ней пики, знамена, зеленые ветви — трофеи Бастилии.

Но это еще только начало! Мы создадим тебе бессмертную славу. Дочь парижского народа, твои ясные глаза будут светить всем поработленным народам. Мы пронесем по всему свету мощный клич равенства и братства. Нашими саблями, нашими пушками мы в битвах проложим по всей вселенной путь твоей колеснице. Человечество придет к любви, к братству! Братья! Все — братья! Все — свободны!.. Идемте же освобождать мир!

Хоры на сцене и в зрительном зале. Над головами вздымаются шпаги, пики, зеленые ветви, взмывают платки, летят шапки; раздаются крики восторга. Народ образует хоровод вокруг Свободы.

¹ См. примечание в конце текста.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПОСЛЕДНЕЙ СЦЕНЕ

Как указано в заголовке, сцена изображает народное празднество, праздник народа Франции тех времен и нынешних. Замысел требует, чтобы зрители приняли участие в финальных хороводах, песнях и танцах.

Смысл картины в том и состоит, чтобы слить воедино зрителей и сцену, перебросить мост в зал, претворить драматическое действие в реальность. Действующие лица внезапно обращаются непосредственно к зрителям. К ним вызывают Демулен, Конта, Марат, Гош. Но этого недостаточно, нужно еще что-то, кроме слов. Чтобы придать пьесе логическое завершение и раскрыть общий исторический смысл событий, необходимо вмешательство еще одной мощной силы — музыки. Музыка — неодолимая сила звуков, побуждающая пассивную, тяжелую на подъем толпу к действию, волшебная сила, заставляющая забывать о времени и придающая всему непреходящее значение.

Музыка должна служить здесь фоном всего сценического построения, ею должна быть пронизана словесная ткань. Ни на минуту она не должна умолкать — то мощная, отчетливо звучащая, то приглушенная, едва уловимая. Ее назначение — оттенить героический смысл праздника и заполнить собою паузы, так как актерам, изображающим толпу на сцене, несмотря на всю гамму возгласов и криков, трудно создать иллюзию непрерывности жизни. Не столь важно, чтобы зрители отчетливо различали каждое слово, произносимое толпой на сцене, так же

как и каждую ноту оркестра и хора; важнее общее впечатление народного торжества и ликования.

Мне хотелось бы, чтобы во всем спектакле звучала властно и настойчиво одна тема — тема радости и действия, тема Свободы, завоевывающей весь мир. Эта тема намечается в самом начале и, разрастаясь мало-помалу по мере приближения к развязке, подавляет собой все остальные, боковые сюжетные линии спектакля¹.

В основу спектакля необходимо положить принцип нового народного искусства, принцип, который непременно будет воплощен в жизнь, если не сегодня, то завтра, — зрители должны участвовать в спектакле не только мыслями и чувствами — пусть звучит их голос, пусть они действуют. Народ должен стать действующим лицом народного праздника.

Чтобы достичь нужного мне эффекта, оркестр и хоры должны властно выделять основную тему, вступая в действие в нижеследующем порядке:

1. После слов Гюлена, ставящего маленькую Жюли в нишу на место статуи, пусть раздастся стремительный, героический марш, способный поднять народные массы на битву, напоминающий звучанием марш си-бемоль в последней части Девятой симфонии.

2. После гимна Свободе, воспетой Демуленом, и его призыва, обращенного к народу, на сцене должна зазвучать радостная, юношески светлая и бодрая мелодия.

3. Эта мелодия должна быть подхвачена после гимна Конта группой или несколькими группами голосов в зрительном зале (в верхних ярусах театра) или на площади (если спектакль идет на открытом воздухе) в рядах зрителей.

¹ Музыка по духу должна быть близка к Корнелю (или Расину), выдержана в стиле революционных песен (гимны Госсека, Мегюля, Керубини, наивные хороводные песенки Гретри) и навеяна могучими творениями Бетховена, которые лучше всех передают пламень революционной эпохи (финал симфонии до-минор, победная симфония «Эгмонт», финал Девятой симфонии).

Но прежде всего музыка должна быть проникнута страстной верой. Создать нечто поистине великое, призванное служить избранной цели, сможет лишь тот, кто проник в душу народа, в чьей груди горит пламень народных страстей, которые я и изобразил здесь.

4. После речи Гоша мелодия должна быть подхвачена хорами на сцене и во всех ярусах театр̃а, должна звучать со всех концов площади, ее должны петь различные голоса, небольшие хоры и повторять маленькие оркестры, размещенные среди зрителей и невольно вовлекающие их в общий хор. Если в публике будет хотя бы немного рабочих и молодежи, для которых страсти Революции — их собственные страсти, ручаюсь, что они присоединят свои голоса к хору.

5. Наконец, к хорам и музыке, вступающим после первых же слов Гоша, обращенных к юной Свободе, во всех концах сцены и театра или площади, присоединяются, при последних его словах: звуки труб, начинаются танцы, хороводы, слышны голоса народа и войск.

ДАНТОН

МОЕМУ ОТЦУ

Перевод
Н. ЛЮБИМОВА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дантон, 35 лет. — Гаргантюа в шекспировском вкусе, жизнерадостный и могучий. Голова, как у дога, голос, как у быка. Лоб покаты, открытый, глаза светлоголубые, взгляд вызывающий, нос короткий, широкий, верхняя губа изуродована шрамом, нижняя челюсть тяжелая, грубая. Атлет-сангвиник.

Робеспьер, 36 лет. — Среднего роста, хрупкого сложения. Волосы темнорусые. Глаза темнозеленые, большие, близорукие, устремленные в одну точку. Огромные очки, сдвинутые на лоб. Нос прямой, слегка вздернутый. Бледен. Губы тонкие, с презрительной складкой, в которой есть что-то тревожащее и вместе с тем обаятельное.

Камилл Демулен, 34 лет. — Карие чуть косящие глаза, длинные черные волосы. Лицо бледное, желчное, неправильное, расширяющееся кверху. Взгляд живой, своенравный, чарующий, беспокойный; быстрые переходы от приветливой улыбки к презрительной гримасе. Чрезвычайно женственен, то смеется, то плачет, а иногда и одновременно. Изображать его занкание не следует. Но вообще в его речи, движениях, во всем его облике есть что-то неустойчивое и противоречивое.

Сен-Жюст, 27 лет. — Длинные белокурые напудренные волосы, голубые глаза. Продолговатое лицо с удлинненным подбородком. По внешнему виду напоминает молодого англичанина-аристократа; это человек спокойный, хладнокровный, с непреклонной волей. Внутри неостывающий жар фанатической веры.

Эрде Сешель, 34 лет. — Красивый, изящно одетый мужчина. По своим манерам и складу ума это последний представитель старого порядка в Конвенте. Сочетает в себе иронию с добросердечием. Очень спокоен, с огромным самообладанием.

Билло-Варенн, 38 лет. — Высокого роста, с широким бледным лицом. Рыжеволос. Широкоплеч. Мрачен, весь поглощен своими навязчивыми идеями, еле держится на ногах от усталости, взгляд чаще всего блуждающий; по временам приливы бешеной злобы.

Вадье, 58 лет. — «Гасконский Вольтер». Высокий костлявый старик с крючковатым носом, острым подбородком, густыми бро-

вями, большим ртом, тонкими поджатыми губами; лицо пожелтевшее, «Согнувшись пополам, приподняв седую голову, он тихо смеялся сухим и скрипучим, еле слышным смехом».

Филиппо, 38 лет. — Худощав; выражение лица холодное и суровое. Большие черные глаза. Длинный нос. Волосы редкие и прилизанные. Вид неистового аскета.

Фабр д'Эглантин, 39 лет.

Генерал Вестерман, 43 лет.

Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель.

Эрман, председатель Револьюционного трибунала.

Генерал Анрио.

Люсиль Демулен, 22 лет. — Белокурая, миниатюрная, черноглазая, с вьющимися волосами. «Шаловлива, как бесенок, выпускает когти, как котенок».

Элеонора Дюпле, 25 лет. — Высокая, со спокойным выражением лица, с классически правильными чертами. Сквозь внешнюю холодность порою проглядывает пламенная душа. «Корнелия Копо».

Госпожа Дюпле, 59 лет.

Народ.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

У Камилла Демулена.

Гостиная в причудливом вкусе: смешение всех стилей. По стенам игривого содержания картинки в духе XVIII века. На камине бюст древнего философа. На столе макет Бастилии. В углу детская колыбелька. Окно открыто. Пасмурное, печальное небо. Идет дождь. Камилл и Люсиль с младенцем на руках смотрят в окно. Филиппо прохаживается по комнате и время от времени поглядывает в окно. Эро де Сешель сидит в кресле подле камина и наблюдает за своими друзьями. С улицы доносится радостный шум толпы.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Люсиль, Камилл, Эро, Филиппо.

Люсиль (*высовываясь в окно*). Вот они, вот они! Проезжают в конце улицы!

Камилл (*кричит*). Счастливого пути, Папаша Дюшен! ¹ Не забудь свои жаровни!

Эро (*мягко*). Камилл, дорогой мой, не показывайся.

Камилл. Погляди-ка на бывших наших друзей, Эро! Вон клубный генерал Ронсен, вон Венсен, который все покушался на твою голову, Филиппо, вон Эбер, бахвал, которому не давала покоя моя голова, вон пруссак Клотс,

¹ Папаша Дюшен — популярный во Франции комический персонаж. Это — торговец жаровнями, приправляющий каждую свою фразу ругательством. В 1790 году «Папашей Дюшеном» назвал свою газету Эбер; под текстом газеты изображались жаровни. — Прим. ред.

прекрасный Анахарсис!.. Последний путь юного Анахарсиса!.. Бедное человечество: оно лишается лучшего своего оратора! Гильотине будет сегодня работа. Урожай обильный!

Лю с и л ь (*своему ребенку*). Посмотри, Гораций, посмотри на этих негодяев. А вон гарцует генерал Анрио, размахивая огромной саблей. Видишь, детка?

Фи ли п по. Уж очень он старается. Его бы тоже надо на телегу.

Ка м и л л. Точно праздник, народ ликует.

На улице кто-то играет на кларнете разудалую песенку. Толпа громко хохочет.

Это что такое?

Лю с и л ь. Маленький горбун идет за телегой и играет на кларнете!

Ка м и л л. Забавно!

Оба смеются.

Отчего ты не подойдешь к окну, Эро? Неужели тебе не любопытно? Ты печален. О чем ты думаешь?

Шум постепенно удаляется.

Э р о. Я думаю о том, Камилл, что Анахарсису тридцать восемь лет, Эберу тридцать пять, оба в твоих годах, Филиппо, а Венсену двадцать семь, он на шесть лет моложе нас с тобой, Демулен.

Ка м и л л. Это верно. (*Внезапно нахмурившись, отходит от окна на середину комнаты, подпирает подбородок рукой и на мгновение остается неподвижен.*)

Лю с и л ь (*у окна*). Дождь идет! Вот досада!

Ка м и л л (*недовольным тоном*). Не стой у окна, Люсиль, холодно. Отойди.

Лю с и л ь (*закрывает окно и с ребенком на руках отходит на середину комнаты, напевая*).

Дождик идет,
И скоро вечер...
Домой, пастушка,
Гони овечек.

К а м и л л. Люсиль, Люсиль, злая ты женщина, как ты можешь петь эту песню? Когда я ее слышу, я всякий раз думаю, что тот, кто ее сочинил, томится сейчас в заключении.

Л ю с и л ь. Фабр? Да, правда! Бедный наш Эглантин, они посадили его в Люксембургскую тюрьму совсем больного. Ну, ничего, выйдет!

Э р о. *Pur troppo!*¹

Л ю с и л ь. Что он сказал? Конечно, какую-нибудь гадость?

Ф и л и п п о. Он сказал не гадкую, а печальную вещь и притом совершенно верную.

Л ю с и л ь. Перестаньте каркать! Фабр будет освобожден. Неужели мы не сумеем его выручить?

Э р о. Сам Дантон не мог его спасти.

Л ю с и л ь. Дантон — это другое дело! А уж если Камилл возьмется за перо и выложит все, что у него на сердце, вот увидите — двери тюрем распахнутся сами собой и поглотят...

Э р о. Кого?

Л ю с и л ь. Тиранов.

Э р о. О легкомысленная пастушка, как плохо стережешь ты своих барашков!.. «Домой, пастушка!..» Вдумайся в смысл этой песенки.

Входит служанка, берет у Люсиль ребенка и уносит его. Люсиль говорит с ней шепотом, уходит, возвращается; в продолжение этой сцены она все время в движении: она занята разными домашними делами и между прочим принимает участие в общем разговоре.

К а м и л л. Люсиль права: надо бороться. Революцию совершили мы, и нам надлежит руководить ею. Мой голос еще не утратил власти над толпой. Стоило мне заговорить — и бешеные отправлены на гильотину. Никогда еще мы не были так сильны, будем же добиваться новых успехов: взять Люксембургскую тюрьму не труднее, чем Бастилию. Мы сокрушили девятисотлетнюю монархию, так неужели же мы не справимся с комитетом мерзавцев, которые пришли к власти благодаря нам и которые смеют злоупотреблять ею, чтобы погубить Конвент и Францию?

¹ К сожалению (итал.).

Филиппо (*в волнении ходит взад и вперед*). Подлецы! Если бы они только убивали! Но нет! Они припутали Фабра к лихоимству и хищениям в Ост-Индской компании; они сочинили всю эту небылицу, всю эту историю с евреями и немецкими банкирами, которые будто бы через посредство нашего друга подкупили Национальное собрание. Они сами знают, что лгут, но им мало убить своего противника — они прежде постараются облить его грязью.

Эро. У нас добродетельные враги: тебе не просто рубят голову, а во имя высших принципов, — по крайней мере утешение.

Камилл. Франция ненавидит Тартюфа. Выпорем ханжу и отколотим дона Базиля.

Филиппо. Я исполнил свой долг — пусть каждый исполняет свой! Я вывел на чистую воду воров из Западной армии, из Сомюрского штаба. Я вцепился в горло этим прохвостам, и я не выпущу добычу, разве что голова у меня свалится с плеч. Я смотрю на вещи трезво: я отдаю себе отчет, что значит напасть на генерала Росиньоля и его прихвостней. Комитет пока меня не трогает — с одною лишь целью: чтобы потом вернее меня погубить. Какое гнусное обвинение собираются они взвалить на меня! При одной мысли об этом меня бросает в жар и в холод. Пусть гильотинируют, если желают, но пусть не порочат моей чести!

Эро. Я отношусь ко всему этому спокойнее, чем ты, Филиппо. Я заранее знаю, каким предлогом они воспользуются, чтобы меня уничтожить. Я имею несчастье придерживаться того мнения, что можно быть врагом европейских правительств и вместе с тем не испытывать ненависти ко всем не французам. За границей у меня были друзья; я не считал своим долгом от них отрекаться в угоду этому одержимому Билло-Варенну и другим таким же невменяемым, как и он. Ко мне ворвались, взломали мои ящики, похитили у меня несколько писем совершенно частного характера — этого довольно: отныне я один из участников пресловутого заговора, существующего на золото Питта и имеющего своею целью восстановление королевской власти.

К а м и л л. Ты в этом уверен?

Э р о. Совершенно уверен, Камилл. Моя голова уже не держится на плечах.

К а м и л л. В таком случае скройся.

Э р о. Во всем мире нет такого уголка, где бы мог укрыться республиканец. Короли его преследуют, Республика его изничтожает.

К а м и л л. Вы оба пали духом. Все-таки нас знает вся Франция.

Э р о. И Лафайета знала вся Франция, и Петiona, и Ролана. Даже Капет был когда-то известен. Тот, кого сейчас провезли, неделю назад был народным кумиром. Кто может похвалиться любовью этих дикарей? На мгновение вдруг как будто появится в их тусклых глазах отблеск самостоятельной мысли. Раз в жизни чья душа не сливалась с душою толпы? Но это слияние не может быть долгим; стремиться продлить его бессмысленно. Мозг народа — это морская пучина, населенная чудищами и всякими ужасами.

К а м и л л. Вот оно, великое слово! Мы надуваем щеки, прежде чем выговорить слово «народ», и мы произносим его с комическою важностью, чтобы заставить Европу поверить в некую таинственную силу, орудиями которой мы являемся. Знаю я этот народ — он для меня поработал. Осел в басне говорит: «Я два вьюка не потащу» — и не догадывается, что мог бы не тащить ни одного. Мы немало потрудились, чтобы заставить людей совершить Революцию, — они совершили ее скрепя сердце. Инженерами и механиками этого прекрасного движения были мы; без нас они бы и не пошевелились. Они не стремились к Республике — это я повел их к ней. Я внушил им, что они хотят быть свободными, — внушил для того, чтобы они полюбили Свободу как дело своих рук. Так испокон веков управляют слабыми. Убедишь их, что они хотят чего-то такого, о чем они и не мечтали, и вот они уже, как львы, бросаются в бой.

Э р о. Осторожней, Камилл: ты — дитя, ты играешь с огнем. Ты воображаешь, что народ пошел за тобой потому, что вы стремились к единой цели. Сейчас уже он ушел от тебя далеко вперед. Не пытайся остановить его: у пса не вырывают кости, когда он ее гложет.

К а м и л л. Надо ему бросить другую. Да что, в самом деле, разве народ не прислушивается к моему «Старому кордельеру»? Разве его голос не доходит до самых дальних уголков страны?

Л ю с и л ь. Если б вы знали, какой успех имел последний номер! Камиллу пишут отовсюду письма, — слезы, поцелуи, объяснения в любви... Будь я ревнива... Его умоляют писать еще, умоляют спасти отечество.

Э р о. А многие ли из этих его друзей помогут ему, когда на него нападут?

К а м и л л. Я не нуждаюсь ни в ком. Ко мне, моя чернильница! Праща Давида (*показывает на перо*) уже сокрушила крикуна, поминутно оравшего: «На гильотину! На гильотину!» — короля буянов и головорезов. Это я разбил трубку Папаши Дюшена, эту знаменитую трубку, которой, подобно трубе иерихонской, достаточно было выпустить три клуба дыма вокруг чьей-нибудь репутации, как эта репутация рушилась сама собой! Не откуда-нибудь, а отсюда вылетел камень, поразивший в лоб Голиафа, наглого труса. Я натравил на него толпу. Ты видел рядом с телегой жаровни Папаши Дюшена? Эту мысль подал я. Моя затея имела бешеный успех. Что ты на меня так смотришь?

Э р о. Мелькнула мысль.

К а м и л л. Какая?

Э р о. Ты когда-нибудь думал о смерти?

К а м и л л. О смерти? Нет, нет, я этого не люблю. Фу, это дурно пахнет!

Э р о. Ты никогда не думал о том, как тяжело умирать?

Л ю с и л ь. Какой ужас! Нашли о чем говорить!

Э р о. Ты добрый, милый, прелестный ребенок, и вместе с тем ты жесток, жесток, тоже как ребенок.

К а м и л л (*взволнованно*). Ты в самом деле думаешь, что я жесток?

Л ю с и л ь. Вот у него уже и слезы на глазах!

К а м и л л (*взволнованно*). Ты прав: этот человек страдал. Предсмертный холодный пот, сердце сжимается от страха в ожидании конца... это должно быть мучительно! Как бы ни был он ничтожен, страдал он не

меньше любого честного человека, а может быть, даже больше. Несчастный Эбер!

Л ю с и л ь (обвивая руками шею Камилла). Бедный мой Буль-Буль! Стоит ли горевать о негодяе, который хотел отрубить тебе голову?

К а м и л л (запальчиво). А зачем ко мне тогда приставать с такой мерзостью? *Si quis atra dente me petiverit, inultus ut flebo puer!*¹

Л ю с и л ь (Эро). А вы еще осмеливаетесь утверждать, что мой Камилл жесток!

Э р о. Разумеется, осмеливаюсь. Ох, уж этот мне милый мальчик! Из всех нас он, пожалуй, самый жестокий.

К а м и л л. Не говори так, Эро, в конце концов я тебе поверю.

Л ю с и л ь (Эро, грозя ему пальцем). Скажите, что это неправда, а то я вам глаза выцарапаю.

Э р о. Ну, хорошо, неправда: самый жестокий человек — это вы.

Л ю с и л ь. Ну что ж! Ничего не имею против.

К а м и л л. Твои слова, Эро, меня очень расстроили. Это верно: я причинял людям много страданий, и все же я человек не злой. После моих прокурорских речей кого-нибудь непременно вздергивали на фонарь. Меня подстрекает какое-то бесовское мальчишество. Из-за меня жирондисты гниют в полях, которые поливает этот ледяной дождь. Из-за моего «Разоблаченного Бриссо» срубили головы тридцати юношам, прекрасным, благородным. Они любили жизнь так же, как я, они появились на свет ради того, чтобы жить, чтобы наслаждаться счастьем так же, как я. У каждого из них была своя ласковая, милая Люсиль. О Люсиль, бежим, бежим от этой смертоубийственной борьбы, которая губит других и, может быть, погубит самих борцов! Что, если и нас тоже — тебя, нашего маленького Горация... Ах, как бы я хотел снова стать никому не известным человеком! Где то убежище, то подземелье, в котором я со своей женой, ребенком и книгами мог бы укрыться от посторонних взоров? *O ubi campi...*²

¹ Если кто вонзит в меня острый свой зуб, я заплачу, как беспомощный мальчик (лат.).

² О, где поля... (Вергилий, «Георгики», II, 486).

Филиппо. Ты попал в самый водоворот, тебе уже не выбраться.

Эро. Нет, отпусти Камилла, эта война не для него.

Филиппо. Он сам только что сказал: нужно исполнять свой долг.

Эро (*указывая на Камилла, который прижался к Люсиль*). Посмотри, не кажется ли тебе, что долг нашего Камилла в том и состоит, чтобы быть счастливым?

Камилл. Это правда, у меня какое-то особое призвание к счастью. Есть люди, созданные для того, чтобы страдать. Мне страдания отвратительны, не хочу я их!

Люсиль. А я не помешала твоему призванию?

Камилл. Веста моя, волчонок мой милый, моя маленькая Ларидон...¹ Ты очень виновата передо мной! Благодаря тебе я слишком счастлив.

Люсиль. Негодник! Он еще жалуется!

Камилл. Понимаешь, из-за этого я утратил всякую волю, всякую веру.

Люсиль. Каким же образом?

Камилл. Прежде я верил в бессмертие души. При виде человеческого горя я говорил себе: мир был бы устроен слишком нелепо, если бы добродетель не вознаграждалась где-то еще. Но теперь я счастлив, счастлив вполне, — вот я и боюсь, что уж получил свою награду на земле. И мой довод в пользу бессмертия не представляется мне больше убедительным.

Эро. Постарайся обойтись без него.

Камилл. Как это просто — быть счастливым! И как мало людей владеет этим искусством!

Эро. Самое простое дается труднее всего. Считается, что люди хотят быть счастливыми. Какое заблуждение! Они хотят быть несчастными, они этого добиваются во что бы то ни стало. Фараоны и Сезострисы, цари с головами, как у коршуна, и когтями, как у тигра, костры инквизиции, каменные мешки Бастилии, опустошительные и истребительные войны, — вот что им по душе. Чтобы внушить им доверие, нужно окутать себя мраком таинственности. Чтобы внушить им любовь, нужно прибег-

¹ Игра слов: Ларидон — имя собачки из басни Лафонтена и в то же время девичья фамилия Люсиль. — *Прим. ред.*

нуть к бессмысленности страданий. Но разум, терпимость, взаимная любовь, счастье... нет, нет, это все для них оскорбительно!

К а м и л л. Ты желчен. Надо делать людям добро даже наперекор им самим.

Э р о. Нынче все этим занимаются — со средним успехом.

К а м и л л. Бедная Республика! Что они с тобой сделали? О цветущие деревни, обновленные поля, где воздух стал легче, а дали — прозрачнее с тех пор, как светлый разум своим свежим дыханием согнал с неба Франции пагубные суеверия вместе со старыми готическими святыми!.. Хороводы молодежи, кружащиеся на лужайках, героическое войско — братские сердца, стальная стена, о которую ломаются копья Европы!.. Наслаждение красотой, наслаждение гармоничностью форм, беседы в Портике, благородные Панафинеи, где проходят вереницы девушек с белыми руками, облаченных в легкие одежды!.. Свободная жизнь, радость, торжествующая надо всем, что есть безобразного, лживого, мрачного! Республика Аспазии и прекрасного Алкивиада, что с тобою случилось? Красный колпак, грязная рубаша, хриплый голос, навязчивые идеи маньяка, указка педанта из Арраса!

Э р о. Ты афинянин среди варваров, Овидий среди скифов. Ты их не переделаешь.

К а м и л л. Во всяком случае попытаюсь.

Э р о. Только потеряешь время, а может быть, и жизнь.

К а м и л л. Чего мне бояться?

Э р о. Берегись Робеспьера.

К а м и л л. Я знаю его с детства — друг имеет право говорить все.

Э р о. Неприятная истина легче прощается врагу, чем другу.

Л ю с и л ь. Молчите! Камилл должен быть великим, он должен спасти отчизну. Кто со мной не согласен, тот не получит шоколада.

Э р о (с улыбкой). Я умолкаю.

Люсиль уходит.

Ф и л и п п о. Итак, Демулен, ты решил действовать?

К а м и л л. Да.

Ф и л и п п о. В таком случае никаких передышек! Преследуй врагов неустанно, пронзай их пером. Ты предпочитаешь мелкие стычки, — ведь это самое опасное. Ты ограничиваешься тем, что осыпашь врагов своими ядовитыми стрелами, — это их еще больше ожесточает. Лучше целясь прямо в сердце — покончим с ними разом!

Э р о. Друзья мои, я не одобряю вашего замысла, но если уж вы решились, то по крайней мере надо позаботиться о том, чтобы у вас были все шансы на выигрыш. Так вот, чтобы начать войну, еще недостаточно (да простит мне Камилл), еще недостаточно пера Демулена. Народ ничего не читает. Успех «Старого кордельера» ввел вас в заблуждение: до толпы он не доходит, у него совсем особый читатель. Ты, Камилл, это прекрасно знаешь: ты сам недавно жаловался, что на один из его номеров издатель повысил цену до двадцати су. Покупают его такие же, как мы, аристократы. Народ судит обо всем со слов клубных ораторов, а они не за тебя. Сколько бы ты ни распинался и ни украшал свой слог площадной бранью, народ никогда не будет считать тебя своим. Есть только один способ воздействовать на толпу — это бросить в нее Дантоном. Только его громы способны расшевелить весь этот косный людской хаос. Дантону стоит тряхнуть своей гривой — и поднимется Форум. Но Дантон устранился, почил от дел; он покинул Париж, он уже больше не выступает с речами в Конвенте. С ним творится что-то непонятное. Кто-нибудь виделся с ним за последние дни? Где он? Что он делает?

Входят Дантон и Вестерман.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, Дантон, Вестерман.

Дантон. Дантон кутит, Дантон ласкает девочек, Дантон, как Геркулес, отдыхает от своих подвигов за новыми подвигами!

Демулен идет навстречу Дантону и со смехом пожимает ему руку. Вестерман с озабоченным видом стоит в стороне.

К а м и л л. Геркулес никогда не расстанется со своей палицей — ему еще предстоит убить столько чудовищ!

Д а н т о н. Не говори со мной об убийстве! Это слово внушает мне отвращение. Франция дымится от крови, земля пахнет освеженным мясом, как на бойне. Сейчас я переходил через Сену; солнце садилось; Сена была багровая; казалось, она катит волны человеческой крови. Если и реки наши будут осквернены, то чем же мы их очистим, чем отмоем наши руки? Довольно смертей! Оплодотворим Республику! Пусть новые всходы и новые люди вырастут на почве обновленной отчизны! Будем любить женщин и возделывать наши поля!

К а м и л л. Пусть некий бог пошлет нам на это досуг! Мы же сейчас рассчитываем на тебя, Дантон.

Д а н т о н. Что вы от меня хотите, дети мои?

Ф и л и п п о. Чтобы ты помог нам в борьбе!

Д а н т о н. Зачем я вам нужен? Почему все должен делать я? Вечно одна и та же песня! Вот, например, Вестерман. Уж, кажется, человек настоящий! Был на войне; несколько раз спасал отечество; для возбуждения аппетита, прежде чем сесть за стол, всякий раз перерезает кому-нибудь горло. Видите ли, и ему я должен помочь! Прикажете сесть вместо него на коня и взяться за саблю?

Вестерман. Когда нужно будет драться, я никому не уступлю своего места. Выведи меня в поле, вели стереть с лица земли целое войско, и ты увидишь, как я с этим справлюсь. Но разглагольствовать, отвечать в Конвенте этим болтунам, раскрывать грязные делишки комитетской сволочи, которая спит и видит меня погубить, — этого я не умею. В вашем городе я чувствую себя совершенно беспомощным: они целой стаей набрасываются на меня сзади, а я не смею шевельнуться; я должен терпеть все и ничего не имею права предпринять для самозащиты. Неужели вы отдадите меня на растерзание и не заступитесь? Черт бы вас всех побрал! Ведь я же за вас сражался, у нас общие враги. Мое дело — это и ваше дело: твое, Дантон, твое, Филиппо, и ты это прекрасно знаешь!

Ф и л и п п о. Знаю, Вестерман: якобинцы подняли на тебя бешеный лай за то, что ты, как и я, обличал Росиньоля, Ронсена и всех этих мерзавцев, позорящих армию. Мы тебя не покинем.

К а м и л л (Дантону). Надо действовать. Я предоставляю в твое распоряжение свое перо, Вестерман — свою саблю. Веди нас в бой, Дантон. Ты человек закаленный, ты знаешь, как нужно обращаться с толпой, ты изучил стратегию революций, — становись же впереди: нам предстоит еще одно десятое августа.

Д а н т о н. Не сейчас.

Ф и л и п п о. Ты сходишь со сцены, тебя начинают забывать. Объявись! Ты по целым неделям сидишь в провинции. Что ты там делаешь?

Д а н т о н. Обнимаю родную землю и, как Антей, черпаю новую силу.

Ф и л и п п о. Ты ищешь предлога, чтобы выйти из боя.

Д а н т о н. Я не умею лгать. Ты прав.

К а м и л л. Что с тобой?

Д а н т о н. Я пресыщен людьми. Меня от них тошнит.

Э р о. Для женщин ты, повидимому, делаешь исключение.

Д а н т о н. Женщины по крайней мере имеют смелость быть тем, что они представляют собою на самом деле, что представляем собою мы все: животными. Они идут прямой дорогой к наслаждению и не лгут при этом самим себе, не прикрывают своих инстинктов плащом разума. А я ненавижу лицемерие всех этих умников, кровожадный идиотизм этих идеалистов, этих диктаторов, которые, сами будучи импотентами, называют развратом откровенность в удовлетворении законных потребностей и притворяются, будто отрицают природу, для того чтобы под флагом добродетели утолять свою чудовищную гордыню и страсть к разрушению. О, быть дикарем, добрым и откровенным дикарем, который готов любить всех, только бы ему оставили место под солнцем!

К а м и л л. Да, всех нас точит ржа лицемерия.

Д а н т о н. самого мерзкого лицемерия. Лицемерия с ножом за пазухой. Лицемерия добродетельной гильотины!

Ф и л и п п о. Мы снесли голову Капету, как видно, для того, чтобы Тальен, Фуше и Колло д'Эрбуа возродили в Бордо и Лионе времена драгонад!

К а м и л л. Эти маньяки создали новую религию, светскую и общеобязательную, позволяющую проконсулам вешать, резать, жечь во славу добродетели.

Дантон. Для государства нет ничего опаснее этих людей принципа. Им не важно, делают они добро или зло, им важно всегда быть правыми. Страдания их не трогают. У них одна мораль, одна политика — навязывать свои идеи другим.

Эро (*язвительным тоном декламирует*).

Муж честный лишь тогда блаженства миг вкушает,
Когда он у других восторги исторгает...

Люсиль (*входит; уловив последние слова, машинально продолжает дальше*).

Сим качеством монах отнюдь не отличался,
Вскочивши на седло, он тут же и помчался, —
Пришпоривает знай святой отец лошадку,
Не думая о том, что — горько ей иль сладко.

Эро. Дьявольщина! Оказывается, вы еще помните то, что учили в школе.

Люсиль. А что же тут особенного? «Девственницу» помнят все.

Дантон. Твоя правда, детка. Это молитвенник порядочных женщин.

Эро. Вы когда-нибудь читали его Робеспьеру?

Люсиль. Я бы не постеснялась.

Камилл. Знаете, что бывает с Робеспьером, когда кто-нибудь позволяет себе при нем нескромную шутку? Кожа у него на лбу собирается в крупные складки, ползет кверху, он ломает себе руки и гримасничает, как мартышка, у которой болят зубы.

Эро. Весь в отца. Ненависть к Вольтеру перешла к нему от Руссо.

Люсиль (*простодушно*). Как? Разве он сын Руссо?

Эро (*насмешливо*). А вы и не знали?

Дантон. Все это одно иезуитство! Он порочнее других. Если человек скрывает, что он любит наслаждения, значит это человек безнравственный.

Филиппо. Возможно. Но если Робеспьер действительно любит наслаждения, то он ловко это скрывает. И он прав, Дантон. А ты, ты действуешь слишком открыто. За одну веселую ночь в Пале-Рояле ты готов поставить на карту все, в чем ты преуспел.

Дантон. Всякому преуспеянию я предпочитаю успех у женщин.

Филиппо. Этим ты и губишь свое доброе имя. Общественное мнение следит за каждым твоим шагом. Что скажут потомки, когда станет известно, что Дантон накануне решительной битвы за судьбу государства думал только о наслаждениях?

Дантон. Общественное мнение — это потаскушка, доброе имя не стоит плевка, потомство — зловонная свалка.

Филиппо. Разве добродетель — не сила, Дантон?

Дантон. Поди спроси у моей жены, довольна ли она моей добродетелью.

Филиппо. Ты сам не знаешь, что говоришь. Тебе просто нравится клеветать на себя, ты играешь на руку своим врагам.

Вестерман *(долго сдерживался и теперь, наконец, прорывается)*. Все вы болтуны и хвастливые краснобаи. Одни похваляются своими добродетелями, другие — пороками. Вы только и умеете разглагольствовать. Ваш город — это гнездо адвокатов и прокуроров. Враг угрожает нам. Дантон, ты идешь на приступ? Да или нет?

Дантон. Оставьте меня! Ради спасения Республики я пожертвовал своей жизнью и душевным покоем, а она не стоит того, чтобы я посвятил ей хотя бы час. Довольно! Дантон купил себе право пожить, наконец, для себя.

Камилл. Дантон не купил себе права быть Сийесом.

Дантон. Что я вам, кривоглазая лошадь, обреченная вертеть жернов, пока не сдохнет?

Камилл. Ты вступил на путь, где что ни шаг то бездна. Отступать теперь уже некуда. Можно идти только вперед. Враг гонится за тобой по пятам, вот он, ты чувствуешь на себе его дыхание. Если остановишься, он сбросит тебя в бездну. Он уже замахнулся и рассчитывает удар.

Дантон. Я только обернусь и покажу им мою морду, и это их сразит наповал.

Вестерман. Ну, так обернись. Чего ты ждешь?

Дантон. Не сейчас.

Филиппо. Твои враги возбуждены. Билло-Варенн брызгает на тебя бешеной слюной. Вадье издевается и пророчит тебе скорую гибель. В Париже прошел даже слух, что ты арестован.

Дантон (*пожимая плечами*). Вздор! Не посмеют.

Филиппо. Знаешь, что сказал Вадье? Мне не хотелось повторять его мерзости. Вадье сказал про тебя: «Скоро мы этому быку выпустим внутренности».

Дантон (*громовым голосом*). Так сказал Вадье? Ну, так передай, передай этому мерзавцу, что я ему раскрою череп, что я ему выгрызу мозг! Когда моя жизнь будет в опасности, я стану свирепее каннибала! (*На губах у него пена.*)

Вестерман. Наконец-то!.. Идем!

Дантон. Куда?

Вестерман. Выступать в клубах, поднимать народ, сбрасывать комитеты, кончать с Робеспьером.

Дантон. Нет.

Филиппо. Почему?

Дантон. Не сейчас. Сейчас не хочу.

Камилл. Ты губишь себя, Дантон.

Вестерман. Я из себя вон выхожу — все действия честнейших людей Парижа сковывает нерешительность. Видно, здесь в самом воздухе разлита какая-то дьявольская отравка, если даже такие люди, как вы, зная, что им грозит эшафот, сидят сложа руки, чего-то ждут и все еще колеблются, давать противнику бой или бежать. Я больше не могу. Я ухожу от вас. Я буду действовать один. Я пойду к Робеспьеру, которого вы все так боитесь (да, вы его боитесь, хотя и посмеиваетесь над ним: ваш страх и составляет силу этого проходимца). Я скажу ему правду в глаза. В первый раз в жизни он увидит перед собой человека, который ему не поддастся... Я сокрошу этот идол! (*Уходит в гнев.*)

Филиппо. Я с тобой, Вестерман.

Дантон (*хладнокровно, с оттенком презрения*). Ничего он не сокрушит. Робеспьер взглянет на него — вот так, и кончено. Бедный малый!

Филиппо. Дантон! Дантон! Где ты? Где атлет Революции?

Дантон. Вы трусы. Бояться нечего.
Филиппо. *Quos vult perdere...*¹ (Уходит.)

Эро встает, берет шляпу и направляется к выходу.

Камилл. И ты уходишь, Эро?

Эро. Камилл, ты не создан для борьбы, как ее понимает Вестерман, я в этом уверен. Но в таком случае устранись окончательно. Пусть о тебе забудут. Для чего эти разговоры?

Камилл. Этого требует моя совесть.

Эро (*чуть заметно пожимает плечами и целует руку Люсиль*). Прощайте, Люсиль.

Люсиль. До свиданья.

Эро (*с улыбкой*). Кто знает?

Камилл. Куда ты?

Эро. Пойду на улицу Сент-Оноре.

Дантон. Тоже с визитом к Робеспьеру?

Эро. Нет, это моя обычная прогулка: смотрю, как проезжают телеги с осужденными.

Камилл. Я думал, это зрелище тебе неприятно.

Эро. Я учусь умирать.

Уходит. Люсиль провожает его.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Дантон, Камилл.

Дантон (*смотрит вслед Эро*). Бедняга, он не в себе, упрекает меня в бездеятельности. Ты, Камилл, тоже меня осуждаешь, я вижу по глазам. Ну что ж, мой милый, не стесняйся. Ты считаешь меня подлецом? Ты склонен думать, что Дантон ради собственного брюха готов пожертвовать и друзьями и славой?

Камилл. Дантон, почему ты медлишь?

Дантон. Дети мои, Дантон не скроен по мерке прочих людей. В этой груди пылают вулканические страсти, но они делают со мной не больше того, что я им позво-

¹ Кого хочет погубить (лат.). Имеется в виду изречение: «Кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума». — *Прим. ред.*

ляю. Сердце у меня жадное, мои чувства рычат, как львы, но укротитель сидит вот тут. *(Показывает на голову.)*

Ка м и л л. Каков же твой замысел?

Д а н т о н. Убереечь отчизну. Любой ценой избавить ее от братоубийственных наших раздоров. Знаешь, отчего гибнет Республика? От недостатка обыкновенных людей. Слишком много умов занято государственными делами. Иметь Мирабо, Бриссо, Верньо, Марата... Дантона... Демулена, Робеспьера — это слишком большая роскошь для одной нации. Кто-нибудь один из этих гениев мог бы привести Свободу к победе. Когда они все вместе, они пожирают друг друга, а Франция вся в крови от их междоусобиц. Я сам принимал в них слишком деятельное участие, хотя, впрочем, совесть моя спокойна: я не начинал схватки ни с одним французом, если меня к тому не вынуждала необходимость самозащиты, даже в пылу сражения я делал все для того, чтобы спасти моих поверженных врагов. И теперь я не стану из личных интересов затевать борьбу с самым крупным деятелем Республики... после меня. Лес поредел вокруг нас, я боюсь обезлюдить Республику. Я знаю Робеспьера: я видел, как он поднимался, как он входил в силу благодаря своему упорству, трудолюбию, преданности своим идеям; одновременно росло и его тщеславие, и так он постепенно подчинил себе Национальное собрание и покориł французов. Только один человек все еще стоит ему поперек дороги: моя известность не меньше его известности, и его болезненное честолюбие от этого страдает. Должен отдать ему справедливость: несколько раз он пытался заглушить в себе завистливые побуждения. Но неотвратимый ход событий, чувство зависти, которое в нем сильнее рассудка, мои заклятые враги, которые натравливают его на меня, — все это ведет нас обоих к столкновению. Каков бы ни был его исход, Республику это потрясет до основания. Так вот, я первый покажу пример самопожертвования. Пусть его честолюбие больше не боится моей славы! Я долго пил этот терпкий напиток, и у меня от него горечь во рту. Пусть Робеспьер, если хочет, допивает чашу! Я удаляюсь под сень моей палатки. Я менее злопамятен, чем Ахилл, — я буду терпеливо ждать, когда Робеспьер протянет мне руку.

К а м и л л. Если один из вас непременно должен пожертвовать собою, то почему именно ты, а не он?

Д а н т о н *(пожимая плечами)*. Потому что только я на это способен... *(после небольшого молчания)* и потому что я сильнее его.

К а м и л л. А все-таки ты ненавидишь Робеспьера.

Д а н т о н. Ненависть чужда моей душе. Я человек не желчный, и не потому чтоб я был добродетелен (я не знаю, что такое добродетель), — такой уж у меня темперамент.

К а м и л л. А ты не боишься предоставить поле действия врагу?

Д а н т о н. Пустое! Я знаю его, как свои пять пальцев: он способен довести пьесу до четвертого действия, но развязка ему роковым образом не дается.

К а м и л л. А до тех пор сколько он причинит зла! Твоя мощь — это единственный противовес режиму насилия и фанатического террора. А как же ты поступишь со своими друзьями? Бросишь на произвол судьбы?

Д а н т о н. Я им же окажу услугу, если на некоторое время сложу свои полномочия. Сейчас на них вымещают тот страх, который я внушаю своим врагам. Как только зависть перестанет мучить Робеспьера, он меня послушается. Когда же я буду представлять не одну какую-нибудь партию, а все человечество, руки у меня будут развязаны. С людьми нужно обращаться, как с детьми, и уступать им игрушку, к которой они тянутся от жадности, — уступать для того, чтобы из-за глупого упрямства они не натворили бед себе и нам.

К а м и л л. Ты слишком великодушен. Никто не поймет такой самоотверженности. Робеспьер не поверит, что ты устранишься по доброй воле; его подозрительный ум станет в этом искать — и отыщет — макиавеллиевы козни. Смотри, как бы твои враги не воспользовались твоим отречением, чтобы нанести тебе удар.

Д а н т о н. Дантон не отрекается — он временно выходит из боя, но он всегда готов вернуться. Будь спокоен: я один сильнее их всех. Такие люди, как я, не боятся забвения: когда они умолкают хотя бы на миг, в мире тотчас же образуется страшная пустота и никто не в силах ее заполнить. Тем, что я устраниюсь, я лишь способ-

ствую своей популярности. Вместо того чтобы бороться с ахейцами за власть, я предоставляю ей самой раздавить их слабые плечи.

К а м и л л. Прежде всего они употребят свою власть, чтобы покончить с тобой. Вадье спустит на тебя всю свою свору.

Д а н т о н. Я их всех расшвыряю! Я привык биться с чудищами. В детстве я любил дразнить быков. Мой приплюснутый нос, рассеченная губа, вся моя рожа — вот память об их окровавленных рогах. Как-то раз в поле я с громким криком бросился на полудиких кабанов, и они мне пропороли живот. Так мне ли бояться всяких Вадье? Притом они слишком трусливы.

К а м и л л. А если все же осмелятся? Чтобы придать себе храбрости, они вызвали из армии Сен-Жюста, — говорят, они только его и ждут.

Д а н т о н. Ну что ж, если они меня доведут до крайности, вся ответственность ляжет на них! Я человек толстокожий, обиды сношу легко. Но когда я на них брошусь, я не успокоюсь до тех пор, пока не перебью всех до одного. Жалкие людишки! Я проглочу их сразу!..

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, Робеспьер, Люсиль.

Люсиль (поспешно вбегает и бросается к Камиллу; испуганно). Робеспьер!..

Входит Робеспьер, холодный, невозмутимый, и без единого жеста окидывает всех быстрым и зорким взглядом.

К а м и л л (с несколько насмешливым видом спешит ему навстречу). А, дорогой Максимилиан, ты как раз кстати! Хотя тебя и не было с нами, ты целый час держал в своих руках нить нашего разговора.

Д а н т о н (в смущении). Здравствуй, Робеспьер.

Дантон не решается протянуть ему руку — он ждет, чтобы его соперник сделал первый шаг. Робеспьер ему не отвечает; он холодно пожимает руку Люсиль и Камиллу, кивает Дантону и садится. Камилл и Дантон стоят. Люсиль все время в движении.

Люсиль. Как это мило с твоей стороны, что, несмотря на свою занятость, ты выбрал время к нам заглянуть! Сядь поближе к огню. На улице туман — сырость до костей пробирает. Как поживают твои дорогие хозяева — гражданка Дюпле и моя приятельница Элеонора?

Робеспьер. Благодарю, Люсиль. Камилл, мне нужно с тобой поговорить.

Люсиль. Ты хочешь, чтобы я ушла?

Робеспьер. Нет, не ты.

Камилл (*останавливает Дантона, который собирается удалиться*). Дантон — наш единомышленник во всем.

Робеспьер. Так говорит молва. Я не хотел этому верить.

Дантон. Разве тебе это неприятно?

Робеспьер. Может быть, и неприятно.

Дантон. Ничего не поделаешь. Есть вещи, которых ты не можешь изменить: Дантона любят.

Робеспьер (*презрительно*). Самое слово «любовь» звучит пошло, и в жизни она встречается редко.

Дантон (*злобно*). Говорят, есть люди, которые совсем не знают любви.

Робеспьер (*после небольшого молчания, ледяным тоном, нервно потирая руки*). Я пришел сюда не для разговоров о распутстве Дантона... Камилл, ты упорно, несмотря на мои предостережения, следуешь по тому пути, на который тебя толкнули дурные советчики и твое собственное легкомыслие. Твой вредоносный памфлет всюду во Франции сеет раздоры. Ты расточаешь свое остроумие на то, чтобы подрывать доверие к людям, которые необходимы Республике. Всякого рода реакционеры в борьбе против Свободы прибегают к помощи твоих сарказмов. Я долго укрощал ту ненависть, которую ты возбуждаешь к себе, я дважды тебя спасал, но я не стану спасать тебя вечно. Государство возмущено заговорами мятежников — я не могу идти против государства.

Камилл (*уязвленный, язвительным тоном*). Обо мне, пожалуйста, не беспокойся. Твое участие, Максимилиан, меня трогает, но я не нуждаюсь ни в ком: я сумею защитить себя сам, меня не нужно водить на помочах,

Робеспьер. Не спорь, гордец. Только твое легкомыслие может служить тебе оправданием.

Камилл. Да я и не собираюсь оправдываться. Мои заслуги перед родиной велики. Я защищаю Республику от республиканцев. Я говорил открыто, я говорил правду. Раз не всякую правду можно высказывать, значит Республики больше нет. Девиз Республики — это ветер, бушующий над морем: *Tollunt, sed attollunt!* Ветер волнует море, но он же его и вздымает!

Робеспьер. Республики еще нет, Демулен. Мы ее создаем. С помощью Свободы свободного строя установить нельзя. Подобно Риму в годину испытаний, наше государство перед лицом опасности подчинилось диктатуре для того, чтобы преодолеть все препятствия и победить. Смешно было бы думать, что, в то время как Европа вместе с нашими внутренними врагами грозитя не оставить от Республики камня на камне, мы вправе все говорить, все делать и своими словами и действиями играть на руку неприятелю.

Камилл. Чем же я играю ему на руку? Я защищал прекраснейшие идеи: братство, святое равенство, мягкость республиканских законов, *res sacra miser*¹, то уважение к страданиям, которым проникнута наша прекрасная конституция. Я учил любить Свободу. Я стремился к тому, чтобы перед взором народов засверкал лучезарный образ счастья.

Робеспьер. Счастье! Этим злополучным словом вы и привлекаете к себе всех эгоистов и сластолюбцев. Кто не хочет счастья? Но мы предлагаем людям счастье не Персеполиса, а Спарты. Счастье — это добродетель. А вы, вы злоупотребляете этим священным словом, чтобы возбудить в сердцах негодяев желание того преступного благоденствия, которое состоит в забвении других людей и в наслаждении излишествами. Постыдная мысль! Из-за нее пламя Революции могло бы потухнуть. Пусть Франция научится страдать, пусть находит радость в страданиях ради Свободы, пусть жертвует своим благополучием, покоем, привязанностями ради счастья всего мира!

¹ Я, несчастный, защищал святое дело (лат.).

Ка м и л л (передразнивая Робеспьера, учтиво-насмешливым тоном, который внезапно, к концу тирады, становится колким и резким). Пока ты говорил, Максимилиан, мне пришло на память нечто во вкусе Платона. «Когда я слышу, — сказал бы доблестный полководец Лахес, — когда я слышу, как человек славит добродетель, и человек этот представляет собой истинного санкюлота, достойного тех речей, которые он произносит, я испытываю неизъяснимое наслаждение. Мне тогда кажется, что это единственный музыкант, достигающий совершенной гармонии, ибо все свои поступки он приводит в согласие со своими словами — и не по якобинской или женевской моде, а на французский лад, который один только и заслуживает названия республиканской гармонии. Когда со мной говорит такой человек, я вне себя от радости, я похож на тех безумцев, что пьянеют от красноречия, — так жадно я впиваю в себя каждое его слово. Но кто славит добродетель, а в жизнь ее не претворяет, тот причиняет мне горькую обиду, и чем он кажется красноречивее, тем большее отвращение внушает мне его музыка». (В конце монолога Демулен поворачивается к Робеспьеру спиной.)

Робеспьер, не произнеся в ответ ни единого слова и не сделав ни одного жеста, встает, с тем чтобы уйти. Люсиль, встревоженная направлением, какое принял разговор, и не спускавшая глаз с Робеспьера, берет его за руку и пробует заговорить с ним шутливо.

Лю с и л ь (указывая на Камилла). В этом противном мальчишке сидит дух противоречия. Ты не можешь себе представить, как он иногда меня злит! Милый Максимилиан, вы оба ничуть не изменились. Спорите, как, бывало, в школе, в Аррасе.

От Робеспьера попрежнему веет холодом; он ничего ей не отвечает и собирается уходить.

Дантон (с самым приветливым видом подходит к Робеспьеру и уже совершенно иным тоном). Робеспьер, мы все трое не правы. Дадим друг другу слово быть отныне послушными одному только разуму и для блага родины позабудем взаимные наши обиды. Я первый под-

хожу к тебе и протягиваю руку. Прости мне мою минутную вспышку.

Робеспьер. Дантон воображает, что одним словом может заглазить нанесенные им оскорбления. Обидчику нетрудно позабыть обиды, которые причинил он.

Дантон. Я, повидимому, ошибочно приписываю моим противникам свойственное мне великодушие. Но благо Республики для меня важнее всего: она нуждается и в моей энергии и в твоих добродетелях. Если тебе противна моя энергия, то мне отвратительны твои добродетели: мы квиты. Сделай, как я: зажми себе нос, и мы вместе спасем отечество.

Робеспьер. Я не думаю, что есть люди, без которых отечество не могло бы обойтись.

Дантон. Так рассуждают все завистники. Прикрываясь этими красивыми фразами, они выхолащивают все, что составляет силу Нации.

Робеспьер. Сила, не внушающая доверия, это уже не сила!

Дантон. Ты мне не доверяешь? Ты придаешь значение сплетням, которые ходят обо мне, бреду Билло-Варенна? Посмотри на меня. Похож я на лицемера? Ненавидьте меня, но не подозревайте!

Робеспьер. О человеке судят по его делам.

Дантон. Какие же такие за мной дела?

Робеспьер. Ты равно благожелателен ко всем партиям.

Дантон. Все несчастные вызывают во мне сострадание.

Робеспьер. Кто хвастается, что ни к кому не испытывает ненависти и в самом деле не испытывает ее к врагам Республики, тот подрывает мощь Республики. Жалость к палачам становится жестокостью по отношению к жертвам. Из-за этой снисходительности нам пришлось сравнять с землей целые города — один день снисходительности обойдется нам в тридцать лет гражданской войны.

Дантон. Ты всюду видишь преступления — это безумие! Если ты болен, так лечись сам, но не заставляй здоровых людей принимать лекарство. Республика сама себя губит. Еще есть время прекратить этот бессмыслен-

ный, дикий террор, истощающий Францию. Но если ты будешь медлить, если ты не присоединишься к нам, то сам потом не справишься с его разрушительной силой. Ты попытаешься, но будет уже поздно: огонь террора сожжет тебя вместе с другими, он сожжет тебя прежде других. Несчастный, неужели ты не понимаешь, что в тот день, когда не станет Дантона, следующий удар обрушится на тебя? Ведь это я до поры до времени защищаю тебя от пожара.

Робеспьер (*отстраняется от Дантона; холодно*). Ну и пусть он меня сожжет!

Камилл (*тихо Дантону*). Ты увлекся, Дантон, ты задел его самолюбие.

Дантон. Во имя отечества, Робеспьер, во имя того отечества, которое мы с тобой одинаково горячо любим и ради которого мы отдали все, даруем полную амнистию всем друзьям и недругам, лишь бы они любили Францию! Да смоем эта любовь все подозрения и все ошибки! Где нет любви, там нет и добродетели. Где она есть, там нет места преступлению.

Робеспьер. Без добродетели нет и отечества!

Дантон (*настойчиво, с угрозой*). Я еще раз предлагаю тебе мир. Подумай о том, чего мне стоит сделать первый шаг. Но я готов претерпеть любое унижение, если это ко благу Республики. Протяни мне руку, освободи Фабра, верни Вестермана в армию, защити Эро и Филиппо от тех, кто жаждет их крови!

Робеспьер. Я рожден бороться с преступниками, а не управлять ими.

Дантон (*еле сдерживаясь*). Так ты хочешь войны, Робеспьер? Подумай хорошенько.

Робеспьер (*невозмутимо поворачивается к Дантону спиной и обращается к Демулену*). Камилл, в последний раз: прекрати свои нападки на Комитет.

Камилл. Пусть не подает повода для нападок!

Робеспьер. Подчинись вместе со всеми воле Нации.

Камилл. Я тоже представитель Нации, я имею право говорить от ее имени.

Робеспьер. Ты должен быть для нее образцом законопослушания.

К а м и л л. Мы отлично знаем, как издаются законы. Все мы, Робеспьер, адвокаты, прокуроры, законоведы, и нам известно, что скрывается под величием закона. Я бы от души посмеялся над нашим с тобой словопрением, если бы не мысль о слезах, что льются из-за той комедии, которую мы разыгрываем. Слишком дорого мы стоим людям. Даже добродетель нельзя покупать такой ценой, не говоря уже о преступлении.

Робеспьер. Кто не в силах исполнять свою обязанность, тот не должен ее на себя принимать. А кто принял, тот должен молча идти вперед, пока не рухнет под этим бременем.

К а м и л л. Я готов пожертвовать собой, но не другими.

Робеспьер. Прощай. Вспомни Эро.

К а м и л л. Почему ты заговорил об Эро?

Робеспьер. Эро арестован.

Дантон и Камилл. Арестован? Он только что был здесь.

Робеспьер. Я знаю.

Люсиль. Но что же он сделал? В чем его преступление, Максимилиан?

Робеспьер. Его дом служил убежищем изгнаннику.

К а м и л л. Он не мог не исполнить свой долг.

Робеспьер. А Комитет исполнил свой.

Дантон (*вскипев*). Ты что же, негодяй, бросаешь мне вызов? Ты задумал перерезать нас всех, одного за другим? Сначала ты обламываешь могучие ветви дуба, а потом доберешься и до ствола?.. Мои корни уходят глубоко в землю, в самое сердце французского народа. Ты сможешь вырвать их только вместе с Республикой. Падая, я раздавлю вас всех, и те мерзкие крысы, которые сейчас меня грызут, погибнут первые. Вам, видно, придает смелости мое долготерпение? По мне нагло ползают паразиты... Это уж слишком! Лев взмахнет гривой... Да неужели ты не понимаешь, ничтожество, что если б я захотел, я бы тебя раздавил, как вошь?.. Хорошо, война так война! Во мне вновь пробудился пыл минувших битв. Я слишком долго молчал, но теперь мой голос зазвучит опять и двинет Нацию на борьбу с тиранами.

Ка м и л л. Мы возьмем приступом новый Тюильри.
«Старый кордельер» скомандует: «В атаку!»

Робеспьер, не поведя бровью, направляется к двери. Люсиль, в смертельном страхе, не в силах выговорить ни слова, на секунду уходит в соседнюю комнату, сейчас же возвращается с ребенком на руках и подносит его к Робеспьеру.

Лю с и л ь. Максимилиан!..

Робеспьер оборачивается, бросает нерешительный взгляд на маленького Горация, затем улыбается ему, берет его на руки и садится. Поцеловав ребенка, он поднимает глаза на Люсиль и Камилла. Затем, все так же молча, передает ребенка Люсиль и, ни на кого не глядя, уходит. Вся эта немая сцена вѣдется очень строго, никто из ее участников, за исключением Люсиль, не обнаруживает никаких внешних признаков волнения.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Люсиль, Камилл, Дантон.

Ка м и л л. Бедняжка Люсиль, ты обеспокоена?

Лю с и л ь. Камилл, Камилл, как ты неосторожен!

Ка м и л л. Ты же сама меня настроила.

Лю с и л ь. Ах, я теперь раскаиваюсь!

Ка м и л л. Надо говорить то, что думаешь. Да и потом... *(Пожимает плечами.)* А, мне бояться нечего!

В глубине души он меня любит, он меня всегда защитит!

Лю с и л ь. Мне страшно.

Ка м и л л. Ему еще страшней, чем нам, — голос Дантона уже оказал на него свое действие. Робеспьер принадлежит к числу людей, которые непременно должны бояться тех, кого они любят. Идем! Нам надо повидаться с друзьями, сговориться с ними. Время не ждет... Пойдем, Дантон.

Дантон *(не двигаясь с места, озабоченно)*. Да, да... Куда нам нужно идти?

Ка м и л л. Пойдем к Филиппо, к Вестерману, спасем Эро.

Дантон. Завтра... завтра.

Ка м и л л. Завтра будет поздно.

Дантон *(очень печально и очень ласково)*. Люсиль, почитай мне что-нибудь, поиграй, утешь меня.

Люсиль. Что с тобой?

Становится сзади него и опирается на его плечо; он берет ее руку и прижимается к ней щекой.

Дантон. О, Республика! Уничтожить самого себя! Уничтожить дело рук своих, уничтожить Республику! Победители или побежденные — не все ли равно? В обоих случаях — побежденные!

Камилл. В обоих случаях — победители, венчанные славой!

Дантон (*решительным движением поднимается с кресла*). Идем! И пусть грохот падения Республики ужаснет весь мир!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната Робеспьера в доме Дюпле. Одно окно. Две двери. Белые голые стены. Кровать орехового дерева с пологом из камки, по синему полю которого вытканы белые цветы. Очень скромный письменный стол. Несколько соломенных стульев. Этажерка с книгами. На подоконнике стакан с цветами. На авансцене, посредине, маленькая печка; по одну ее сторону стул, по другую скамейка. Дверь налево ведет в комнату Дюпле. Окно выходит во двор — там работают столяры. Слышно, как они забивают гвозди, строгают, пилят.

Робеспьер, один, сидит за письменным столом.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Госпожа Дюпле, Робеспьер.

Госпожа Дюпле (*приотворяя дверь*). Максимилиан, я тебе не помешаю?

Робеспьер (*приветливо улыбаясь*). Нет, гражданка Дюпле. (*Протягивает ей руку.*)

Госпожа Дюпле. Вечно за работой. Эту ночь ты не спал.

Робеспьер. Я был в Комитете.

Госпожа Дюпле. Я слышала, когда ты пришел. В четвертом часу. Отчего ты не поспал подольше утром?

Робеспьер. Ты знаешь, я мало сплю — я приучил мое тело слушаться меня.

Госпожа Дюпле. Ты мне обещал по ночам не засиживаться. Ты переутомляешься, так недолго и заболеть. Что с нами тогда будет?

Робеспьер. Бедные мои друзья, вам волей-неволей придется привыкать обходиться без меня. Я с вами не на век.

Госпожа Дюпле. Разве ты хочешь нас покинуть?

Робеспьер (с искренним пафосом). Нет, не хочу. И все же я покину вас скорее, чем вы думаете.

Госпожа Дюпле. Я тебе это запрещаю. Я хочу уйти первая, но я не тороплюсь.

Робеспьер (улыбаясь). Я был бы спокойнее, если бы знал, что мною не так дорожат.

Госпожа Дюпле. Как же это? Ты не рад тому, что тебя любят?

Робеспьер. Для Франции было бы лучше, если бы она поменьше думала о Робеспьере и побольше о Свободе.

Госпожа Дюпле. Свобода и Робеспьер — это одно неразрывное целое.

Робеспьер. Поэтому-то я за нее и беспокоюсь. Я боюсь за ее здоровье.

Госпожа Дюпле (подходит к окну). Какой грохот стоит у нас во дворе! Я убеждена, что тебя раздражает стук молотка и скрежет рубанка. Двадцать раз я просила Дюпле, чтобы рабочие не приходили так рано, — ведь они тебя будят, — но он говорит, что ты запретил нарушать заведенный порядок.

Робеспьер. Совершенно верно. Эта размеренная работа меня успокаивает. Физический труд благотворен не только для тех, кто им занимается, но и для окружающих. Мы ночи напролет не спим, вынуждены не спать, наша мысль напряжена, и вот наутро физический труд освежает спертый, губительный для нас воздух.

Госпожа Дюпле. Какое же дело не давало тебе сегодня спать?

Робеспьер. Не дело, а заботы.

Госпожа Дюпле. У тебя такой встревоженный вид, как будто вот-вот разразится катастрофа.

Робеспьер. Да, катастрофа.

Госпожа Дюпле. А ты не можешь предотвратить ее?

Робеспьер. Напротив, я должен ее вызвать.

Госпожа Дюпле. Я не имею права тебя расспрашивать, но все-таки не будь сегодня таким хмурым. У нас

в доме праздник: ночью приехали из армии Леба и Сен-Жюст.

Робеспьер. Сен-Жюст приехал? Отлично. Я жду в его твердости.

Госпожа Дюпле. Забыла сказать: к тебе генерал приходил, генерал Вестерман. Он явился ни свет ни заря, и я его не пустила. Сказал, что придет через час. Принять его?

Робеспьер. Не знаю.

Госпожа Дюпле. Он долго ждал во дворе. Под дождем.

Робеспьер. Так, так.

Госпожа Дюпле. Какая ужасная была ночь! Я насквозь промокла.

Робеспьер. А ты куда ходила?

Госпожа Дюпле. На рынок. С двенадцати часов ночи стояла в очереди. Толкотня! Нельзя ни на мгновение закрыть глаза: сейчас же оттеснят. Когда отворили ворота, началась драка. Ну, да я умею за себя постоять. В конце концов удалось получить три яйца и четверть фунта масла.

Робеспьер. Три яйца на всю семью — маловато.

Госпожа Дюпле. Для Элеоноры, для Елизаветы и для тебя, — ведь у меня трое детей.

Робеспьер. Милая мама, неужели ты думаешь, что я стану вырывать у вас кусок изо рта?

Госпожа Дюпле. Ты не имеешь права отказываться: я стояла в очереди из-за тебя. Ты нездоров, желудок у тебя слабый. Вот если б тебе еще мяса! Но ты ведь запретил его покупать.

Робеспьер. Мясо исчезает — надо беречь его для солдат и для больных. Мы издали декрет о гражданском посте. Я и мои товарищи должны показать пример воздержания.

Госпожа Дюпле. Не все так совестливы, как ты.

Робеспьер. Я знаю. Я сам видел, как некоторые пировали, когда кругом люди голодают, — мне это отвратительно. Каждая такая трапеза могла бы насытить тридцать защитников родины.

Госпожа Дюпле. Вот беда! Ни мяса, ни птицы, ни молочных продуктов. Овощи — для армии.

В довершение всего нечем топить. Вот уже вторую ночь Дюпле стоит в очереди за углем и возвращается с пустыми руками. К дровам приступу нет. Знаешь, сколько с меня запросили за вязанку? Четыреста франков! Хорошо, что весна на дворе. Еще один месяц — и нам пришлось бы тугο. Сколько я на свете живу, а такой суровой зимы не припомню.

Робеспьер. Да, ты настрадалась, все вы, бедные женщины, настрадались, но с каким мужеством перенесли вы свои страдания! Признайся, однако, что у вас были не одни только невзгоды, — были и радости, которых вы не знали прежде: вам всем, от мала до велика, выпала на долю радость содействовать святому делу — делу освобождения всего мира.

Госпожа Дюпле. Это правда, я счастлива. Что бы нас ни ожидало впереди, это тяжелое время — лучшее время нашей жизни. Наши страдания — не те обычные, бессмысленные страдания, от которых никому никакой пользы. Каждый из нас недоедает, чтобы легче жилось Нации. И этим чувством гордости мы обязаны тебе, Максимилиан! Вчера вечером я стирала и думала: я простая женщина, я не знаю, чем буду жить завтра, и я так устала каждый день гоняться за хлебом насущным, — а все-таки я тружусь на благо отечества, мои старания не напрасны, каждое мое усилие ускоряет победу, я иду вместе с вами во главе человечества!

Рабочие (поют во дворе).

Строгай, пили, добывая победу,
Пике дай дровко, ружью — приклад.
Трудись, хоть сегодня ты не обседал,
Чтобы Республики нашей солдат
Ни в чем отказу не ведал.

Госпожа Дюпле (улыбаясь). Они кончили заказ для Северной армии. В животе у них пусто, но они довольны.

Робеспьер. Народ прекрасен! Как отраднο составлять его часть! Разве можно простить тем, кто пытается замутить этот источник самоотречения и самопожертвования?

За сценой рычит Вестерман.

Госпожа Дюпле. Это генерал. Он сердится.
Робеспьер. Впусти его.

Госпожа Дюпле уходит. Робеспьер мельком оглядывает себя в зеркале. Лицо его мгновенно принимает иное выражение: становится суровым, бесстрастным, холодным.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Робеспьер, Вестерман.

Вестерман (*врывается в комнату*). Проклятье! Еще бы подольше не впускал! Битых два часа торчу у твоих дверей. Черт знает что! К тебе трудней войти, чем в вандейский город...

Робеспьер, заложив руки за спину, неподвижный, непреклонный, поджав губы, смотрит Вестерману в глаза. Вестерман было осекся, потом заговорил снова.

Я уж думал, ты не хочешь меня принять. Демулен предупреждал, что меня к тебе могут не пустить. А я поклялся, что войду, даже если бы для этого надо было прошибить твою дверь пушками... (*Смеется.*) Ты не сердишься, что я по-солдатски рублю сплеча?

Робеспьер упорно молчит.

(*Вестерман, все более и более смущаясь, старается принять развязный тон.*) Ну и охрана же у тебя, черт побери! У двери хорошенькая девушка на часах штопает чулки. Строгая девица! Неподкупная, как и ты. Хоть перешагивай через нее. Во вражеской стране я бы с удовольствием... (*Неестественно смеется.*)

Робеспьер молчит, постукивая пальцами от нетерпения. Вестерман садится, старается держаться непринужденно. Робеспьер продолжает стоять. Вестерман поднимается.

Дураки говорят, будто ты мой враг. А я не верю. Доблесть против доблести! Еще чего! Разве Аристид может быть врагом Леонида? Бастион Республики и оплот отечества для того и существуют, чтоб друг друга поддерживать. Такие ребята, как мы с тобой, для которых слава Нации превыше всего, непременно сталкиются, верно? (*Протягивает ему руку.*)

Робеспьер неподвижен и безмолвен.

Ты не желаешь подать мне руку?.. Черт! Стало быть, это правда? Ты мне враг? Ты задумал погубить меня? О подлость! Если б я только знал!.. Да что я тебе — последняя сволочь, что ты два часа держишь меня во дворе, а когда меня, наконец, выпускают, не предлагаешь мне даже сесть, и я стоя говорю с тобой, а ты молчишь? Скотство! *(Топает ногой.)*

Робеспьер *(ледяным тоном)*. Вы на неправильном пути, генерал. От Леонида далеко до Папаши Дюшена. Это место опасное, черпать оттуда примеры я вам не советую.

Вестерман *(озадачен)*. Какое место?

Робеспьер. Площадь Революции.

Вестерман *(в полном недоумении)*. Но, гражданин, что же я такого сделал? В чем меня обвиняют?

Робеспьер. Это вам скажут в Комитете общественного спасения.

Вестерман. Я заслужил право знать об этом заранее.

Робеспьер. Спросите вашу совесть.

Вестерман. Мне не в чем себя упрекнуть.

Робеспьер. Жалок тот человек, который перестает слышать укоры совести.

Вестерман *(старается держаться спокойно, но голос его дрожит от боли и гнева)*. Я укоряю себя в одном: зачем я отдал жизнь такому неблагодарному отечеству? Тридцать лет я терплю ради него всевозможные лишения. Десять раз я спасал его от нашествия врагов. Моих заслуг оно не ценило никогда. Слушают первого попавшегося клеветника, который меня оговаривает, придают значение анонимным письмам солдат, которых я наказал за трусость; меня обвиняют, мне грозят, меня понижают по службе; остолопы, чинодралы, прохвосты мною помыкают; я должен подчиняться какому-то Росиньолю, безмозглому ювелиру, который ничего не понимает в военном деле, который известен только тем, что поминутно садится в лужу, все заслуги которого состоят в том, что он вышел из грязи и что ему покровительствуют якобинцы. Клебер, Дюбайе и Марсо — последние спицы в колеснице, а ниортский лавочник командует двумя армиями!

Робеспьер. Республика больше обращает внимание на то, сколь тверды в командире его республиканские убеждения, чем на его военное искусство.

Вестерман. А Республика принимает во внимание неудачи Росиньоля?

Робеспьер. Ответственность за неудачи Росиньоля ложится не на него, а на тех, кто его окружает. Если Клебер, Дюбайе и Вестерман так гордятся своими способностями, почему же они не помогают начальнику, которого им дала Нация?

Вестерман. Так вы хотите отнять у нас нашу славу?

Робеспьер. Да.

Вестерман. Признайтесь: наша военная слава вас пугает, вы хотите, чтобы она померкла?

Робеспьер. Да.

Вестерман (*запальчиво*). Она задевает честолюбие адвокатов?

Робеспьер. Она оскорбляет разум, она угрожает Свободе. Чем вы так гордитесь? Вы только исполняете свой долг. Вы рискуете жизнью? В той смертельной борьбе с деспотизмом, которую мы все сейчас ведем во Франции, каждый из нас ставит свою голову на карту. Вы что же, меньше боитесь смерти, чем мы? Все мы привыкли к мысли, что впереди смерть или победа. Вы, как и мы, только орудия Революции, топоры, которые обязаны проложить дорогу Республике, врубаясь в ряды неприятеля. Это тяжелая задача, и браться за нее надо без малодушия, но и без заносчивости. У вас нет никаких оснований гордиться пушками, так же как и у нас — гильотиной.

Вестерман. Ты глумишься над величием войны.

Робеспьер. Величественна только добродетель. В ком бы она ни проявлялась — в солдатах, рабочих, законодателях, — Республика сумеет ее почитать. Но преступники пусть трепещут! Ничто не защитит их от ее кары: ни воинские звания, ни шпаги.

Вестерман. Это ты мне грозишь?

Робеспьер. Я никого не называл. Горе тому, кто выдает себя с головой.

Вестерман. Проклятье! (Смотрит угрожающе, но на Робеспьера это не производит никакого впечатления; тогда, дрожа всем телом, он неуверенно направляется к выходу. Обернувшись.) Берегись, Сулла! Моя голова крепче держится на плечах, чем у Кюстина. Есть еще люди, которые не боятся твоей тирании. Я иду к Дантону. (Натыкается на стену, затем, хлопнув дверью, уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Робеспьер, Элеонора Дюпле.

Элеонора (выходит из двери, ведущей в комнаты Дюпле). Наконец-то! Ушел! Ах, Максимилиан, как я волновалась, пока он был у вас!

Робеспьер (ласково улыбаясь). Милая Элеонора! Вы все слышали?

Элеонора. Меня напугал голос этого человека. Я не могла удержаться: я все время была здесь, рядом, в маминой спальне.

Робеспьер. А если б он пришел сюда с недобрым умыслом, что бы вы сделали?

Элеонора (в замешательстве). Не знаю.

Робеспьер (берет ее за руку, которую Элеонора прячет за спиной). Что это?

Элеонора (вспыхнув). Пистолет Филиппа — он пришел домой ночью и оставил его на столе.

Робеспьер (отбирает у нее пистолет и задерживает ее руку в своей). Нет, нет, эти руки не должны осквернять себя прикосновением к смертоносному оружию! Они не должны проливать кровь даже ради спасения моей жизни. Пусть останутся в мире хотя бы две дружеские, две невинные руки, и пусть они смоят со всего мира и с сердца Робеспьера следы кровавого жребия... после того как цель будет достигнута.

Элеонора. Но зачем же так рисковать? Вы его разозлили, а про него говорят, что он свиреп.

Робеспьер. Я не боюсь этих рубак. Стоит увести их с поля битвы — и они только без толку шумят, в этом вся их удаль. У них начинают дрожать колени, когда они

сталкиваются с новой для них силой, с которой их оружие никогда не скрещивалось в боях, — с законом.

Элеонора. Приходил еще гражданин Фуше, но по вашему распоряжению его не приняли.

Робеспьер. Моя дверь навсегда закрыта для того, кто лионской резней унижил величие террора.

Элеонора. Он не хотел уходить, он плакал.

Робеспьер (*сурово*). Это крокодиловы слезы.

Элеонора. Он пошел просить вашу сестру, чтобы она за него заступилась.

Робеспьер (*меняясь в лице, тревожно, боязливо*). Ах, боже мой, она придет сюда!.. Этот пройдоха уверил ее, что он ее любит, она его не уважает, но женщине льстит всякое поклонение, от кого бы оно ни исходило. Она придет за него просить. Ради бога не впускайте ее! Скажите, что я занят и никого не принимаю.

Элеонора (*улыбаясь*). Вам не страшны все тираны Европы, а родной сестры вы боитесь.

Робеспьер (*улыбаясь*). Моя сестра — хорошая женщина, она меня любит. Но она такая надоедливая! Постоянно устраивает мне сцены ревности, у меня от них голова идет кругом. Я готов все для нее сделать, только бы она замолчала.

Элеонора. Не беспокойтесь: маму я предупредила, она ее не впустит.

Робеспьер. Дорогие друзья, как заботливо вы охраняете мой покой!

Элеонора. Мы за него в ответе перед Нацией.

Робеспьер. Как мне хорошо в вашем доме! Я отдыхаю у вас душой. Это не убежище эгоиста, защищенное от бурь. Двери здесь всегда широко раскрыты для забот об отечестве, но ваш дом придает им нечто еще более возвышенное. Здесь мужественно принимают удары судьбы, не сгибаясь, глядя ей прямо в глаза. Когда я вхожу сюда, я впиваю в себя вместе с запахом свежеструганного дерева разлитые в воздухе мир и надежду. Честное лицо Дюпле, ласковый голос вашей матушки, ваша рука, Элеонора, которую вы, улыбаясь, братски протягиваете мне, искренняя приязнь всей вашей семьи, — через это я познаю самое бесценное, самое ред-

костное благо, которого мне особенно не хватает и в котором я особенно нуждаюсь!

Элеонора. Какое благо?

Робеспьер. Доверие.

Элеонора. Вы кому-нибудь не доверяете?

Робеспьер. Я не доверяю всем людям. Я читаю ложь в их взглядах, я различаю скрытый подвох в их словах. Их глаза, уста, рукопожатия — все тело их лжет. Подозрительность отравляет все мои помыслы. Я рожден для более нежных чувств. Я люблю людей, я хотел бы им верить. Но как могу я им верить, когда вижу, что они в течение дня десять раз лжесвидетельствуют, идут на любые сделки, продают своих друзей, продают свою армию, продают свое отечество, — из трусости, из тщеславия, от собственной порочности, по злому умыслу? При мне совершали предательства Мирабо, Лафайет, Дюмурье, Кюстин, король, аристократы, жирондисты, эбертисты. Если бы войска ежеминутно не чувствовали за собою тень гильотины, они давно бы уж сдались неприятелю. Три четверти Конвента в заговоре против Конвента. Порок боится поднять голову только потому, что Революция его обуздывает героическою дисциплиной. Он не смеет открыто напасть на добродетель, он скрывается под личиною сострадания, милосердия, он обманывает общественное мнение, пытается склонить его на сторону негодяев, настроить его против патриотов. Я сорву с него личину, я покажу Национальному собранию, что под нею скрывается отвратительное лицо измены, я заставляю тайных сообщников осудить заговор или погибнуть вместе с заговорщиками. Республика выстоит, но, боже мой, среди скольких развалин! Порок — это гидра. Каждая капля ее крови родит новых чудовищ. Лучшие люди, один за другим, поддаются заразе. Третьего дня Филиппо, вчера Дантон, сегодня Демулен... Демулен, мой друг детства, мой брат!.. Кто окажется изменником завтра?

Элеонора. Что же это такое? Столько предательств! И у вас есть улики?

Робеспьер. Да, и даже больше, чем улики: у меня есть внутренняя уверенность, а это такой светоч, который никогда еще меня не обманывал.

Элеонора. Да вы и не можете обмануться, вы знаете все, вы читаете в сердцах людей. Но неужели же все они продажны?

Робеспьер. Я уважаю человек пять, не больше: честного Кутона, который забывает о собственных страданиях и думает только о страданиях человечества; милого, скромного Леба; моего брата, человека благородного, но слишком любящего удовольствия; двух младенцев и одного умирающего.

Элеонора. А Сен-Жюста?

Робеспьер. Его я боюсь. Сен-Жюст — одушевленный меч Революции, неумолимое оружие, он и мною жертвует ради своего железного закона. Все прочие — изменники. Моя проницательность связывает им руки, любовь народа ко мне вызывает в них зависть, и они всеми силами стараются очернить меня. Проконсулы Марсея и Лиона прикрывают свои зверства именем Робеспьера. Контрреволюция выступает то под маской милосердия, то под маской террора. Если я хотя бы на миг поддамся усталости — конец мне, конец Республике. Кутон болен. Леба и мой брат — сумасброды. Сен-Жюст далеко, укрощает армию. Я один среди всех этих предателей, и они всё ходят вокруг меня и пытаются нанести мне удар в спину. Они меня убьют, Элеонора.

Элеонора (с порывистостью юности берет его за руку). Если вы умрете, то умрете не один.

Робеспьер с нежностью смотрит на нее. Она краснеет.

Робеспьер. Нет, дорогая Элеонора, вы не умрете. Я сильнее моих низких врагов. Со мною истина.

Элеонора. Вы трудитесь для всеобщего счастья и сами должны быть счастливы, а на вас лежит столько тяжелых забот! Как несправедлива жизнь!

Робеспьер. Я расстроил вас. Я не должен был смущать ваше доверие к жизни. Простите.

Элеонора. Не жалейте. Я горжусь вашим доверием. Всю ночь я думала о тех страницах из Руссо, которые вы нам прочли вчера. Они веяли отрадой на мою душу. Я слышала ваш голос и эти дивные слова... О, я знаю их наизусть!

Робеспьер (*читает на память, с ласковой и чуть-чуть грустной улыбкой, напыщенным и вместе с тем искренним тоном*). «Общение сердец придает печали нечто сладостное и трогательное, чего нет в наслаждении; дружба дарована была главным образом несчастным как облегчение страданий и утешение в горестях».

Элеонора, держа свою руку в руке Робеспьера, молча улыбается и заливаясь румянцем.

Что же вы молчите?

Элеонора (*продолжает*). «Разве то, что говоришь другу, может сравниться с тем, что испытываешь, когда он тут, рядом?»

Госпожа Дюпле (*за сценой*). Максимилиан! Сен-Жюст пришел.

Элеонора убегает.

ЯВЛЕНИЕ IV

Робеспьер, Сен-Жюст.

Сен-Жюст входит медленным шагом. Робеспьер идет ему навстречу. Они пожимают друг другу руку с таким видом, как будто расстались всего несколько часов назад.

Сен-Жюст. Здравствуй.

Робеспьер. Здравствуй, Сен-Жюст.

Садятся.

Сен-Жюст (*смотрит на Робеспьера без тени улыбки*). Я рад тебя видеть.

Робеспьер. Леба писал, что мы могли с тобой и не увидеться.

Сен-Жюст. Да. (*Помолчав.*) Туда нужно послать оружие. В армии не хватает ружей.

Робеспьер. Работа идет, весь Париж только этим и занят. Куют даже в церквах. Все другие работы приостановлены. Проходя по двору, ты мог видеть, как столяры Дюпле изготавливают деревянные части для ружей. Часовых дел мастера выделывают ружейные замки. Всюду на площадях звенят наковальни.

Сен-Жюст (*помолчав*). Съестных припасов недо-

статочно. Целым дивизиям не хватает фуража. Время не ждет, военные действия начнутся через три недели самое позднее. Нужно, чтобы кровь всей Франции прилиwała к северу.

Робеспьер. Меры приняты. Франция голодает, чтобы накормить солдат.

Сен-Жюст. Как только я вам здесь перестану быть нужен, отпустите меня обратно. Уже от первых схваток будет зависеть многое. Необходимо напрячь все усилия.

Робеспьер. И силы тебе не изменяют?

Сен-Жюст *(без единого жеста, искренно, горячо, убежденно)*. Я отдыхаю там от бесплодных препирательств. Вот где мысль и действие не отделимы друг от друга, как молния не отделима от столкновения туч. Всякое проявление воли мгновенно и навсегда впечатлевается в крови людей и на судьбах мира... Великая задача! Благодетельная тревога!.. Ночью на аванпостах, среди неприветной снежной шири фламандской равнины, под бескрайним пасмурным небом, я чувствую, как по моему телу пробегает трепет восторга и как бурной волною кровь притекает к сердцу. Мы одни, мы затеряны во мраке вселенной, окружены врагами, стоим на краю могилы, но мы — хранители разума в Европе, мы несем ей свет. От каждого нашего решения зависит судьба всего мира. Мы пересоздаем человека.

Робеспьер. Счастлив тот, кого слабое здоровье не удерживает здесь, вдали от настоящего дела!

Сен-Жюст. Кто же еще делает больше, чем ты? Свобода всего мира — в Париже.

Робеспьер. Здесь ты истощаешь свои силы в борьбе с пороком. Ты невольно пачкаешься об него. Признаюсь, когда я вижу, как поток Революции несет вместе с добродетелью мерзость злодейства, я начинаю бояться, как бы грязное соседство развращенных людей не замарало и меня в глазах грядущих поколений.

Сен-Жюст. Водрузи между ними и собою топор. Дотрагиваться до скверны должно только железом.

Робеспьер. Всюду разложение. Оно коснулось таких людей, на которых я особенно рассчитывал. Старинных друзей.

Сен-Жюст. Долой дружбу! Есть только отечество!

Робеспьер. Дантон угрожает. Это внушает нам подозрения. Он то и дело раздражается грубой бранью. Он окружает себя интриганами, развратниками, финансистами, у которых отняли их богатства, разжалованными офицерами. Вокруг него объединяются все недовольные.

Сен-Жюст. Да погибнет Дантон!

Робеспьер. Дантон был республиканцем. Он любил отечество. Вероятно, любит его и теперь.

Сен-Жюст. Кто оскорбляет отечество безнравственной жизнью, тот вовсе не любит его. Кому привились пороки и правила аристократии, тот вовсе не республиканец. Я ненавижу Катилину. Его циничная душа, пошлый ум, подлость политика, который лавирует между всеми партиями и всеми ими пользуется для своих целей, — все это унижает Республику. Дантона нужно сокрушить!

Робеспьер. Он увлекает за собою в пучину безрассудного Демулена.

Сен-Жюст. Демулен — это бесстыдный ритор, для которого несчастья родины только повод, чтобы показать, какой у него красивый слог, это честолюбивый остроумец, который ради какой-нибудь антитезы готов пожертвовать свободой отечества!

Робеспьер. Это дитя, сбитое с толку друзьями и собственным остроумием.

Сен-Жюст. Когда Франция в опасности, остроумие тоже есть преступление. Несчастья родины наложили на все государство печать мрачной торжественности. Я не доверяю людям, которые в такое время могут смеяться.

Робеспьер. Я люблю Демулена.

Сен-Жюст. А я люблю тебя. Но я первый осудил бы тебя, если бы ты совершил преступление.

Робеспьер (*в смущении отходит от Сен-Жюста. Затем, после короткого молчания снова приближается к нему*). Благодарю тебя. Ты — счастливец, ты не знаешь колебаний. В тебе ничто не может перевесить ненависть к пороку.

Сен-Жюст. Я видел порок на более близком расстоянии, чем ты.

Робеспьер. Где же?

Сен-Жюст. В себе самом.

Робеспьер (с удивлением). В себе? Но ведь вся твоя жизнь — это образец самоотверженности и сурового самоотречения!

Сен-Жюст. Ты не знаешь.

Робеспьер (недоверчиво). Какой-нибудь грех юности?

Сен-Жюст (мрачно). Я стоял на краю пропасти. На дне этой пропасти я увидел преступление, и оно чуть было не поглотило меня. Тогда я дал клятву уничтожить его во всем мире, как и в себе самом.

Робеспьер. А я порой устаю от этой борьбы. Враг слишком многочислен. Сможем ли мы преобразить человечество? Сумеем ли мы претворить в жизнь нашу мечту?

Сен-Жюст. Если бы я убедился, что это невозможно, я бы в тот же день закололся кинжалом.

Элеонора (отворяет дверь. Шепотом). Пришли Билло-Варенн и Вадье.

ЯВЛЕНИЕ V

Робеспьер, Сен-Жюст, Билло-Варенн, Вадье. Входят Билло-Варенн, понутив голову, мрачный, изнемогающий от усталости, с блуждающим взглядом, и Вадье, насмешливый, желчный, с поджатыми губами. Робеспьер и Сен-Жюст с подчеркнуто холодным видом встают. Все приветствуют друг друга сухим и коротким кивком головы, без рукопожатий.

Билло-Варенн. Братский привет!

Вадье (увидев Сен-Жюста). А, Сен-Жюст!.. Значит, дело пойдет. Теперь мы навестаем.

Билло и Вадье, не дожидаясь приглашений, садятся. Сен-Жюст ходит по комнате. Робеспьер стоит, прислонившись к косяку окна.
Молчание.

Билло. На гильотину! Ты слишком долго выжидал, Робеспьер, — мы в опасности. Если Дантон доживет до завтра, Свобода погибла.

Робеспьер. Есть новости?

Билло (показывает ему бумаги). Посмотри. Изменник не унимается.

Робеспьер. Кто?

Вадье. Твой друг, Максимилиан, Камилл, твой дорогой Камилл.

Робеспьер. Опять что-нибудь написал?

Билло. Только что перехвачена корректура. Прочти.

Вадье (*потирая руки*). Седьмой номер «Старого кордельера». Продолжение «Символа веры доброго пастыря».

Робеспьер. Безумец! Когда же он замолчит?

Билло (*преследуемый навязчивой идеей*). На гильотину!

Сен-Жюст (*читает вместе с Робеспьером*). Демулен — это распутная девка. Он не может себя не бесчестить.

Робеспьер. А Дантон?

Билло. Дантон рвет и мечет. Разглагольствует в Пале-Рояле. Поносит Вадье, меня, всех патриотов. Демулен с ним заодно. Сидят за одним столиком с Вестерманом и непотребными девками и осыпают Комитет непечатной бранью. Вокруг них гогочет толпа.

Сен-Жюст. Слышишь, Робеспьер?

Робеспьер (*презрительно*). Это неопасно. Пока Дантон пьянствует, мы успеем все спокойно обдумать. (*Просматривает корректуру.*) Итак, этот сумасшедший сам себе подписывает приговор!

Вадье. Да уж, мой дорогой, на сей раз демагог Демулен отрезал себе все пути к отступлению.

Билло. Теперь не сносить ему головы!

Сен-Жюст (*читая*). Он сравнивает Комитет с Нероном и Тиверием.

Билло (*читая*). Он осмеливается утверждать, что мы преследовали Кюстина по указке Питта, — и не за то, что Кюстин изменил, а за то, что он изменил не до конца.

Вадье (*читает*). «Национальное собрание превратилось в подчиненный Комитету бесправный парламент, непокорных членов которого бросают в тюрьмы».

Робеспьер (*проверяет*). Тут написано «превратится», а не «превратилось».

Вадье. Это все равно.

Билло (*читает*). «Почему бы Комитету окончательно не упразднить Республику, если депутатов, кото-

рых нельзя подкупить, он сажает в Люксембургскую тюрьму?»

Робеспьер (*проверяя*). «Способен посадить», а не «сажает».

Билло (*с досадой*). Не придирайся!

Сен-Жюст (*читая*). Он имеет наглость заявлять, что «чиновники военного министерства назначают на ответственные посты в армии братьев своих содержанок — актрис».

Вадье. У него язык без костей, и когда он его развязывает, то уж ни перед чем не останавливается: ни перед тем, чтобы дезорганизовать оборону, ни перед тем, чтобы унижить Францию в глазах заграницы.

Билло. И все это он прикрывает призывами к милосердию, красивыми фразами о человечности!..

Вадье. Сахарные слезы, кондитерское красноречие!

Сен-Жюст. Лучше все казни египетские, только не эти чувствительные люди! Ни один тиран не причинял человечеству столько горя... Изменники жирондисты, всюду во Франции разжигавшие пламя мятежа, тоже ведь именовали себя чувствительными людьми.

Робеспьер. Демулен слабоволен, ребячлив, но он не заговорщик. Это мой друг детства, я хорошо его знаю.

Билло (*подозрительно*). Разве друзья Робеспьера пользуются льготами?

Вадье (*читает номер «Старого кордельера»; насмешливо*). Слушай, слушай, Максимилиан, это уж прямо о тебе. Оказывается, закрывая дома разврата, обнаруживая необычайное рвение по части очищения нравов и разгоняя проституток, ты действуешь по указаниям Питта, ибо «тем самым ты подрываешь один из наиболее надежных устоев государственной власти: распушенность нравов». Слышишь, Неподкупный? Как тебе это нравится?

Сен-Жюст. Низкая, лицемерная душонка!

Билло (*в бешенстве*). На гильотину! (*Валится ничком на стол, точно раненый бык.*)

Робеспьер. Ему дурно?

Вадье (*равнодушно*). Голова закружилась.

Сен-Жюст отворяет окно. Билло приходит в себя.

Сен-Жюст. Ты нездоров, Билло?

Билло (*хрипло*). Ты кто такой?.. Мерзавцы! Я больше не могу. Я десять ночей не спал.

Вадье. Ночью он в Комитете, днем в Национальном собрании.

Робеспьер. Ты слишком много работаешь. Хочешь, тебя кто-нибудь заменит на несколько дней?

Билло. Меня никем нельзя заменить. Вести переписку со всеми департаментами, держать в руках все нити Франции — это только я могу. Если я сделаю передышку, весь моток спутается. Нет, я не уйду со своего поста, пока не сдохну.

Сен-Жюст. Мы все умрем на посту.

Билло. О природа, ты создала меня не для бурь! Мою душу избороздили смертоносные вихри пустыни. О мое чувствительное сердце, ты рождено для уединения, для дружбы, для умильных и тихих семейных радостей!

Вадье (*ехидно*). Ты что-то уж слишком расчувствовался, Билло.

Билло (*с прежним ожесточением*). Очистим воздух! Демулена — на гильотину.

Робеспьер. Я должен подать пример. Я отрекаюсь от Демулена.

Вадье (*с оттенком насмешки*). О Брут, великодушный, доблестный, я знал, что ты без колебаний отступишься от своего друга!

Робеспьер. Судьба Демулена связана с судьбой еще одного человека.

Билло. Ты боишься назвать Дантона?

Робеспьер. Я боюсь разбить талисман Республики...

Вадье. Который дан ей на счастье.

Робеспьер. Дантон — мой враг, но если мы не принимаем во внимание моих дружеских привязанностей, то мои враждебные чувства еще меньше должны влиять на мои мнения. Прежде чем давать бой, обсудим хладнокровно, какой риск связан с уничтожением этой крепости Революции.

Билло. Крепость, которая отдается внаймы!

Вадье. Дантон — пугало Революции! Когда стране приходилось плохо, то, чтобы обратить неприятеля в бегство, таскали какое-нибудь чудище, но оно больше пугало тех, кто его носил. Так и мерзкая харя Дантона наводит страх на Свободу.

Робеспьер. Не подлежит, однако, сомнению, что его черты знакомы Европе и что она их страшится.

Вадье (*шутовским тоном*). Разумеется, как истинный санжюлот, он охотно показывает всему свету то самое,

Что Цезарь без стыдливости являл
В дни пылкой юности пред Никомедом,
То, чем в былые дни, в пути к победам,
Героя Греции пленял Гефестион
И чем сам Адриан прославил Пантеон.

Сен-Жюст (*резко*). Оставь ты свои неприличные шутки! Ты что же, борешься против оскорбления нравственности, а сам ее оскорбляешь?

Вадье. Цитировать Руссо ты меня не заставишь.

Робеспьер (*старается казаться беспристрастным, но в его тоне не чувствуется убежденности*). Я полагаю, что следует принять во внимание прежние заслуги Дантона.

Сен-Жюст. Чем больше человек сделал добра, тем больше он обязан делать его и впредь. Горе тому, кто прежде защищал народное дело, а теперь от него отходит! Он еще преступнее тех, кто всегда шел против народа, ибо он познал, что есть благо, и все же сам от него отрекся.

Робеспьер. Казнь Эбера всколыхнула общественное мнение. Из поступивших ко мне донесений полиции явствует, что наши враги пользуются растерянностью народа, его внезапным разочарованием, дабы подорвать в нем доверие к истинным друзьям его. Теперь все внушает подозрение, даже память Марата. Мы должны действовать осторожно — наши внутренние распри могут только усилить подозрительность.

Сен-Жюст. Так покончим же с подозрениями, казнив подозрительных!

Вадье (*в сторону, нюхая табак и поглядывая на Робеспьера*). Подлец! Боится тронуть своих любимых

аристократов! Кромвель старается сохранить за собой большинство. Ну погоди, если так и дальше будет продолжаться, я заставлю тебя послать на гильотину не меньше сотни жаб из твоего Болота.

Робеспьер. Падение такой головы не может не потрясти государство.

Билло (*подозрительно и резко*). Ты трусишь, Робеспьер?

Вадье (*исподтишка подзадоривая Билло*). Ты спроси у него, Билло: может быть, он пользуется Дантоном как туго набитым тюфяком, чтобы прятаться от пуль?

Билло (*грубо*). Говори прямо: ты боишься, что падение Дантона лишит тебя прикрытия? Ты цепляешься за него, как за щит. Дантон отвлекает от тебя взоры и стрелы врагов.

Робеспьер. Я презираю эту подлую клевету. Меня опасности не пугают. Жизнью я не дорожу. Но у меня есть опыт прошлого, и я вижу ясно будущее. Вы взбесились, вы сошли с ума от ненависти. Вы думаете только о себе, о Республике вы не думаете вовсе.

Сен-Жюст. Давайте спокойно обсудим, что готовят Республике заговорщики. Есть ли у Дантона способности — это нас не должно занимать, нам важно другое: служат его способности Республике или не служат? Откуда за последние три месяца исходят все нападки на Революцию? От Дантона. Кто подбил Филиппо написать письма против Комитета? Дантон. Кто нашептывает Демулену ядовитые памфлеты? Дантон. Каждый номер «Старого кордельера» показывается ему, обсуждается вместе с ним, исправляется его собственной рукой. Если вода в реке отравлена, нужно обратиться к истокам. Где прямодушие Дантона? Где его отвага? Что сделал он за последний год для Республики?

Робеспьер (*делает вид, что постепенно проникается доводами своих собеседников; в тоне его звучат фальшивые и вместе с тем искренние нотки*). Это правда, он ни разу не выступил в защиту Горы, когда на нее нападали.

Сен-Жюст. Нет, он поддерживал Дюмуре и его приспешников — генералов. Когда якобинцы бросили обвинение Дантону, ты, Робеспьер, его защищал. Когда же

было брошено обвинение тебе, сказал ли он хоть слово в твою защиту?

Робеспьер. Нет. Видя, что я остался один, что жирондисты избрали меня мишенью для самой подлой клеветы, он сказал своим друзьям: «Хочет погибнуть — пусть погибает! Мы не станем делить с ним жребий!» Но дело не во мне.

Билло. Ты сам же мне рассказывал, Робеспьер, что он из кожи вон лез, чтобы спасти жирондистов и нанести удар Анрио, арестовавшему изменников.

Робеспьер. Верно.

Сен-Жюст. Ты сам мне говорил, Робеспьер, что Дантон цинично признавался тебе, как он в пору своей кратковременной службы в министерстве юстиции мошенничал вместе со своим секретарем Фабром.

Робеспьер. Помню.

Сен-Жюст. Он водил дружбу с Лафайетом. Его подкупил Мирабо. Он переписывался с Дюмуре и Вимпфеном. Он курил фимиам герцогу Орлеанскому. Он был близок со всеми врагами Революции.

Робеспьер. Не следует преувеличивать.

Сен-Жюст. Ты сам мне об этом говорил. Я бы не знал этих фактов, если б ты мне не сообщил.

Робеспьер. Конечно... но...

Билло (*резко*). Ты их отрицаешь?

Робеспьер. Я не могу их отрицать. Дантон был завсегдатаем роялистских сборищ, на которых сам герцог Орлеанский варил пунш. Бывали там и Фабр и Вимпфен. Туда пытались затащить депутатов Горы, чтобы привлечь их на свою сторону или скомпрометировать. Но все это мелочи.

Билло. Нет, это факт чрезвычайной важности! Заговор налицо!

Робеспьер. Мне пришла на память еще одна подробность, впрочем незначительная. Недавно он как будто бы хвастался, что если его затронут, то он припомнит нам дофина.

Билло. Мерзавец! Он смеет так говорить! И после этого ты еще можешь его защищать!..

Робеспьер. У меня только что был Вестерман. Грозил мне Дантоном и мятежом.

Билло. И мы еще тут препираемся! А тигры до сих пор на свободе!

Робеспьер. Вы хотите с ним покончить?

Сен-Жюст. Этого хочет отечество.

Вадье (*в сторону, насмешливо*). Притворщик! Самому не терпится, а заставляет себя упрашивать.

Робеспьер. Он был велик. По крайней мере казался великим, а иногда даже добродетельным.

Сен-Жюст. Ничто так не похоже на добродетель, как крупное преступление.

Вадье (*саркастически*). Ты после скажешь надгробное слово, Максимилиан. Сейчас давайте закопаем зверя.

Сен-Жюст. Вадье, говори о смерти с уважением.

Вадье. Да ведь он еще благополучно здравствует!

Сен-Жюст. Дантон вычеркнут из списка живых.

Билло. Кто составит обвинительный акт?

Вадье. Сен-Жюст. Этот юноша справляется с такими вещами блестяще. Каждая его фраза — удар гильотины.

Сен-Жюст. Я люблю меряться силами с чудовищем.

Робеспьер (*достает бумагу и передает Сен-Жюсту*). Здесь все записано.

Вадье (*в сторону*). У него, наверно, столько же припасено для каждого из друзей.

Робеспьер. Я предлагаю не устраивать Дантону отдельного процесса. Много чести. Не следует привлекать к нему особое внимание Нации.

Билло. Потопим его в общем обвинительном заключении.

Вадье. А кого для приправы?

Сен-Жюст. Всех, кто пытался растлить Свободу, — деньгами, распушенностью нравов или ума.

Вадье. Будем выражаться точнее. Эта неопределенность может вызвать недоумение.

Робеспьер. Дантон любил золото. Пусть же золото его и погубит! Дело Дантона мы должны объединить с делом о банках. Пусть займет место на скамье подсудимых среди взяточников. Кстати, там он встретится со

своим другом, со своим секретарем, со своим любимым Фабром д'Эглантинном.

Вадье. Фабр, Шабо, богатые евреи, австрийские банкиры, все эти Фрей, Дидрихсены, — отлично, это уже на что-то похоже!

Билло. Надо бы присоединить к обвиняемым и Эро, друга эмигрантов.

Сен-Жюст. Прежде всего — Филиппо, дезорганизатора, подрывавшего дисциплину в армии.

Робеспьер. А заодно и Вестермана, эту окровавленную шпагу, всегда готовую к мятежу. Все?

Вадье. Ты забыл дражайшего Камилла.

Робеспьер. А может быть, вы бы предпочли Бурдона или Лежандра? Их устами говорит в Национальном собрании мятеж.

Вадье. Нет. Камилла.

Билло. Камилла.

Сен-Жюст. Этого требует справедливость.

Робеспьер. Ну, что ж, берите.

Сен-Жюст. Прощайте. Пойду готовить доклад. Завтра в Конвенте я их разгромлю.

Вадье. Что ты, что ты, юноша? Это в тебе говорит твой легкомысленный возраст. Неужели ты хочешь вызвать Дантона на трибуну?

Сен-Жюст. Дантон уверен, что никто не осмелится напасть на него открыто. Я ему докажу, что он неправ.

Вадье. Одного мужества тут маловато, мой юный друг, для этого нужно иметь такие легкие, которые заглушили бы рев быка.

Сен-Жюст. Истина укрощает бури.

Робеспьер. Мы не должны подвергать Республику случайностям поединка.

Сен-Жюст. Что же вы предлагаете?

Робеспьер молчит.

Билло. Дантона надо схватить сегодня ночью.

Сен-Жюст (*порывисто*). Этому не бывать!

Вадье. Кто стремится к цели, тот не отвергает необходимых средств.

Сен-Жюст. На безоружного врага я не нападаю. Поставьте меня лицом к лицу с Дантоном. Такого рода

битвы облагораживают Республику, меж тем как ваше предложение ее позорит, и я решительно отклоняю его.

Билло. С врагами народа миндальничать нечего!

Вадье. В политике бессмысленное удачество — это глупость, граничащая с предательством.

Сен-Жюст. Я против! (*В бешенстве швыряет на пол свою шляпу.*)

Билло (*сурово*). Значит, ты любишь не самую Республику, а только борьбу за нее?

Сен-Жюст. Для того чтобы подобные действия были оправданы, они должны быть сопряжены с опасностью. Революция — начинание героическое, дорога ее деятелей лежит между казнью и бессмертием. Преступен тот, кто не готов в любую минуту пожертвовать не только жизнью других, но и своею собственной жизнью.

Вадье. Не беспокойся, у тебя и так риск немалый. Дантон, даже сидя в тюрьме, способен поднять народ. Можешь не сомневаться: если б он оказался победителем, тебе бы уж гильотины не миновать.

Сен-Жюст. Я презираю тот прах, из которого я состою. Мое сердце — единственное принадлежащее мне благо, и я пройду по окровавленному миру, не осквернив чистоты моего сердца.

Билло (*с непреклонною и презрительною суровостью*). Уважение к себе — это тот же эгоизм. Будет осквернено сердце Сен-Жюста или нет, нас это не касается, нам нужно спасать Республику.

Сен-Жюст (*вопросительно глядя на Робеспьера*). Робеспьер!

Робеспьер. Успокойся, друг мой. Революционные бури не подчиняются обычным законам. К той силе, которая преобразует мир и создает новую мораль, нельзя подходить с точки зрения прописной морали. Разумеется, надо быть справедливым, но мерилom справедливости в данном случае является не совесть отдельной личности, а совесть общественная. Народ — это наш свет, спасение народа — наш закон. Нам надо было только спросить себя: хочет ли народ гибели Дантона? Если этот вопрос решен, значит все решено: остается только дать бой и победить. Справедливость в том, чтобы восторжествовал правый. Ждать мы не можем. Нужно нанести

Дантону удар немедленно. Из великодушных побуждений оставлять в его руках оружие — это значит подставлять собственную грудь под кинжал убийц. Тогда у кормила Республики немедленно станет военный и финансовый деспотизм. Десятилетия гражданских войн опустошат нашу отчизну, а наши имена, которые должны быть дорожки человечеству, народ произнесет с проклятием.

Билло. Победить любой ценой! Пусть грозное зарево нашей диктатуры осветит весь мир!

Вадье. Дело не в том, на законном основании будет осужден такой-то или не на законном, а в том, будет Европа якобинской или не будет.

Сен-Жюст (*скрестив на груди руки, как Робеспьер на картине Давида «Клятва в Зале для игры в мяч»*). Так возьми же мою честь, о Республика, если она нужна тебе, поглоти меня, возьми меня всего, без остатка!

Билло (*весь дрожа, голосом, прерывающимся от волнения*). Быть может, в это самое время Республика уже задушена, наши идеи растоптаны, светоч разума погас на несколько сот лет... Скорей!

Робеспьер. Арестуйте Дантона. (*Подписывает бумагу.*)

Билло подписывает с лихорадочной быстротой.

Сен-Жюст. Ради тебя, Свобода! (*Подписывает.*)

Билло. А Конвент не подведет?

Робеспьер (*презрительно*). Конвент всегда готов пожертвовать своими членами ради общественного блага.

Вадье (*подписывает*). Это уж мое дело.

Робеспьер (*со вздохом*). Все тяжелее ложится на наши плечи бремя Революции.

Вадье (*в сторону*). Тигр разводит церемонии, а сам облизывается.

Робеспьер. Горькая необходимость. Для того чтобы спасти Республику, мы ее калечим.

Сен-Жюст (*мрачный и возбужденный*). Философ Иисус сказал своим ученикам: «Если твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее; если твоя нога соблазняет тебя, отруби ее; если твой глаз соблазняет тебя, вырви его, ибо лучше для тебя, чтобы ты вошел в царствие божие одноглазым калекой, чем иметь два глаза и быть вверженным в геенну». А я говорю: «Если друг твой развращен и раз-

вращает Республику, отсеки его от Республики; если брат твой развращен и развращает Республику, отсеки его от Республики. И если из зияющей раны потечет кровь Республики, твоя собственная кровь, то пусть течет: да будет Республика чистой или же да умрет! Республика — это добродетель. Где скверна, там нет Республики».

Вадье (в сторону). Они — помешанные. Буйно-помешанные. Их надо немедленно связать — и в сумасшедший дом. Только сначала — то, что не терпит отлагательств. (Направляется к выходу.)

Билло. Подожди, я сейчас подпишу.

Вадье. Ты уже подписал.

Билло. Разве?.. Не помню. Что я сделал? Хорошо ли я сделал?.. *Tristis est anima mea!*¹ Мне бы растянуться сейчас на лугу, на зеленой траве! Дышать благоуханным воздухом лесов!.. Ручей, а по берегам его — ивы! Покоя!.. Покоя!..

Робеспьер. Созидатели Республики находят покой только в могиле.

¹ Печальна душа моя (лат.).

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Революционный трибунал.

Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель, Эрман, председатель. Присяжные, жандармы, публика. На скамьях подсудимых Дантон, Демулен, Эро, Филиппо, Вестерман, а также Шабо и Фрей (лица без речей); тут же сидит в кресле Фабр д'Эглантин. В публике, в первом ряду, художник Давид со своими друзьями. Окна в зале открыты. С улицы доносится гул толпы. Время от времени в зарешеченном дверном оконце, сзади председателя, появляется голова Вадье, наблюдающего за процессом. У двери стоит генерал Анрио. Эрман и

Фукье-Тенвиль по временам тревожно оглядываются на него.

Допрашивают Шабо и Фреев. Дантон взволнован, негодует. У Демулена подавленный вид. На лице у Эро спокойная улыбка. Филиппо, стиснув зубы, глядя прямо перед собой, готовится дать отпор. Фабр, больной, откинулся на спинку кресла. Публика теснится, смотрит с жадным любопытством. Она, как зрители на представлении мелодрамы, отзывается на все перипетии процесса, который и развлекает ее и в то же время волнует.

Председатель (*обращаясь к Фреям*). Вы агенты Питта.

В народе ропот.

Народ. Изменники! Продажные твари!

Председатель. Вы хотели разложить Конвент. Чтобы вам легче было спекулировать и воровать, вы составили проект подкупа представителей народа. Вы определили цену совести каждого из них.

Дантон (*громогласно*). Председатель, дай мне слово!

Народ (*волнуется и, захваченный происходящим, теснится, чтобы рассмотреть Дантона*). Дантон... Дантон... Это сейчас Дантон говорил!..

Председатель. Ждите своей очереди, Дантон.

Дантон. Какое я имею отношение ко всей этой мрази? Что у меня общего с этим жульем?

Председатель. Вам скажут.

Дантон. Врожденное благородство не позволяет мне добить этих мерзавцев. Вы это знаете и злоупотребляете моим молчанием для того, чтобы народ подумал, будто я чем-то связан с этими нечистыми на руку банкирами, воришками, взяточниками.

Народ (*со смехом*). Слыхали? Вот как рассвирепел...

Эро. Не волнуйся, Дантон.

Председатель. Уважайте правосудие. Вы дадите показание в свое время.

Фукье-Тенвиль. Сиди спокойно, Дантон. Тебе наравне с твоими соучастниками придется держать ответ по обвинению в порче нравов.

Дантон. Безнравственный Дантон — не чета всей этой продажной сволочи. Предоставь мне по крайней мере первое место. Дантон никогда ни в чем не будет посредственностью: ни в пороке, ни в добродетели.

Народ. Молодец!.. Он еще себя покажет...

Филиппо. Молчи и будь осторожнее.

Председатель (*Фреям*). Вы еврей по национальности, выходцы из Моравии, ваша настоящая фамилия — Тропуска. Потом вы купили в Австрии дворянские грамоты и стали именоваться Шенфельдами. Затем вы переехали во Францию, и в настоящее время ваша фамилия Фрей. Одна из ваших сестер крестилась (*в публическом смехе*) и поступила на содержание к немецкому барону. Другая вышла замуж за Шабо, бывшего капуцина (*смех усиливается*), нынешнего депутата Конвента. Вы объединились с авантюристами такого же темного происхождения, как и вы, — Дидрихсеном, уроженцем Гольштинии, служащим венского банка, Гусманом, будто бы испанцем, который одно время выдавал себя за немецкого барона, и бывшим аббатом д'Эспаньяком, поставщиком армии. Сообщничество некоторых подкупленных вами депутатов

способствовало успеху ваших махинаций. Шабо являлся посредником между вами и своими коллегами. Он сам себя оценил в сто пятьдесят тысяч ливров. (*В публике раздаются выкрики.*) Он взялся передать от вас сто тысяч Фабру д'Эглантину.

Девушка (*показывая на Фабра*). Вон он, сидит в кресле!

Председатель. За эту цену Фабр подделал декрет Конвента о ликвидации Ост-Индской компании. Передаю оригинал документа присяжным.

Народ. Дантон зажимает себе нос.

— Ему, видите ли, противно.

Давид. Он корчится от злобы и страха.

Народ. Ну и пасть же у него!

— Браво, Дантон!

Три женщины. Ты думаешь, его засудят?

— Когда еще до него доберутся!

— Мне некогда ждать!

Вадье (*приотворив дверное оконце, делает знак генералу Анрио, который стоит у двери*). Все идет гладко, Анрио?

Анрио (*тихо*). Все как надо.

Вадье (*указывая на Фукье и членов трибунала*). Не оплошают?

Анрио (*тихо*). Не бойся. Я слежу.

Вадье. Ладно. Ты не смущайся: если обвинитель начнет сдавать, арестуй его. (*Захлопывает оконце.*)

Эро (*обводя глазами народ*). Как смотрит на нас народ!

Дантон (*в глубине души ему стыдно, но он старается казаться веселым*). Народ не привык видеть мою рожу на позорной скамье, — это необычное зрелище. Ярмарочные фокусники подменили Дантона. Ха-ха! Вот потеха!

Давид (*достает из кармана записную книжку*). Дай-ка я зарисую его морду. (*Рисует Дантона.*)

Дантон. Погляди на Давида, вон он: высунул язык, от злости истекает слюной, как бешеная собака.

Давид. Хочу, чтобы наши потомки катались от хохота при виде этой обезьяньей рожи.

Дантон. А, черт! Да подтянись же ты, Демулен! Будет тебе в самом деле, сядь прямее! На нас смотрит народ.

Камилл. Ах, Дантон, я уж больше не увижу Люсиль!

Дантон. Не беспокойся, нынче же ночью будешь с ней спать!

Камилл. Спаси меня, Дантон, вызволи меня отсюда. Я не знаю, что мне делать, я не сумею защититься.

Дантон. Ты хуже всякой девчонки. Держись твердо! Подумай, ведь мы творим историю.

Камилл. Ах, какое мне дело до истории!

Молодой писец (*ушипнув девушку, поет на мотив популярной в то время песенки*).

Станцуем, светик мой, с тобою...

Девушка (*дает ему затрещину*). Ты у меня смотри, нахал!

Писец (*продолжает напевать*).

Мне молвила, давая руку...

Дантон. Если хочешь снова быть с Люсиль, то не сиди с видом преступника, подавленного обрушившейся на него законной карой. Что ты там увидал?

Камилл. Смотри, Дантон, вон там...

Дантон. Что такое? Что ты мне показываешь?

Камилл. Около окна, этот юноша...

Дантон. Вон тот нахальный малый, по виду судейский писец, у которого прядь волос падает на глаза, тот, что шиплет девчонку?

Камилл. Так, ничего, что-то вроде галлюцинации. Мне представилось... мне представилось, что это я...

Дантон. Ты?

Камилл. Я вдруг увидел себя на его месте, будто это я слежу за процессом жирондистов, моих жертв. Ах, Дантон!

Во время этой сцены присяжные изучают документы, якобы подданные Фабром.

Председатель. Фабр, вы продолжаете отрицать свою вину?

Народ разговаривает только во время пауз, а затем тотчас же умолкает и шикает на тех, кто продолжает болтать.

Фабр д'Эглантин (с усталым видом, насмешливо и очень спокойно). Вторично давать показания я считаю бессмысленным — вы все равно не станете меня слушать, ваш приговор предreshен. Я только что доказал, что в исправном тексте составленного мною декрета кто-то по злому умыслу сделал вставки и вымарки, искажающие его смысл. Это станет ясно всякому, кто взглянет на дело беспристрастно. Но здесь это невозможно — я знаю, что осужден заранее. Я имел несчастье не понравиться Робеспьеру, и вы спешите укрывать его задетое самолюбие. Моя жизнь кончена. Ну, что ж! Я слишком утомлен и измучен жизнью, чтобы пытаться спасти ее, — это мне не по силам.

Фукье. Ты оскорбляешь правосудие и клеветашь на Робеспьера. В продажности тебя обвиняет не Робеспьер, а Камбон. В причастности к заговору тебя обвиняет не Робеспьер, а Билло-Варенн. Твоя страсть к интригам общеизвестна. Это она заставляет тебя вступать в гнусные заговоры и сочинять гнусные комедии.

Фабр. Постой! *Ne sutor ultra crepidam...*¹ Господа всегдатан партера, беру вас в свидетели: разве мои комедии не доставляли вам удовольствия? (В публике смех.) Фукье может добиться того, чтобы свалилась моя голова, но он не может провалить моего «Филинта».

В публике смех.

Кто-то в задних рядах. Что? Что он сказал?

Фукье. Подстрекаемый нездоровым любопытством, ты смотрел на Национальное собрание как на подобие театра, где можно разглядеть тайные пружины человеческой души, для того чтобы потом привести их в действие. Ты пользовался всеми пружинами: честолюбием одних, ленью других, мнительностью, завистью, — ты не

¹ Сапожник, суди не выше сапога (лат.).

брезговал решительно ничем. Благодаря этой своей беззастенчивой ловкости ты создал целую систему контрреволюции — потому ли, что твоя заносчивость и твой неуживчивый нрав находят себе удовлетворение в том, чтобы ниспровергать установленный порядок, из какого-то злостного пренебрежения к человеческому разуму, или, вернее, потому, что твой явный аристократизм и твоя алчность уже давно разжигались Питтом, который подкупал тебя для того, чтобы ты вредил Республике.

В публике ропот.

Д а в и д. Что? Слышали?

Н а р о д. Да... Да...

Ф у к ь е. В девяносто втором году ты уже сносишься с врагами. Дантон посылает тебя к Дюмуре для преступных переговоров; благодаря этим переговорам уцелели остатки прусских войск.

В публике ропот.

Теперь я должен перейти к другим обвиняемым.

Н а р о д. Ага! Ага!

Народ охвачен волнением и любопытством.

Ф у к ь е. Я временно перехожу к другим только потому, что им тоже не терпится, чтобы я сорвал с них маски. Но скоро я обращусь к тебе снова и покажу тот узел, где сходятся все нити этой чудовищной интриги.

Обвиняемые в волнении. Народ настораживается. Дантон говорит своим товарищам несколько ободряющих слов.

Ф а б р (Фукье, вызываяще). План скверно составлен; интрига запутана; действующих лиц слишком много; неизвестно, откуда они приходят, и сразу видно, куда они уйдут. Не распинаясь так, Фукье, твоя комедия из рук вон плоха. Прикажи лучше отрубить мне голову немедленно — у меня зубы болят.

Смех.

Председатель (Эро де Сешелю). Обвиняемый, ваше имя и звание?

Н а р о д. Кто это? Кто этот аристократишка?

— Это Эро.

Э р о. Покойный Эро Сешель. Бывший генеральный прокурор в Шатле: я заседал в этой зале. Бывший председатель Конвента: я огласил от его имени конституцию Республики. Бывший член Комитета общественного спасения. Бывший друг Сен-Жюста и Кутона, которые теперь хотят убить меня.

Д е в у ш к а. Ах, какой красивый!

П р е с е д а т е л ь. Вы аристократ. Ваша карьера началась при дворе, после того как госпожа Полиньяк представила вас жене Капета. Вы никогда не прерывали сношений с эмигрантами; вы были другом незаконного сына принца Кауница, австрийца Проли, гильотинированного месяц тому назад. Вы разглашали тайны Комитета общественного спасения и передавали важные бумаги иностранным государствам. Вопреки закону вы предоставили убежище бывшему военному комиссару Катюсу, против которого было возбуждено судебное преследование как против эмигранта и заговорщика. Вы даже осмелились обратиться в секцию Лепелетье, при которой он содержался, с требованием выдать его вам на поруки и с предложением взять на себя его защиту.

Г о л о с (из публики). Сейчас видно аристократишку!

В я з а л ь щ и ц а. Старорежимный фронт!

Э р о. За исключением одного пункта: разглашения государственных тайн, который я отрицаю категорически и который вы, конечно, никак не можете обосновать, все остальное верно. Я это признаю открыто.

П р е с е д а т е л ь. Что вы можете сказать в свое оправдание?

Э р о. Оправдываться я не намерен. У меня были друзья. Не во власти государства воспретить мне любить их и выручать в беде.

П р е с е д а т е л ь. Вы были председателем Конвента. Вы должны были подавать всей Нации пример повиновения законам.

Э р о. Я подаю ей пример, как нужно умирать за исполнение своего долга.

Председатель. Это все, что вы хотели сказать?
Эро. Все.

Фукие (обращаясь к председателю). Перейдем к следующему, Эрман!

Имя Демулена облетает публику.

Народ. Это Демулен... Демулен... Камилл, Камилл...

Затем сразу воцаряется тишина.

Председатель (Демулену). Ваше имя, фамилия, звание?

Камилл (в крайнем замешательстве). Люси-Камилл-Симплиций Демулен, депутат Конвента.

Председатель. Ваш возраст?

Камилл. Я нахожусь в возрасте санкюлота Иисуса, когда его распяли: мне тридцать три года.

Ропот сочувствия и вместе с тем неудовольствия.

Вязальщица (грозясь кулаком). Поповское отродье!

Председатель. Вы обвиняетесь в оскорблении Республики. Вы изображали в ложном свете действия Республики, сравнивали наше славное время с подлыми временами римских цезарей. Вы возбуждали надежды в аристократах, сеяли сомнения в необходимости репрессий, тормозили дело национальной обороны. Прикидываясь человеколюбцем, что так не вяжется с вашим прошлым, вы требовали отворить двери тюрем подозрительным личностям с целью утопить Республику в пучине контрреволюционной мести. Что вы можете на это возразить?

Камилл (крайне растерянный, делает над собой усилие, что-то лепечет, мучительно трет себе лоб рукой. Друзья с тревогой на него смотрят). Я прошу отнестись ко мне снисходительно. Я не знаю, что со мной. Я не могу говорить.

Две девушки. Что с ним такое? Что с ним такое?

Председатель. Вы признаете факты, которые вам ставятся в вину?

Камилл. Нет, нет.

Председатель. В таком случае защищайтесь.
Камилл. Не могу. Простите. На меня вдруг напала слабость.

Мужчина (в публике). Закатил глаза.

Вязальщица. Ах, какие нежности!

Девушка. Бедненький, как он побледнел!

Друзья суетятся вокруг Камилла. Он садится, с трудом переводит дыхание и вытирает лоб платком. Председатель пожимает плечами.

Фукье. Да или нет? Сознаешься?

Филиппо. Перечислите пункты обвинения.

Дантон. Да, прочти, посмей огласить их в присутствии народа — пусть он сам решит, кто его друг!

Председатель. Я о них достаточно говорил. Не следует лишний раз произносить во всеуслышание столь опасные слова.

Дантон. Опасные для кого? Для разбойников?

Народ. Ага! Ага!

Публика, охваченная волнением и любопытством, выражает удовлетворение.

Фукье. Они сговорились разыграть здесь комедию. Не будем задерживать на ней внимание.

Камилл (в отчаянии). Мне стыдно... Я у всех вас прошу прощения... Но я не спал несколько дней, ложь, которую я здесь о себе услышал, потрясла меня, и я никак не могу с собой справиться, мне трудно говорить. Позвольте, я немного передохну, мне нехорошо.

Девушка. Да развяжите ему галстук!

Вязальщица. Какой же это мужчина? Баба это, а не мужчина!

Фукье. У нас мало времени.

Дантон. В котором же часу ты подрядился доставить на гильотину наши головы? А подождать никак не можешь, палач?

Филиппо. Нет, ты подождешь, пока Демулен придет в себя. Вам пока еще никто не давал права резать людей, не выслушав их.

Народ. Правильно! Правильно!

Фабр. Ты знаешь, что Демулен — натура чувстви-

тельная и впечатлительная. Ты хочешь воспользоваться его слабостью, чтобы прикончить его. Но пока мы живы, тебе это не удастся.

Эро (*насмешливо*). Это поединок императора Коммода, который, вооружившись тяжелым мечом, принуждал своего противника драться копьем с пробковым наконечником.

Председатель. Молчать!

Все четверо. Сам замолчи, палач! Народ, вступи за наше право, священное право защиты!

Народ (*в волнении*). Верно!

Дантон (*похлопывая Демулена по рукам*). Ну-ну, дитя мое, приободрись!

Камилл (*все еще очень слабый, овладевает собой, пожимает руку Дантону, улыбается ему и встает*). Спасибо, друзья, моя непонятная слабость проходит, ваше сочувствие меня оживило.

Народ (*теснится, чтобы рассмотреть его*). Слышали? Слышали?

Камилл. Вот чего у вас никогда не будет, изверги: любви таких друзей!.. Вы обвиняете меня в том, что я свободно выражал свои мысли? Я горжусь этим. Верный Республике, которую я же и создал, я всегда останусь свободным, чего бы мне это ни стоило. Вы утверждаете, что я оскорблял Свободу? Я говорил, что Свобода — это счастье, это разум, это равенство, это справедливость. Вот как я ее поносил! Народ, суди после этого сам, каких похвал они от меня требуют.

Народ. Браво!

Председатель. Не обращайтесь к народу.

Камилл. А к кому же мне еще обращаться? К аристократам?

Писец. Ишь ты! Ловко!

Камилл. Я взывал к милосердию Комитета. Я хотел, чтобы народ, наконец, воспользовался Свободой, которую он завоевал, как видно, для того, чтобы горсточка мерзавцев могла утолять свою злобу. Я хотел, чтобы люди прекратили распри и чтобы любовь соединила их в одну великую братскую семью. Повидимому, это желание есть преступление. Я же считаю преступлением ту безумную политику, которая оскорбляет Нацию, которая

позорит народ, заставляя его на глазах у всего мира обжечь руки в невинной крови.

Движение в зале. Народ с напряженным вниманием следит за речью Демулена.

Председатель. Здесь не вы обвиняете, здесь обвиняют вас.

Камилл. Если хотите, я сам себя обвиняю, обвиняю в том, что не всегда думал так, как теперь. Я слишком долго верил в силу ненависти, боевой пыл затуманил мой разум, я сам причинил слишком много зла; я разжигал месть; мои писания не однажды острили топор. Мое слово приводило сюда невинных — вот мое преступление, мое настоящее преступление, в котором вы являетесь моими соучастниками и которое я должен сегодня искупить!

Председатель. О ком вы говорите?

Фукье-Тенвиль. Чью смерть ты оплакиваешь?

Филиппо. Молчи, Демулен!

Фабр. Это ловушка. Берегись!

Дантон. А, чтоб тебя! Прикуси язык!

Камилл. Я говорю о жирондистах.

В народе ропот.

Председатель. Подсудимый сам признается, что причастен к заговору бриссотистов.

Камилл (пожимая плечами). Мой же «Разоблаченный Бриссо» вынес им смертный приговор.

Фукье-Тенвиль. А сейчас ты об этом жалеешь?

Камилл (не отвечая ему). Друзья! Я скажу вам, как Брут Цицерону: «Мы испытываем слишком сильный страх перед смертью, изгнанием и нищетой». *Nimium timemus mortem et exilium et paupertatem*. Заслуживает ли наша жизнь того, чтобы мы всячески старались ее продлить хотя бы ценою чести? Среди нас нет ни одного, кто бы уже не взмог на вершину горы жизни. Дальше начинается спуск, где на каждом шагу разверзаются бездны, которых не миновать даже самому обыкновен-

ному человеку. Какие бы виды, какие бы красивые места ни открывал этот спуск нашему взору, они не выдержат сравнения с теми, которыми любовался Соломон, что не помешало ему, окруженному семьянами наложниц, задышавшемуся от роскоши и счастья, произнести такие слова: «Я убедился, что мертвые счастливее живых, а всех счастливее тот, кто не родился на свет»¹. (Садится.)

Дантон. Глупец! Ты всем нам рубишь головы. (Обнимает его.)

Девушка. А все-таки он премиленький!

Слово получает Дантон. Он встает и направляется к судьям. В народе сильное волнение. Гул голосов: «Вот он!.. Вот он!..»

Председатель (Дантону). Подсудимый! Ваше имя, фамилия, возраст, звание и местожительство?

Дантон (громко). Местожительство? В скором времени — небытие. Мое имя? В Пантеоне.

Народ зашевелился, загудел — повидимому, одобрительно, затем, после слов председателя, воцаряется полнейшая тишина.

Мужчина (в восторге). Вот это да! Ишь ты!..

Председатель. Вы знаете законы: отвечайте точно.

Дантон. Я — Жорж-Жак Дантон, тридцати четырех лет, уроженец Арси на реке Об, адвокат, депутат Конвента, проживаю в Париже, на улице Кордельеров.

Председатель. Дантон! Национальный Конвент обвиняет вас в том, что вы состояли в заговоре с Мирабо и Дюмуре, знали их планы, грозившие гибелью Свободе, и тайно их поддерживали.

Дантон разражается громовым хохотом. В народе это вызывает дружный смех. Волна безудержной веселости прокатывается по залу. Озадаченные судьи, народ, даже подсудимые вытягивают шеи, чтобы получше разглядеть Дантона; смех его до того заразителен, что и они не выдерживают. Вся зала дрожит от взрывов гомерического хохота.

Дантон ударяет кулаком по балюстраде.

¹ Этот монолог представляет собой цитату из «Старого кордельера». — Р. Р.

Дантон (со смехом). Свобода в заговоре против Свободы! Дантон в заговоре против Дантона! Мерзавцы!.. Посмотрите мне в лицо. Вот она, Свобода! (Обхватывает руками голову.) Она в этом лице, представляющем собой ее безыскусственный слепок; она в этих глазах, в которых сверкает ее вулканическое пламя; она в этом рыкающем голосе, от которого дворцы тиранов бывают потрясены до самого основания. Возьмите мою голову, прибейте ее к щиту Республики. При одном взгляде на нее, как при взгляде на голову Медузы, все враги Свободы умрут от страха.

Аплодисменты.

Председатель. Я предоставил вам слово, чтобы вы защищали себя, а не восхваляли.

Дантон. Такой человек, как я, не защищается: мои действия говорят сами за себя. Мне нечего защищаться, не в чем оправдываться. В моей жизни нет ничего загадочного. Я не окружаю себя тайнами, чтобы путаться со старухой, как Робеспьер.

Смех в зале.

Женщина (в ярости). Это кощунство!

Дантон. Моя дверь всегда настежь, над моей кроватью нет полога. Все во Франции знают, когда я пью, когда я с женщинами. Я — плоть от плоти народа, у меня такие же добродетели и пороки, как у народа, я ничего от него не таю. У меня все наружу.

Давид. Сарданапал! Глядите, как его выворачивает наизнанку!

Председатель. Дантон, ваши непристойные речи оскорбительны для суда. Грубость ваших выражений выдает низость вашей души. Сдержанность — вот первый признак невинности, дерзость — первый признак преступности.

Дантон. Если дерзость — преступление, то я бросаюсь в объятия преступления, я целую его взасос, а тебе, председатель, оставляю добродетель — фараоновы тощие коровы не в моем вкусе. Я люблю дерзость и горжусь

этим, дерзость с ее грубыми обьятиями, дерзость, из лона которой выходят герои. Революция — дочь дерзости. Это она разрушила Бастилию, это она, говоря моими устами, бросила парижский народ на штурм королевской власти, это она моими руками схватила за жирные уши отрубленную голову Коротышки-Людовика и швырнула в лицо тиранам и их богу.

Народ в волнении; слышны одобрительные возгласы: «Браво!»

Председатель. Все эти ваши грубости вам не помогут. Я напоминаю о прямых обвинениях, которые вам предъявлены, и предлагаю отвечать на них точно, не выходя за пределы фактов.

Дантон. Разве от такого революционера, как я, можно ожидать спокойного ответа? Душа моя — словно расплавленная медь. В моей груди отливается из нее статуя Свободы. И меня хотят обуздать! Хотят, чтобы я отвечал на вопросы, как на уроке катехизиса! Я прорву сети, которыми вы хотите меня опутать, вам не напаялить на меня эту узкую рубашку, — она затрещит по всем швам. Вы говорите: меня обвиняют! Где они, эти обвинители? Пусть покажутся, и я их опозорю, как они того заслуживают!

Большинство выражает одобрение. Давид и те, что сидят рядом с ним, негодуют.

Председатель. Еще раз предупреждаю, Дантон: вы проявляете неуважение к представителям Нации, к суду и к державному народу, который имеет право потребовать, чтобы вы отдали ему отчет в своих действиях. Марату также были предъявлены обвинения. Но он не злобствовал на своих обвинителей. Он не противопоставлял фактам неистовство гладиатора и актера, он постарался оправдаться, и это ему удалось. Я не могу указать вам лучшего образца, чем этот великий гражданин.

Женщина (проникновенно). Мученик!

Дантон. Ну что ж, я снизойду до самооправдания, я буду следовать плану, который принял Сен-Жюст... Когда я пробегаю весь этот перечень мерзостей, против

него восстает все мое существо! Я продался Мирабо, герцогу Орлеанскому, Дюмуре?.. Я всегда против них боролся! Я расстроил замыслы Мирабо, когда нашел, что они опасны для Свободы. Я защищал от его нападков Марата. Я виделся с Дюмуре единственный раз, когда потребовал от него отчета в растраченных им миллионах. Я давно разгадал этого проходимца и, чтобы не дать ему осуществить его намерения, льстил его самолюбию. Можно ли было его раздражать, когда спасение Республики зависело от него? Да, я посылал к нему Фабра, да, я обещал, что он будет генералиссимусом, но одновременно я поручил Билло за ним следить. Кто станет упрекать меня в том, что я лгал изменнику? Ради отчизны я шел и не на такие преступления! Ханжи государства не спасают. Все преступления, все, какие только есть, я пронес бы на своих плечах не сгибаясь, если б это было нужно, чтобы спасти вас, вас всех, судей, народ, даже вас, низкие клеветники, которые смеют обвинять меня...

Движение в зале.

Я — в заговоре с королями! В самом деле, давайте вспомним, как я способствовал восстановлению монархии десятиго августа, торжеству Федералистов тридцать первого мая, победе пруссаков при Вальми!..

Г о л о с (из публики). Помним, помним!

Д а н т о н. Мои обвинители! Пусть мне их покажут! Я требую, чтобы мне дали поговорить с подлецами, которые губят Республику. Я открою важные вещи. Я требую, чтобы меня выслушали.

Н а р о д. Конечно! Конечно!

Д а в и д. Слыхали мы эти сказки! Гильотина по тебе плачет!

П р е с е д а т е л ь. Эти недостойные выходки только вредят вам. Ваши обвинители пользуются всеобщим уважением. Сначала оправдайтесь. Обвиняемый только тогда заслуживает доверия, когда он смыл с себя подозрения, иначе его разоблачения не имеют цены. Сейчас идет речь не только о том, как вы служили Республике, — вам предъявлены обвинения как личности вообще, вас обвиняют в скандальном образе жизни, в распущенности, мотовстве, хищениях, лихоимстве.

Дантон. Не выплескивай все сразу! Приверни кран в бочонке свсего красноречия!

В зале смех.

Цеди по капельке, чтобы не было утечки. Так в чем же меня обвиняют? В том, что я люблю жизнь, что я наслаждаюсь ею?.. Это верно, жизнь я люблю. Всем аррасским и женовским педантам вместе взятым не удастся задуть ту радость, которая бурлит в земле Шампани, от которой набухают почки на виноградных лозах и кипят человеческие страсти. Неужели я должен стыдиться своей жизненной силы? Природа наделила меня атлетическим телосложением и громадными потребностями. К счастью, я не принадлежу к вырождающемуся привилегированному сословию, вот почему, несмотря на все невзгоды, которые я претерпел на своем изнурительном поприще, мне удалось сохранить всю свою врожденную мощь. Чем же вы недовольны? Эта самая мощь вас же и спасла. Какое вам дело до того, что я провожу ночи в Палей-Рояле? Я не отнимаю этим у Свободы ни единой ласки. Меня хватит на всех. Вы изгоняете наслаждение? А разве Франция дала обет целомудрия? Разве нас отдали на выучку какому-нибудь хмурому педанту, или же мы обязаны лишиться хвоста только на том основании, что у старого лиса хвост отрублен?

В зале громкий продолжительный хохот.

Председатель. Вы обвиняетесь в присвоении части денежных сумм, которые вам доверило государство. Вы брали из секретного фонда деньги на свои удовольствия. Вы занимались вымогательством в Бельгии и вывезли из Брюсселя три воза всякого добра.

Дантон. Я уже опроверг эти нелепые выдумки. Во время Революции, когда я был у власти, мне было дано на хранение пятьдесят миллионов — я это признаю; я предлагал представить подробный отчет в их израсходовании. Камбон передал мне четыреста тысяч ливров на секретные расходы. Двести тысяч из них я выдал по предъявлению документов. Я не ограничивал в расходах Фабра и Билло. Эти фонды служили мне рычагами,

с помощью которых я поднимал восстания в провинции. Что же касается смехотворной истории с салфетками эрцгерцогини, которые я будто бы вывез из Бельгии и отдал переметить, то что же, я, выходит, карманный вор? В Бетюне подвергли осмотру мои вещи, составили протокол, но ничего не нашли, кроме моих пожитков и бумазейного набрюшника.

Смех в зале.

Может быть, этот набрюшник оскорбляет нравственность Робеспьера?

Смех в зале.

Это, что ли, мне ставят в вину?

Председатель. Что вы повинны в хищениях, это доказывает широкий образ жизни, который вы ведете уже два года, — ваши собственные средства вам бы этого не позволили, значит вы их пополняете за счет государства.

Дантон. На свое адвокатское жалованье я купил в Арсийском округе небольшое имение. Я обеспечил скромною рентою свою мать, отчима и ту добрую гражданку, которая меня выкормила. Эти суммы не превышают моего дореволюционного заработка. Что же касается той жизни, какую я вел в Париже или в Арси, то весьма возможно, что я не стеснял себя грошовой экономией. Когда друзья приходят ко мне в гости, я не угощаю их супом из трав приготовления мамыши Дюпле.

Смех в зале.

Я не стану выгадывать ни на себе, ни на других. Как вам не стыдно высчитывать, сколько Дантон ест, сколько Дантон пьет! Еще немного — и отвратительное ханжество заразит всю Нацию. Законы природы вгоняют нас в краску, энергия внушает нам страх, мы закрываем лицо руками при виде вольного движения. Отрицательные добродетели заменили нам все остальные. Если только у человека слабый желудок, а чувства молчат, если только он довольствуется кусочком сыра и спит на узкой кро-

вати, вы уже называете его Неподкупным, и это название избавляет его от необходимости быть храбрым и умным. Я презираю эти скопческие добродетели. Быть добродетельным — это значит быть большим человеком и для себя и для отчизны. Если на вашу долю выпало счастье иметь в своей среде великого человека, то не попрекайте его куском хлеба. Потребности, страсти, жертвы — все в нем не так, как у других. Ахилл съедал за обедом полбыка. Если Дантону требуется много топлива, чтобы накаливать его горн, — бросайте поленья без счета: пламя этого костра охраняет вас от диких зверей, подстерегающих Республику.

Одобрительный говор в зале.

Давид. Горлодер! Ну и орет! И как он не перервет себе глотку!

Председатель. Значит, вы признаете, что совершали растраты, в которых вас обвиняют?

Дантон. Лжешь, я только что это опроверг.

Народ. Верно! Верно!

Дантон. Я жил широко, честно, я был бережлив, но я не был скрягой в расходовании доверенных мне сумм. Дантон получал у меня только то, что ему полагалось. Вызовите свидетелей, я потребовал этого с самого начала, и все подозрения будут рассеяны. Такие обвинения и нарекания нельзя оставлять висеть в воздухе. Только подробный их разбор, по пунктам, может положить им конец. Так где же свидетели? Почему их до сих пор нет?

Несколько голосов. Свидетелей!

Давид (одному из соседей). А ну замолчи! Изменников защищать? Смотри! Как бы и твоя голова не слетела!

Председатель. У вас голос устал, Дантон, отдохните.

Дантон. Ничего, я могу продолжать.

Председатель. После перерыва вы бы защищались спокойнее.

Дантон (в ярости). Я спокоен! Свидетелей! Три дня я добиваюсь свидетелей...

Несколько голосов. Верно! Верно!

Дантон. ...ни один из них еще не вызван. В присутствии народа я спрашиваю общественного обвинителя: почему не удовлетворено мое законное требование?

Голоса. Свидетелей!

Фукье-Тенвиль. Я и прежде ничего не имел против того, чтобы их вызвать, не возражаю и сейчас.

Голоса. Ага!

Дантон. В таком случае вели привести их, это же от тебя зависит.

Фукье-Тенвиль. Итак, я даю разрешение на вызов свидетелей (*одобрительные возгласы в публике*), но только не тех, которых называли обвиняемые, так как они являются членами Конвента, обвинение же исходит от всего Национального собрания, и было бы странно вызывать ваших обвинителей в качестве свидетелей со стороны защиты, особенно представителей народа, облеченных его высокой властью и ответственных только перед народом.

Эро. Что за тонкая казуистика! (*Смеется вместе с Фабром.*)

Дантон. Значит, мои коллеги могут меня убить, а мне нельзя даже уличить моих убийц?

Фукье. Как ты смеешь оскорблять представителей Нации?

Филиппо. Мы что же здесь, для проформы? Нам положено играть бессловесные роли?

Камилл. Народ, ты слышишь? Они боятся правды. Им страшно, что свидетельские показания их уничтожат.

Движение в зале.

Председатель. Не обращайтесь к народу.

Филиппо. Народ — наш единственный судья. Без него вы — ничто.

Гул одобрения.

Камилл. Я апеллирую в Конвент!

Народ. В Конвент!

Дантон. Вы хотите зажать нам рот. Вам это не удастся. Мой голос потрясет Париж до самого основания. Света! Света!

Народ. Света!

Волнение в зале, после первых же слов Дантона о свидетелях все нарастающее в своей грозной силе, разражается ураганом криков и одобрительных возгласов, покрывающим все речи.

Председатель. Тише!

Весь народ (*в яростном ритме*). Свидетелей! Свидетелей!

Давид и его друзья протестуют, но их заставляют умолкнуть.
Судьи растеряны.

Фукье-Тенвиль. Пора прекратить эти безобразные препирательства. Я сейчас пошлю запрос в Конвент...
Голоса. Ага!

Фукье-Тенвиль. ...относительно вашего ходатайства. Как он решит, так мы и поступим.

Народ рукоплещет. Фукье и Эрман совещаются, составляют бумагу, вполголоса перечитывают написанное.

Камилл (*в восторге*). Мы выиграли!

Дантон. Мы уличим этих мерзавцев. Вы увидите, как они плюхнутся носом в собственное дерьмо.

В зале смехок. Люди переговариваются, спорят.

Если французский народ таков, каким он должен быть, то мне же еще придется просить помиловать их.

Филиппо. Помиловать тех, кто хочет нашей гибели?

Камилл (*весело*). Ничего! Сен-Жюста мы назначим школьным учителем в Блеранкур, а Робеспьера — церковным старостой в Сент-Омер.

В зале смехок.

Эро (*пожимая плечами*). Они неисправимы. Они и по дороге на эшафот все еще будут надеяться.

Дантон. Дурачье! Обвинять Дантона и Демулена в борьбе против Республики! Кто же у нас теперь патриот, Баррер, что ли? А Дантон — аристократ?

Смех в той группе, к которой обратился Дантон; смеются и присяжные.

Франция еще долго будет расплачиваться за эти враки. *(Одному из присяжных.)* Ты веришь, что мы заговорщики? Видите, он смеется, он не верит. Занесите в протокол, что он засмеялся.

Фукье *(отрываясь от своей работы)*. Прошу прекратить частные разговоры. Это воспрещено законом.

Дантон. Поди-ка поучи своего отца, как надо рожать детей!

Во время разговора Дантона с его друзьями в зале смеются и весело переговариваются.

Ведь я же и учредил этот трибунал, так что я кое-что в этом деле смыслю.

Камилл. Я снова радуюсь дневному свету. Был момент, когда он казался мне тусклым, безжизненным, как в склепе.

Дантон. Оживился не свет, а ты сам. А то было совсем раскис.

Камилл. Я стыжусь своей слабости. У меня плоть немощна.

Дантон. Хитрец! Тебе просто хотелось понравиться женщинам. Ты своего добился. Смотри, вон та девчонка делает тебе глазки.

Эро *(мягко)*. Бедные друзья мои, мне жаль вас.

Дантон. Почему, красавчик?

Эро. Вы делите шкуру неубитого медведя, а ваша собственная уже продана.

Дантон. Моя шкура? Да, я знаю, на нее немало охотников. На нее целится Сен-Жюст. Что ж, пусть попробует! Если ему удастся, пусть сделает себе из нее коврик перед кроватью.

Эро. К чему вся эта суматоха? *(Пожимает плечами и умолкает.)*

Тем временем Фукье, написав бумагу, отсылает ее с одним из караульных.

Председатель. Пока придет ответ Конвента, будем продолжать допрос.

Жандармы заставляют подсудимых сесть на свои места.

Народ. Тише, тише!

Председатель (обращаясь к Филиппо). Ваше имя, фамилия, звание?

Филиппо. Пьер-Никола Филиппо, бывший судья Манского суда, представитель народа в Конвенте.

Председатель. Сколько вам лет?

Филиппо. Тридцать пять.

Председатель. Когда вас послали в Вандею, вы пытались парализовать национальную оборону; злобными памфлетами вы стремились подорвать доверие к Комитету общественного спасения; вы участвовали в заговоре Дантона и Фабра, возникшем с целью восстановить королевскую власть.

Филиппо. Я обрушил гнев народа на разбой некоторых генералов. Это был мой долг, я его исполнил.

Председатель. В той беспощадной борьбе, где на карту поставлена Франция, ваш долг состоял в том, чтобы привести в действие все силы Нации, вы же их подрывали.

Филиппо. Ронсен и Росиньоль — это позор для человечества.

Давид. Он сам вандеец!

Фукье-Тенвиль. Ты являлся представителем не всего человечества, а своей отчизны.

Филиппо. Моя отчизна — человечество.

Несколько одобрительных возгласов. Большинство возмущено.

Председатель. А те, кто возбуждает в вас сочувствие, — роялисты, которых подавил Росиньоль, — сами-то они уважали человечество?

Филиппо. Преступление ничем нельзя оправдать.

Фукье-Тенвиль. Победой.

Давид. Bravo, Фукье!

Голоса. Верно, верно, bravo!

Филиппо. Обвинитель, я обвиняю тебя.

Камилл. Я прошу народ обратить внимание на позорные слова обвинителя.

Фукье-Тенвиль (*пожимая плечами*). Пусть народ судит!

Народ разделился; некоторые аплодируют Фукье; в зале идут громкие разговоры.

Дантон (*тихо Демулену*). Молчи, дуралей! Ты бросаешь камни в мой огород.

Камилл (*с удивлением*). Как так?

Дантон. Довольно я их сам себе накидал!

Председатель (*Вестерману*). Подсудимый, встаньте.

Несколько голосов (*с любопытством*). Вестерман!.. Вестерман!..

Вестерман. Это мне? Фу, черт! Вперед!

Председатель. Ваше имя?

Вестерман. Сам знаешь.

Председатель. Ваше имя!

Вестерман (*пожимая плечами*). Полно дурака валять!.. Спроси у народа.

Председатель. Вы Франсуа-Жозеф Вестерман, уроженец Эльзаса, бригадный генерал. Вам сорок три года. По всем данным вы были мечом в руках заговорщиков. Дантон вызвал вас в Париж, с тем чтобы вы взяли на себя командование войсками контрреволюции. В бытность вашу в армии вы совершали чудовищные жестокости. Вы — виновник поражения при Шатийоне. Действуя заодно с Филиппо, вы старались истреблять патриотов, тогда как вы были обязаны защищать их. Ваше прошлое тоже отвратительно. Вы три раза привлекались к ответственности за воровство.

Вестерман. Врешь, скотина!

Смех в зале.

Председатель. Я отправлю вас обратно в тюрьму за оскорбление суда, и судить вас будут заочно.

Вестерман. В пятнадцать лет я уже был солдатом. Десятого августа я командовал народом при взятии Тюильри. Я участвовал в сражении при Жемапе. Дюмурье бросил меня в Голландии, когда я был окружен врагами, — я прорвался со своим легионом к Антверпену.

Затем я был послан в Вандею. Там я задал жару разбойникам де Шаретту и де Катлино. Земля Савнэ, Ансени, Манса утучнена их зловонными трупами. Разные сукины дети говорят, что я был жесток? Это они еще мягко выражаются: с трусами я был свиреп. Вы хотите улики против меня? Извольте: в Понторсоне я приказал кавалерии изрубить тех моих солдат, что обратились в бегство. В Шатийоне я ударом сабли рассек лицо офицеру-труссу. Я живо сжег бы мою бригаду, если б это было нужно для победы... Ты говоришь, я грабил? А тебе-то что? Дураки вы все. Я действовал, как солдат, — ведь я же не купец. Мой долг — защищать родную землю любыми средствами, и я исполнял его в течение тридцати лет, не жалея ни пота, ни крови. Я семь раз был ранен, причем из этих семи ран только одна в спину. Вот вам мой обвинительный акт.

Смех в зале, крики: «Браво!»

Председатель. Вы несколько раз при свидетелях оскорбляли Конвент. Вы грозились обрушить дворцовый потолок на головы представителей народа.

Вестерман. Это правда. Я ненавижу это собрание болтливых злопыхателей, — своей завистливой глупостью они только мешают всякому делу. Я говорил, что Конвент нуждается в хорошей метле и что я собственными руками вымету оттуда навоз.

Смех, возмущенные голоса.

Фукье-Тенвиль. Значит, ты признаешь, что участвовал в заговоре?

Вестерман. При чем тут заговор? Я один так думал. Один и действовал. Я ни с кем из этих не дружу. Мне несколько раз пришлось разговаривать с Дантоном, я его уважаю за то, что он человек деятельный, но ведь он тоже адвокат, а я адвокатам не доверяю. Францию спасут не речи, а сабли.

Несколько одобрительных возгласов и множество негодующих голосов. Некоторые начинают аплодировать, а потом они же особенно резко выражают свое возмущение.

Председатель. Довольно! Все ясно.

Вестерман. Отправляйте меня на гильотину! Гильотина — тоже что-то вроде сабельного удара. Я прошу об одном — чтобы меня положили на спину, я хочу лицом к лицу встретить топор.

Жидкие хлопки, волнение в зале. Чувствуется, что публика расположена к Вестерману, но она выжидает: ей нужно, чтобы кто-нибудь открыто стал на его сторону, и тогда она последует этому примеру, но примера никто ей не подает. Входят Вадье и Билло-Варенн. Фукье встает и пожимает им руки. Шум в зале.

Голоса. А, ответ! Ответ! Ответ Конвента! Конвента!..

Билло-Варенн (*вполголоса*). Теперь негодия у нас в руках!

Вадье (*вполголоса Фукье*). Теперь вам будет легче. Фукье (*также*). Наконец-то!

Волнение в зале, затем гробовое молчание. Фукье стоя читает; по правую и левую его сторону стоят оба члена Конвента.

(*Читает.*) «Национальный Конвент, выслушав доклады Комитета общественного спасения и Комитета общественной безопасности, постановил: предложить Революционному трибуналу продолжать рассмотрение дела о заговоре Дантона и других (*сильное, но безмолвное волнение в зале*), председателю же вменяется в обязанность принять все законные меры к тому, чтобы заставить уважать свое достоинство и пресечь всякую попытку обвиняемых нарушить общественное спокойствие и помешать ходу дела, ввиду чего тот из обвиняемых, кто будет оказывать сопротивление или же оскорблять национальное правосудие, должен быть немедленно удален из залы суда».

Движение в зале. Публика перешептывается. Затем все громче: «Так, крепко!» Шумные разговоры. Обвиняемые ошеломлены. Но как только публика начинает говорить громко и оживленно, оцепенение сменяется у них взрывом негодования.

Камилл. Какая подлость! Нам затыкают рот!

Народ (*в волнении*). Верно! Верно!

Филиппо. Это не судьи, это мясники.

Дантон (*Фукье*). Ты не дочитал до конца. Там же должно быть и другое. Ответ! Ответ на наше требование!

Н а р о д. Да, да, ответ!
П р е д с е д а т е л ь. Тише!

Мертвая тишина.

Ф у к ь е. Для того чтобы трибунал мог убедиться, какая опасность угрожает Свободе, Конвент переслал нам следующую бумагу, полученную Комитетами от полицейского управления.

Движение любопытства в зале. Люди обращаются друг к другу с вопросами.

(Читает.) «В Парижский округ.

Снова тишина.

Мы, администрация департамента полиции, получив донесение от привратника Люксембургской тюрьмы, немедленно отправились в означенную тюрьму и вызвали на допрос гражданина Лафлота, бывшего посланника Французской республики во Флоренции, содержащегося в означенной тюрьме около шести дней, каковой гражданин Лафлот показал, что вчера между шестью и семью часами вечера он находился в камере гражданина генерала Артура Диллона, причем вышеупомянутый Диллон, отведя его в сторону, сказал, что нужно оказать сопротивление угнетателям; что содержащиеся в Люксембургской и других тюрьмах, люди умные и мужественные, должны объединиться; что жена Демулена отдает в их распоряжение тысячу экю для того, чтобы вызвать беспорядки в толпе перед зданием Революционного трибунала....»

Волнение в зале.

К а м и л л (вне себя). Злодеи! Мало им умертвить меня, они хотят умертвить и мою жену! (Рвет на себе волосы.)

Д а н т о н (грозя Фукье кулаком). Мерзавцы! Мерзавцы! Они выдумали этот заговор для того, чтобы нас dokonать!

Ропот в зале. Народ соглашается с Дантоном и выражает свое возмущение. Пока Фукье читает дальше, шум продолжается и, наконец, превращается в настоящую бурю.

Фукье (*продолжает, стараясь перекричать толпу и постепенно овладевая ее вниманием*). «Лафлот, желая как можно лучше ознакомиться с их планом, решил притвориться, что сочувствует их намерениям. Диллон, вообразив, что он втянул его в свой гнусный заговор, подробно рассказал ему о том, какие существуют у них проекты. Лафлот готов сообщить все подробности Комитету общественного спасения...»

Шум в зале заглушает его голос.

Камилл (*словно обезумев*). Чудовища! Канныбалы! (*В руке у него бумаги; он комкает их и швыряет в лицо Фукье. Обращаясь к народу.*) На помощь! Спасите!

В зале раздаются крики.

Дантон (*громоподобно*). Гнусные палачи! Тогда уж привяжите нас к скамьям, возьмите нож и перережьте нам жилы!

Народ (*взволнованный, потрясенный, ликует и рукоплещет*). Он задыхается! На губах пена!.. Великолепно! Какой голос, а?.. Браво!

Филиппо. Тираны!

Дантон. Народ, они истребляют нас, они и тебя удушат заодно с нами! Дантона убивают! Восстань, Париж! Восстань!

Два голоса (*в задних рядах, за ними повторяют все*). Тираны!

Вестерман. К оружию!

Весь народ. К оружию!

Могучий рев толпы внутри и снаружи покрывает отдельные голоса. Сквозь ураган слабо доносится лишь рыкание Дантона. Дантон делает шаг по направлению к Вадье, путь к которому преграждают жандармы и стол председателя. Он грозит ему кулаком. Толпа улюлюкает, а Вадье, сгорбившись, пережидает бурю и смотрит исподлобья равнодушно-насмешливыми и злыми глазами.

Фукье (*бледный, взволнованный, обращаясь к обоим членам Конвента*). Как быть? Толпа может кинуться на нас каждую секунду.

Билло. Разбойники!.. Анрио, вели очистить зал.

Вадье. Это значит подать сигнал к бою, а ведь еще неизвестно, кто победит.

Фукье (*взглянув в окно*). На набережной собралась толпа. Того и гляди выломают двери.

Дантон. Народ! Мы можем всё, мы одолели королей, разгромили европейские армии. На бой! Раздавим тиранов!

Вадье (*Фукье*). Прежде всего пошли их обратно в тюрьму, чтоб не маячил здесь этот горлан.

Дантон (*грозя Вадье кулаком*). Посмотрите на этих подлых убийц! Они не успокоятся, пока нас не за травят... Вадье! Вадье! Собака! Поди сюда! Раз уж это война каннибалов, так пусть по крайней мере спор о моей жизни решится в кулачном бою!

Вадье (*Фукье*). Обвинитель, делай, что тебе повелевает Конвент.

Народ. Вадье — на фонарь!

Председатель ударяет кулаком по столу, шум стихает.

Фукье-Тенвиль. Обвиняемые защищаются недостаточно, возмутительно, они имеют наглость оскорблять трибунал, грозить ему, — все это вынуждает трибунал принять меры, соответствующие настоящим чрезвычайным обстоятельствам. Вследствие этого я требую, чтобы вопросы присяжным были поставлены и приговор был вынесен в отсутствие подсудимых.

Общая растерянность и безмолвное смятение. Затем, и так до конца действия, народ, охваченный лихорадочным волнением, говорит, уже не умолкая.

Председатель. Трибунал рассмотрит это требование. Подсудимые должны сесть по местам.

Дантон как будто не понимает происходящего; из груди его вырывается хриплый звериный рев.

Вадье (*вполголоса*). Кричи, кричи, голубчик! Теперь все равно не поможет.

Эро (*встает и смахивает пыль с платья*). Все кончено.

Дантон (*дает жандармам подвести себя к скамье и в изнеможении опускается*). Крышка!.. (*Сдерживая порыв ярости*.) Полно, Дантон, полно! Участь твоя решена.

К а м и л л (*кричит*). Я друг Робеспьера! Меня не могут осудить...

Вестерман (*Дантону*). Скажи ты этому мальчишке, чтоб он себя не унижал.

Дантон (*с убитым видом*). Они сошли с ума. Несчастливая страна, что с тобою станется, когда ты лишишься такой головы?

Э р о (*Демулену*). Друг мой, возьми себя в руки, покажем, что мы умеем умирать.

Дантон. Мы довольно прожили, теперь будем покониться на лоне Славы. Ведите нас на эшафот!

К а м и л л. Жена моя! Сын мой! Я вас больше не увижу!.. Нет, не может быть. Друзья мои, друзья мои, спасите!

Председатель. Уведите подсудимых.

Дантон. Сиди смирно и не обращай к этой гнусной сволочи.

Э р о (*как бы желая ускорить конец, поднимается, не дожидаясь жандармов, которые заставляют подсудимых встать, и направляется к Фабру*). Обопрись на мое плечо, друг мой, — твоим страданиям пришел конец.

Ф а б р д'Эглантин. Перед смертью нам удалось посмотреть отличный спектакль.

Дантон. Да уж, Фабр, не в обиду тебе будь сказано, эта пьеса не чета твоим.

Ф а б р. Ты не знаешь последней моей пьесы — там были неплохие места. Боюсь, как бы Колло д'Эрбуа не уничтожил рукопись. Он мне завидует.

Дантон. Утешься: то, над чем ты мучился всю жизнь, теперь придумали для всех нас.

Ф а б р. Что именно?

Дантон. Развязку.

Э р о. Пусто будет завтра в Конvente. На меня нападает зевота при одной мысли о том, что оставшиеся в живых должны будут слушать Робеспьера и Сен-Жюста, Сен-Жюста и Робеспьера — и, под страхом смерти, не спать.

Дантон. Робеспьера они будут слушать недолго. Я первый схожу в могилу. Робеспьер последует за мной.

Ф а б р. Мне бы все же хотелось проследить развитие

характеров некоторых мелких жуликов: Барраса, Тальена, Фаше, но это я уж слишком многого захотел. Пойдем, Своб.

Фабр и Эро уходят.

К а м и л л (*цепляется за скамью, от которой его оттаскивают жандармы*). Я не пойду! Вы меня убьете в тюрьме. Спасите! Спасите! Народ! Я создал Республику! Защити меня — я тебя защищал!.. Вы меня не уведете отсюда, злодеи! Подлецы! Убийцы!.. Ах, Люсиль! Гораций! Любимые мои! Любимые мои!

Н а р о д. Нет, нет, так нельзя, это подло! Бедный мальчик, оставьте его, его не надо казнить!

Толпа сильно возбуждена; она хочет действовать, но не решается; чувствуется, однако, что недовольство растет.

Камилл продолжает кричать. Его уносят.

Д а н т о н (*растроганный*). У меня тоже есть жена, дети. (*Встряхнувшись*.) Полно, Дантон, не поддавайся слабости.

Вестерман (*Дантону*). Почему ты не воспользуешься возмущением народа? Он готов ринуться в бой.

Д а н т о н. Эта сволочь? Да что ты!.. Балаганная публика! Их забавляет зрелище, которое мы им устраиваем. Они собрались здесь, чтобы рукоплескать тому, кто победит. Я их набаловал: я всегда действовал за них.

Вестерман. Ну так действуй же!

Д а н т о н. Поздно. Да и плевать мне на все теперь. Республика погибла — я предпочитаю умереть раньше.

Вестерман. Вот плоды твоей нерешительности. Что бы тебе опередить Робеспьера!

Д а н т о н. Революция не может обойтись без таких голов, как я и Робеспьер. Я мог бы себя защитить, только удушив его. Революцию я люблю больше, чем себя.

Вестерман уходит.

Ф и л и п п о. Пойдем и мы с тобой, Дантон. У нас есть то утешение, что мы и умирая остаемся такими, какими были в жизни.

Д а н т о н. Я шел на любые преступления ради Свободы. Я брался за самые страшные дела, которые отпуги-

вали лицемеров. Я всем пожертвовал для Революции и вижу теперь, что напрасно. Эта девка меня обманула; сегодня она отреклась от меня, завтра отречется от Робеспьера; она отдается первому попавшемуся проходимцу, который залезет к ней в постель. Ну что ж! Я не жалею. Я люблю ее, я счастлив тем, что обесчестил себя ради нее. Мне жаль тех бедных малых, которых Свобода так и не приласкала. Кто хоть раз поцеловал эту дивную тварь, тому и умереть можно: он жил. (*Уходит вместе с Филиппо.*)

Фукье-Тенвиль. Считаю, что присяжные могут признать судебное разбирательство оконченным.

Председатель. Присяжные удаляются на совещание.

Присяжные уходят.

Народ настроен мрачно, волнуется, колеблется. Снаружи доносятся голос Дантона и гневные крики толпы. Публика теснится к окнам. Некоторые из членов трибунала тоже подходят и смотрят. Люди, находящиеся в зале суда, подхватывают слова, долетающие снаружи, сначала вполголоса, потом все громче.

Писец (*выглянув в окно*). Вон они, выходят!

Народ (*вокруг него, теснится к окну*). Где? Где?..

Писец. Демулен воет, отбивается.

Девушка. Бедняжка! Он помешался. Одежда на нем разорвана, грудь голая!

Писец. Дантон говорит.

Народ. Слушайте!

Снаружи доносится голос Дантона.

Народ (*на улице*). Да здравствует Дантон!
Фукье — на фонарь!

Народ (*в зале, повторяет*). Да здравствует Дантон, смерть Фукье!

Фукье. Начинается мятеж. Нас могут разорвать в клочки.

Вадье. Нельзя допустить, чтобы эти крики повлияли на уמוнастроение присяжных. Пойдем туда, надо им все объяснить.

Вадье и Фукье уходят в комнату присяжных. Толпа выражает им свое возмущение.

Та часть толпы, которая далеко от окна. Так нельзя, Вадье! Вадье, это несправедливо! Так не судят!

Другие (*у окна, продолжают смотреть*).

Писец. Бегут за повозкой. Машут шляпами.

Толпа. А-а-а! А-а-а!

Писец. Жандарма сбросили с лошади!

Толпа. Браво! Их нельзя казнить!.. Других — как хотят, но не Дантона! Свободу Дантону! Свободу Дантону!

Оглушительные крики в зале и на улице.

Председатель (*оторопев*). Граждане!.. Неприкосновенность суда... уважение к правосудию...

Рев толпы заглушает его голос.

Толпа. Дантона! Освободите нам Дантона!

Председатель. Мы в западне. Они здесь не оставят камня на камне. (*Пятится к двери, хватается за ручку.*)

Толпа в ярости ломает скамьи, врывается на возвышение, угрожает трибуналу смертью.

Толпа. Дантона!.. Комитет истребляет патриотов! Смерть Комитету!

Входит Сен-Жюст. Народ в испуге мгновенно смолкает.

Народ. Сен-Жюст!.. Сен-Жюст!..

По толпе пробегает дрожь. Молодой человек, кричавший: «Свободу Дантону!» — останавливается на полуслове и так и остается с полуоткрытым ртом. Сен-Жюст смотрит на толпу холодным, суровым, пристальным взглядом. Толпа отступает. Несколько секунд длится гробовое молчание. Затем ропот слышится снова, но уже не такой громкий.

Женщина. Сен-Жюст! Освободи Дантона!

Несколько голосов. Помиловать Дантона!

Ропот.

Вадье (*вошел вместе с Сен-Жюстом; воспользовавшись минутным затишьем*). Граждане! Продовольственная комиссия республики...

Толпа шикает на тех, кто продолжает разговаривать.

Голоса. Да будет вам!.. Тише!

Ва дье (*продолжает*). ...доводит до вашего сведения, что сегодня вечером в порт Берси прибывает караван судов с мукою и топливом.

Поднимается невероятный шум.

Гул голосов. Пропусти!

— Куда лезешь?

— Я спешу!

— А мне, что ли, не к спеху?

— Подождешь!

— Пошел к черту!

— Скорей!

— погоди, я хочу дождаться конца.

Два старых буржуа. Мы — потихоньку, пусть они себе орут.

— Поспешись — людей насмешишь.

Давка. Все стараются пробраться к выходу, толкаются, дерутся. Только немногие любопытные остаются до конца процесса.

Ва дье (*оглядывая толпу, ехидно*). Сердце у них доброе, но желудок еще лучше.

Возвращаются присяжные. Монотонный голос председателя, который задает им вопросы, заглушают крики толпы, теснящейся у выхода. Постепенно шум удаляется, и голос Эрмана звучит все явственнее. Приговор оглашается среди мертвой тишины.

Председатель (*присяжным*). Граждане присяжные! В нашей стране существовал заговор, имевший целью оклеветать и опорочить национальное представительство, восстановить монархию и путем подкупа подорвать основы республиканского строя. Принимал ли Жорж-Жак Дантон, адвокат, член Национального Конвента, участие в этом заговоре?

Старшина присяжных. Да.

Председатель. Принимал ли Люси-Симплиций-Камила Демулен, адвокат, член Конвента, участие в этом заговоре?

Старшина присяжных. Да.

Председатель. Принимал ли Мари-Жан Эро Сешель, генеральный прокурор, депутат Конвента, участие в этом заговоре?

Старшина присяжных. Да.

Председатель. Принимал ли Филипп-Франсуа-Назер Фабр, именуемый д'Эглантином, депутат Конвента, участие в этом заговоре?

Старшина присяжных. Да.

Председатель. Принимал ли Пьер-Николá Филиппо, бывший судья, депутат Конвента, участие в этом заговоре?

Старшина присяжных. Да.

Председатель. Принимал ли Франсуа-Жозеф Вестерман, бригадный генерал, участие в этом заговоре?

Старшина присяжных. Да.

Фукье-Тенвиль. Я требую применить закон.

Председатель. Вследствие сего суд приговаривает Жоржа-Жака Дантона, Люси-Симплиция-Камилла Демулена, Мари-Жана Эро Сешеля, Филиппа-Франсуа-Назера Фабра, именуемого д'Эглантином, Пьера-Николá Филиппо и Франсуа-Жозефа Вестермана к смертной казни. Настоящий приговор должен быть им объявлен в тюрьме Консьержери через секретаря трибунала и приведен в исполнение сего шестнадцатого жерминаля на площади Революции.

Толпа расходится.

Давид и его друзья. Ну, вот и все! Зверь затравлен! Теперь отведаем мяса!.. Да здравствует Конвент! (Уходят.)

Два старых буржуа (вполголоса). Ну, что скажете?

— Нет, уж я лучше помолчу.

— Жизнь, она хоть кого состарит.

(Разводят руками и, покачивая головой, крадучись направляются к выходу.)

Отдаленный шум, долетающий с улицы, мало-помалу стихает. На авансцене остаются непреклонные Сен-Жюст, Вадье, Билло-Варенн и молча смотрят друг на друга.

Вадье. Колосс сгнил и рухнул под нашими ударами. Республика вздохнет с облегчением.

Билло-Варенн (метнув на Сен-Жюста свирепый взгляд). Республика будет свободной только тогда, когда не останется ни одного диктатора.

Сен-Жюст (сурово посмотрев на Вадье и Билло). Республика будет чистой только тогда, когда не останется ни одного хищника.

Вадье (хихикая). Республика будет свободной, Республика будет чистой только тогда, когда не будет самой Республики.

Сен-Жюст. Идеи не нуждаются в людях. Народы умирают, но ими жив бог.

1900 г.

РОБЕСПЬЕР

Перевод
М. ВАХТЕРОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне было тридцать лет, когда я задумал написать обширную драматическую эпопею в двенадцати пьесах о Французской революции. И вот в семьдесят два года я заканчиваю произведение, которое, по мысли моей, должно завершать собою этот цикл, драму «Робеспьер». Я никогда не переставал о ней думать, но взялся за перо только в этом году, когда почувствовал, что овладел темой всецело. Сейчас, кажется, настало время осуществить этот замысел.

Суть трагедии можно изложить в немногих словах.

Три с половиной месяца протекает между началом и концом драмы, между казнью Дантона и казнью Робеспьера.

Все лица, которых я вывожу на сцену (кроме шайки роялистских шпионов и заговорщиков на заднем плане да нескольких авантюристов и прожигателей жизни вроде Барраса), эти суровые проконсулы, члены обоих Комитетов и представители Конвента в провинции, все они — искренние и пламенные республиканцы. Не только убеждения, но и личные интересы побуждают каждого из них спасти Республику, ибо их судьбы неразрывно связаны с ее судьбою: все они, даже Фуше, бесповоротно скомпрометировали себя, голосуя за казнь короля. И, однако, они с ожесточением разрушают свое собственное создание — Республику. Их бушуют страсти, ненависть, подозрения; необузданная ярость мешает им видеть, куда они идут, бросает их в объятия злейших вра-

гов Республики. В этом их роковая судьба, тот неостра- тимый рок, с которым некогда вступил в спор Эдип. [Припомните слова Наполеона: «Политика — это современ- ный рок...»] Несмотря на свою прозорливость, Робеспьер, так же как и его противники, не в силах вырваться из смертоносных объятий змея. В иные минуты, словно при вспышках молнии, люди эти видят, в какую бездну они летят, они ужасаются, но уже не могут вернуться вспять. Добавьте к этому, что силы их подорваны за пять лет революции, что все они измучены постоянным напря- жением и усталостью. Многие из них тяжело больны, как, например, Робеспьер и Кутон. В довершение всего невы- носимо жаркое лето 1794 года, сорок дней палящего зноя, способного свести с ума. И, наконец, тысячи опас- ностей, угрожающих им всякий день и отовсюду — войны внешние, войны внутренние, нашествие неприятеля, заго- вору, убийства, взаимное недоверие, болезненная подо- зрительность и мания преследования.

Я не старался их идеализировать. Я не пытался утаить их ошибки и заблуждения. Меня самого захватила могу- чая волна, которая увлекла их за собой. Я видел то, что было искреннего в этих людях, губивших друг друга, я видел грозную судьбу революций. Так было не только в те времена. Так бывало и во все времена. И по мере сил я попытался это показать.

Ромен Роллан

26 октября 1938 года.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Максимилиан Робеспьер, 36 лет	}	члены Комитета общественного спасения.
Сен-Жюст, 27 лет		
Кутон, 39 лет		
Лазарь Карно, 41 года		
Билло-Варенн, 38 лет		
Колло д'Эрбуа, 44 лет	}	члены Комитета общественной безопасности.
Бертран Баррер, 39 лет		
Робер Лендэ, 51 года		
Приер из департамента Кот д'Ор, 30 лет		
Леба, 30 лет		
Давид, 46 лет	}	члены Комитета общественной безопасности.
Вадье, 60 лет		
Амар		
Жозеф Фуше, 35 лет		
Тальен, 27 лет		
Баррас, 39 лет	}	члены Конвента.
Матьё Реньо, 56 лет		
Сийес, 46 лет		
Карье, 38 лет		
Огюстен Робеспьер, 31 года		
Лоран Лекуантр, 50 лет	}	члены Совета Парижской коммуны.
Бурдон из департамента Уазы, 36 лет		
Мерлен де Тионвиль		
Тюрьо		
Фрерон, 40 лет		
Дюран-Майян, 65 лет	}	члены Совета Парижской коммуны.
Генерал Лазар Гош, 26 лет.		
Гракх Бабеф, 34 лет.		
Флерио-Леско, архитектор, мэр Парижа, 33 лет		
Пэйан, уполномоченный Коммуны, 27 лет		
Кофиналь, врач, командир каноников Коммуны, 50 лет		

Морис Дюпле, старик-столяр, присяжный Революционного трибунала, 56 лет.

Молодой Дюпле, сын его, 16 лет.

Симон Дюпле, по прозвищу «Деревянная нога», племянник его, секретарь Робеспьера, 25 лет.

Элеонора Дюпле, 26 лет.

Элизабета Дюпле, жена Леба, 22 лет.

Анриетта Леба, сестра Леба, 19 лет.

Жанна Фуше, жена Фуше, 30 лет.

Кларисса, секретарша Баррера, 25 лет.

Старуха-крестьянка, 60 лет.

Межан, секретарь Карно, 35 лет.

Коленно, шпион роялистов, 45 лет.

Анрио, командующий Национальной гвардией, 33 лет.

Мерда, жандарм, 22 лет.

Вилат, присяжный Революционного трибунала.

Народ Парижа.

Депутаты Конвента, стражники, жандармы, канониры, вооруженные секционеры, якобинцы, мускадены¹, заговорщики, шпионы, перекупщики, зеваки, женщины и дети, разношерстая толпа. Действие происходит в Париже с 5 апреля по 28 июля 1794 года.

¹ Мускадены — франты, щеголи. Во время описываемых событий так называли банды молодых людей из привилегированных слоев общества, которые ставили своей целью терроризировать население. — *Прим. ред.*

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Дом Дюпле на улице Сент-Оноре, № 376, 16 жерминаля II года
(5 апреля 1794 г.).

Старик Дюпле с помощью младшего сына и племянника
Симона поспешно затворяет окна, выходящие на улицу.

Дюпле. Затворяйте, затворяйте окна, запирайте
ставни!

Молодой Дюпле (*высовывается в окно и затво-
ряет ставень*). Вон телега, смотрите!

Из двери слева появляется Робеспьер; на мгновение остано-
вливается на пороге. Он мертвенно бледен.

Дюпле (*оборачивается, видит его*). Максимилиан,
ты бы лучше ушел к себе.

Робеспьер (*как будто не слыша*). Да. (*Выходит на
середину комнаты.*)

Дюпле. Сейчас они проедут мимо нас... Я затворю
окна.

Робеспьер, не двигаясь с места, безмолвно кивает головой в знак
согласия.

Слышатся крики толпы. Все голоса покрывает чей-то бешеный рев.

Симон Дюпле. Это рычит Дантон. (*Подходит
к Робеспьеру и почтительно берет его за руку.*) Тебе бы
лучше уйти.

Робеспьер (как будто не слыша). Да. (Садится у стола посредине комнаты. Выпрямился, застыл, напряженно прислушивается.)

Симон Дюпле (подходит к старику Дюпле и указывает глазами на Робеспьера). Напрасно он так... Уведи его отсюда.

Крики толпы становятся громче.

Дюпле (подойдя к Робеспьеру). Максимилиан, ты был тяжело болен, ты и теперь еще нездоров, — ступай к себе, уйди отсюда, тебе здесь не место.

Робеспьер. Оставь меня, Дюпле. Я хочу быть здесь. Мне это нелегко, сам знаешь. Но я не должен прятаться.

Снаружи доносится стук колес, скрип телеги, конский топот.

Голос Дантона (подобный грому). Эй, Робеспьер!..

Робеспьер встает, выпрямляется.

Ты здесь, ты спрятался... Убийца!..

Оскорбительные возгласы, подхваченные другими осужденными, тонут в шуме и реве толпы. Но вот среди криков выделяется один пронзительный вопль.

Голос Камилла Демулена. Максимилиан!

Робеспьер бесстрастно с гордо поднятой головой выслушивал проклятия Дантона, но зов Камилла словно ранит его в самое сердце; он прижимает дрожащие руки к груди.

Симон и молодой Дюпле (друг другу). Это Демулен.

Голос Демулена. Спаси меня! Спаси меня!.. Я был тебе другом!

Голос Дантона. Замолчи, трус! Ты нас позоришь...

Голос Демулена. Пощады! На помощь! На помощь! Максимилиан!

Робеспьер подымается со стула, делает несколько шагов к окну. Старик Дюпле преграждает ему дорогу, ласково берет за руку.

Голос Дантона. Не трать слез понапрасну! Довольно вопить, плюнь в лицо твоему палачу!

Голос Демулена. Мясник! Живодер! Режь нас! Н^а, бери мою голову. Пей нашу кровь!

Робеспьер бежит к двери, невольно зажимая уши руками. Слышно, как телега удаляется, крики затихают.

Голос Дантона (*издалека*). Робеспьер!.. Я первый схожу в могилу. Ты последуешь за мной... До скорого свидания...

Робеспьер обернулся, прислонился к стене, возле двери, высоко подняв голову.

Робеспьер (*твердым голосом*). Ну что ж! До скорого свидания!.. Пусть будет так!..

Занавес.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Дворец Тюильри, Комитет общественного спасения, вечером 5 апреля. Угловой павильон, наискосок от фасада павильона Равенства. В глубине — три больших окна с частым переплетом, выходящие на площадь Карусели. У задней кулисы — стол председателя и двух его помощников. Справа и слева, под прямым углом, — еще два стола для остальных членов Комитета. Напомним, что в Комитете осталось одиннадцать членов — двенадцатый, Эро де Сешель, гильотинирован несколько часов назад.

Последние отблески заката.

Билло-Варенн, Колло д'Эрбуа, Карно, Баррер.

Колло. Уф! Наконец-то прикончили зверя!

Карно. Его рычание доносилось сюда через весь парк.

Баррер. Да, теперь, когда он умолк, наступила тишина, пустота во мраке!

Билло. До той самой минуты, пока ему не отрубили голову, я все опасался, как бы он не взбаламутил эту толпу, неверную, изменчивую, полную врагов.

Баррер. Врагов? Нет. И друзей тоже. Это зрители на бое быков. Они рукоплещут и быку и удару шпаги матадора.

Карно. Удар был метко направлен.

Баррер. Да, у юноши твердая рука. Без доклада нашего Сен-Жюста Конвент не пошел бы на это.

Карно. Но ведь доклад продиктовал твоему Сен-Жюсту тот, другой, наш безупречный, наш Неподкупный...

Билло. Трудненько было вырвать у него согласие. Целых две недели мы с Колло его уламывали. Пришлось пойти на уступки. За голову Демулена голову Эбера. Он ни за что не хотел выпускать свою добычу.

Карно. Просто боялся. Ведь он трус. Боялся падения Дантона. Привык прятаться за его спину.

Билло. Нет, Карно, тебя ослепляет ненависть. Я не меньше твоего ненавижу Робеспьера. Но надо же быть справедливым. Вспомни, как этот человек, больной, измученный, изнуренный лихорадкой, встал с постели, чтобы сразиться со сворой «Папаши Дюшена» и с преторианцами Роисена; вспомни, как он через силу дотащился до Клуба якобинцев и дал отпор смутьянам, приняв все их угрозы и проклятия на свою голову. Я сам был тому свидетелем. Кто смеет назвать его трусом? Кто из нас, одиннадцати, не заключил договора со смертью? Но он-то — он обречен и сам это знает. Знает, что смерть ждет его, настигает и что ему предстоит погибнуть или от рук наших врагов, или, если он собьется с пути, от нашей руки; иного выбора у него нет. И это тоже ему известно.

Баррер. Ты, Билло, охотно защищаешь людей от других. А кто их защитит от тебя?

Билло. Честность республиканца. Пусть не домогаются власти.

Во время этого разговора входит Межан, начальник канцелярии Комитета, с пачкой бумаг, которые он дает на подпись то одному, то другому. Подносит их и Барреру.

Баррер (*подписывает, продолжая разговаривать*). В данный момент Комитету выгодно поддержать авторитет Робеспьера. Нам необходимо его влияние, чтобы задушить стоголавую гидру мятежа.

Билло. Да, ты прав, Баррер. Хотя мы беспощадно отсекали ей головы, они снова и снова вырастают со всех сторон. Еще месяца не прошло, как мы раскрыли заго-

вор Ронсена, этого нашего Кромвеля; помните, какое брожение началось во всей армии? Если бы не энергичные действия Комитета, Республика оказалась бы под сапогом самой гнусной военной диктатуры. Затем Питт, с помощью английского золота, через своих банкиров, вел торг с Дантоном и продажными членами Конвента, добиваясь восстановления монархии. Весь вопрос в том, кто из нас опередит другого. Мы отрубили головы вожакам. Но их подлые шайки все еще скрываются. Как их выловить? Коварные обманщики прячутся то под личиной милосердия, то под личиной самого ярого якобинства. Враги кишат всюду.

Карно. Враг пробрался и сюда. О наших тайных совещаниях кто-то доносит Питту.

Билло. Теперь уже никто не донесет. Тот, кто нас предавал, негодяй Эро, погиб сегодня на эшафоте.

Карно. Нет, нас выдают попрежнему. Только что перехвачено еще одно донесение, отправленное из Парижа в ставку эмигрантов королю Веронскому; ему доносят о том, что известно одним только нам. Письмо написано уже после того, как Эро посадили под замок. Дай-ка сюда, Межан... Вот оно! *(Показывает письмо, которое вручил ему Межан.)*

Билло *(хватает письмо)*. Быть не может! *(Читает и, ошеломленный, опускается на стул.)* Среди нас есть предатель!

Колло вырывает у него письмо. Бумага переходит из рук в руки. Все поражены и взволнованы.

Колло *(ходит по комнате большими шагами)*. Негодяи... Разбойники! Где их захватить? Как их обнаружить?

Билло *(разъяренный, вскакивает и обходит своих коллег, поочередно всматриваясь каждому в лицо)*. Уж не ты ли? А может быть, я сам?

Баррер *(затворяет окна)*. У стен, у окон есть уши.

Входит Сен-Жюст.

Сен-Жюст. Что это с вами?

Баррер. Читай, Сен-Жюст!

Сен-Жюст (*прочитав письмо*). Эро оставил после себя гниль и заразу. Все ваши канцелярии надо сжечь дотла. Ваши министерства — это свалка бумаг, зловонная яма, где притаилась продажная сволочь, торгаши, шпионы, все предатели Республики. (*При этих словах он взглядывает на Межана, который собирает бумаги и быстро выходит.*)

В продолжение этой сцены Межан еще раза два бесшумно проскальзывает в зал якобы для того, чтобы подписать какие-то бумаги. С самым смиренным, безразличным видом он внимательно прислушивается к разговорам, не упуская ни слова.

Карно. Кто обвиняет всех, не обвиняет никого. Скажи, кого ты подозреваешь?

Сен-Жюст. Тебя, Карно, и весь этот сброд из военного министерства, четыре сотни чинуш, мужчин и женщин, завязанных крикунов и развратников, которыми командуют бывшие дворяне! Тебя, Баррер, тебя, фронт на красных каблуках...

Баррер (*смеясь*). И, добавь, в красном колпаке.

Сен-Жюст. Тебя, чьи канцелярии на улице Черути стали рассадником щегольства и наглости, приютом монархистов, тебя, который пригревает в канцелярии иностранных дел чиновников-немцев да еще сажает их начальниками.

Баррер. Я ручаюсь за своих щеголей.

Колло (*насмешливо*). И за своих щеголих, Анакреон?

Входит Кларисса, молоденькая секретарша Баррера, и подает ему новую пачку бумаг для подписи.

Баррер (*подписывает бумаги, берет ее за подбородок и отпускает*). Вот за эту я ручаюсь.

Кларисса выходит.

Благодаря ей нам удалось изобличить Эро.

Билло (*недоверчиво*). Она предаст одного, чтобы вызволить других. Она выщиплет тебе все перья.

Баррер (*улыбаясь*). Она мое перо.

Колло. Вернее, твоя перина.

Сен-Жюст. После поговорите о своих грязных похождениях. Ваш разврат — оскорбление для нищего, голодного народа. Мы здесь находимся на посту, мы — слуги Нации и ей лишь обязаны дать отчет. Во всех ваших канцеляриях и даже здесь, в самом Комитете, царит преступный беспорядок, безделье, хаос, а расходы громадные. Бумаги теряют или выкрадывают. Это гнездо предателей. Я требую чистки канцелярий. И начать надо, Карно, с твоих людей, с твоего министерства, там полно контрреволюционеров.

Карно. Ты с ума сошел! Эти люди помогают нам ковать победу.

Сен-Жюст. Если бы мы с Леба не находились при армии и не противодействовали им, они помогли бы нашему поражению.

Карно. Ты ничего не смыслишь в военном деле и не имеешь права судить о нашей стратегии. Пока я возглавляю военное министерство, я один всем распоряжаюсь. Мы посылаем тебя в армию только для того, чтобы проверять выполнение наших приказов. Но оспаривать их ты не вправе, так же как любой из моих офицеров.

Сен-Жюст. «Твоих» офицеров? Ты что, Цезарь?

Карно. Я скорее стал бы Брутом, если бы среди нас появился Цезарь. Но что до тебя, я спокоен: Цезаря из тебя не выйдет. Ты просто школяр, который вызубрил трагедию по указке своего учителя-педанта.

Баррер. Перестаньте ссориться! Теперь не время. Наши Комитеты, сама Революция в опасности, кругом заговоры.

Карно. Однако топор поработал на славу.

Билло. Вот именно. Мы расправились с гидрой мятежа, но обрубки ее — жирондисты, эбертисты, дантонисты — извиваются в бешенстве, точно разрубленные змеи, и пытаются вновь срастись.

Колло. Этим пользуются враги; за ними тучей тянутся фельяны, роялисты, попы и буржуа — все, кто одержим бешеной ненавистью к Революции.

Баррер. И всюду рука Англии, ее интриги и золото. Всюду прокрались ее тайные агенты — в наши крепости, где они взрывают арсеналы, в наши клубы, где они разжигают вражду. Английские биржевые маклеры,

банкиры, разные темные дельцы добиваются падения курса денег, играют на понижение, обрекают народ на голод и стараются обратить против нас ослепленных страданиями людей.

Сен - Жю ст. Это наша вина, тяжкая вина. Признаем ее. Мы слишком часто забываем, в чем наша главная цель. Она в том, чтобы народ был счастлив. Нечего хвалиться, что вы создали Республику, если она не принесла счастья народу. Отнять у народа радость — значит отнять у него родину, республиканскую гордость, любовь к Свободе. Вам говорили: «Свобода или смерть!» А я говорю вам: «Счастье народа или смерть!»

Карно. Пустые слова! В чем оно, счастье? Кто знает?

Сен - Жю ст. Да, счастье — идея новая для Европы. Наша задача исторгнуть из земли это пламя.

Билло. Каким путем?

Сен - Жю ст. Путем экспроприации угнетателей. Раздайте беднякам имущество тех, кто угрожает Свободе. Я требую ввести в действие Вантозовские декреты. Вам не удастся положить их под сукно. Обездоленные — это великая сила земли, они — ее хозяева, за ними слово.

Карно. Они не хозяева. Не надо нам хозяев. Ни тех, ни других. Мы управляем на благо всех граждан без различия.

Сен - Жю ст. Вы управляете на благо тех, кто богат.

Карно. Для того чтобы управлять, нужны деньги. Мне необходимы деньги на войско, на порох, на боевые припасы, на провиант. Если ты изгонишь из Франции богатей, кто даст мне денег? Уж не твои ли оборванцы?

Сен - Жю ст. Они дают тебе свою кровь — это их единственное достояние. Уделите им долю в общественном богатстве, во владении землей. Приобщите их к Революции. Тогда никакие силы не смогут пошатнуть Республику. Какое безрассудство! Для того ли Революция отняла привилегии у знати, чтобы даровать привилегии богатству? Камбон потворствует богачам. За последние четыре года одни только богачи извлекают выгоду из жертв, которые приносит Нация. Новая аристократия торгашей, более хищная, чем прежняя аристократия, дворянская, присваивает все наличное сырье, прибирает

к рукам торговлю и промышленность, расхищает богатства земли и сокровища ее недр, хлеб, леса и виноградники. И все это под нелепым предлогом свободы торговли. А вы, вы позволяете им грабить, вы берете под покровительство злейших врагов и приносите им в жертву народ, нашего единственного друга!

Баррер. Берегись! Ты проповедуешь идеи бешеных, мятежников, которых мы разгромили с согласия и одобрения Робеспьера.

Билло. Мы громили их, но не их идеи! Сен-Жюст, я разделяю твои взгляды на этот счет! Мы боролись лишь против преступного применения этих идей, против честолюбия бешеных, кто бы они ни были, предатели или одураченные простаки, против тех, кто угрожал самим устоям Республики. И поверь, мне это было нелегко!

Баррер. Опасность грозит слева, опасность грозит справа, прямой путь пролегает по узкой тропе.

Сен-Жюст. Зато она ведет к Революции. Революция еще не завершена.

Карно. Но ведь мы совершили ее дважды. Революцию четырнадцатого июля и Революцию десятого августа.

Сен-Жюст. Только третья идет в счет. Когда же мы ее начнем?

Входит Робеспьер.

Робеспьер. Мы начнем ее, когда настанет время. Время еще не настало.

Сен-Жюст. А когда оно наступит, Максимилиан?

Робеспьер. Когда народ поймет, в чем состоит его долг.

Сен-Жюст. А буржуазия поняла?

Робеспьер. Я не жду, что враги без принуждения, по доброй воле, станут уважать закон. Ваше дело их принудить. Но наши друзья из народа должны подавать пример справедливости. Они этого не делают. Мы силимся обеспечить народу максимум заработка. Это требование не соблюдается. Демагогические надбавки развратили народ. Люди требуют еще более высокой оплаты. Они забывают, в каком трудном положении находится отчизна, вынужденная отражать нашествие неприятеля. Более того,

они пользуются нашими затруднениями. Они скорее готовы отказаться от работы, чем согласиться с установленной платой. Пекари, грузчики в порту, сельские рабочие, оружейники бросают работу и предъявляют всё новые требования, нанося этим ущерб государству. Предатели! Пора их заставить одуматься. А если будут упорствовать, — предать их суду Революционного трибунала.

Билло. А ты не находишь, что у нас и так достаточно врагов? Вряд ли разумно превращать во врагов наших друзей. А народ ведь, несмотря ни на что, наш единственный друг. В этом Сен-Жюст прав.

Робеспьер. Мне ли не знать этого? К чему говорить о своих страданиях? Не я ли связал свою судьбу с судьбой народа? Не в нем ли я находил утешение, когда меня жестоко преследовали, не черпал ли я новые силы в постоянном общении с ним? Но теперь надо иметь мужество признаться: народ отдаляется от нас, он разочарован, он безучастен к нашей борьбе, можно подумать, что он затаил на нас злобу.

Билло. Он не может простить нам казни своего любимца Эбера.

Робеспьер. Эбера мало было казнить! Он развратил наш народ. Мы не в том должны раскаиваться, что уничтожили Эбера, а в том, что нанесли удар слишком поздно: яд демагогии уже успел проникнуть в душу народа. А теперь нелегко искоренить отраву. И, однако, необходимо произвести эту мучительную и опасную операцию. Мы были бы не друзья, а враги народу, если бы не карали с беспощадной суровостью всякое нарушение долга перед родиной. Не думаю, чтобы Сен-Жюст проповедовал слабость и близорукое попустительство, когда речь идет о тех, кого он с полным правом назвал «нашим единственным другом».

Сен-Жюст. Я не говорил, что мы можем позволить нашим друзьям поддаваться безрассудной анархии и тем губить наше общее дело. Они не понимают, что это и их кровное дело. Надо иметь смелость спасти людей наперекор им самим. Чтобы восстановить дисциплину, я сам возил гильотину по фронтам действующей армии. Если

мы хотим победы, надо всю Францию превратить в военный лагерь.

Билло. А завтра страна окажется в руках военной диктатуры? Ну нет! Когда у нас двенадцать армий стоят под ружьем, нужно искоренять не только измену и анархию: самая грозная опасность — честолюбие полководца, возглавляющего эти армии. Вот зло, которое сгубило все республики! Марий не лучше Суллы. Пока я жив, диктатору не бывать!

Робеспьер. Разве мы говорим о диктаторе? Мы признаем только диктатуру добродетели и никакую иную. Нас губит испорченность нравов, продажность. Она проникла в недра Республики, она просочилась до самых корней. Признаемся же в этом! Вспомните, чем вдохновлялся у нас революционный порыв: разве не чудовищным призывом «обогащайтесь», призывом буржуазии, которая разграбила имущество дворян и духовенства? Мало того, что роскошь, возвращенная на нищете народной, являла собой ужасное зрелище. Те самые, кому было поручено бороться с развратителями и развращенными, все эти проконсулы в провинции, вроде вашего Фуше, которые хвалились, что несут беднякам «подлинную революцию», они-то и развратили народ. Ведь это они яростно ополчились на нравственные устои, на благотворительную веру в божество и в бессмертие души.

Билло. Не верю я этому. Уж не прикажешь ли служить мессу?

В кресле на колесах ввозят Кутона.

Кутон (*насмешливо*). Отчего бы тебе и не отслужить мессу, гражданин Билло? Ты ведь был священником. (*Обращаясь к тому, кто катит кресло.*) Эй, Катон, осторожнее. Ты так меня толкаешь, словно хочешь прошибить стену тараном.

Баррер (*шутливо*). Ему мерещится, будто он все еще берет приступом Лион.

Билло. Ты попрекаешь меня, Кутон, поповской рысью. Я давно ее скинул, а вот Робеспьеру не так-то легко вывернуть наизнанку свою поповскую душу.

Робеспьер (*пожимая плечами*). Я не терплю попов, мне не нужна церковная религия. Но я утверждаю, что

атеизм — это роскошь, доступная лишь аристократам. Бедняки, честные люди, те, кому приходится вести повседневную жестокую борьбу, мучительную и тщетную борьбу с человеческой злобой и нищетой, ищут опоры в мысли о провидении, которое охраняет угнетенную невинность и карает торжествующее преступление. Мы должны укреплять в них эту надежду, ведь она помогает им жить, как в свое время помогала жить и мне (я не стыжусь в этом признаться). Все, что целительно, все, что дает народу силу жить, — это и есть истина. Горе тому, кто убивает веру в сердце народа!

Б и л л о. Если сердце народа настолько слабо, что возлагает заботу о справедливости на какого-то идола, то наша обязанность перековать ему сердце. Мы научим его понимать, что народ, сам народ должен установить справедливость на всей земле. Революция — вот наше божество.

Робеспьер. Если Революция берется заменить собой божество, пускай она выполнит его предназначение, пусть установит царство добродетели! Пускай беспощадно пресекает беззакония проконсулов, которые, под предлогом защиты Революции, позорят ее грабежами, распутством и жестокостью.

Баррер. Мы уже отозвали с постов Тальена, Барраса, Матьё Реньо, Фрерона, Фуше, Карье... Довольно с тебя?

Робеспьер. Надо привлечь их к суду.

Баррер. И привлечем.

Робеспьер. Не верю. Вы не дадите огласки делу.

Баррер. Пойми, Робеспьер, не в наших интересах озлоблять этих деятельных людей: пусть они даже и виновны в превышении власти, зато честно послужили Республике в годину опасности. Для чего разглашать во всеуслышанье те прискорбные злоупотребления, которые, быть может, явились залогом их побед? Нечего поминать грехи прошлого. В делах общественных в счет идет лишь настоящее.

Робеспьер. Настоящее отравлено ядом прошлого. Рана загноилась. Надо очистить ее.

Баррер. Остерегайся беречь рану. Ты сам сказал,

что народ Парижа не может нам простить ареста Шометта и казни эбертистов. Люди перестали нас понимать. Они не ропщут открыто, но охладели и отвернулись от нас. Всюду глухое недовольство.

Карно. А главное, усталость. Все измучены вконец. За четыре года ни минуты отдыха!

Билло. А мы-то, разве мы отдыхали?

Карно. Однако мы обязаны держаться и поддерживать в народе бодрость духа вплоть до победы.

Баррер. Да пощадите вы людей, дайте им передышку, довольно смущать их умы!

Колло. Не надо новых процессов, не надо раздоров в рядах республиканцев.

Робеспьер. Ради спокойствия Нации необходимо, чтобы убийцы и грабители дали отчет в своих проступках.

Колло. На кого ты намекаешь? На Фуше? На Карье? Я их тебе не выдам. Клянусь честью, они спасли родину.

Робеспьер. В Лионе ты был сообщником Фуше.

Колло. Уж не в меня ли ты метишь?

Кутон. Нет, Колло, никто из нас не сомневается в твоей республиканской честности. Но ты сам знаешь, что твой приятель первый предал бы тебя, если бы нашел это выгодным, так же как он предал одного за другим всех своих прежних союзников — короля, священников и нантских купцов.

Колло. Выдать врага отнюдь не преступление. Он работал для Республики, не жалея сил.

Билло (указывая на Робеспьера). Я-то знаю, Колло, чего он не может ему простить: что Фуше предал господ бога, низвергнутого самодержца... Ведь Робеспьер взял его под свое высокое покровительство, так же как всех этих жаб из Болота, которых он пригрел на своей груди. Нет, мы не выдадим ему Фуше.

Робеспьер. Погодите, придет день, когда он заставит вас в этом раскаяться.

Билло. А ты не слишком-то доверяйся своим сторонникам в Конвенте, всем этим лжецам и трусам, бессловесным рабам твоего серала.

Робеспьер. У меня нет других сторонников, кроме честных людей.

Билло. Ну, в таком случае долго ты не продержишься.

Робеспьер. Я и не рассчитываю на это, Билло. А ты со своими сторонниками думаешь продержаться дольше?

Кутон. Мы правим Республикой, но кто из нас уверен в завтрашнем дне?

Сен-Жюст. Наш день недолог. И пусть его сияющий свет, угасая, указывает путь человечеству на многие века!

Кутон. Нас слишком мало, и нам отпущено слишком мало времени. Кому это знать лучше меня, — ведь я уже наполовину мертвец. *(Показывает на свои парализованные ноги.)* Нам некогда спорить. Отбросим в сторону все, что нас разделяет. Объединим наши усилия, вместо того чтобы нападать друг на друга. Силы каждого из нас в распоряжении Республики. Пускай столкновения между нами неизбежны — не будем считаться обидами! Мы готовы в любой час пожертвовать жизнью. Что нам стоит пожертвовать своими привязанностями и ненавистью ради единения, ради того, чтобы укрепить дело Революции! С нами или без нас, или вопреки нам, пусть победит Революция!

Билло и Карно. Да победит Революция!

Каждый словом или жестом поддерживает этот возглас.

Робеспьер. Мы — ничто, Революция — все!

Все пожимают друг другу руки.

Колло. Время позднее. Скоро два часа ночи. А такой день, как сегодня, можно считать за два. Пора спать.

Карно. Кто из нас несет дежурство?

Сен-Жюст. Сегодня моя очередь, вместе с Баррером.

Робеспьер. Прощайте, друзья.

Все выходят, кроме Сен-Жюста и Баррера.

Баррер. Давай ложиться. *(Укладывается на полу между столами.)*

Сен-Жюст. Прежде всего потушим лишние свечи. Довольно и одной. *(Задувает свечи.)*

Баррер. Жесткое ложе, нечего сказать!

Сен-Жюст. Дай я сверну тебе свой плащ вместо подушки.

Баррер. А ты сам?

Сен-Жюст. Я сплю, подложив руку под голову. Я ведь старый солдат. *(Ложится на полу неподалеку от Баррера.)*

Баррер. Тебе хочется спать?

Сен-Жюст. Сон — привычка мирного времени. На войне от нее отвыкаешь.

Баррер. Ну, а мне спится хорошо только с Клариссой.

Сен-Жюст. С твоей секретаршей? А она не обижается на это?

Баррер. Ей не приходится на меня обижаться. Но после богослужения хорошо соснуть на алтаре, пока звонарь не зазвонит к утрени.

Сен-Жюст. Мы назначим тебя звонарем в Телемское аббатство. Помнишь старика Рабле?

Баррер. Я бы не прочь перечитать при свете этой свечи благочестивый устав ордена Телемитов.

Сен-Жюст. Я помню его наизусть. *(Читает по памяти.)* «Вся жизнь их размерена была не по закону, не по правилам либо уставам, но по их доброй воле и свободному выбору. Подымались с постели, когда взбредет в голову, пили, ели, работали, спали, когда придет охота; никто их не будил, никто не приневоливал...»

Баррер. Увы, увы! Бедные мы подневольные, изгнанные из рая!

Сен-Жюст *(продолжает)*. «...никто не приневоливал ни к питью, ни к трапезе, ни к иному прочему. По-неже так положил Гаргантюа. В уставе их было одно лишь правило:»

Баррер и Сен-Жюст *(хором, с шутливой торжественностью)*. «Делай, что хочешь!»

Занавес.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Занавес падает и тут же подымается снова. Видно тесное помещение, вроде узкого коридора между шкафами книгохранилища и перегородкой, отделяющей от библиотечки зал заседаний Комитета общественного спасения. Коллено, сидя на табурете, пишет, держа бумаги на коленях. За перегородкой слышны голоса: Сен-Жюст декламирует Рабле, Баррер со смехом подсказывает, когда Сен-Жюсту изменяет память.

Голос Сен-Жюста. «Ибо люди свободные, высокородные, просвещенные, обращающиеся в высшем обществе одарены врожденным чутьем, которое побуждает их к добрым поступкам и отвращает от порока: именуется же это чутье честью...»

Голос Баррера (*подхватывает*). «Но ежели жестоким насилием и принуждением они принижены и порабожены, то их благородное стремление, свободно влекущее их на стезю добродетели, обращается на то, чтобы свергнуть и сбросить ярмо рабства...»

Голоса Сен-Жюста и Баррера (*вместе*). «Ибо мы всегда тянемся к тому, что запрещено, и питаем вожделение к тому, в чем нам отказано!..»

Пауза.

Голос Баррера (*со вздохом*). Ах, как жизнь прекрасна! Не выразишь словами!

Оба замолкают. Во время их беседы приотворяется потайная дверца, ведущая в книгохранилище, и просовывается голова Клариссы, молодой секретарши Баррера. Коллено прикладывает палец к губам: «Тс, тише!» Они замирают на несколько мгновений, прислушиваясь к голосам Сен-Жюста и Баррера за стеной, пока те не умолкают.

Кларисса (*шепотом*). Все тихо.

Коллено (*так же*). Да... Должно быть, уснули. (*Передаст Клариссе свои записки.*)

Кларисса. Межан переправит бумаги Дантрегу. В конце недели они будут доставлены Конде. Через четверть часа уезжает Сен-Лоран.

Коллено. Паспорт у него есть?

Кларисса. Межан изготовил ему фальшивый паспорт.

Коллено. Ты слыхала, что они перехватили последнее донесение?

Кларисса. Это мы сами им подсунули, по приказу Дантрега, чтобы посеять среди них недоверие.

Коллено. Однако они помирились.

Кларисса. Только на словах! Их всех терзает подозрение. Каждый следит за соседом. Мы прикончим их всех, одного за другим. *(Протягивает Коллено бутылку вина и еду.)* Теперь поешь и ложись спать.

Коллено *(с набитым ртом)*. Всех прикончим!

Кларисса затворяет дверь и скрывается в книгохранилище.

Занавес.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У Фуше, на улице Сент-Оноре, № 315, четвертый этаж. 18 жерминаля (7 апреля), около полудня. Убогая комната, голые стены, грязные занавески на окнах, жалкая постель, хромоногий столик, два соломенных стула. У детской кроватки сидит женщина (ребенка не видно). Наружная дверь открывается. Входит Фуше. Бесшумно закрывает дверь, на минуту задерживается на пороге. Женщина поднимает голову, оборачивается.

Фуше — старообразный человек 35 лет, пысокий, тощий, костлявый, слегка сгорбленный, прямые, редкие, рыжеватые волосы с проседью, бледное лицо, пронзительный взгляд, сжатые губы. Одет в тесный, поношенный, темный сюртук.

Фуше. Ну как?

Жанна Фуше. Ну как?

Оба задают вопрос одновременно. Супруги обмениваются тревожным взглядом, но ни голосом, ни жестом не выражают волнения. Видно, что Жанна забита и затравлена судьбой. Фуше не привык обнаруживать своих чувств.

Фуше. Как дочка?

Жанна. С тех пор как ты ушел, она даже не шевельнулась. Совсем ослабела.

Фуше. Ее утомило долгое путешествие.

Жанна *(вопросительно глядя на Фуше)*. А ты, что ты делал с утра?

Фуше *(опускается на стул)*. Ничего. Ничего нельзя сделать.

Жанна. Ты видел наших друзей в Конvente?

Фуше. Друзей? У Жозефа Фуше не осталось больше друзей.

Жанна. Где же они?

Фуше. Их уже нет на свете. За десять месяцев, пока нас тут не было, в Париже шла такая резня! В Конvente больше сотни мест пустует. Настоящее кладбище. Как еще Робеспьер там крестов не поставил!

Жанна. Жозеф, не глумись над крестом.

Фуше. Глупая, ты же не веришь в бога!

Жанна. Кто знает... А может быть, он нам мстит...
(Показывает на колыбель с ребенком.)

Фуше (продолжает, пожав плечами). Я знал, что не встречу в Конvente жирондистов, хотя там до сих пор в ушах звенит от лая этих дворовых псов, которые ворочались, рычали, грызлись, искали блох... И я знал, еще до отъезда из Лиона, что эбертисты разгромлены; я вовремя повернул руль и обрубил канат, которым был привязан к их гибнущему кораблю... Но я ошибся в расчете. Я делал ставку на победу Дантона. А он, глупец, сам попался в западню. Да, я недооценил Робеспьера. Ведь хозяин-то он... пока что он...

Жанна. Ты оскорбил его. Мы погибли.

Фуше (небрежным тоном). Пустяки, проиграть партию — не значит проиграть совсем. Нужно только продолжать игру. И самое главное — выиграть время.

Жанна. Они придут и арестуют тебя.

Фуше (тем же тоном). У нас есть время вывернуться. Они еще заняты, им нужно покончить с охвостом Эбера и Дантона, подавить тюремный заговор. Завтра или послезавтра настанет черед Шометта.

Жанна. Ты был с ним заодно!

Фуше (сухо). Был когда-то. Теперь он погиб.

Жанна. А если он потащит тебя за собой?

Фуше. Он этого не сделает. Помочь я ему ничем не могу. А он не из тех, кто, погибая сам, старается без пользы погубить и другого. Он честный малый. Он никого не подведет.

Жанна (с горечью). Ты бы, конечно, поступил иначе.

Фуше (спокойно). Конечно. Я защищаю свою

жизнь, твою и жизнь нашего ребенка. (*Наклоняется над колыбелью*). Она не шевелится. Нужно все-таки покорить ее.

Жанна. Я дала ей немного молока. Она с трудом глотает по капле.

Фуше. Дай мне... Я попробую. (*Опускается на колени перед колыбелью и заботливо, терпеливо поит ребенка с ложечки.*) Пей, моя милочка... моя маленькая Ньевра... сокровище мое!..

Жанна. Ты не сказал мне, что делал в Конvente.

Фуше (*встает и старательно отряхивает пыль с колена*). Кругом одни тени, ничего с ними не сделаешь. В них умерло все живое, кроме страха. Когда я хотел подняться на трибуну и прочесть им отчет о моей деятельности в Лионе, они растерялись, они отослали мой доклад в Комитет, Робеспьеру. И первый, кто поспешил это предложить, был Бурдон из Уазы, а он, я знаю, до смерти ненавидит Робеспьера. После двойного удара, который сокрушил эбертистов и дантонистов, они там совсем, как пришибленные. Да и кто там остался? Обломки прошлого — Сийес, Дюран-Майян, Буасси д'Англа. Они сгрудились все, как стадо баранов, жмутся друг к другу, сгорбились, съежились, животы подвело, сердце сжалось от страха. А посмотришь на них, отворачиваются, глаза отводят. Их так долго заставляли молчать, что они и говорить-то разучились. Точно в пещере Полифема — гадают, чья очередь, кому сегодня быть съеденным, и стараются вытолкнуть вперед любого вместо себя. При виде меня их единственная мысль была отдать меня на съедение — я сразу это понял.

Жанна. Мы погибли... погибли...

Фуше. Да нет, голубушка, ничего! Зачем отчаиваться, подождем, когда беда действительно придет. Она еще далеко.

Жанна. На что ты надеешься? Ведь какую ненависть ты возбудил против себя!.. Тысячи жертв в Лионе... кровь... развалины...

Фуше. Пожалуй, я действовал там слишком круто. Но, я знаю, здесь они довольны плодами моего труда. Теперь они не прочь были бы свалить на меня одного всю тяжесть ответственности за те неизбежные жестокости,

которые сами же приказали мне совершить. Мне следовало бы вспомнить, как некий итальянский принц приказал верному слуге избавить его от опасного соперника, а затем велел четвертовать слугу на городской площади, дабы показать добрым подданным, что совесть его чиста, а руки незапятнаны. Самый осторожный человек недостаточно осмотрителен. Если затеваешь рискованное дело, постарайся впутать туда и других. Я человек мягкий и доверчивый, но с годами становишься умнее. В следующий раз я не оплошаю. Правда, я и теперь принял кое-какие меры предосторожности. В Комитете немало людей, которым совсем не улыбается подымать историю о моем управлении в Лионе. Я ничего не подписывал один, без Колло, и даже, по счастливой случайности, при особенно важных решениях я скромно отступал, а Колло подписывался первым. *Scripta manent...* Что написано пером... Я сохранил бумаги на всякий случай.

Жанна. Это еще опаснее. Они постараются отнять у тебя эти бумаги.

Фуше. Я избавлю их от хлопот. Я сам представлю бумаги в Комитет. *(Направляется к двери.)*

Жанна. Куда ты?

Фуше. К нашему соседу, Максимилиану.

Жанна *(всплеснув руками)*. Ты сам идешь в логово волка!

Фуше. В старых сказках волк не всегда остается победителем.

Жанна. Но он ненавидит тебя!

Фуше. В политике не место чувствам. Если верно то, что говорят о Робеспьере, он, как человек государственный, укротит свою желчь.

Жанна. Ты сам этому не веришь.

Фуше. По правде сказать, я сомневаюсь, однако посмотрим.

Жанна. Он оскорбит тебя.

Фуше. Не так-то это легко. В игре только одна цель — выиграть. Я не обращаю внимания на оскорбления... До свиданья, моя милая, до свиданья, моя цыпочка! *(Целует ребенка, идет к выходу, берется за ручку двери.)*

Жанна. Ах, я совсем забыла... Заходил Карье. Спрашивал, когда можно с тобой повидаться.

Ф у ш е. Пока еще рано, я и сам не знаю. Там видно будет.

Ж а н н а. Ему, как и тебе, угрожает опасность со стороны Робеспьера.

Ф у ш е. Вот именно! Все зависит от моей беседы с Максимилианом. Нынче вечером я буду знать, кем из двух придется пожертвовать.

Ж а н н а. Жозеф! И ты еще можешь колебаться между врагом и союзником?

Ф у ш е. Я и не колеблюсь. Что бы ни было, я твердо решил не жертвовать собой. *(Выходит.)*

З а н а в е с.

КАРТИНА ПЯТАЯ

У Робеспьера. В тот же день, полчаса спустя. Маленькая комната во втором этаже, в окно виден двор и сарай. Камин. Кровать орехового дерева с полотняным синим пологом, затканым белыми цветами. Складной письменный стол. Несколько соломенных стульев. Шкаф с книгами. Справа и слева двери. Правая ведет в комнату Симона Дюпле, откуда выход на парадную лестницу, а затем в подъезд на улице Сент-Оноре. Левая дверь ведет в спальню госпожи Дюпле, отделенную от спальни Робеспьера умывальной комнатой; отсюда выход на деревянную узкую лестницу, спускающуюся во двор. Робеспьер вдвоем с Симоном Дюпле, по прозванию «Деревянная нога». Симон сидит за столом, заваленным грудой писем и бумаг. Робеспьер ходит из угла в угол по тесной комнате. Под столом лежит датский дог, по кличке Браунт.

Молодой Дюпле *(приотворив левую дверь, говорит запыхавшись)*. Максимилиан! Во дворе гражданин Фуше, он хочет с тобой поговорить.

Робеспьер. Я не желаю его видеть. Для него моя дверь закрыта.

Молодой Дюпле исчезает.

Робеспьер. Симон, ты разобрал сегодняшнюю почту?

Симон. Разобрал, немало пришлось потрудиться. *(Указывает на груду писем.)* Экие болтуны! Брызжут чернилами, как слюной. Впрочем, не беда, лишь бы это шло на общее благо! Послушай-ка, что пишут твои сто-

ронники из Болота — Дюран-Майян, Сийес, Буасси и жиро-
ндисты, которых ты спас:

«Дорогой наш коллега, пусть твое бескорыстие и поро-
жденная им славная независимость суждений возвеличат
тебя над всеми прочими республиканцами... Вставай и
впредь на защиту слабого, не давай пощады предателям
и заговорщикам... Мы будем хранить глубокую призна-
тельность к тебе до последнего биения сердца».

Робеспьер (*махнув рукой, прерывает чтение*).
Знаю... Знаю... Трясутся там от страха в своем Болоте.
Не будь меня, давно бы какая-нибудь цапля проглотила
их живьем. Никто бы и не заметил исчезновения этих
людей, как не замечали их самих при жизни. Существа без
цвета, без запаха, без вкуса. Но не злые. Пока они со-
знают, что их судьба связана с моей, они могут быть по-
лезны Республике. Вот и приходится беречь таких.

Симон. Вспомни басню, как некий простак отогревал
на груди змею. Остерегайся Сийеса.

Робеспьер. Из всей моей бессловесной команды
один только Сийес способен мыслить. Он способен це-
нить порядок. И поможет мне восстановить его.

Симон. Другие корреспонденты, попроще, просят
тебя быть крестным отцом. В трех семействах назвали
младенцев Максимилиан, Максимилиана и Робеспьер.
А у четвертого так дали сыну имя «Неподкупный Ма-
ксимилиан»...

Робеспьер. Глупцы! Когда сын вырастет, он пер-
вым делом постарается стереть с себя это клеймо.

Симон. Вот объяснение в любви от какой-то девицы.
Вот юноша посылает прядь волос своей возлюбленной
с просьбой благословить их союз. Вот священник предла-
гает поминать твое имя в церковных молитвах.

Робеспьер. Плут и провокатор! Это Вадье подска-
зал ему, чтобы погубить меня.

Симон. Да нет же, нет. Он от чистого сердца. Ка-
ждый по-своему выражает любовь к тебе. Одни в сти-
хах, другие в песнях, священники в акафистах.

Робеспьер. А убийцы прячут кинжал в букете
цветов.

Симон. Убийцы? О ком ты говоришь? Все твои
враги обезоружены.

Робеспьер. Не далее как сегодня в Комитет явился Лежандр, насмерть перепуганный; он показал анонимное письмо, где какой-то тайный наш противник, разжигая его честолюбие, призывает вооружиться парой пистолетов и застрелить меня и Сен-Жюста прямо в Конвенте. И ты думаешь, этот презренный трус, бывший друг Дантона, не согласился бы убить нас, если бы не боялся быть уличенным? На свете больше трусов, чем убийц. В этом наше спасение. Но гордиться тут нечем.

Симон. Народ за тебя стеной, мы грудью встанем на твою защиту.

Робеспьер. Вы будете крепко спать, как ученики Иисуса в Гефсиманском саду.

Симон. Максимилиан, как ты можешь сомневаться?

Робеспьер. В тебе, Симон, я не сомневаюсь. Все в этом доме преданные и верные друзья. Но ты знаешь лучше всякого другого — ведь ты каждый день читаешь вместо меня донесения полиции, у тебя и теперь лежит их целая кipa, — ты знаешь сам, как народ утомлен, разочарован, ненадежен, как легко его смутить нелепыми подозрениями и подлой ложью, которую распускают коварные враги. Когда я вышел на улицу после месяца болезни, я был потрясен той переменной, которая произошла в народе. Наши враги сеют недовольство. И трудно решить, какой враг опаснее, — тот, что ратует за королевскую власть, или тот, что заведомо лжет, расточая посулы, насаждая продажность и злоупотребляя террором. Стоило ли казнить Эбера? Его яд остался. Для низких людей Революция только добыча. Лишите их наживы — они тотчас покажут клыки, отойдут в сторону, предадут нас. Кто является истинной опорой Республики? Горстка людей. Их так мало, и все их могущество в силе слова.

Симон. Но ведь это самая благородная, самая возвышенная сила.

Робеспьер. Я узнал ей цену в Конвенте. Не очень-то надежна эта сила. Я видел там страх и покорность побитого пса, трусливого и хитрого, с которого нельзя ни на минуту спускать глаз, иначе он того и гляди вцепится в вас исподтишка. Славный мой пес Браунт! *(Ласково трогает его ногой.)* Прости, что я сравнил собак, этих преданных друзей, с людьми без чести и совести...

Но горше всего видеть, как вокруг нас, по всей Франции, распространяется гнусная зараза продажности. Да будут прокляты деньги! Это проказа на теле Республики. Она разъедала людей, которым я верил всей душой. Позорный скандал в Ост-Индской компании обнажил эти язвы. Напрасно мы вырезаем один гнойник за другим — повальная болезнь косит всех направо и налево; и те, кого мы посылаем на борьбу с ней, заражаются сами. Первыми заболевают лицемеры, которые усерднее других выставляют напоказ свою гражданскую доблесть. Под флагом террора наши посланцы в провинциях бесстыдно торгуют революционным правосудием: продают помилования, отменяют приговоры, грабят имущество... Фуше, Тальен, Фрерон, Баррас... негодяи, запятнавшие себя кровью и грабежами... Вот и сейчас в Воклюзе орудуют черные банды, наемные Ровером с помощью Журдана, этого чудовища, версальского головореза, который вырвал сердце у Фулона, — они там скупают за бесценок государственные земли. И в эту шайку разбойников, по донесениям, полученным мною, входит более пятисот человек, занимающих общественные должности... Страшно подумать! Республика в опасности — республиканцы продают ее с торгов!

Симон. Надо покарать их.

Робеспьер. Надо покарать их... Но это не в наших силах! Когда не нужно, трибуналы щедро проливают кровь. Но как только дело доходит до этих подлецов, чьи-то могущественные руки удерживают занесенный топор. У злодеев оказываются защитники в самом Комитете. Бесполезно предавать суду этих богачей, они всегда изыщут способ обойти закон. Одних бедняков приносят в жертву. Следовало бы провести чистку обоих Комитетов и перестроить все судопроизводство.

Симон. Так сделай же это.

Робеспьер. И сделаю. Но я чувствую, Симон, что это и погубит меня. Они обвинят меня в стремлении к диктатуре. Оружие древнее и обоюдоострое: его создали защитники Свободы для борьбы с тиранами; а тираны пользуются им против защитников Свободы. Вот уже два года контрреволюция применяет это оружие против меня. Хитрый дьявол Питт наводнил всю Францию воззваниями, где говорится о моих солдатах и моей армии,

как будто я король Республики. Они стараются посеять тревогу, восстановить против меня добрых граждан и разжечь ревнивые подозрения моих товарищей.

Симон. Мелкие огорчения неизбежны — такова расплата за твой высокий моральный авторитет. Не унывай! Ты должен радоваться и гордиться. Твоя сила в бескорыстии, твоя цель — благо Нации. Ты победишь, как мы победили при Вальми. Так велит разум. Разум всегда побеждает.

Робеспьер. Славный ты юноша!

Въезжает Кутон в кресле на колесах.

Кутон. Максимилиан, я встретил у твоих дверей Фуше. Он, кажется, просил его принять, а ты отказался.

Робеспьер. Это правда.

Кутон. Его не так-то легко спровадить. Он все еще ждет, мокнет там у подъезда, шагает взад и вперед под дождем.

Робеспьер. Я презираю его в такой же мере, как грязь, которую он топчет. Будь моя воля, я бы втоптал его в эту грязь.

Кутон. Это не в твоей власти — во всяком случае теперь. Господин Фуше принял все меры предосторожности. У него есть покровители в Комитете.

Робеспьер. Ты знаешь лучше всякого другого, какая цена их покровительству.

Кутон. Больше всякого другого я имею основание не щадить этих лионских палачей, Колло и Фуше; они отстранили меня, они свели на нет все мои попытки внести умиротворение. Но какой смысл выказывать чувства, если ты не в силах претворить их в действие? В водовороте политических событий мы не можем позволить себе роскошь личной вражды. Одно из двух — или сокрушить врага, или, если не можешь, не доводить его до ожесточения. Советую принять Фуше! Что тебе стоит повидать его, выслушать, выведать, какие у него планы, и хоть на время усыпить его подозрения...

Робеспьер. Что нового он может мне сказать? Ненавижу этого мошенника. При виде его я не смогу скрыть своего омерзения. Пускай обивает пороги, я не приму его.

Кутон. Тогда он пойдет к своей прежней поклоннице — твоей сестре Шарлотте — и будет лить слезы у ее ног. Хоть он изменил ей, она до сих пор к нему неравнодушна, ты же сам знаешь. Она прибежит и станет умолять тебя.

Робеспьер (*в тревоге*). Нет, нет, только не это! Избавьте меня от псе, умоляю вас! Бедняжка выводит меня из себя. Я не выношу ее.

Кутон. Тогда прими этого негодяя. Другого выхода нет.

Робеспьер. Ну, что ж! Придется пойти на это, раз ты так решил. Ты всегда умеешь добиться, чего хочешь, хитрец.

Кутон. Я хочу только общественного блага, а оно неразрывно связано с твоим.

Робеспьер. Хорошо, согласен. Приведите его. А ты, Кутон, останься здесь. Мне важно, чтобы ты был свидетелем нашего разговора.

Кутон. Ни за что! Я слишком хорошо знаю, что здесь произойдет — хоть и прошу тебя быть сдержанным, — я не хочу присутствовать при унижении врага и тем унижить его еще более. Зачем напрасно вызывать его ненависть? Даже если ты порвешь с ним, мне бесполезно будет сохранить связи с вражеским лагерем. Уведите меня. Я отлично все услышу из соседней комнаты...

Робеспьер. А ты, Симон, остаешься здесь.

Кутон. Было бы лучше...

Робеспьер. Я так хочу.

Симон. Я тоже. Пока ты у нас в доме, Максимилиан, мой долг охранять тебя. Я дал себе слово никогда не оставлять тебя одного с посетителями.

Кутон. Ты прав. Насколько лучше было бы, если бы так охраняли Марата.

Симон вкатывает кресло Кутона в соседнюю комнату и неплотно приотворяет за ним дверь. Возвращается к Робеспьеру, выходит в противоположную дверь. Слышно, как он свистом подзывает кого-то с улицы.

Симон (*бесцеремонно*). Эй! Эй ты, там! Гражданин, можешь войти.

Оставшись один, Робеспьер встает и оглядывает себя в зеркало. Поправляет галстук. Лицо его становится холодным, непроницаемым. Возвращается Симон. Робеспьер стоит в ожидании, облокотившись на камин, не глядя на дверь. Поспешно входит Фуше в поношенном сюртуке, застегнутом до подбородка, длинном, словно сутана, весь промокший от дождя. Он зябко потирает руки и покашливает.

Фуше. Прости, Максимилиан, что я потревожил тебя среди твоих неусыпных трудов. Но я желал, вернувшись после долгого отсутствия, поскорее дать тебе отчет в своей миссии. Меня влекла к тебе также приятная обязанность поздравить старого друга, выразить восхищение твоей борьбой против врагов Республики, твоими великими победами, твоими талантами. Я горжусь тобой больше всех, ведь я с самых первых шагов предвидел твой могучий взлет. Сколько лет прошло с тех пор?.. Помнишь!.. Пять или шесть?.. Не то это было вчера... не то давным-давно... помнишь наши незабвенные вечера в Аррасе, в коллеже Оратории, в академии Розати... И Карно был с нами... Нас роднила страсть к науке и прогрессу, наша общая вера в будущее человеческого разума. Уже тогда ты блистал среди нас своим красноречием, непреклонным нравом и чистотой. Нас восхищала в тебе доблесть античного героя, благородное стремление освободить и просветить человечество, твоя чувствительная душа. Ты остался верен себе. День за днем ты вырастал все выше, но ты не изменился.

Робеспьер. И ты не изменился. Ты всегда лгал, всегда предавал.

Фуше. Максимилиан...

Робеспьер. Ты предал бога, именем которого клялся, церковь, которой служил, избирателей, которые доверились тебе, предал все партии и всех друзей, которые имели глупость рассчитывать на тебя, предал короля, Республику, все человечество!

Фуше. Максимилиан, не будь несправедлив, не отрицай у искреннего человека права признать свои заблуждения, перейти в другой лагерь, если он видит, что истина там.

Робеспьер. Для тебя истина там, где твоя личная выгода. Ты прошел в депутаты как роялист, чтобы защищать привилегии и награбленное добро твоих сообщни-

ков, работоторговцев и корсаров из Нанта. И на другой же день ты предал их; ты потребовал казни короля, которого накануне клялся защищать, лишь только увидел, что выгоднее перейти в другой лагерь. Ты был с жирондистами, пока верил, что они прочно стоят у власти. И на другой же день отступился от них и стал эбертистом, самым отъявленным. Разумеется, лишь только прошел слух, что Эбер падет, ты отрекся от него и усердно содействовал его падению. Твоя беда в том, что ты жил в двух-трех днях пути от Парижа и осведомляли тебя скудно и с запозданием. Ты поверил в близкое падение другого человека и старался всеми средствами ускорить это падение. Но ты ошибся: этот человек цел и невредим, и он смотрит на тебя сейчас с гневом и отвращением.

Ф у ш е. Робеспьер, твои доносчики ввели тебя в заблуждение.

Робеспьер. Неужели ты думаешь, что я не знаю о твоих происках в Лионе против Кутона и меня, о кознях и подкопах, о кличке «модерантисты», которой ты нас заклеймил, о тайных сношениях с моими врагами в Конвенте, о преследовании моих друзей и агентов, о перехваченных тобою письмах? Ты думаешь, мне неизвестно, что два часа назад, прежде чем прибежать сюда, ты пытался подкупить кое-кого в Конвенте и хитростью выманить одобрение твоей миссии в Лионе, чтобы уклониться от проверки со стороны Комитета? Ты надеялся обмануть Конвент и противопоставить его Комитету. Твоя затея провалилась. И вот тебе пришлось вернуться в Комитет, к тому самому, кого ты надеялся обойти.

Ф у ш е. Нечего делать, признаюсь. Ты слишком пронырателен, Максимилиан, с тобой никакие уловки не помогут. Поверь, я не сомневался в твоём могуществе, но не подозревал, что оно так безгранично. Моя ошибка простительна. В провинции, где я пробыл около года, нет возможности быть столь же осведомленным, как ты. Зная все, уж, поверь, я бы старался ни в чем с тобой не расходиться.

Робеспьер. Неужели ты считаешь, что такой цинизм может расположить меня в твою пользу?

Ф у ш е. Я считаю тебя, Максимилиан, великим политиком; ты отлично понимаешь, что, когда ведешь армию

в бой, перед тобой единственная цель — победа; значит, надо объединять свои усилия с теми, кто лучше других способен обеспечить победу.

Робеспьер. Не потому ли ты связался с теми, кто способен принести поражение? Со всеми врагами Республики?

Фуше. С твоими врагами, Максимилиан. Только вернувшись сюда, я узнал, что они также и враги Республики. Но теперь я помню это твердо. Отныне они и мои враги.

Робеспьер. Значит, тебе придется стать врагом самому себе!

Фуше. Давай, наконец, объяснимся начистоту. Конечно, мне прискорбно, что ты не любишь меня, Максимилиан, меня это глубоко огорчает. Но мы оба не такие люди, чтобы зависеть от личных чувств, мы выше этого. Нами управляет разум, мы должны подчиняться соображениям здравой политики. В чем ты, как политик, можешь меня упрекнуть? Почему отозвали меня из Лиона? Я готов хоть сейчас дать отчет в своей миссии. Кто обвиняет меня и в чем?

Робеспьер. Я обвиняю тебя, я! И моими устами — твои бесчисленные жертвы, все, кого ты замучил, ограбил, оскорбил, погубил. Моими устами тебя обвиняет Республика, которую ты залил кровью и опозорил. Гекатомбы твоих жертв вызывают ужас во всем мире, ты нас всех запятнал кровью. Мало того, что ты навлек на нас проклятия, ты покрыл нас бесчестьем. Подлым преследованием религии и бедных простых людей, которые ищут в ней утешения, ты разжег фанатизм. Грубым глумлением над христианством, шутовским карнавальным атеизмом ты доставил повод Питту и его своре писак распускать ядовитую клевету и высмеивать нас, ты восстановил против Революции все страны, еще не вошедшие во вражескую коалицию. Чем искупить то зло, которое ты принес Республике? Можешь гордиться делом рук своих.

Фуше. Да, я горжусь своей работой. За десять месяцев я выполнил задачу четырех-пяти проконсулов. Я один управлял от имени Конвента четвертой частью Франции. Когда я уехал по вашему поручению, она пылала со всех сторон. Жирондисты, вандейцы, лионцы и англичане

окружали Францию железным кольцом, все теснее затягивали на ее шее петлю. Я, да, я помог разорвать кольцо. Я собрал, снарядил, снабдил продовольствием несколько армий, я отправил на фронт тысячи солдат — в Нант, Мэн, Канны, Лион, Тулон. Я укрепил якобинцами все канцелярии, муниципалитеты, управления в департаментах центра. Я произвел там полную революцию. Чтобы сломить сопротивление любой ценой, мне пришлось применять гильотину, интриги и подкупы. Я жестоко подавил мятеж. Но ты отлично знаешь, что Колло д'Эрбуа, твой товарищ по Комитету, участвовал в подавлении мятежа наравне со мной. Пускай эти карательные меры часто раздирали мое чувствительное сердце, я должен был сдерживать его трепет, дабы выполнить свою задачу, дабы «ценой нескольких загубленных жизней» подготовить «всеобщее счастье потомства»¹.

Робеспьер. В твоих устах самые священные слова звучат гнусно. Я знаю тебя, Жозеф Фуше. Что тебе всеобщее счастье, человечество, будущие поколения? Твои жестокости тем более омерзительны, что ты совершаешь их с ледяным спокойствием. По мне, уж лучше кровавый волк вроде Карье. Ты лицемер до мозга костей.

Фуше. В лицемерии ты большой знаток. У меня даже пропала охота возражать. Весь вопрос в том, выгодно ли для меня и тебя, для Революции, — раз, по твоим словам, ты и Революция составляете единое целое, что я готов допустить, — выгодно ли для Революции, чтобы мы с тобой примирились. Заключим мир!

Робеспьер. Никогда!

Фуше. В политике слово «никогда» не существует.

Робеспьер. Для тебя не существует ни «да», ни «нет». Хамелеон! Пока мы говорим, ты на глазах меняешь окраску.

Фуше. Я хочу только блага Республики.

Робеспьер. Благо Республики в том, чтобы не иметь с тобой никакого дела. Исчезни, сгинь с общественной арены.

¹ Подлинные слова Фуше. — Р. Р.

Фуше. Исчезнуть я всегда успею. Погоди немного.
Робеспьер. Избавь меня от твоей гнусной физиономии.

Фуше. На твое лицо мне тоже не очень приятно смотреть. Но мой разговор слишком серьезен и не терпит отлагательства.

Робеспьер. Нам не о чем больше говорить.

Фуше. То, что я хочу сказать, — не для ушей твоего жандарма. *(Указывает на Симона Дюпле, который молча присутствует при их беседе.)*

Робеспьер. У меня нет тайн от моих друзей.

Фуше. К чести твоей позволю себе усомниться в этом. При управлении государством часто необходимо, чтобы правая рука не ведала, что делает левая.

Робеспьер. Пусть моя правая рука, так же как и левая, ведают, какое презрение ты вызываешь во мне.

Фуше. Я отлично понял, что ты решил устроить мне прием при свидетелях, чтобы я вдвойне оценил эту честь... и даже удивился, что не застал у тебя Кутона, который меня опередил. Но тут же успокоился, увидев, что дверь в соседнюю комнату приотворена. Ты здесь в своей семье. Весьма признателен, что ты и меня допускаешь в семейный круг. Ну что же, раз тебе так хочется, я буду обращаться к Робеспьеру и его семье.

Робеспьер. Да, семье... У тебя, живой мертвец, семьи никогда не будет.

Фуше. Вот и ошибся, Максимилиан! Хотя я и очень беден *(показывает на свою поношенную одежду)*, но в этом я гораздо богаче тебя, у меня есть ребенок... Однако таким людям, как мы с тобой, не стоит говорить о детях. Перейдем к делу! Робеспьер, мне незачем напоминать тебе, что ты со всех сторон окружен врагами. Они скрываются повсюду, даже в числе твоих друзей. В Конвенте ты заставил всех молчать, но ты знаешь не хуже меня, что под этим молчанием таится страх и жажда мести. Даже в Комитете против тебя ведется подкоп. Самые твои успехи навлекают на тебя угрозы врагов, внутренних и внешних. Я хорошо изучил тебя. За сутки, что я провел в Париже, за эту ночь без сна и день без отдыха, я учел все силы, взвесил все возможности и вижу, что ты один способен навести порядок в хаосе и вернуть

Революцию на правильный путь. Ты хочешь и можешь этого добиться. И я готов помогать тебе.

Робеспьер. У тебя есть дело поважнее — помочь самому себе.

Фуше. Я слабый, смиренный человек, Робеспьер. Но ведь в басне голубю, если ты позволишь сравнить тебя с голубем, очень пригодилась в трудную минуту помощь муравья.

Робеспьер. Как ты смеешь предлагать мне свою помощь, когда ты олицетворяешь в политике все то, что мне ненавистно, с чем я буду бороться всеми силами, пока не очищу Республику? Ты — воплощение самого чудовищного злоупотребления террором.

Фуше. Не будем поминать прошлого. Возможно, что мне случилось ошибаться. Я старался, как умел. В то время подобные крутые меры, пожалуй, были необходимы. Теперь они уже не нужны, признаю, и ты прав, что осадил меня. Однако убрать паруса во время бури не так-то легко. И тебе очень бы пригодился на корабле сын капитана дальнего плавания. Предлагаю тебе свою помощь.

Робеспьер. А для чего? Исправить то, что ты испортил? Восстановить то, что ты разрушил? Клеймить твою грязную политику? Карать тех, кто замешан в кровавых преступлениях, твоих зловещих соучастников — Карье, Фрерона, Барраса, Тальена?

Фуше. Почему бы нет? Я не страдаю ложным самолюбием. Если я признал, что твоя политика правильна, что настало время натянуть удила, я с той же минуты готов приняться за дело; не такой я человек, чтобы отступить перед крутыми мерами, я это доказал. Самые крайние средства хороши, если они целесообразны, и я согласен применять любые.

Робеспьер. Иуда, вечно ты рыщешь, выискивая, кого бы предать, чему бы изменить.

Фуше. Ах, Робеспьер, как надоели твои постоянные ссылки на евангелие! Я знаю не хуже тебя, а может быть, даже и лучше, в силу своей профессии, тексты из бывшего священного писания. Они полезны для тех, кто может себе позволить мирную, бездеятельную жизнь. Но мы, кому отказано в подобной роскоши, мы должны держать

у изголовья иную книгу, книгу опыта. Пускай в ней немало противоречий, но в государственной деятельности кратчайшая линия между двумя точками редко является прямой. Тебе известно лучше всякого другого, что средства для спасения народа и государства не всегда одинаковы. Порой надо сражаться, порою притаиться, вынуждая противника к маршам и контрмаршам, чтобы обессилить его. Иногда могут пригодиться самые решительные меры, но только на короткий срок. Вскоре от них откажутся и заимствуют у противника умеренность, на которой тот строил свою политику. При умелой стратегии пользуются поочередно то Горой, то Болотом. В этом искусстве, скажу не хвастаясь, я могу быть полезен даже такому учителю, как ты.

Робеспьер. Твой учителя не здесь.

Фуше. Где же?

Робеспьер. В могиле, где Дантон и Эбер. Очередь за тобой!

Фуше. Я не тороплюсь умирать. Если меня вздумают столкнуть в могилу, уж я постараюсь, чтобы другие опередили меня. Ты неправ, Робеспьер. Для тебя гораздо выгоднее иметь во мне друга.

Робеспьер. Гораздо менее опасно иметь в тебе врага.

Фуше (*направляется к двери*). Посмотрим... Очень жаль, Робеспьер. Гордость всегда была твоей слабой стороной, она погубит тебя... Прощай. Дело не выгорело! Что же, тем хуже для меня, но тем хуже и для тебя! (*Выходит в дверь направо*¹.)

Из левой двери появляется Кутон, которого вкатывает младший Дюпле.

Робеспьер. Гадина...

Кутон. Не следует на гадину наступать. Но если уж ты это сделал, — дави ее насмерть не медля.

Робеспьер. Я так и поступлю.

¹ Вниманию исполнителей. — В этой сцене Фуше ни разу не повышает голоса, говорит ровно и монотонно. Напротив, Робеспьер, как ни старается сдержаться, судорожно сжимает руки за спиной, все в нем клокочет, и голос его по временам срывается от гнева. — Р. Р.

Кутон. А в силах ли ты? Ты же видел, Комитет сопротивляется.

Робеспьер. Я это сделаю.

Кутон. А до тех пор, Максимилиан, не стоило так его озлоблять. Куда благоразумнее усыпить его подозрения. Ну, да сделанного не воротишь. Постараемся опередить его.

Робеспьер. Теперь он уползет в свою нору.

Кутон. Там он не менее опасен. Эта мерзкая тварь умеет рыть подземные ходы и ускользнет из любой ловушки.

Робеспьер. Или попадется в собственные силки.

Из двери направо появляется Леба.

Леба. Привет вам, братья!

Кутон. Привет, Леба!

Робеспьер молча с сердечной улыбкой пожимает руку Леба.

Леба. Мне только что попался навстречу Мозеф Фуше рука об руку с Карье.

Робеспьер. Уже успел!

Кутон. Вот видишь, схватка началась.

Леба. Карье так дико вращал глазами и так был взволнован, что даже не заметил меня. Не знаю, что такое нашептывал ему Фуше.

Робеспьер. Несколько минут назад он предлагал мне голову Карье.

Кутон. Думаю, что теперь он предлагает Карье твою голову.

Леба. Напрасно вы собрали в стенах Парижа всех этих опальных проконсулов.

Робеспьер. Необходимо было освободить от них измученную провинцию, довольно эти пиявки сосали кровь Франции.

Леба. Надеюсь, вы не хотите заключать с ними мир, а раз так, то вы должны их обезвредить.

Робеспьер. Им удалось запутать в свои грязные дела многих членов Конвента, чьи голоса нам необходимы. Правосудие Революции уже больше не в наших руках. Чтобы одолеть этих негодяев, обычные способы не годятся.

К у т о н. Изобретем новые.

Р о б е с п ь е р. Мы не должны нарушать законов.

К у т о н. Да ведь законы исходят от нас. Зачем же нам нарушать их? Издадим новые законы, нужные Республике.

Л е б а. Довольно препираться! Если заговор налицо, не теряйте времени! По закону или против закона, разите врага, пока он не успел опомниться!

Р о б е с п ь е р. Ты ли это, прежний законник, столь педантичный в суде? Ты был так щепетилен, ты первый требовал точного соблюдения законов.

Л е б а. В армии мы с Сен-Жюстом поняли, что высший закон — это любой ценой добиться победы. Каждую минуту нам приходилось самолично, бесконтрольно принимать решения, не подлежащие обжалованию. С точки зрения закона мы, пожалуй, заслуживали порицания. Но, подобно Цицерону, приказавшему удавить Катилину, я мог бы сказать: «Клянусь, что мы спасли отечество!»

Р о б е с п ь е р. Так оно и есть. Но и спасители могут когда-нибудь стать опасными для Республики.

К у т о н. Таковы судьбы Революции. В ее буйном кипении формы непрерывно меняются, и надо зорко следить, как бы орудие, выкованное в свое время для защиты Свободы, не стало впоследствии орудием угнетения. Тогда ломайте его немедленно.

Р о б е с п ь е р. Именно таким орудием стали наши ярые террористы, проконсулы в провинциях.

К у т о н. Однако и противоположный полюс — пережатые роялисты — представляет не меньшую опасность. Чтобы обуздать и тех и других, бешеных и умеренных, нам придется, Максимилиан, разоружив проконсулов, завладеть их оружием и, заменив их, смело возглавить борьбу за равноправие, довести до конца Революцию.

Р о б е с п ь е р. Я желаю этого не менее пламенно, чем ты. Вам известны мои сокровенные мысли. Я всегда был и всегда буду за народ, заодно с народом, против бесстыдного класса алчных торгашей, хищников, пиявок, сосущих кровь Революции, хотя мы все трое (чем я отнюдь не горжусь) происходим из буржуазии, а для нее, как говорил Руссо, сама Свобода — «лишь средство беспре-

пятьственно приобретать и благополучно владеть». Буржуазия на все пойдет, ни перед чем не остановится, лишь бы держать народ под ярмом и задушить все успехи Революции. Наша главная внутренняя угроза — это алчность и эгоизм ненасытных буржуа. Мы убедились во время их дикого произвола в Марселе, Бордо и Лионе, на что они способны. Они одержали бы верх и в Париже, если бы тридцать первого мая народ не восстал. Мы должны постоянно поддерживать пламя восстания в народе, постоянно сохранять огонь под пеплом¹. Пусть ничто не нарушает нашей кровной связи с народом! Вместе с тобой и Сен-Жюстом я признаю необходимость классовой политики, изъятия награбленных богатств в пользу неимущих — в этом суть наших Вантозовских декретов. Но при выполнении этих декретов необходимо соблюдать осторожность. Мы вынуждены быть осмотрительными, пока неприятель топчет нашу землю. В руках богачей государственный кредит, от них зависит снабжение армий. За вами дело, Леба, Сен-Жюст, — ведите наши доблестные войска, отбросьте внешнего врага за пределы родины, и тогда, наконец, мы сможем обратить силы против врага внутреннего!

К у т о н. А до тех пор сколько вреда он успеет причинить! И одно из главных зол — щадя врага, мы потеряем доверие народа, который не в состоянии понять нашей политики.

Р о б е с п ь е р. Народ готов пойти на все жертвы, если воззвать к его высоким чувствам, к священному источнику, который пытались загрязнить эбертисты. Наш первый, неотложный долг пробудить в миллионах сердец французского народа веру в нравственность, врожденное религиозное чувство, которое закаляет душу и помогает бестрепетно пройти сквозь огонь и пламя, вселяя в нас надежду на бессмертие.

К у т о н. Разумеется, это не может повредить. Но, мне кажется, еще более насущная задача — удовлетворить земные нужды народа, его материальные потребности.

¹ Подлинные слова Робеспьера (из секретных записок между 31 мая и 2 июня 1793 года и из речи якобинцам 28 июня 1793 года). — Р. Р.

Робеспьер. Ты неправ, Кутон. От тех, кого любишь больше, надо и требовать больше. Больше героизма, больше самоотречения. Народ здоровый духом, — а такой народ Франции, — не желает поблажек. Он почитает вождей, которые зовут его к жертвам во имя идеала, — конечно, если эти вожди жертвуют собой наравне с ним.

Леба. Я не разделяю твоей уверенности. Даже в армии, во время боя, мы с Сен-Жюстом не раз оказались бы одинокими перед лицом врага всего лишь с горсткой солдат, если бы позволили основной массе повернуть обратно. Призвание жертвовать собой доступно не всем. Но с тобой, Максимилиан, я не хочу спорить. Ты веришь в величие человеческой души, и в этом сказывается твое собственное величие. Ну что ж! Воскреси в народе веру в верховное существо, если можешь. Однако, какую бы политику в области нравственной и социальной вы ни проводили, на одном я всегда буду настаивать — на примирении всех республиканских партий. Вражеский фронт растянулся так широко, что мы не можем противостоять ему силами одной лишь партии. Как бы могуча она ни была, фронт ее слишком узок. Расширьте линию фронта.

Робеспьер. Я сам хочу этого. Я готов протянуть руку честным гражданам всех партий. Но не допущу соглашений с теми, кто предал и запятнал Революцию, с разными Карье и Фуше!

Леба. Очень жаль. Они послужили Революции и могли бы еще послужить.

Робеспьер. Если таково твое мнение, значит ты осуждаешь казнь Эбера и Дантона?

Леба. Я сожалею о свершившемся. Пусть были все основания презирать и остерегаться этих людей — благо Республики требовало сохранить их для общей дружной защиты против врагов. Строй революционеров поредел после безжалостных порубок в их рядах. Нам стало трудно справляться с нашей миссией. Будь моя воля, я объявил бы священной голову каждого, кто участвовал в Революции десятого августа.

Кутон. Пустое! Тебе же говорил Сен-Жюст: если бы мы не разгромили одним ударом шайку Эбера и Ронсена, они уничтожили бы нас. Страна была накануне военного переворота. Мы удушили заговор в зародыше.

Леба. Неужели такова плачевная судьба Революции, что она должна пожирать одного за другим своих сыновей? Довольно жертв! Пресекайте заговоры беспощадно, но не толкайте на преступления наших противников. Попробуем в последний раз заключить мир с опальными проконсулами.

Робеспьер. Нет, я против! Я несу ответственность за душу народа, я охраняю его нравственную чистоту. Я буду защищать народ.

Кутон (делает знак Леба). Бесплезно спорить. К тому же слишком поздно для примирения. Разрыв окончательный и непоправимый. Раз жребий брошен, надо действовать, не теряя времени. Нам остается проверить и отточить оружие. Пойду работать, мне надо подготовить декреты.

Робеспьер. Печальная необходимость! Не думай, Леба, что я не терзаюсь. Я жажду избавиться от этого бремени. Когда же нам будет дано положить конец террору?

Кутон. Только террором можно прекратить террор.

Кутон уводит в кресле Симон Дюпле. Робеспьер и Леба остаются одни.

Робеспьер. Ты опечален, друг? Ты нас осуждаешь?

Леба. Нет, меня смущают не нарушения закона — это допустимо во имя общественного спасения. Кутон прав: законы — творение человека, он их создает, он же их отменяет. Пока Революция не завершена, меняются и законы, еще не настало время их закреплять. Но наступит час, когда державный облик нового, наконец установленного строя воплотится в законе, и тогда закон станет неприкосновенным. Не буду возражать и против вашего желания порвать с крайними партиями — вам виднее все их интриги. Равно нет у меня охоты сожалеть о судьбе этих грабителей, скорее меня тревожит то зло, что они могли вам причинить. Меня огорчает другое, Робеспьер, — позволь доверить тебе мысли, которые уже давно меня гнетут. Я вижу, как Революционный трибунал посылает на эшафот без разбора вместе с хищниками много невинных (тебя коробит это слово?), неосознательных людей, слабых и безобидных созданий, женщин и детей... Макси-

миллиан, неужели ты допустишь, чтобы Люсиль Демулен была завтра осуждена?

Робеспьер (*судорожно сжимает руки, лицо его выражает страдание*). Не напоминай мне о том, что терзает мне сердце. Несчастливая женщина! Ты думаешь, я не хотел бы ее спасти?

Леба. Как? Ты хотел бы и не можешь? Так скажи об этом по крайней мере, заяви, что ты этого хочешь.

Робеспьер. Неужели я не спас бы Демулена, если бы мог? И тем более его подругу! Ах, Леба, ведь я их поженил, я держал на руках их ребенка. Я не принадлежу к тем, кто забывает прошлое. Поразив друга, я ранил самого себя. Но разве ты не видишь того, что отлично видят они, не видишь, что именно этой казни они и добивались.

Леба. Кто они?

Робеспьер. Мои коллеги по Комитетам. Они выслеживали меня. Они отлично поняли, где мое уязвимое место. Чтобы вырвать у них смертный приговор Эберу и Ронсену, я принужден был выдать им нашего неосторожного болтуна, опьяненного своим красноречием пустозвона, который играл на руку всей замаскированной реакции. Сделать исключение — значило бы поколебать столь необходимое Республике доверие народа, который встревожен непрерывными предательствами. И так уж завистники стараются подорвать доверие ко мне, распуская слухи о моей нерешительности.

Леба. Когда карают таких, как Демулен, — я это понимаю. Эти бессовестные болтуны, сами того не сознавая, приносят вред, повинувшись своему оскорбленному самолюбию. Мы, мужчины, обязаны нести ответственность за свои ошибки, даже за опрометчивые поступки. Но женщины, неужели нельзя держать их в стороне от наших кровавых столкновений?

Робеспьер. Они сами завоевали право в них участвовать после удара кинжалом Шарлотты Корде.

Леба. Что общего у Люсиль с этой помешанной?

Робеспьер. «Нина от любви безумна...» Ты же знаешь, она замешана в тюремном заговоре.

Леба. Бедная заговорщица! Она старалась хоть чем-нибудь заглушить свое отчаяние.

Робеспьер. Она убила бы всех нас, если бы могла. Я понимаю ее и жалею, но ничем не могу ей помочь. Она подкупала наемных убийц.

Леба. Это пахнет предательством, ей подстроили за-падню.

Робеспьер. Может быть, но она попала в псс. И теперь уже немисливо ее спасти. Чем больше сочувствия я к ней проявляю, тем яростнее они стараются ее погубить. А потом будут порицать меня же за бесчеловечный приговор — такова их двойная игра! Стоило мне отозваться с уважением о юном Гоше (ты его знаешь), стоило ему выказать мне свою преданность, как он стал мишенью для ожесточенных нападков Комитета. И даже Сен-Жюст на их стороне.

Леба. Гош и в самом деле самонадеян, заносчив, ни с кем не желает считаться.

Робеспьер. Пусть так, он молод, горяч. Республика не настолько богата талантливыми генералами, чтобы не дорожить такими, как Гош... И все-таки придется принести его в жертву, не то меня обвинят, будто я окружаю себя преторианской гвардией. Остерегайся дружить со мной, а то и тебя заподозрят.

Леба. Отчего же ты не порвешь с негодями, которые завидуют тебе и порочат твое имя?

Робеспьер. Еще не время. Мы должны быть едины, таково вселение Революции. Сам же ты сейчас призывал нас к единению. Видишь теперь, как нелегко быть в союзе даже с теми, кто слывет и кого я сам считаю, несмотря на личную неприязнь, самыми истыми, самыми стойкими республиканцами. За любое совместное решение несут бремя ответственности все сообща, хотя бы совесть того или иного возмущалась и скорбела. Я беру на себя ответственность за все постановления Комитета, и долг повелевает мне все их отстаивать, не отрекаясь ни от единого слова. О счастливое время, когда я выступал один против всех, одинокий перед лицом враждебного собрания! Теперь, когда в моих руках власть, я не менее одинок, но гораздо менее свободен...

Уже несколько минут из-за стены налево доносятся юные женские голоса и веселый смех. Леба становится рассеянным, прислушивается. Робеспьер улыбается.

Робеспьер. Да ты меня не слушаешь. То, что говорят за стеной, интересует тебя гораздо больше.

Леба (*смутившись*). Прости меня, Максимилиан.

Робеспьер (*сердечно*). За что же? Там твоя молодая жена с сестрами, они смеются и болтают. Она нарочно смеется громко, чтобы ты услышал ее. Ей не терпится увидеть тебя поскорее. Мы жестоко разлучили вас, оторвали друг от друга; может быть, в следующем месяце нам придется снова отослать тебя в армию. В глубине души, за каждую минуту, что мы у вас похитили, вы проклинаете меня, как за тяжкое преступление. Не отрицай! Я сам сознаю свою вину... Ну, что же, пойдем к нашим милым подругам!

Выходят.

Занавес.

Тут же занавес подымается снова.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Комната дочерей Дюпле, в глубине двора, во втором этаже. Окно выходит в сад женского монастыря «Непорочное зачатие». На сцене Элеонора, Элизабета и Анриетта — сестра Леба.

Элеонора (*Элизабете*). Садись сюда! (*Усаживает ее в кресло у окна.*) Ты устала, должно быть. В твоём положении от Люксембургского сада до улицы Сент-Оноре конец немалый. Бедные твои ножки!

Элизабета. Да, мне становится тяжело таскать этого постреленка. Я едва доплелась, хорошо, что милая Анриетта поддерживала меня. Я несла одного, а ей-то приходилось тащить на себе двоих.

Анриетта. Вот лгунишка, это она торопила меня. Я не могла угнаться за ней.

Элеонора. Ты бежала бегом? Зачем было так спешить?

Анриетта. Чтобы догнать своего сокола.

Элеонора. Мужа? Его здесь нет.

Элизабета (*полусердито, полусмесь*). Неправда. Он сказал, что придет сюда... Неужели он обманывает меня?

Элеонора. Он приходил и ушел.

Элизабета (огорченно). Не может быть... Он обещал меня дожидаться.

Элеонора. Он вернется. Он не думал, что ты придешь так рано. Тебя ждали только к ужину.

Анриетта. Не успел Филипп уйти, как она потащила меня вслед за ним.

Элеонора. И не стыдно тебе так гоняться за мужчиной?

Элизабета. Нет, не стыдно. Он мой.

Анриетта. Можно подумать, что у тебя его отбивают.

Элизабета. Еще бы, конечно отбивают.

Анриетта. Кто же?

Элизабета. Все! И Конвент, и Комитеты, и армия, а главное Максимилиан... Все, все! Отнимают на недели, на месяцы и даже когда он здесь, в моих объятиях, когда я держу его крепко, они не могут оставить его со мной даже на день, хотя бы на один полный день. Я, наконец, похищу его и спрячу, да так, что никто и не найдет.

Анриетта. Я краснею за тебя. Как тебе не стыдно?

Элизабета. А ты, моя скромница, моя душенька, лучше не задевай меня. Не то я скажу, кто из нас больше спешил и кого ты надеялась здесь встретить.

Анриетта. Элизабета, молчи, не смей!..

Элизабета (Элеоноре). А что, красавец Сен-Жюст не заходил к Робеспьеру?

Элеонора. Его уже давно не видно. Не знаю, что с ним такое.

Анриетта. Какая ты злая, Элизабета. Я же просила не говорить о нем со мной.

Элизабета. Да я не с тобой и говорю. (Элеоноре.) Подумай, эти чудачки вот уже две недели как в ссоре.

Анриетта. Неправда! Ты не имеешь права читать мои мысли... И потом, теперь все кончено... Да и вообще между ним и мной никогда ничего не было.

Элизабета. Ты сама себе противоречишь: если никогда ничего не было, почему же теперь все кончено?.. И потом ничего не кончено. И он тебя любит, и ты его любишь. Да, да, да, да!

Анриетта. Нет, нет! Он никогда меня не любил. А я разлюбила его... Все кончено. *(Плачет.)*

Элеонора. Она плачет... *(Обнимает ее.)* Ну, перестань, милочка... Все обойдется.

Анриетта. Нет, не обойдется... Да я и не хочу... Я и не думаю плакать... Зачем она меня мучает? *(Указывает на Элизабету.)*

Элизабета. Душенька моя, я не хотела тебя огорчать... Я не думала, что ты примешь это так близко к сердцу... Я просто пошутила...

Анриетта. Ты вот счастливая. Пожалела бы тех, кто несчастен.

Элизабета. Но ты будешь, будешь счастлива, я хочу этого. О да, я знаю, что я счастливая. И как это прекрасно! Судьба всегда меня баловала. Но я не эгоистка. Я хочу поделиться с вами, хочу, чтобы и вам было хорошо. И будет хорошо. Будет чудесно. Трое друзей — Леба, Сен-Жюст, Максимилиан — трое братьев... И три сестры... Я, хоть и моложе, буду старшей среди вас, я вас обогнала. Чего вы ждете? Следуйте моему примеру, да поскорее!

Элеонора. Ты балованный ребенок, тебе всегда всё доставалось первой. Ну, а мы, мы должны заслужить свое счастье, если только на нашу долю выпадет счастье.

Элизабета. Так что же, значит, по-вашему, я не заслуживаю счастья? *(Сразу меняет тон.)* О да, конечно, я недостойна его. Вы заслужили его больше, чем я.

Элеонора. Никто не заслуживает счастья. Это дар судьбы. Благословен тот, кто его получает. И за дар этот ничем нельзя отплатить. Можно только принять его с благодарностью.

Элизабета. Я каждый день благодарю судьбу.

Анриетта *(с улыбкой)*. И каждую ночь.

Элизабета. Нет, ночью мне не до этого.

Элеонора. Она потеряла всякую скромность. А такая была застенчивая, смущалась от любого слова, любого взгляда. Прямо не узнаю ее. Мне подменили сестру.

Элизабета. А что я сказала? Ничего дурного. *(Анриетте.)* Это твой негодный брат подменил меня.

Анриетта. Мы все расскажем Робеспьеру.

Элизабета. Ах нет! Пожалуйста, не надо! Он будет презирать меня.

Элеонора. Он знает, что у тебя ветер в голове.

Элизабета. Он такой мудрый. Он не может понять наших безумств.

Элеонора. Ты ошибаешься. Максимилиан понимает все. А твоим безумствам он сочувствует и любит их, как и я их люблю. Мы хорошо знаем, что для чистых сердцем все чисто...

Элизабета. Вы так добры. Он всегда был так добр ко мне... И все же... Я очень люблю его, но как-то теряюсь в его присутствии. Я преклоняюсь перед тобой, что ты его невеста... И перед нею тоже... (Указывая на Анриетту.) Восхищаюсь ее выбором.

Анриетта (умоляющим тоном). Элизабета, не надо!

Элизабета. Как я рада, что мне достался мой Леба! Может быть, он не такой герой, как ваши избранники, но так я даже счастливее. Он больше мне подходит. Я не робею перед ним, мне с ним легко. Нет, нет, я бы не променяла своего милого на ваших...

Элеонора. Да никто их тебе и не предлагает, дерзкая девчонка! Мы их не уступим, правда, Анриетта?

Анриетта. Увы, мне некого уступать.

Элеонора. Ну, скажи, чем ты расстроена? Небольшая размолвка? Полно, просто облачко набежало, от этого не тускнеет небо влюбленных.

Элизабета. Он ревнив? Или ты его ревнуешь?

Анриетта. Нет, дело гораздо серьезнее.

Элизабета. Что же может быть серьезнее на свете?

Элеонора. Ну, скажи, дорогая. Доверься своим сестрам!

Анриетта. Я оскорбила Сен-Жюста. Я знаю, какой он вспыльчивый, и не упрекаю; я еще больше люблю его за это: мне нравится гордость и горячность его нрава. Но я имела дерзость спорить с ним о политике и осуждать его.

Элеонора. О, как ты осмелилась? Нам не следует вмешиваться в государственные дела, бремя которых несут наши избранники. Можно высказать свое мнение только тогда, когда они сами тебя об этом спросят. Даже мой отец с Робеспьером, уважая независимость друг друга, избегают взаимных расспросов, — один о делах трибунала,

другой о делах Комитета. Я никогда не позволю себе первая заговорить с Максимилианом о его политической деятельности.

Элизабета. А мы с Филиппом не занимаемся политикой, у нас есть занятия поинтереснее.

Анриетта. Нет, я принимаю все это слишком близко к сердцу. И не мыслю, как можно отстраняться от самого главного в жизни любимого человека. Дело идет не о государственных тайнах... да если и так, его тайны стали бы моими, я имею на то право. Но как могу я закрывать глаза на все несчастья и жестокости, которые происходят каждый день по вине моего друга, да и ваших возлюбленных?

Элизабета. Какие жестокости?

Анриетта. Разве ты не знаешь о безжалостных приговорах, которые выносятся последние месяцы, день за днем, день за днем?..

Элизабета (*упрямо*). Нет, не знаю...

Анриетта. Нам сулили, что после казни короля, предателей жирондистов, после Эбера, Дантона и Демулена меч правосудия будет вложен в ножны, воздух Франции станет чистым и мирным. И что же? С каждым днем льется все больше крови, все тяжелее становится бремя, все больше жертв, даже женщин и детей... Они проходят у вас под окнами, они тянутся нескончаемой чередой.

Элизабета. Под нашими окнами?

Анриетта. Ты же видишь, как мимо вас по улице проезжают телеги с осужденными.

Элизабета. Нет, нет, ничего не вижу, ничего не видела.

Элеонора. Наш добрый отец, благодарение богу, никогда не разрешал нам смотреть на этих несчастных. Когда их везут мимо, ставни всегда затворены наглухо.

Анриетта. Но ведь сердце ваше не глухо. Вы не можете не знать, куда везут телеги свой страшный груз, вам должно быть известно, что руки наших близких причастны к этому.

Элизабета (*упрямо*). Ничего не знаю, ничего не хочу знать.

Анриетта (*Элеоноре*). Твой Робеспьер и мой Сен-Жюст издают законы, направленные против этих

несчастных. Твой Леба и Комитет безопасности заключают их в тюрьму. Ваш отец в Революционном трибунале приговаривает их к смерти.

Элизабета (*затыкает уши*). Это неправда!

Элеонора. Все они исполняют свой тяжкий долг с болью в сердце, Анриетта, ты же знаешь. Я часто вижу, как жестоко страдает Максимилиан, хотя он и молчит, чтобы не огорчать меня. Никогда я не позволю себе, как ты, неосторожная, усугубить его муки, омрачить своими тревогами чело возлюбленного.

Анриетта. Неужели призыв к милосердию может огорчить его?

Элеонора. Требуется немало сил, чтобы нести бремя вершителей правосудия. Это необходимо для спасения Республики. Неужто нам ослаблять их волю?

Анриетта. Да разве я хочу видеть их слабыми? Но я не хочу, чтобы мой Сен-Жюст был менее справедливым. Пусть будет более справедливым, более достойным своего славного имени, более человечным.

Элеонора. Неужели, ты думаешь, этих людей надо учить любви к человечеству, к обездоленному человечеству? Ведь они трудятся ради его освобождения, ради его славного будущего! Ему они посвятили ныне свое счастье, а может, и самую жизнь!.. Полно, наш долг утешить их своей нежной заботой, успокоить, укрепить их веру, — вот чего они втайне молят у нас. Я читаю в их сердцах печаль, порою даже сомнения... хотя эти гордые люди стараются казаться непреклонными и скрыть от нас свою бесконечную усталость...

Анриетта. Ты думаешь? Правда? Даже мой Сен-Жюст? Он так суров!

Элеонора. Он только кажется суровым, как многие молодые люди. Это броня. Разве ты не видишь, какая трагедия в его глазах?

Анриетта (*с волнением*). Да, вижу. Как могла я не задуматься над этим? Я была сурова с ним, я не понимала его, как должно...

Элизабета. А мой Филипп ничего от меня не скрывает. Он говорит мне все, я говорю ему все и знаю, как он добр и благороден. Зачем я стану мучить его?

Анриетта (*горестно*). А я мучаю, я часто мучила моего друга. Зато теперь я жестоко наказана. Он ушел от меня.

Элеонора. Он вернется!

Анриетта. Нет, он не из тех, кто прощает. Я-то знаю его. Ведь я не поверила в него, не пошла за ним слепо и покорно, а он не допускает колебаний в той, кого избрал своей подругой. И как бы я ни любила, как бы ни страдала от его отчуждения, я даже и теперь неспособна стать такой, как он требует.

Элеонора. Оба вы упрямые и своенравные, как дети. Но я уверена, вы полюбите друг друга еще горячее. Ссорьтесь, упрямьтесь, безрассудные. Настанет день, когда вы будете целовать ушибы, нанесенные друг другу.

Входят Робеспьер и Леба. Элизабета радостно вскрикивает от неожиданности и бросается в объятия мужа.

Робеспьер (*с улыбкой обращаясь к Элизабете*). Вот я вам привел его, маленькая сирена. Лишь только он заслышит ваше пение, он уже ни на что не годен. Возвращаю его вам... Нет, уступаю на время.

Элизабета (*вырываясь из объятий Леба, с возмущением*). На время?.. Уступать на время мою собственность? Ах, грабители!

Элеонора (*строго*). Какое неуважение!

Элизабета. Пускай уважают мои права!

Робеспьер (*улыбаясь*). «Моя собака, моя!» — кричат наши бедные дети...

Элизабета. Ну, разумеется! Это моя собака, никому не отдам!

Анриетта. Балованный ребенок!

Робеспьер. Такая уж она от природы. Такой мы ее и любим.

Анриетта. Это верно. Она счастливица, и она права. Виноваты только неудачники.

Робеспьер (*сердечно*). Дружок мой, не сомневайтесь — и вам улыбнется счастье.

Анриетта. Разве вы знаете?

Робеспьер. Я знаю, что у него, как и у вас, благородная душа. И верю в вас обоих.

Анриетта (*с горячностью*). Спасибо! (*Порывисто*

наклоняется и целует руки Робеспьера, прежде чем тот успевает их отдернуть.)

Робеспьер (повернувшись к Элеоноре, обменяется с ней понимающей, ласковой улыбкой и берет ее за руки). Побудем вместе хоть несколько минут, насладимся этим чудесным весенним вечером. О блаженный уголок! Каждый раз, как я вхожу сюда, я словно попадаю в мирную тишину леса. Огромный монастырский сад, старые деревья, щебетанье птиц... Все остальное кажется дурным сном: город, жестокие схватки, бои на площади... Небо даровало вам счастье провести здесь детство, Элеонора и Элизабета.

Элеонора. Да, мы с детских лет любовались этой мирной картиной. Мы жили словно за сто верст от Парижа.

Элизабета. А я даже забывала, что Париж существует. Сколько мы тут мечтали!

Леба. И болтали!

Элеонора. О, ей не нужно было собеседника... Элизабета болтала сама с собой. Мне оставалось только слушать... а я не слушала. Она одна щебетала, как птичка в клетке. Ворковала целые дни.

Леба. Мне это знакомо!

Элизабета (обиженно). И ты недоволен?

Элеонора (поддразнивая сестру). Вы скоро выкнете... Перестанете слушать, как я... Это очень легко...

Элизабета. Гадкие, противные!.. Я больше ни слова не скажу — вот вам!

Робеспьер. О нет, пожалуйста, мой дружок! Я так люблю ваш голос, он так подходит к этой картине. Лучше спойте нам вместе с воробушками и дроздами, которые воспевают угасающий день. Спойте романс Руссо!

Элизабета (обращаясь к Леба). А ты садись мне аккомпанировать...

Леба садится за клавесин. Элизабета поет романс на простую мелодию Жан-Жака Руссо¹. Анриетта, опершись на клавесин, смотрит на брата. Робеспьер сидит у окна. Элеонора подходит сзади и, слегка склонившись, кладет ему руки на плечи. Во время второго куплета дверь открывается. Входит Симон Дюпле.

¹ Романс на слова Белло: «Апрель — краса лесов и месяцев краса». — Р. Р.

Симон Дюпле. Извини, Максимилиан. Важные известия!

Элизабета. Неужели нельзя было подождать, пока я спою романс до конца?

Симон. Один из агентов принес важное сообщение. Можно ввести его сюда?

Робеспьер. Нет, я не допущу, чтобы политика врывалась в ваш священный приют. Сейчас иду, Симон. Простите, друзья! Продолжайте. *(Уходит вслед за Симоном.)*

Элизабета. Мне уже больше не хочется петь.

Анриетта. Как было хорошо, когда он сидел вместе с нами!

Элеонора. И как редко это случается! Никогда не дадут ему отдохнуть хоть немного, а он так нуждается в покое! Меня очень тревожит его здоровье.

Леба. Да, когда я вернулся в Париж из департамента Самбр-э-Мез, я нашел в нем большую перемену.

Элеонора. В начале февраля он слег в постель. Мы все так беспокоились.

Леба. Только сила воли помогла ему встать на ноги.

Элеонора. Ему необходимо было три месяца полного отдыха. А мы едва убедили его отдохнуть хотя бы месяц, и то с большим трудом...

Леба. Без него невозможно обойтись.

Элеонора. А что будут делать, если он умрет от усталости?

Леба. Он не умрет, пока он необходим Республике.

Анриетта. Ну, так он никогда не умрет — ведь он всегда будет ей необходим.

Элеонора *(растроганно)*. Милая Анриетта! Ах, если бы избавить его хоть немного, хоть на малую долю от непосильного бремени, которое лежит на нем!

Анриетта. Наша беда в том, что мы, женщины, так мало можем сделать для любимого.

Леба. Вы можете очень много, вы можете все. Вы и не подозреваете, как благотворна ваша любовь и ласка для сердца мужчины, поглощенного неустанным трудом. Когда тебя гнетут заботы и усталость, когда ты пал духом, какое вы для нас утешение и поддержка!

Элизабета. Ну да, понимаю. Ты должен нести на плечах тяжелую ношу. А я — нести тебя.

Леба. Озорница!

Элизабета (*озадаченная, смущенно смеется*). Ах нет, я не то хотела сказать...

Леба. Ты отрекаешься от своих слов?

Элизабета. Нет, и не думаю! Ну, а ты, бесовский, скажи-ка, что бы с тобой случилось, не будь меня?

Леба. Ах, никогда не знать тебя — это еще не самое худшее.

• Элизабета (*изумленная и обиженная*). Боже мой, вот так комплимент!

Леба. Самое худшее, узнав тебя, думать, что жизнь могла бы пройти без тебя и что может наступить день разлуки с тобой.

Элизабета. Не смей и думать об этом! Запрещаю тебе это раз навсегда! Теперь ты со мной не разлучишься, даже если бы захотел. Я срослась с тобой навеки.

Дверь открывается, входит Робеспьер.

Робеспьер. Сидите спокойно, друзья, продолжайте беседовать. Леба, на два слова!

Леба подходит к Робеспьеру. Они стоят у порога и разговаривают вполголоса.

Я должен уйти. Мне только что сообщили, что Фуше успел вызвать к себе Барраса, Тальена, Карье, Матьё Реньо и вечером они соберутся в Клубе якобинцев. Мне надо быть там, чтобы отразить нападение врагов.

Леба. Я пойду вместо тебя. Не ходи туда. Это утомительно для тебя, да и опасно.

Элеонора, подойдя к ним, безмолвно, с мольбой сложив руки, смотрит на Робеспьера.

Робеспьер. Нет! Я разгадал их подлые замыслы. Я должен пресечь их.

Леба. Ты должен побереечь себя.

Робеспьер (*твердо*). Я пойду.

Леба склоняет голову.

Элеонора. Максимилиан, позволь приготовить тебе ужин.

Робеспьер. Свари одно яйцо.

Элеонора выходит.

Оставайся здесь, Леба. Видишь, как грозно смотрит на меня твоя маленькая повелительница. Успокойтесь, красота моя. Никто его у вас не отнимет.

Леба. Я не могу отпустить тебя одного.

Робеспьер. Тебе нечего бояться. Меня надежно охраняют. Анриетта, прежде чем уйти, мне хотелось бы поговорить о том, что вас заботит. Пока милая Элеонора готовит мне ужин (я огорчил бы ее, если бы от него отказался), пойдем поговорим о нашем отсутствующем друге.

Анриетта с благодарной улыбкой подходит к Робеспьеру, он ласково кладет ей руку на плечо; они выходят вместе, улыбнувшись на прощанье Элизабете и Леба. Леба и Элизабета остаются вдвоем.

Леба. Все равно я пойду вместе с ним. Я не буду спокоен, зная, что он там один среди врагов.

Элизабета. Но ведь он же сказал, что ты ему не нужен. А мне ты нужен.

Леба. Я вернусь к тебе через несколько часов.

Элизабета. Несколько часов! Разве это мало? Если я их лишусь, кто мне их возместит?

Леба. Мы наверстаем их вдвойне. Полно, я не найду покоя в твоих объятиях, если отпущу его одного.

Элизабета. Я ревную тебя к нему... но понимаю, что так надо. Ступай же, охраняй нашего славного друга, ради него я согласна уступить тебя.

Леба. Подожди меня здесь. И поспи до моего возвращения. Когда я приду, тебе не удастся заснуть.

Обнимаются. Леба прислушивается.

Вот он уходит. Даже не успел поужинать.

Слышно, как хлопает входная дверь.

Элизабета. Он, когда торопится, всегда закусывает на ходу.

Леба. Я выйду немного погодя... Он рассердится, если увидит, что я следую за ним по пятам. Ах, не люблю я, когда его втягивают в эти схватки. Если бы можно было их избежать!

Элизабета. Наш дорогой друг не боится борьбы. Ему достаточно показаться, чтобы одержать победу.

Леба. Нет, нет, на сей раз это опасный бой. Противник пускает в ход отравленное оружие.

Элизабета. Как? Фуше, этот жалкий человек, такой смиренный, такой невзрачный, с постной физиономией? Я видела, как он крался по лестнице вдоль стены; он покашливал и все кланялся, словно извинялся перед каждой ступенькой.

Леба. Не доверяйся пауку! Он протянул паутину по всем углам.

Элизабета. Я не боюсь паука, я не мушка, а пчела.

Леба. Бедная моя пчелка! Где же твое жало?

Элизабета. Да, правда, мне ни разу не приходилось пускать его в ход — меня избаловали. Я с детства привыкла к тому, что все меня защищают: отец, братья, потом возлюбленный. Вся моя сила в вас.

Леба. И все же ты должна привыкать обходиться без меня.

Элизабета. Никогда в жизни! Обходиться без тебя? А тебе без меня? Жестокий, разве ты опять меня покинешь?

Леба. Нам придется снова разлучиться.

Элизабета. Ах нет, нет, я не хочу! Что они еще выдумали на мое несчастье? Неужели ты позволишь, чтобы тебя опять послали в армию? Не прошло ведь и двух месяцев, как ты оттуда вернулся. А как я тосковала без тебя зимой, как мерзла одна в холодной постели. Сердце леденело, ноги стыли... Нет, больше ни за что тебя не отпущу.

Леба. Теперь твоим ножкам будет тепло. Наступила весна.

Элизабета. Сердцу холодно в любое время года, если оно одиноко.

Леба. Покуда я жив, оно не будет одиноким, где бы я ни находился.

Элизабета. Ну да, ты будешь любить меня издали, в письмах... Благодарю покорно! Мне нужны твои губы, мне нужно прижаться к твоей груди. А поцелуи на бумаге только бесят меня, я даже плакать не могу с досады.

Леба. Не отнимай у меня последних сил, мой нежный друг, у меня и так их немного. Нам нужно запастись благоразумием, обоим вместе. Каждому в отдельности благоразумия не хватает.

Элизабета. Значит, это правда? Ты опять уедешь?

Леба. Говорят, да... Но не сейчас.

Элизабета. Когда же?

Леба. Должно быть, недели через три, в начале будущего месяца.

Элизабета (с облегчением). Ах, недели через три... в будущем месяце? Ну, значит, у нас еще есть время. Может быть, кончится война... или наступит конец света... А вдруг ты и не уедешь... Нет, нет, даже и думать не хочу!

Леба. Ах, если бы я только мог!

Элизабета. А кто же может, кроме тебя, кроме нас с тобой? Позволь мне попросить Робеспьера! Он так любит и тебя и меня, он так добр... Ты же сам видел сейчас... Он оставит тебя, он не разлучит нас.

Леба. Нет, Лизетта, не позволю. Мне будет стыдно.

Элизабета. Стыдно за меня?

Леба. Стыдно перед тобой. Ведь ты — это я. Ты не можешь требовать, чтобы твой Филипп нарушил свой долг.

Элизабета. А разве нет у тебя долга по отношению ко мне? Разве ты не обязан оберегать свою подругу и малыша, который спит вот здесь? (*Кладет руку на живот и подходит к Леба.*)

Леба, сидя, прижимается щекой к ее телу.

Леба. Он будет умником, он поспит еще добрых два месяца, а к тому времени я вернусь и разбужу его.

Элизабета. Подумай только, а вдруг он родится без тебя? А вдруг я умру?

Леба. Перестань, не смей и думать об этом! Вот сумасшедшая! Ты такая здоровая, цветущая, красивая, как вешний день. В мое отсутствие ты поживешь у своих, тебя будут лелеять, баловать, как котенка... Чего ты боишься? Я же буду недалеко. При малейшей опасности я вернусь.

Элизабета. Ты обещаешь?

Леба. Если только...

Элизабета. Ты уже обещал!

Леба. Если только позволят обстоятельства на фронте и Сен-Жюст сможет обойтись без меня.

Элизабета. Ну, на это нечего рассчитывать, Сен-Жюст человек бессердечный. Ты же старший, неужели ты не можешь решать без него?

Леба. Ни он без меня, ни я без него. Мы всё делим поровну: и власть, и обязанности, и возложенные на нас поручения.

Элизабета. Хотелось бы мне знать, почему это самые трудные поручения всегда доверяют именно вам?

Леба. Вероятно, потому, что мы недурно справляемся с ними. А кроме того, дорогая моя, если бы не тяжесть разлуки с тобой, то, по правде сказать, в армии, под неприятельскими пулями чувствуешь себя гораздо лучше, чем здесь, в Париже.

Элизабета. Что ты? Разве тебе не спокойнее в Комитете?

Леба. Слишком много интриг, зависти, коварства. Все завидуют, все боятся друг друга. Каждый готов предать. Чтобы защитить себя, самому тоже приходится хитрить. Не знаешь, кому довериться. Порой теряешь всякую веру в человечество... Если не иметь, как я, любимой подруги да нескольких друзей — двух, трех, в которых уверен, можно впасть в отчаянье. Ах, если бы ты знала, какое я питаю отвращение к политике!

Элизабета. Так брось политику. Уедем отсюда.

Леба. Нет, невозможно. Именно потому, что честные люди отстраняются от дел, политика попала в руки негодяев. Наш долг остаться и вырвать ее из недостойных рук. От нас, от нашей политики зависит судьба наших потомков, их слава или позор. Разве не обязан я завоевать нашему ребенку счастливую, свободную жизнь? Я тружусь для него. И не для него одного, для всех малышей — они вправе требовать от нас отчета. Разве они не стоят того, чтобы потрудиться и помучиться ради них? Для них я пожертвую всем, ради них не страшны ни усталость, ни отвращение.

Элизабета. О да, пусть он будет счастлив, наш маленький. Все для него!.. И для меня тоже. Я бы хотела и все отдать и все получить от жизни.

Леба. Все счастье? Какая ты жадная, моя крошка!

Элизабета. Я создана, чтобы быть счастливой. Я это чувствую. Не укоряй меня. Разве это дурно?

Леба. Нет, моя прелесть. Я радуюсь твоему счастью. Я люблю счастье, так люблю, что хотел бы оделить им всех на свете. Но сколько работы еще предстоит! Боюсь, понадобятся столетия, чтобы людей принудить к счастью.

Элизабета. Счастье по принуждению? Что же, это каторга, что ли? Не хочу! Хочу своего собственного счастья, такого, как наше с тобой.

Леба. Мы насладимся им, когда утихнут бури. Лишь только Республика окрепнет и отчизна перестанет нуждаться в нас. Милый мой друг, как хорошо будет уехать в деревню, ко мне на родину, в Артуа! Маленький домик, клочок земли... Долгие дни, целые годы без тревог и волнений. Какое блаженство! Я заранее наслаждаюсь им вместе с тобой.

Элизабета. Зачем же откладывать на завтра?

Леба. Нет. Сначала надо заслужить наше счастье.

Элизабета. Милый мой проповедник!

Нежно обнимаются.

Занавес.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Пале-Рояль. Терраса кафе «Корацца». Вечер 3 прериаля (22 мая). За столиками пестрая, живописная толпа. Направо, немного пониже, — сад, куда спускаются по ступенькам. Стеклопанная перегородка отделяет часть террасы в глубине направо. Другая половина террасы на переднем плане выходит прямо в сад, где непрерывно движется людской поток.

На переднем плане слева — столы дельцов, перекупщиков, ростовщиков. В центре расположились проконсулы и члены правительства — Колло, Билло, Баррер, Баррас, Матьё Реньо, Межан и прочие. Позднее Гош, потом Тальен. В глубине налево, на возвышении, столики партии Болота и переодетых роялистов, среди которых можно узнать Коллено, шпиона роялистов в Комитете. Фуше, появившись из сада, направляется к проконсулам, нигде не задерживаясь, бесшумно лавируя между столиками, бросая направо и налево отрывистые фразы; наконец, он пристраивается за столиком в глубине сцены, направо, откуда наблюдает за всем происходящим, сам оставаясь незамеченным.

Перекупщики и торгаши (переговариваются между собой вполголоса, иногда раздаются громкие возгласы). Ну, как дела?

— Крутим.
— Обкрутим кого надо.
— Чем не золотой век...
— Не золотой, а бумажный. Ассигнации падают с каждым часом.

— Да здравствует понижение! Барыши сами плывут в руки... Одна нога в Париже, другая в Лондоне. Спрос и предложение, дел по горло. И есть же люди, которые жалуются на тяжелые времена!

— Я-то приспособился... Да здравствует Революция! Жирный кусочек!

— Купля-продажа национального имущества... Никогда еще не торговали так бойко... Блестящие сделки... На прошлой неделе мои подручные выхватили в Лимузине из-под носа у конкурентов прекрасные земли, фермы, замки — совсем по дешевке. А стоит пустить их в продажу — с руками оторвут. Сиди сложа руки, перекупщики сами набьют цену.

— А в графстве Венсен поместья идут задаром. Хватай, не зевай. Черные шайки поработали на славу. Журдан нагнал страху на бывших владельцев. Они расползаются, как муравьи. «Бывшие» сами навязывают свое добро в обмен на заграничный пропуск.

— Осторожнее, берегитесь! Наши загребалы перестарались. В воздухе запахло жареным. Слыхали? Журдана уже засадили под замок. Как только его сцапали, трусы распустили языки. Дело скверное. Как бы не сломать шею! Комитет решил ввести контроль.

— Пускай попробует! Товар теперь не залеживается. Был да сплыл. Поди-ка поищи. Ничего не видел, ничего не знаю... Я тут ни при чем.

— Насчет суда не беспокойтесь. Кое-кто, конечно, попадет им в лапы. Тем хуже для них! Без потерь не обойтись. Впрочем, особого улова не будет, уж вы поверьте. Если дать делу огласку, пришлось бы притянуть всю Францию. Тут замешана уйма чиновников, управителей в департаментах, судей, прокуроров; все и завязнут. Можете спать спокойно.

— Я протестую. Не допущу никакого контроля. Они покушаются на свободу торговли. Не согласен! Я старый

либерал, я имею право покупать и продавать, как мне вздумается, по любой цене.

— А кто воду мутит? Эта тупица Робеспьер, мар-тышка сухозадая. Так бы и дал ему пинка! Коли не осадить его, всякой торговле конец. Он еще имеет нахальство требовать с нас отчета в наших барышах!

— Пусть только сунется, пусть попробует. Нас голыми руками не возьмешь, не то что этих болтунов из Конвента.

— А я вот считаю, что неплохо было бы с ним сговориться. Как-никак с ним лучше иметь дело, чем с этими головорезами из Комитета, — например, с этим угрюмым попом Билло или с экстремистами, которых Робеспьер отозвал из провинции. Вон гляди, видишь, входит Карье. Этот уж ничего не разбирает. Руби головы, грабь имения — всё под один ранжир.

— Не скажите, всегда можно приноровиться. И среди них найдутся покладистые ребята, вроде Барраса или Тальена. Эти любят сладкую жизнь, до всего падки: женщины, вино, жратва, наряды и деньги, деньги, деньги... За глотку или за брюхо, а уж мы их ухватим.

— Так-то оно так, да разве можно на них положиться? Люди пустые, неустойчивые, шатаются из стороны в сторону, ни последовательности, ни порядка. А нам необходим порядок в управлении государством; особенно теперь, когда мы нажились, нам нужна прочная власть. Робеспьер человек порядка. Он единственный из всех способен восстановить порядок и хочет порядка. Он был бы полезен в нашем деле, если бы удалось его умаслить. Ну, а если заупрямится и станет нам поперек дороги, — пусть проваливается.

— Я больше скажу: сбросить его к чертям! Нечего тут церемониться. На что он годен, этот скряга? Не понимает священных прав богатства. Если бы еще Камбон не держал его в узде, он конфисковал бы все наши капиталы и роздал своим оборванцам.

— Ха! Попробуй отними! Не так-то легко! Пока дело идет о том, чтобы рубить головы, Конвент на все согласен, они сами протягивают шеи, точно цыплята. Но едва коснется кармана, Конвент бросится на защиту, как лев.

— Не стоит портить себе кровь! Для умных людей еще наступят хорошие денечки.

Пьют. Входят Матьё Реньо и Баррас.

Матьё Реньо (*подозрительно оглядываясь кругом, брезгливо поводит носом*). Куда ты завел меня, Баррас? Что это за притон франтов и щеголей? С самого порога здесь пахнет предательством и взятками. Ну и рожи — плюнуть хочется! (*Отвернувшись от торгашей, плюет в сторону.*)

Баррас (*со смехом*). Тише, тише! Потерпи, Реньо! Нечего разыгрывать Тимона Афинского. Ты так смотришь на людей, словно вилами в навоз тычешься.

Реньо. Они хуже навоза. Я носом чую.

Баррас. А если и так? Добрый навоз стоит золота.

Реньо. Золото и дерьмо! Недаром такая вонь... а вокруг вьются тучи мух...

Баррас. Без них мы еще не научились обходиться. Даже сам Неподкупный принужден идти на уступки им...

Реньо. Если бы он послушал моего совета, я научил бы его, как с ними разделаться...

Баррас. Ты не злопамятен! Робеспьер снял тебя с поста, а ты как будто готов мириться?

Реньо. Мириться? Нет, я обид не забываю. Такой несправедливости я никогда не прощу. Ведь я честно служил Республике, я подавил бунт у себя в провинции. Может быть, я действовал круто, не спору. Ломал кресты и статуи в церквах, целыми сундуками отправляя Конвенту церковную утварь, очищал храмы и монастырские постройки под школы и жилища для бедняков, конфисковал поместья у аристократов, отбирал ценности, брал на учет капиталы богачей... Пускай теперь дерут глотку, дело сделано. Могли бы хоть поблагодарить меня. Вот и отблагодарили: разжаловали. Говорят, будто я слишком размахнулся, «перешел границы»... А по-моему, служа Революции, нельзя «перейти границы», до тех пор пока не осуществится полное, священное, всеобщее равенство! Что это здесь происходит?.. Каким еще ветром подуло? (*Подходит к столу, где сидят Билло и Колло.*) Скажи-ка,

Билло, ведь ты меня знаешь. С ума вы, что ли, сошли в Комитете? Почему вы меня отозвали?

Билло. Я тебя защищал. Но Робеспьер с Кутоном яростно требовали искоренить эбертизм в провинции, как искоренили его в Париже. А ты еще, на свою беду, спу-тался с Шометтом.

Реньо. Я не так подл, чтобы от него отрекаться. Шометт — честный, истинный патриот, Революция может гордиться им. Вся его вина в том, что он испугался и спасовал перед Робеспьером, когда надо было громко и решительно отстаивать свои убеждения. Я их разделяю и всецело поддерживаю.

Билло. Ты что, хочешь последовать за ним на эша-фот? Помолчи, не создавай для нас лишних трудностей, нам и так едва удалось тебя спасти.

Реньо. Можешь не стараться! Пускай меня лучше казнят, не хочу унижения.

Билло. Вот чертов дурень! Лучше уж добровольно пойти на унижение. Кичишься своими принципами, а не видишь, куда они тебя завели. Ведь ты едва не стал сле-пым и покорным орудием самого гнусного военного пере-ворота, который бы поставил над трупом Республики диктатора в солдатских сапогах, Ронсена...

Реньо. Как?.. Ронсена?

Билло. Ты ничего не разглядел, болван. Ничего не понял. Ты заслужил, чтобы тебя сто раз казнили. Но я понимал, что у вас в провинции тебе трудно было разо-браться в их темных интригах. Я знал все, что ты сделал и чего ты стоишь. Я спас тебя от Робеспьера. Веди себя смирно по крайней мере! И не ополчайся на людей, кото-рые служат тебе защитой. Ты еще можешь нам приго-диться, а мы тебе, чтобы поддержать и упрочить Респу-блику. Ей угрожают ханжество и пустословие тех самых людей, кто призван охранять ее.

Реньо. О ком ты говоришь?

Билло. О Робеспьере. Он замышляет создать нам нового бога из обломков той религии, что мы с таким трудом разрушили.

Реньо. Бога?

Билло. Ну да, бога... как тебе это нравится? И вер-ховным жрецом этого бога, разумеется, будет он сам,

Робеспьер. А ведь от алтаря до трона один только шаг, не так ли?

Реньо. Быть не может! Что за бред!..

Билло. А вот увидишь! Как раз через две недели состоится торжественное официальное празднество, посвященное так называемому верховному существу — это и есть бог, только переряженный.

Реньо. Если ты против, зачем же было поддерживать Робеспьера?

Билло. Да, правда, две недели назад я голосовал по указке Робеспьера и признал существование бога и бессмертие души. Нам пришлось даже узаконить этого самого бога специальным декретом. Умора, да и только, на себя смешно и стыдно... Ты не подозреваешь, Реньо, какую власть Робеспьер забрал над Конвентом. Невероятно! Голос глухой, рожа постная, очки на носу, а как только начнет говорить — всех захватывает, слушаешь, не отрываясь. У него паучья логика, он опутывает тебя со всех сторон и заволакивает. Напиток пресный, но с каким-то дурманом.

Реньо. Знаю, сам пил.

Колло. Следует запретить ему выступать.

Билло. Мы издали его речь в двухстах тысячах экземплярах, разослали по всей Франции, обязали прочесть во всех коммунах. И все эти дни непрерывно, из всех коммун, из всех городов Франции его заваливают восторженными письмами. Даже за границей, во всей Европе, речь произвела поразительное впечатление. И ведь нельзя не признать необычайной важности подобного политического шага, равно как и его своевременности. Всей стране, даже врагам, он внушил убеждение, что Революция уже миновала опасные рифы, что новый порядок установлен.

Реньо. Раз это послужило на благо Республике, что же ты ставишь ему в вину?

Билло. Я ставлю ему в вину, что он совершил это ради своих целей, чтобы установить теократию, самый гнусный государственный строй, который позорит и унижает человечество.

Реньо. Может быть, твои подозрения напрасны?

Билло. Я не доверяю человеку, который вопит о душе и добродетели, корчит из себя всеми гонимого

праведника, а сам постепенно прибирает к рукам всю власть. И что бы он ни делал, он старается убедить нас, будто народ этого хочет, будто народ -- это он...

Реньо. Быть может, он сам в это верит.

Билло. Тогда это еще опаснее. Придется его прикончить.

Реньо. Ты никогда его не любил, Билло.

Билло. Не любил, будь он проклят! С первого дня, как я учуял этого зверя, я весь ошетинился. Даже когда я склонен был восхищаться им, я и то его ненавидел.

Реньо. А мне труднее порвать с ним. Признаюсь, я любил его.

Билло. Так что ж, пожертвуй ради него своей головой.

Реньо. Моя голова еще понадобится Республике. Горе тому, кто посягнет на меня. Я не сдамся без боя. Я защищаю не одного себя, у меня семья, дети...

Фуше, который бродит между столиками, в эту минуту оказывается рядом с Реньо.

Фуше. И у меня есть ребенок.

Реньо (*узнав его, жмет ему руку*). А, вот и ты, Фуше. Да, правда, ведь у тебя дочка.

Фуше. Малютка Ньевра... все, что мне осталось от моего проконсульства в доходных провинциях, где я будто бы обогащался... Самое драгоценное мое сокровище...

Баррас (*услышав их разговор, со смехом напевает на ухо Колло*).

Мои крошки так прелестны...

Реньо. Я не боюсь врага, но предпочитаю встречаться с ним лицом к лицу. Если Робеспьер настроен против меня, значит его ввели в заблуждение. Я хочу объясниться с ним начистоту.

Фуше. Берегись, не делай этого. Тебе не выйти живым из его логова.

Реньо (*упрямо*). Его обманули. Я открою ему глаза. Несмотря на всю его несправедливость, я попрежнему преклоняюсь перед его личностью и талантами.

Фуше. Пусть так, его талантов я не отрицаю. Однако не очень-то ему доверяй. Наш гений подготовляет втихомолку тайное соглашение с роялистами.

Реньо. Это ложь!

Билло. Ты слишком далеко заходишь, Фуше!

Фуше. Нет, не дальше, чем нужно.

Билло. У тебя нет доказательств!

Фуше. Бедняга Билло, они тут, у тебя под носом. Подумать только, сколько месяцев вы все, одиннадцать членов Комитета, — то есть без него вас десять, — ломаете себе голову, каким путем секретные документы попадают в Верону!..

Билло. Уж не намекаешь ли ты...

Реньо. Куда? В Верону?

Фуше. Ну да, к королю веронскому, братцу Капета и его клике титулованных шпионов.

Билло. Неужели он?.. Немыслимо!.. Если бы только знать наверное! *(Еле переводит дух от бешенства.)*

Фуше *(невозмутимо)*. Я знаю наверное.

Билло. Докажи! Докажи!

Фуше. А вот спроси у него. *(Кивает на Межана, который сидит за соседним столиком.)*

Реньо. Кто это?

Фуше. Межан, секретарь Карно и его правая рука. У него есть доказательства.

Билло. Если они есть у него, значит он изменник; почему он не сообщил ничего Комитету?

Межан. Мы с Карно хотели проверить все как следует.

Реньо. Стало быть, у вас еще нет доказательств.

Фуше. Нет, есть.

Реньо. Я поверю только в том случае, если увижу собственными глазами.

Межан. И увидишь, если придешь ко мне на дом. Ты же сам понимаешь, гражданин, подобных документов в кармане не таскают.

Реньо *(поворачивается к нему спиной)*. Фальшивая твоя харя! Не верю я тебе. Ты лжешь, Фуше.

Фуше. Ну, а если я ткну тебя носом в доказательства и ты убедишься в измене твоего любимца Робеспьера, что тогда?

Реньо (яростно). Я убью его своими руками.

Входит Гош в генеральском мундире. Ему двадцать пять лет, черные пронзительные глаза, умное открытое лицо со шрамом, звучный голос, живые, энергичные движения. Направляется к столу, где сидят Реньо, Билло и Колло.

Гош. Здорово, Реньо!

Реньо. Гош! Что ты тут делаешь? Там сражаются без тебя?

Гош. Там идет сражение, а я здесь бешусь. Здравствуй, Билло!

Билло что-то угрюмо ворчит в ответ. Колло сердито поворачивается к нему спиной.

Меня только что отозвали из Мозеля, где я командовал армией, и неизвестно зачем переводят на итальянский фронт.

Билло. Тогда почему ты торчишь здесь? Париж тебе не по дороге.

Гош. Все дороги ведут через Париж. Я следую к месту назначения. Но я хочу знать, зачем меня отозвали из Эльзаса накануне военных операций, которые я подготовлял, хочу знать, пользуюсь ли я попрежнему полным доверием.

Билло. Тебе нечего знать, кроме полученного приказа. Выполняй приказ!

Гош. Я нуждаюсь в доверии и поддержке Комитета. Ничего хорошего не получится, если мы не уверены друг в друге.

Билло. А ты уверен в своем соседе?

Колло (*круто повернувшись, бросает на Гоша угрожающий взгляд*). Комитет доверяет только тем генералам, которые ему повинуются.

Гош. А я разве не повинуюсь?

Колло. Ты десятки раз не выполнял указаний, которые тебе были посланы.

Гош. Обстановка вынуждала меня изменять их. Республика от этого как будто только выиграла!

Реньо. Эльзас отвоеван от врага, Ландау освобожден от блокады, войска Брунсвика улепечивают. В самом деле, гражданин Гош недурно поработал!

Билло. Тебе незачем его расхваливать. Тут он в помощи не нуждается!

Гош. Это правда, я люблю славу. Этим, что ли, вы недовольны? Я ведь приношу ее в дар отечеству.

Колло. Надоело нам твое самодовольство, похвальба, зависть, вечные раздоры с другими командирами, неповиновение приказам — довольно с нас!

Гош. Что же, я действительно отказался от губительного похода в разгар зимы: мои солдаты были измучены, плохо вооружены, разуты, голодны. И я оказался прав.

Колло. Ты даже не сумел одеть и накормить их за счет военной добычи, как тебе было предписано.

Гош. Да, не сумел и горжусь этим. Я не пожелал притеснять нищее население и разорять завоеванные деревни. Ни на вражеской, ни на своей земле я не стану отбирать у матери последнюю муку и морить голодом ее детей. Я не потерплю, чтобы мои солдаты грабили крестьян. Ты ставишь мне в вину мою чрезмерную гордость? Но это гордость за нашу Республику. И пока я командую, я никому не позволю ее бесчестить.

Билло (*раздраженно*). Охранять честь Республики поручено Комитету. Ему решать, чего требует честь Республики. Если солдат имеет дерзость оспаривать приказы командования, он бунтовщик.

Гош (*всплыв*). Посмей только назвать бунтовщиком победителя при Гейсберге и Фрешвиллере!

Билло. Прошлые победы не избавляют генералов от ответственности за последующие преступления.

Гош. Если я совершил преступление, пусть меня арестуют.

Колло. И арестуют. Приказ уже подписан.

Гош (*в бешенстве*). Разбойники! Что же, вы в заговоре с Брунsvиком? Я обращаюсь с жалобой к Робеспьеру, он ценит мое усердие.

Колло. Он тоже подписал приказ вместе со мной и Карно.

Гош (*ошеломленный, падает на стул*). Нет! Не может быть!..

Реньо (*обращаясь к Билло и Колло*). Граждане, это же безумие. Республике нужны все ее защитники, а Гош один из самых верных, ручаюсь вам.

Колло (бросает на Реньо угрожающий взгляд). Не вмешивайся в дела Комитета. Нечего заступаться за других. Отвечай лучше сам за себя. (Отходит в сторону вместе с Билло.)

Гош (с трудом овладев собой после внутренней борьбы, обращается к Реньо). Не тревожься за меня, друг. Я уже сидел в тюрьме и вышел оттуда с гордо поднятой головой, как Марат.

Реньо. А уверен ли ты, что Марат сегодня отделался бы так легко? Началось какое-то повальное безумие. Не разбирают, где друзья, где враги. Слишком долгая привычка к власти отравляет разум. Я-то знаю это по себе. Не раздражай их. Ты слишком неосторожен на язык.

Гош. Согласен, я уже поплатился за это. Я не умею обуздывать свои порывы.

Фуше (следивший со стороны за их спором, подходит и вмешивается в разговор). Лучше поменьше болтать, да побольше делать.

Гош. Я говорю, что думаю, и делаю, что говорю.

Фуше. Ну, положим, неприятелю ты не все говоришь.

Гош. Здесь мы не на войне.

Межан (вполголоса). Ошибаешься, товарищ. Мы со всех сторон окружены врагами.

Гош (подозрительно отшатываясь от него). Кто же здесь враг? Ты, что ли?.. Я видел тебя в канцелярии Карно. Уж не ты ли доставлял ему ложные доносы на меня?

Межан. Ошибаешься. Я тебе друг.

Гош. Друг по нынешним временам — все равно что публичная девка, которая путается с первым встречным.

Фуше. Не отталкивай тех, кто предлагает тебе дружбу в час опасности.

Гош. У меня один только друг, и иных мне не надо. Это народ Парижа, мой славный, гордый народ. Он меня знает, и я его знаю. Мой народ всегда со мной...

Фуше. Ты думаешь? Ты знал народ времен четырнадцатого июля и десятого августа. Того народа больше нет. Не надейся, что он придет тебе на помощь!

Гош. Я надеюсь на себя самого, на мои права и на справедливость Робеспьера.

Фуше. Ты же слышал сейчас — Робеспьер против тебя.

Гош. Его обманули. Он признаёт свою ошибку.

Фуше. Если ты согласишься ему, ты погиб. Защищайся!

Межан. Мы тебя поддержим. Давай вместе защищать Республику.

Гош (*окинув Межана недоверчивым взглядом*). А против кого? Против тех, кто вместе со мной создавал Республику? Я предпочитаю пожертвовать собой! Я не пойду по стопам Лафайета и Дюмурье.

Фуше. Да кто же говорит об этих изменниках? Теперь изменников надо искать не там.

Гош. Где же?

Фуше. Ослеп ты, что ли? Да оглядись ты вокруг, скорее разорви паутину!

Гош. Какую паутину?

Фуше. Поздно. Ты уже попался! (*Отступает в сторону.*)

Агент (*подсев к Гошу, обращается к нему вполголоса*). Генерал, я очень сожалею, но я обязан выполнить приказ.

Гош. Тебе приказано арестовать меня?

Агент. К сожалению, да. Не подымай шума. Допей вино. Я не тороплю тебя.

Гош. Так выпей и ты за мое здоровье! (*Подзывает слугу.*)

Реньо (*шепотом*). Как? Ты не окажешь сопротивления?

Гош. Неужели ты хочешь, чтобы все эти проходимцы и распутники стали свидетелями наших раздоров?

Реньо. Ты прав. Незачем развешивать перед ними грязное белье Республики.

Гош. И потом, знаешь ли, Реньо, хотя мне всего двадцать пять лет, но за эти двадцать пять лет я испытал столько тяжелого, видел такую бездну человеческого горя, нужды, невежества, глупости, столько боролся, не зная ни сна, ни отдыха, чтобы выбраться из ямы и вывести за собой слепых, неразумных людей, которых продавали, тащили на бойню, как скот, что, право, мне кажется иногда, будто на моих плечах бремя двадцати пяти веков. Я не сгибаюсь под ношей, я иду, шагаю вперед, я отважно

тащу свой тяжелый груз. Но у меня такое чувство, словно всех нас гонит рок. И я покоряюсь без страха и упрека, куда бы судьба ни вела меня — к славе или к могиле.

Фуше (*снова приблизившись, говорит ему на ухо*). Тем хуже для тебя, товарищ. Кому суждена долгая жизнь, тот всегда умеет управлять судьбой. Нити судьбы можно сплести и расплести, как веревку.

Гош (*с презрением*). Некоторым людям ничего не остается, как тянуть за веревку. Иначе веревка затянется на их шее.

Фуше отходит прочь.

Реньо. Напрасно ты его оскорбил... Он честный республиканец, как и ты, и его тоже преследуют.

Гош. Ох, это хуже всего. Пусть меня преследуют, но от таких спутников увольте. (*Агенту.*) Пойдем, товарищ, я готов. (*Встает.*)

Входит Баррер со своей хорошенькой секретаршей Клариссой.

Баррер. Здравствуй, Фуше!

Фуше. А ты не боишься якшаться с отлученным от церкви?

Баррер. Здесь же не церковь. Здесь сборище веселых чертей.

Фуше. И хорошеньких чертовок! (*Смотрит на Клариссу с любезной двусмысленной усмешкой.*)

Баррас. Ты ее ни на шаг от себя не отпускаешь.

Баррер. Верно, друг мой. Это лучшее доказательство, что я умею работать всюду.

Баррас (*насмешливо*). Побереги себя. Не переутомись.

Кларисса. Вы же знаете Баррера. Он больше говорит, чем делает.

Взрыв хохота.

Баррер (*смеясь*). Если бы мои дела соответствовали моим словам, ты бы запросила пощады, душенька. (*Сталкивается с Гошем, который идет к выходу.*) Гош!

Гош. Баррер!..

Баррер. Ты с ума сошел! Зачем ты сам лезешь в пасть к волку?

Гош. Меня еще пока не растерзали.

Баррер. Мы попытаемся вытащить тебя оттуда.

Гош. Но вы не попытались меня охранить.

Баррер. А что мы могли сделать, упрямая голова? Вольно же тебе все портить! По поводу других в Комитете еще были разногласия. Но ты, ты действовал так, что восстановил против себя всех поголовно.

Гош. Когда все заодно, значит все неправы. Истина познается в спорах.

Баррер. Вон идет Карно... Не попадайся ему на глаза. Он больше всех на тебя зол.

Карно большими шагами проходит к выходу.

Билло (окликает Карно). Эй, Карно, постой, постой!

Карно (на ходу). Будто ты не знаешь, что сейчас каждая минута дорога. Мы начали крупное наступление. Пишегрю пошел в атаку на Куртрэ!

Гош (удрученный, снова опускается на стул). А меня там не будет!

Карно. Это решающее сражение. Я не могу выпустить нити из рук. Мне нужно быть на своем посту в Комитете. (Уходит.)

Билло. Да, нас призывает долг. Погоди, Карно, я иду с тобой. А ты, Межан? (Поспешно уходит.)

Межан (шепчется с Клариссой). Сию минуту. (Продолжает разговор и остается, затерявшись в толпе в глубине сцены.)

Баррер. А мне не к спеху... Их дело добиться победы. А потом я буду ее воспевать.

Колло (ворчливо, обращаясь к Баррасу). Я бы справился с этим не хуже него.

Баррас. Даже гораздо лучше. С твоим басом великолепно можно изобразить грохот битвы. Но успех у публики имеют только тенора, они ее с ума сводят. (Клариссе.) Не правда ли, красотка?

Кларисса. Музыка оставляет меня равнодушной.

Баррас. Значит, ты равнодушна к самим инструментам?

Смеются.

Агент (*наклоняясь к сидящему Гошу*). Ну что ж, товарищ, пойдём. Не унывай, с тобой или без тебя, все равно Республика победит.

Гош (*встает с прояснившимся лицом*). Ты сказал правду. Я подготовил все для победы. Пускай Пишегрю одержит ее вместо меня!.. Трудно было снести такую обиду, но теперь все прошло. Как бы ты ни любил отечество, нелегко все-таки поступиться самим собой. Самолюбие застревает в глотке, точно рыба кость. Ничего, я справлюсь. Пойдем, товарищ! Что бы со мной ни случилось, я с честью послужил Республике. Оценит она мои заслуги или нет, все равно я принес ей пользу. С меня этого довольно. (*Выходит вместе с агентом.*)

Тем временем Фуше торопливо переговаривается шепотом с подружкой Баррера, пока тот беседует с друзьями и не обращает на нее внимания. Во время следующей сцены Кларисса тихо шепчется с Межаном и переглядывается со шпионом Коллено, сидящим в глубине зала, слева. Кокетливо переходя от стола к столу, она как бы ненадолго приближается к Коллено и быстро, на ходу, говорит ему несколько слов; потом, строя глазки и покачивая бедрами, возвращается на авансцену, небрежно опирается на плечо Баррера и вслед за тем проскальзывает в правый угол зала, где Фуше, заняв укромное место, внимательно наблюдает за Коллено, пристроившимся в левом углу; время от времени они обмениваются понимающим взглядом. Межан тоже прохаживается взад и вперед между столиками. В кафе врывается Тальен в растерзанной одежде, потрясая кулаками и расталкивая всех на своем пути.

Тальен. Мерзавцы!

Баррер. Что с тобой, Тальен?

Тальен (*вопит*). На помощь, граждане!.. Они вырывают из наших объятий жен и любовниц!

Баррас (*посмеиваясь*). Наших подруг! Ты что, поешь «Марсельезу»?

Тальен. Ах, друзья, мало того, что приходится сносить их оскорбления, их угрозы — это еще полбеды... Пускай вскрыют мне вены! Я не боюсь. Пускай пьют мою кровь! (*Тяжело падает на стул около Барраса и Реньо.*)

Слуга из кафе. А ты что пьешь, гражданин?

Тальен (*подняв голову, деловито*). Гресо-ля-роз, восемьдесят шесть. (*Прежним трагическим голосом.*) Эти палачи вырвали у меня сердце.

Баррас (*спокойно*). Что у тебя вырвали?

Тальен (*вопит, неистово колотя себя в грудь*).
Сердце!

Баррас (*невозмутимо*). Где, черт их дери, они откопали у тебя сердце?

Тальен (*не слушая его, голосит*). Моя Тереза!

Баррас. Тереза Кабарюс?

Тальен (*так же*). Ее похитили у меня!

Баррас. Ах, чтоб их!.. Верно, для оргий Робеспьера.

Раздаются смешки. Подходят любопытные, никто не выражает сочувствия, и все-таки вокруг Тальена собирается толпа.

Тальен. Как ты можешь шутить?.. Если это так, я убью его. Убью.

Баррас (*толкая его локтем*). Не ори так громко!

Тальен (*сразу остыв*). Да я ничего не говорил. Я же не сказал, кого убью...

Баррас. Расскажи-ка лучше спокойно, по порядку, что произошло.

Тальен (*наливает себе вина*). Спокойно, по порядку! Да разве это возможно? О, моя Тереза!.. Я даже имени ее не могу спокойно произнести — вся кровь во мне так и кипит. Ты, Баррас, видел эту дивную женщину. Какая грудь, бедра, стан богини, вся она прекрасна и соблазнительна с головы до пят. Как же я могу говорить о ней без трепета? Я стараюсь и не могу вообразить ее всю целиком, меня приковывает каждый изгиб... Мне хочется описать все ее прелести одну за другой.

Баррас (*подзадоривая его*). Описывай, Тальен, не стесняйся, валяй!

Тальен (*снова приходит в ярость и стучит по столу стаканом, из которого только что прихлебывал вино*). Негодяи! Они посмели арестовать ее! Они хватали своими гнусными лапами ее нежное тело, созданное для любви... Дивная женщина плачет и призывает меня из своей темницы.

Баррас. Тебе остается только составить ей компанию. Твой долг совершенно ясен.

Карье (*до этого безмолвно сидевший в стороне, высокий, тощий, сгорбленный, с длинными руками и ногами, с узкой, осиной талией, вдруг встает и стучит кулаком по столу, опрокидывая стаканы*). Перестань шутить,

Баррас! Удар, нанесенный Тальену, угрожает нам всем. У каждого из нас есть дорогие сердцу существа. А кто поручится, что нынче ночью не арестуют кого-нибудь из наших близких? Никто не застрахован от мести тирана.

Реньо. За что же мстить неповинным?

Карье (*мрачно*). Сын врага всегда виновен... Ах, как жаль, что у Робеспьера нет ребенка!..

Реньо (*с возмущением*). Карье, ты сам не лучше тирана!

Карье (*упрямо*). Око за око, зуб за зуб.

Баррас. Берите пример с меня. Я не завожу детей. Во время Революции это лишняя обуза.

Еще несколько человек присоединяются к кружку проконсулов: Тюрьо, Лекуантр и другие. Не стоит их перечислять, они как бы изображают хор. Их участие в действии выяснится позднее. На переднем плане справа, у лестницы, ведущей в сад, стоят Межан и Кларисса, настороженно чего-то выжидая.

Тюрьо. Мне все-таки не верится, что Робеспьер такой безумец. Ему и с нами-то довольно хлопот.

Лекуантр (*мрачно и запальчиво, как Карье*). Именно потому, что ему не так-то легко справиться с нами, он хочет захватить наших близких, одних как заложников, других из мести!

Баррер (*сидящий за соседним столиком, оборачивается к Реньо и незаметно для других беседует с ним вполголоса*). Они мелют вздор. Эта девка Кабарюс пострадала вовсе не за то, что она любовница Тальена. Мы же знаем, что ради своих нарядов и кутежей она заставляет его грабить и разорять жителей Бордо. Царица красоты держала там лавочку — торговала своими милостями и паспортами. А Тальен разыгрывал из себя сатрапа. Прямо Антоний и Клеопатра!

Реньо. А теперь пришел Октавиан... И станет Августом.

Баррер. Ну, этого можно не опасаться. В сенате достаточно кинжалов наготове... Что до этого бесноватого (*указывает на Тальена*), то, будь моя воля, он отделался бы просто выговором. Нам известно, что он добрый патриот. Он попался в сети коварной Калипсо. Плоть слаба. Мы-то, южане, хорошо это знаем. Но Неподкуп-

ный не признает шуток ни с прекрасным полом, ни с государственной казней. И он прав по-своему. Надо быть чистым по мере сил... А если не можешь, будь милостив к грешнику... Всякий из нас был грешен, есть или будет. Absolve te...¹ особенно, если согрешил один из своих, да и славный малый к тому же. Уж мы постараемся его вызволить. Можешь передать ему это от моего имени.

Реньо. Он ничего слушать не желает. У него буйное помешательство.

Баррер, хватившись своей секретарши, ищет ее глазами и идет за ней вглубь сцены. Теперь на переднем плане остался кружок проконсулов и недовольных. Во время предшествующего диалога Тальен продолжал громко стонать и всхлипывать, потягивая вино.

Карье (Тальену). Чем хныкать и реветь, как бык, ты бы лучше не терял времени, а действовал заодно с нами... И ты, Баррас, перестань паясничать, корчить из себя Фигаро и упиваться собственными остротами — ведь бритва не у тебя в руках! Чувствуешь, как щекочет тебе шею нож гильотины?

Баррас (другим тоном). Обо мне не беспокойся, Карье. Я во-время схвачу руку, которая держит нож. А если острие приблизится, я знаю, против кого его повернуть.

Карье. Так чего же ты медлишь? Ведь он нас всех уничтожит, одного за другим. Надо выступить первыми.

Баррас. Торопиться некуда.

Карье (подозрительно, с угрозой). Что ты замышляешь? Недаром говорят, что ты хочешь сговориться с тираном за нашей спиной!

Баррас. Чего ты на меня глаза вытаращил?.. Ты и сам бы охотно с ним сговорился, да только тебе это не удастся...

Реньо. И тебе не удастся, Баррас. Неужели ты вообразил, что можно подольститься к Робеспьеру? Это не человек, это ходячий принцип.

Баррас. Пустяки! Принципы существуют для того, чтобы служить личным интересам. У Неподкупного больше желаний и страстей, чем у всех нас, вместе взя-

¹ Отпускаю грехи твои (лат.).

тых. Что нам, простым смертным, нужно? Тальену — обниматься со своей красоткой. Мне — вести жизнь деятельную, полную превратностей. Каждому из нас хочется удовлетворить свое честолюбие и жажду удовольствий, и всем — получить долю в барышах. Но этому черту с холодной кровью подавай все. Одно хорошо: он понимает, что может добиться желаемого лишь с нашей помощью. Без нас он слаб и немощен, смотреть не на что: скрипучий голос да очки на носу. Один он ни черта не сделает.

Карье. И ты согласен ему служить?

Баррас. Согласен служить самому себе.

Реньо. Мало надежды с ним сгвориться.

Баррас. Мало надежды?.. Ну, так ему придется горько раскаяться.

Реньо. Ваш эгоизм погубит вас. Если тиран дерзнет взойти на трон, лучшей ступенью ему послужит ваше гнусное правило: «Каждый за себя!» Мы можем противостоять ему, только объединив все наши силы и возможности.

Баррас. Когда вы начнете действовать, я буду с вами. Но вы годны только на то, чтобы трепать языком или выть, как этот болван! (Указывает на Тальена.)

Тюрьо. Если дать ему бой в Конвенте — наше поражение неминуемо. Там за него большинство; эти полутрупы ползают на брюхе и ловят его приказания. В Комитете он всех извел своими требованиями, но никто и пикнуть не смеет. Он держит в руках беснующуюся свору якобинцев. Что тут можно поделать?

Карье (яростным свистящим шепотом, едва сдерживаясь). Надо убить его, как собаку!

Реньо и Баррас шикают на него, стараясь, чтобы никто их не услышал. Но Тальен, окончательно опьяневший, уловив эти слова, подхватывает их.

Тальен. Надо убить его! Верно!.. А кто это делает? Я сделаю!

Карье. Нет, я.

Лекуантр. Нет, я.

В эту минуту из сада доносится шум. Межан и Кларисса переглядываются с довольным видом. Слышны суматоха, беготня, крики.

Г о л о с с у л и ц ы. Они убили Робеспьера! Неподкупный заколот кинжалом!

Межан подходит к Фуше, Кларисса бежит к Барреру. Коллено вскакивает с места. В сад врывается разъяренная толпа. Вся улица бурлит и клокочет.

К а р ь е (*оглядываясь на других с мрачным торжеством*). Дело сделано!

Т а л ь е н (*восторженно*). Есть еще бог на небе!

Ф у ш е (*выйдя из своего угла, поспешно устремляется к столу проконсулов и повелительно говорит приглушенным голосом*). Молчите!

Баррас и Реньо, сознавая опасность, пытаются унять разбушевавшегося Тальена.

Т а л ь е н. Что такое? Почему я не имею права дать волю своим чувствам?

Ф у ш е (*громогласно*). Всенародная скорбь...

Б а р р а с (*Тальену*). Заткни глотку, болван, и слушай.

Снаружи гул поднимается, словно морской прилив. Толпа ревет, запрудив лестницу террасы. Колышется море голов. Угрожающие лица. Булыжник, брошенный с улицы, разбивает стекло.

Г о л о с а из толпы. Вот где притон убийц! Франты, богачи проклятые, кровопийцы! Поджигайте их логово, спалим его дотла!

Часть посетителей рассеивается, убегает вглубь кафе. Остальные пытаются преградить дорогу грозной стихии.

Б а р р е р (*выступает вперед*). Спокойствие, граждане! Я — Баррер, друг Робеспьера.

Ф у ш е. Мы все здесь верные друзья Робеспьера.

Г о л о с из толпы. Баррер... верно, это свой, это добрый патриот.

Б а р р е р (*указывает на Карье*). А вот Карье, гроза вандейских разбойников.

Г о л о с из толпы (*с удовлетворением*). Пускай примется за парижских разбойников.

К а р ь е (*васучив рукава*). А ну пошли!

Баррер. Да где же они, подлые убийцы? ¹

Реньо. Кто они такие? Кто их видел?

Фуше. Кто может рассказать толком, что же случилось?

Юноша (*кричит с улицы*). Я, я свидетель, я там был! (*Прокладывает себе путь.*)

Голоса из толпы. Пусть говорит!

Юношу выталкивают вперед, почти вносят на руках с улицы на террасу кафе; он взбирается на стул и возбужденно рассказывает.

Юноша. Какой-то негодяй, адский выродок, притаился у дверей Комитета общественного спасения. Целый день он подстерегал Робеспьера. Благодаренье богам, Робеспьер не явился. Тогда убийца в отместку разрядил пистолеты в Колло. Как раненый лев, Колло бросился на него...

Лекуантр (*тихо*). Сорвалось!

Карье (*вполголоса*). Придется начинать сначала!

Фуше (*подойдя к ним, повелительным тоном*). Придержите язык! Нас слушают... (*Громким голосом.*) Радуйтесь! Наш возлюбленный Максимилиан невредим!

Тюрьо. Республика спасена!

Баррас. Верховное существо оберегает его жизнь, столь драгоценную для отчизны... (*Вполголоса.*) Тальен, твой черед!

Тальен. Предлагаю направить депутацию к Максимилиану. Принесем ему горячие поздравления и выразим наши глубокие патриотические чувства.

Фуше (*которому Межан что-то нашептывает*). Граждане, сейчас схватили девушку, которая пыталась проникнуть к Максимилиану, при ней нашли два кинжала.

Крики усиливаются.

Мы требуем, чтобы подлых злодеев карали, как отцеубийц... черный мешок, отрубить руку...

Баррас (*вполголоса*). Это уж чересчур! Ты перехватил...

Фуше (*вполголоса*). Если твой враг уцелел, восхваляй его выше меры, пока он не станет ненавистен всем...

¹ В суматохе следующей сцены Баррер незаметно скрывается вместе с Клариссой, пока Фуше и Карье разжигают толпу. — Р. Р.

(Обернувшись к Карье.) А теперь, Карье, води их за собой!

Карье (тихо спрашивает у Фуше). Куда? На кого их натравить?

Фуше (та же игра). На лавки богатых торговцев в Западной и Центральной секциях.

Карье (та же игра). Но они все разгромят!

Фуше (та же игра). Пускай громят! Пускай грабят!

Карье (та же игра). Ты с ума сошел!

Фуше (та же игра). Дай им волю!.. Кто был причиной народных беспорядков? Робеспьер. Кому придется жестоко расправиться с погромщиками? Робеспьеру. Стало быть, нечего церемониться, Карье! Спусти их с цепи! (Обернувшись к Коллено, кивает на группу мускаденов, которые его окружают.) А эти господа, разумеется, охотно нам помогут.

Фуше, Мсжан и Коллено переглядываются. Они сразу поняли друг друга, и шайка мускаденов поняла их без слов.

Карье (собирая вокруг себя толпу). Именем Неподкупного! Отомстим за него!.. Бей негодяев, бей торгашей, долой кровопийц, долой грабителей, бей буржуа!

Толпа с ревом устремляется на улицу.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Утро 20 перриала (8 июня). Троицын день и праздник в честь верховного существа.

Помещение присяжного Вилата, на третьем этаже во дворце Тюильри. В глубине сцены, прямо против публики, — широкое настежь распахнутое окно; на фоне сияющего неба — вершины деревьев, флажки, развевающиеся на ветру знамена и в перспективе — аллеи Тюильрийского парка. При поднятии занавеса в воздухе кружатся стаи белоснежных голубей с длинными трехцветными лентами на лапках. Повсюду розы: гирляндами свисают с окон, обвивают древки знамен, рассыпаны на столе среди стаканов; у входящих женщин в руках букеты роз.

Снаружи доносится шум невидимой толпы, наводнившей площадь и трибуны у стен дворца, восторженный, ликующий гул и говор. В момент поднятия занавеса, на пороге двери справа появляется Робеспьер, которого вводит Вилат.

Вилат. Входи, Максимилиан, полюбуйся на творение рук своих. На великий народ, который собрался, чтобы прославить верховное существо.

Робеспьер входит и сразу останавливается, ошеломленный ярким светом и гулом огромной толпы, ее шумным, радостным гуденьем. Он невольно отшатывается, как будто порыв ветра ударил ему в лицо. Характерным жестом, увековеченным на портрете Давида, он прижимает обе руки к груди, словно стараясь умирить биение сердца.

Что с тобой? Может быть, мы слишком быстро поднялись по лестнице? Садись скорее! *(Пододвигает ему*

стул.) Ты мой гость. Пока празднество еще не началось, может ты не откажешься разделить со мной и друзьями нашу скромную трапезу? (Указывает на скромно накрытый стол.)

Через мгновение стол засыпают розами женщины, входящие с букетами в руках. В течение действия вслед за Робеспьером появляются приглашенные — мужчины и женщины, друзья и враги; они ходят по сцене, смотрят в окно, с любопытством разглядывают Робеспьера.

Робеспьер (*отстраняет рукой стул, предложенный Вилатом, и отказывается от угощения*). Нет, благодарю, Вилат. Мне ничего не надо.

Вилат. Тогда подойди к окну, отсюда лучше видно.

Робеспьер (*опершись рукой на стол*). Нет... Подожди немного... Потом... (*Как бы извиняясь*.) Я слишком взволнован. Это зрелище так несжиданно.

Вилат. Ты же знал... Разве ты не видел по дороге сюда, какое ликование на улицах? Весь Париж поет.

Молодые женщины (*громко переговариваются между собой, в надежде что Робеспьер их услышит и заметит*). Во всех окнах флажки... У каждого порога деревья в цвету... А какой аромат... Повсюду розы... Сам Париж — словно большая роза.

Молодая женщина с улыбкой подносит Робеспьеру букет из роз и колосьев; тот машинально берет его. Не слыша ничего, что происходит вокруг, взволнованный, устремив взгляд вперед, Робеспьер приближается к окну, словно притягиваемый магнитом; все расступаются, чтобы дать ему дорогу. Лишь только он появляется у окна, толпа узнает его. Раздаются приветственные возгласы, один, два, затем оглушительные, восторженные крики.

Толпа. Максимилиан! (*Громкие приветственные крики нарастают и переходят в пение: толпа запекает хором «Гимн верховному существу» Шенье и Госсекса.*)

Источник истины, что клевета грязнит,
Всего живущего ты пламенный властитель,
Свободы бог, природы покровитель,
О ты, кто создает и кто хранит, —
Твое сияние сердцам необходимо,
Как добродетельных законов ясный свет,
Враг подлых деспотов, прибежище гонимых,
Всей Франции сыны несут тебе привет!

Робеспьер, еще более потрясенный, сияющий от радости, словно в экстазе, смотрит в окно, не замечая ничего, что говорится вокруг.

Робеспьер. Народ... о мой народ!.. Я твой, я принадлежу тебе, все мои помыслы с тобою... Возьми меня, вкуси, испей, тебе я приношу в жертву всего себя. Народ, великий народ! Блажен, кто родился в твоих недрах, еще блаженнее тот, кто умирает за твое счастье!

Среди приглашенных в зале Вилата находится несколько членов Конвента, настроенных недоброжелательно к Робеспьеру. Имена их могут остаться публике неизвестными. Это Вадье, Бурдон, Мерлен де Тионвиль.

Вадье (*насмешливо*). Да сбудется твое желание, Максимилиан. Подобного блаженства достичь не так уж трудно.

Бурдон. Вы только послушайте, он будто с любовницей разговаривает. Мы здесь лишние. Он готов положить народ к себе в постель.

Молодая женщина. О, как он прекрасен! Как он трогателен!.. Максимилиан, полюби и нас. Мы тоже из народа.

Робеспьер (*ничего не замечая*). О родина! Благословенная страна, так щедро обласканная Природой! Ты — алтарь славы и Свободы. Гордый народ с чувствительным сердцем, ты, который опередил человечество на два тысячелетия. При одной мысли о нашем празднестве бледнеют и трепещут тираны. Мы сами творцы Победы. Я слышу шелест ее крыльев в лучезарном небе. Пламя Революции охватило полмира. Другая половина еще дремлет во мраке. Но мы пробудим ее от дремоты. Мы сообщаем установим священное согласие всех народов. Мы защищаем их честь, мы отстаиваем их права. Мы зовем их принять участие в нашем празднестве. Когда же они смогут ответить на наш призыв? Когда отпразднуем мы вместе с ними великое торжество рода человеческого?

Вадье. Не слишком ли ты далеко загадываешь? Сейчас род человеческий ведет войну против нас.

Робеспьер. А мы ведем войну только против его угнетателей. Мы ничего не хотим для себя, мы добиваемся счастья, богатства, Свободы, чтобы разделить эти блага по-братски между всеми людьми.

Бурдон. Нам и самим-то этих благ не хватает!

Робеспьер. Бедность становится богатством, горе радостью, когда такой ценой мы оплачиваем счастье будущих поколений.

Вадье (*язвительно*). Лучше синица в руки... Живешь ведь только раз.

Робеспьер (*бросая на него гневный взгляд*). Позор низким душам, которым сладостно зловоиние их ничтожества! Пускай они захлебнутся в грязи. Пусть не смеют эти червивые плоды отравлять здоровые соки наших цветущих садов, заражать своими язвами наши нивы!.. Нет, пока я жив, они не будут своими зловердными учениями потакать пороку и смущать добродетель!

Бурдон (*заискивающим тоном*). Твои неусыпные благородные заботы делают тебе честь, Максимилиан. Но не кажется ли тебе, что наш свободный народ достаточно вырос и не нуждается в руководстве? Разве ты призван стеречь его?

Робеспьер. Я не отвечу тебе словами Каина. Да, я сторож брату моему!

Женщины. Ты наш добрый пастырь. Счастлив народ, который ты ведешь!

Робеспьер. Немного бы я стоил, если бы не искал вдохновения в народе! Без него я слаб, всю мою энергию и познания я черпаю в нашем великом народе, чей порыв возносит нас и придает нам силы. Любите же народ, любите в нем самих себя! Друзья и ты, Вадье, забудьте мои резкие слова (но нет, я не могу от них отречься). Забудем наши раздоры в этот светлый день, пусть станет он для всех гордостью и ликованием! Ведь это наше общее торжество! (*Стоя у окна, простирает руки и, обращаясь к толпе, пылко восклицает.*) Братья!

Толпа, восторженно, могучим эхом повторяет: «Братья!»

Соотечественники, братья Франции во всей вселенной! Великий народ собрался здесь, чтобы завязать узы всеобщего братства. Мы чествуем человека, самое высокое создание Природы. Истинное служение верховному существу — это свято исполнять человеческий долг. Просла-

вим же человека! Внушим ему самое священное из чувств — святое уважение человека к человеку.

В а д ь е, Б у р д о н, М е р л е н и другие (*собравшись в кружок в левом углу залы, говорят между собой*). Недурно бы для начала подкрепить проповедь личным примером.

— Проповедь проповедью, а там, напротив, в глубине сада красуется гильотина...

— Ради такого случая ее завесили полотнищем.

— Напрасно. Это же алтарь. Каждый вечер там слушают мессу.

— Робеспьер ни разу не захотел взглянуть на нее.

Звучат трубы, пение становится громче, толпа неистовствует. Робеспьер замирает с воздетыми руками, устремив глаза к небу.

— Полюбуйтесь на дервиша. Слышите, он молится своему богу.

— Вот дьявол! Мало ему быть королем, ему еще надо корчить из себя папу!

Крики толпы на площади становятся все более громкими и властными.

Т о л п а. Максимилиан!.. Приди!.. Приди!..

Г р у б ы й г о л о с (*отчетливо и громко*). А ну, скорей спускайся сюда! Тарквиний! Долго еще тебя ждать?

В и л а т (*подобострастно*). Дорогой Робеспьер, они теряют терпение. Час, назначенный для церемонии, уже истек.

Р о б е с п ь е р (*сразу опомнившись*). Что же ты не сказал мне раньше? Меня так заворожило это зрелище, что я потерял счет времени. (*Поспешно идет к двери.*)

Навстречу ему входят, запыхавшись, Леба и Давид.

Л е б а. Мы с Давидом пришли за тобой. Билло вне себя от гнева. Комитет возмущен твоим опозданием.

Д а в и д. Что ты скажешь о моем творении? (*Показывает на перспективу в окне.*) Я воздвиг для тебя Капитолий.

М е р л е н д е Т и о н в и л ь. А ты не собираешься, Давид, воздвигнуть ему скалу?

Д а в и д. Какую скалу?

Мерлен де Тионвиль. Ту, что ему подобает: Тарпейскую.

Давид (с возмущением обращаясь к Робеспьеру). Зависть всегда сопутствовала триумфам Цезаря.

Робеспьер (с упрёком). И ты тоже, Давид. Сравнение с Цезарем для меня худшее оскорбление!

Давид. Прости меня, Неподкупный! Я желал бы для тебя только его славы.

Робеспьер. Во всей его славной судьбе я завидую лишь тридцати кинжалам заговорщиков. Вон они, посмотри! (Указывает на группу недовольных: Бурдона, Вадье, Мерлена и прочих.) Они торопятся обессмертить меня. (Выходит быстрым шагом в сопровождении Леба и Давида.)

Вилат бежит вдогонку с букетом цветов и колосьев, который Робеспьер бросил на столе.

Вилат. А букет, ты забыл букет! (Не догнав Робеспьера, возвращается с букетом в руках.)

Молодые женщины накидываются на Вилата и с жадностью расхватывают цветы.

Женщины. О, дай его мне, гражданин!

— Нет, лучше мне!

— Разделим по-братски, как он нас учил, эти священные реликвии!

— О сладчайший Максимилиан, покойся на моей груди!

Это восклицает юная прелестная девушка, пряча розы и колосья под легкой косынкой, прикрывающей грудь.

За окном раздаётся «Походная песня», сочиненная и впервые исполненная в эти дни. Бурдон, Вадье, Мерлен и другие подходят вслед за Вилатом к окну и смотрят на площадь.

Мерлен де Тионвиль. Это поют новобранцы во главе с Сен-Жюстом. Нынче вечером они выступают в поход на Флерюс. Туда им и дорога! У Робеспьера в Париже останется меньше защитников.

Все подхватывают песню, раздающуюся за окном. «Победа с песнями нам открывает путь...»

Занавес.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Комитет общественного спасения, 27 прериаля (15 июня) вечером¹. Билло, Карно, Колло — все очень взволнованы. Зашли навестить соседей члены другого Комитета (общественной безопасности) — Вадье, Амар и прочие; они горячо спорят. Все стоят, присаживаясь только на минуту, когда секретари Комитета приносят им бумаги на подпись. Билло и Карно шагают из угла в угол, размахивая руками.

Билло. Он стал невыносим!

Карно. Он мнит себя неограниченным монархом.

Колло. Он решает все сам, рубит сплеча и ни с кем не советуется...

Вадье. Как вы могли одобрить подобный закон? Ведь это значит дать ему в руки меч!

Билло. Мы и не давали. Он взял сам. Нас даже не предупредили!

Колло. Он теперь не считает нужным совещаться с нами. Он сочинил этот декрет у себя дома, а Кутон, не представив нам на рассмотрение, внес его прямо в Конвент.

Вадье. А вы-то кто? На что вы годны? Распустите Комитет. Вы уже не существуете.

Амар. Теперь он может по своему усмотрению арестовать и приговорить к смерти кого угодно без всякого следствия, без защитников. Свобода всех граждан в его руках.

Билло. Нам нужно, нам необходимо сговориться, какими средствами остановить тирана, замышляющего стать диктатором.

Вадье. Но ведь ты сам, Билло, примкнул к Робеспьеру, когда Тальен в Конвенте пытался выступить против; да и ты, Баррер, ты тоже поддерживал Робеспьера.

Билло. Я выступаю против Робеспьера, но это еще не значит, что я протяну руку Тальену. Я не желаю действовать заодно с мошенником.

Вадье. Не время привередничать. Если на меня нападут разбойники, я буду отбиваться всем, что попадется

¹ Вскоре после того, как Кутон внес на рассмотрение Конвента декрет от 22 прериаля. — Р. Р.

под руку, подыму с земли любую палку — наплевать, что она вся в дерьме.

Карно. Он прав! Против тирана все годится, все средства хороши.

Колло. Я возьму на себя этого сатану, этого негодяя! Я сокрошу Робеспьера!

Баррер. Да не шумите так! *(Затворяет окна, выходящие в сад.)* Могут услышать с улицы. К чему бесноваться? Надо смотреть на вещи трезво. Вы отдаете себе отчет, какими силами он располагает? *(Обращаясь к своей секретарше, которая со смиренным видом стоит у порога.)* Посторожи у двери, Кларисса, дай нам знать, когда он появится!.. За него стоят народные массы, народ предан Робеспьеру, люди воодушевлены зрелищем пресловутого праздника; за него — гарнизон Парижа под началом Анрио; молодые воины из «Эколь де Марс», подчиненные Леба; якобинцы, податливые, как воск, в его руках; новая Коммуна во главе с Пэяном и Флерио, которые лижут ему пятки; Революционный трибунал, где он посадил своего тестя Дюпле; и, наконец, на Самбре верные ему генералы Журдан, Пишегрю, безропотно повинующиеся Сен-Жюсту, и армия, готовая хоть сейчас поднять на щит Робеспьера...

Карно. Ну, погоди! Он у меня попляшет на этом самом щите!.. Первым делом надо спровадить на фронт войска, которые грудью за него стоят здесь, в Париже.

Вадье. Что касается народа, то не всякий дым бывает от огня! Пускай горланят зеваки, их восторги не заглушат ропота секций.

Амар. В особенности, если умело за них приняться.

Карно. В этом деле можно всецело довериться Фуше. У него правильная тактика: взвалить на плечи тирана все, что вызывает недовольство в народе.

Билло. Что ж, справедливо. Раз он желает над нами господствовать, пускай несет ответственность за весь этот развал в государстве. Уж мы сумеем потребовать с него отчета.

Баррер. Остерегайтесь разрыва с ним. Он еще слишком силен.

Билло. Неужели мы должны склонить перед ним шею, а он будет нас ногами топтать?

Баррер. Гнев — плохой советчик, Билло... Если нам суждено непременно сразиться с ним, пусть схватка произойдет тогда, когда мы будем уверены, что возьмем верх. Сейчас еще не время. Сначала мы должны усыпить бдительность врага и ослабить его. С Сен-Жюстом он уже разлучен. Удалим Кутона.

Карно. Старый черт не доверяет нам. Я уже предлагал ему выехать с поручением в провинции. Он и ухом не повел.

Вадье. Проклятая старая лиса!.. Мы избавимся от него другим способом... Но первым делом следует очистить Конвент. Удалим оттуда приспешников тирана. Разошлем их по самым отдаленным провинциям, на границы, на берег океана. Что может возразить Робеспьер? Ему должно быть лестно, что его друзей назначают на опасные посты.

Баррер. Мы уже позаботились об этом. К концу месяца полсотни человек из его старой гвардии будет рассеяно по всей Франции.

Карно. Но подорвать его власть надо именно здесь, в самом Париже.

Вадье. А ведь я ловко подложил ему свинью сегодня в Конвенте, правда?

Билло. Bravo, Вадье! За этот год ты добился большего, чем кто-либо из нас. Ты сумел поднять его на смех в Собрании. Поделом мерзкому святоше! Он задумал стать богом, а ты откопал ему богородицу, Катрину Тео, помешанную старуху, которая на него молится. погоди! Мы еще устроим в трибунале целое карнавальное шествие, сгоним туда дурацких ханжей и идиотов, всю эту свиту Робеспьера. То-то будет потеха! Весь Париж животы надорвет.

Баррер. Только допустит ли Робеспьер?

Вадье. А ты бы взглянул на него во время моей речи! Ощерился, как щука.

Баррер. У щуки острые зубы.

Билло. Эх ты, храбрый вояка! Баррер воспекает победы, а сам дрожит от страха за свою шкуру.

Баррер (пожав плечами). Вы просто сумасшедшие. Если вы задались целью сокрушить врага, зачем вам раздражать его?

Вадье. Чтобы посмеяться ему в лицо!

Баррер. Теперь не до развлечений!

Билло. Ну, ты уж слишком хитер. Глядя, как ты лебезишь перед своим заклятым врагом, невольно думаешь: кого же обманывает Баррер — нас или Робеспьера?

Баррер. Ради блага Республики я предпочел бы сохранять согласие между ним и нами. Если нашему союзу суждено быть нарушенным, пусть уж лучше зачинщиком будет он. Я слишком ясно вижу, что от нашего разрыва больше всего выиграют враги Республики.

Билло. Я тоже этого боюсь. Но победа деспота представляет для Республики не меньшую опасность. Надо помешать этому во что бы то ни стало. А там успеем подумать и о другой опасности.

Баррер. Постараемся по мере сил избежать ее, будем разрешать наши споры без лишнего шума, при закрытых дверях. Главное, не выносить их на площадь, не посвящать посторонних в наши решения и ни в коем случае не давать Робеспьеру повода воззвать к народу. Чтобы сокрушить тирана, я предлагаю сначала окружить его, удержат при себе, лишив свободы действий.

Карно. Неужели ты думаешь, что он пойдет на это и не попытается грубо навязать нам свою волю?

Баррер. Нас большинство, мы будем сопротивляться.

Вадье. Э-э, шумите вы много, а потом сдаетесь.

Билло. На этот раз я не сдамся. Я растопчу его, испепелю!

Баррер. Не горячись, Билло! *(К Вадье, с упреком.)* Очень нужно его подзадоривать!.. Пойми, Билло, мы должны постараться его обойти. Держи себя в руках. Не бросайся вперед очертя голову, точно бешеный бык.

Билло. Что подделаешь! Я не умею притворяться, как ты, не говорить ни «да», ни «нет», называть черное белым, все смягчать, от всего уклоняться. Когда я пускаюсь на хитрости, ложь так и прет из меня; мне это нестерпимо, я сам себе противен, меня тошнит...

Баррер. А ты держись потише. Думай про себя, что хочешь! Но зачем же трубить во всеуслышанье?

Билло. Ладно, постараюсь.

Кларисса с порога, где она стоит на страже, делает знаки Барреру.

Баррер (остальным). Робеспьер...

Сразу водворяется тишина. Билло и Карно, склонившись над столом, делают вид, что поглощены работой. Амар и Вадье собираются уходить. Баррер, стоя у стола, спиной к окну, перелистывает бумаги. Колло рассказывает вразвалку по комнате, посмеиваясь про себя. Быстрым шагом с опущенной головой входит Робеспьер. Вслед за ним вкатывают кресло Кутона. Едва не столкнувшись с Вадье, Робеспьер круто останавливается и пронзительно смотрит на него.

Робеспьер. Что ты тут делаешь?

Вадье. А разве я должен спрашивать у тебя разрешение? Комитет общественной безопасности имеет право входить куда угодно.

Робеспьер. Комитет общественной безопасности занимается чем угодно, кроме своих обязанностей. Вместо того чтобы преследовать врагов народа, он всячески старается опорочить его верных слуг. Вы позорите себя, распуская грязные сплетни. Над вами смеются.

Вадье. Смеются, да только не над нами.

Колло хихикает. Билло и Карно посмеиваются, не подымая глаз от бумаг.

Робеспьер. Ты пришел сюда, чтобы тебя похвалили за вероломство?

Вадье. Какое вероломство? Ты должен радоваться, что я вытащил из норы жалких, вонючих гадов, которые прикрывались именем Робеспьера.

Робеспьер. Ты воображаешь, что одурачил меня, что я не разгадал твоих коварных плутней? Ты отлично знаешь, что эти смешные, безобидные бедняги не приносят никакого вреда Республике. И ты громишь их лишь для того, чтобы из всяких глупых бредней создать отравленное оружие против меня.

Вадье. Ого! Тебе, должно быть, пришлось по вкусу прорицания твоей пифии?

Колло. Всякому лестно слышать, что его приход предсказан самим пророком Езекиилом! Примите наши поздравления, дорогой коллега! Для нас величайшая честь, что в наших рядах обретается сын божий!

Все прыскают со смеху.

Робеспьер. Дурацкие шутки!

Вадье. Вот тебе раз! Ведь это сказала твоя любезная Тео, мать божия, стало быть твоя родная бабушка.

Смех усиливается.

Билло (*не подымая глаз от бумаг*). Она сказала правду. Ведь именно Робеспьеру мы обязаны восстановлением религии.

Робеспьер. Конвент восстановил не религию, а высокие принципы добродетели, на которых зиждется всякая Республика, достойная этого имени. Ни один честный человек не усомнится в том.

Вадье. Так вот почему в деревнях, прослушав твои нудные славословия верховному существу, крестьяне служат мессу и распевают «Veni, Creator»¹.

Карно. У нас в Бургундии, открывая собрания в клубах, уже осеняют себя крестным знаменем и бормочут молитвы.

Баррер. А у нас в Беарне отменили счет по декадам. Попрежнему празднуют воскресенье.

Билло. Уж ты постарался угодить попам, нечего сказать! Почему бы тебе не принять титул почетного ризничего?

Кутон (*лукаво*). Ты ведь был иноком в монастыре, Билло. У вас идет спор монаха с мирянином.

Робеспьер. Перестань, Кутон! Я не могу помешать подлым врагам кривляться и паясничать в бессильной злобе. Но друзьям моим не подобает отвечать на их глупые шутки.

Билло (*в гневе стучит кулаком по столу*). Я не шучу! Посмей-ка отрицать, что ровно неделю назад ты официально восстановил во Франции культ бывшего бога и сам отслужил обедню в Париже в качестве первосвященника.

Робеспьер. То, что я сделал, я сделал с полного одобрения Конвента, после единогласно принятого решения.

Билло. Ты насильно вырвал у них согласие, запугал их, захватил врасплох. Знаем мы твои приемы! Едва ты кончишь распевать соловьем, как выскакивают один за

¹ Приди, создатель (*лат.*).

другим твои прихвостни и с воплями превозносят тебя до небес. Попробуй-ка возрази! Никто не успевает опомниться.

Робеспьер. Если верно то, что ты говоришь, это бесчестит твоих товарищей и тебя самого. Ты клеветешь на Конвент.

Билло. Ты оглушаешь нас длиннейшими риторическими периодами, ты зубришь свои речи дома перед зеркалом. Конца им нет! Тебе никогда не надоедает собственная декламация. Все засыпают, никто не слушает. Когда речь кончается, тебе аплодируют с облегчением, в восторге, что фонтан заткнулся. Внушив публике, что она восхищена твоими нудными проповедями, ты спешишь поскорее их отпечатать. А на другой день их тошно читать, до того несет от них ладаном, до того претит реакционный дух, который скрывается за пышными фразами.

Робеспьер. Ты называешь реакционным стремление утвердить Республику на устоях добродетели? Ведь Революция, проложившая путь Республике, была только переходом от царства преступления к царству справедливости.

Билло. Мы и сами отлично справимся с этой задачей! Зачем припутывать сюда бога?

Робеспьер. Никто из нас не совершенен. Верховное существо — это всеобщее братство, высочайшая цель, всегда стоящая перед нашим взором, далекий предел, к которому должен стремиться человеческий род.

Билло. Называй вещи их именами! Твое верховное существо — просто поповская западня. Скажи человеку правду: «Тебе не на кого рассчитывать, кроме как на себя самого. Страдай и борись! Никакого бога нет! Не тешь себя иллюзиями. Жизнь жестока. Жизнь мрачна. Научись видеть ее такой, как она есть».

Вадье. Не преувеличивай, Билло. Жизнь хороша. Она кажется мрачной только попам и монахам. В тебе старая закваска сказывается.

Баррер (*кивая на Билло и Робеспьера*). Бедняги! Их ни разу не пригрело наше южное солнце.

Карно (*упрямо*). Бога нет. Не надо нам бога! Столько веков мы боролись против обмана и заблуждений, которые притупляли человеческий разум и помогали

тирании поработать его. И вот едва мы успели разорвать вековые цепи, как из нашей среды появляется отступник и снова куёт их, снова приводит к нам лицемерного Тартюфа, боженьку, которого мы изгнали с таким трудом. Я называю твои деяния изменой разуму.

Робеспьер. А вы совершаете еще худшую измену! Вы предаете слабых, обездоленных, оставляете без поддержки и опоры народные массы, которыми призваны руководить. Я сообразовался с благом отчизны и интересами человечества. Любые законы, любые учения, способные утешить и возвысить душу, я считаю благотворными и целительными и принимаю их. Идея верховного существа служит порукой справедливости. В нужде и тяжких испытаниях народ возлагает на нее свои надежды. Вы не вправе лишать его этой надежды. Что вы можете предложить взамен?

Карно. Свободный разум!

Робеспьер. Скажи лучше — хаос, дух отрицания.

Карно. Хаос? Нет, реальность, только в ней истина.

Робеспьер. А откуда ты знаешь, в чем истина? Кто разрешил тебе мерить на свою мерку лжеученого, ограниченного и нетерпимого, беспредельность мировых сил? По какому праву ты смеешь оскорблять и разрушать веру тысяч простых людей в бессмертие души и в провидение, подавлять священный инстинкт, быть может более прозорливый, чем твои сухие, холодные умствования?

Карно. Только дай тебе волю, ты бы на много веков повернул вспять человеческий разум.

Робеспьер. Ты говоришь словами жирондистов Гадэ, Верньо и Жансонне, которые упрекали меня в том, что я произносил слово «провидение».

Карно. Уж не за это ли ты отправил их на гильотину?

Билло. Не смей путать их преступления против родины с их справедливыми нападками на твоё нелепое фиглярство; они бичевали тебя во имя здравого смысла. Пускай мы отрубили им головы, это не мешает нам воспользоваться их бичом.

Робеспьер. Горе попаям, лжепроповедникам безбожия и отрицания! Прячась под маской разума, низменного и тупого, они пытаются подрезать крылья святому

порыву нашего народа, пытаются задушить своей растленной ученостью пламень духа, основу всех великих подвигов!

Билло. Тебе горе, подлый лицемер! Вечно ты треплешь языком о боге, добродетели, нравственности, и все для того, чтобы упрочить свою власть на трупах своих противников.

Колло. Торквемада, ты бы не прочь восстановить у нас святую инквизицию!

Робеспьер. Из всех видов фанатизма самый опасный — это фанатизм безбожия.

Баррер. Всякий фанатизм одинаково ненавистен.

Билло. Фанатизм разума — священнейший долг Революции. Я буду бороться за него всеми силами, буду бороться именем закона против изменников вроде тебя, которые лукавят и вступают в сделки с церковью, исподтишка расчищая путь теократии; это самая гнусная власть, не считая военной диктатуры, даже еще более зловещая и позорная, ибо она проникает ползком вглубь сознания, отравляя и порабощая его... Не отрицай! Ты воображаешь, что обманул нас? Я вижу твои плутни насквозь. Уже давно я за тобой слежу! Проныра! Шут! Тиран!.. Ты хочешь захватить разом и трон и алтарь!.. Проваливай в Рим, в Верону — лизать пятки королям и поповской своре! Твое место там, среди нас тебе нечего делать...

Дав волю гневу, Билло постепенно возвышает голос до крика. Его слышно с улицы, так как Кларисса, секретарша Баррера, потихоньку растворила окна, выходящие на площадь.

Колло (*громовым голосом*). Вместо сестры Капета, к которой ты сватался, там тебе подсунут в невесты какую-нибудь старую деву из королевского дома да подыщут место королевского лакея, если только твоя Корнели Копо, девица Дюпле, отпустит тебя...

Карно и Вадье (*дуэтом*). «Ах, мое сердечко!..»

Робеспьер (*тихонько пытаюсь перекричать их, бледный от ярости, чуть не плача*). Негодяи, запрещаю вам...

Карно. Ты пока еще не папа, чтобы нам запрещать...

Все говорят разом. Среди общего шума слышны пронзительные крики Робеспьера.

Робеспьер. Люди без стыда и совести! Разбойники!

Билло. Наемник Питта! Королевский лакей!

Робеспьер. Я призыву народ! Народ нас рассудит!

Билло. Ты готов послать на гильотину весь Конвент!

Робеспьер старается вырваться от Билло и Колло, схвативших его за шиворот. С улицы доносится невнятный шум. Слышны крики:

— Это в Комитете!

— Они там убивают друг друга!

Баррер (*обернувшись, замечает раскрытые окна*). Кто отворил окно? (*Поспешно затворяет окна*.)

Кларисса, вернувшаяся было на свой пост у порога, спешит к нему на помощь. Остальные, опомнившись, затихают. Наступает тишина. Противники, устыдясь своей ярости, застывают неподвижно, бросая друг на друга злобные взгляды. Запыхавшийся Робеспьер шумно дышит, поправляя дрожащей рукой сбившийся галстук и помятое жабо.

Кутон (*до сих пор сидевший неподвижно в своем кресле, не принимая участия в перебранке и наблюдая за всеми зорким насмешливым взглядом, язвительно произносит среди общего молчания*). Вот так побоище! Хороши вы, нечего сказать, храбрые паладины разума! Ваши яростные возгласы никого не обманут. Отнюдь не верховное существо приводит вас в негодование — вы скрываете истинную причину. Вы взбесились, вы не можете переварить декрет о революционном правосудии, за который вы же сами голосовали. А прямо нападать вы не смеете из страха, что декрет обернется против вас.

Колло и Карно хрипят от злобы. Однако в конце сцены никто уже не повышает голоса до крика, как прежде; ярость звучит приглушенно.

Колло и Карно. От страха?

Карно. От страха перед тобой, ублюдок?

Колло. Кто вас боится, жалкие пигмеи?

Билло. Да, правда, я обвиняю тебя, обвиняю вас обоих, коварные лицемеры! Вы задумали захватить правосудие в свои руки, чтобы истребить оба Комитета.

Кутон. А я обвиняю вас в том, что вы целых два месяца всеми средствами пытались помешать применению народного правосудия. Вопреки всем вашим стараниям

рука закона покарает разбойников, за которых вы ратуете. Все честные граждане требуют этого. Закон — прибежище всех слабых, бедных, неповинных. Он страшен лишь врагам народа.

Билло. Кого только ты не разумеешь под этим именем! Ты готов включить в свои проклятые списки всякого, кто тебе противоречит.

Кутон. На воре шапка горит. Нечистая совесть сама себя выдает.

Билло. Как? Ты смеешь угрожать мне? Мне? Ты не выйдешь отсюда живым! (*Замахивается на него.*)

Кутон пожимает плечами. Баррер и Карно оттаскивают Билло, он старается овладеть собой. Робеспьер, хранивший молчание во время этой схватки, говорит спокойным, ледяным тоном.

Робеспьер. Идем, Кутон, этот человек прав. Нам здесь не место.

Колло. Ступай вон, иди к своим сообщникам!

Робеспьер. Я иду к народу. Он мой единственный друг, мой властелин. Завтра он станет твоим судьей.

Билло. Мы изгоняем тебя из Комитета!

Робеспьер. А я, я изгоняю вас из Республики... Вы хотите войны?

Билло, Колло, Карно. Да!

Робеспьер. Ну что ж, война так война! (*Уходит вместе с Кутон.*)¹

Занавес.

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Там же. Комитет общественного спасения. 4 термидора (22 июля). Баррер, Карно, Колло, Билло, хмурые и подавленные. Межан за столом разбирает бумаги.

Баррер. Хороши мы, нечего сказать! Вот уже месяц как мы выгнали Робеспьера из Комитета, а он неустанно восстанавливает против нас народные массы. Он стал сильнее во сто крат.

¹ Весь конец сцены, напоминаем еще раз, идет в тоне приглушенной ярости, но внешне спокойно. — Р. Р.

Колло. Как он этого добился? Кто бы мог подумать! Казалось, он уже ни на что не годен. Совсем выбился из сил.

Карно. Ненависть придает ему силы. Он покоя не найдет, пока не отомстит нам.

Баррер. Если ты это предвидел, зачем было дразнить его?

Карно. Мы не сумели совладать со своими чувствами.

Колло. А теперь он как с цепи сорвался! Выступает в Якобинском клубе каждые три дня. Сеет подозрения, разжигает ненависть. В народе растет брожение. Если не положить этому конец, мы погибли.

Билло (*неподвижный, сосредоточенный, вновь распаляясь ненавистью*). Тиран! Пизистрат!

Карно. Попробуй теперь заткни ему рот!

Билло. Кинжал Гармония...

Баррер. Это обожествит его. Напротив, мы должны оберегать его от кинжалов. Ведь всякое покушение приписали бы нам. Робеспьер сам открыто обвиняет нас в том, что мы знали о заговорах против него и ничего не предприняли. Я лично не придаю значения угрозам Лекуантра и его хвастливой шайки: слишком уж они шумят. Один взгляд Робеспьера обратит их в бегство. Но нам нужно зорко следить за их происками. При малейшей попытке какого-нибудь безумца напасть на Неподкупного, на нас накинется вся свора якобинцев.

Колло. А кто поручится, что Робеспьер сам не подстраивает покушений, о которых он кричит на всех перекрестках? Все эти незадачливые заговорщики появляются так кстати, что иной раз думаешь, уж не подбивает ли их он сам через своих людей.

Карно. Повсюду рыщут его агенты, сеют подозрения против нас. Они мутят народ и в провинции. Мне только что сообщили (*кивает на Межана*), что один из его посланцев в Булонь-сюр-Мэр распускает обо мне грязную клевету. Негодяй смеет обвинять меня — это меня-то! — в том, что я будто бы хотел сорвать победу!

Баррер. Он натравливает на нас полицию. Он громит нас в речах... Нет, своими силами нам не удастся устранить Робеспьера. Заключим с ним мир!

Колло. Теперь уже поздно. Он не хочет мириться.
Карно. И я не хочу! Огонь или вода... Либо он, либо мы!..

Колло. Даже если заключить мир на сегодня, он все равно будет нарушен завтра. И опять все пойдет по-старому.

Баррер. Выиграем хотя бы один день. Мы еще не готовы к бою. Прежде всего надо разоружить народ, очистить Париж от якобинских отрядов, в особенности от канониров. А главное, объединить всех недовольных, всех противников Робеспьера.

Колло. Над этим неустомимо трудится Фуше. Он уверяет, что все будет готово к концу недели.

Баррер. Напрасно он об этом пишет. Агенты Робеспьера только что перехватили в Нанте письмо Фуше, из которого явствует, что наше выступление близится.

Билло. Скверно. Тиран испугается и опередит нас.

Колло. Это состязание на скорость. Давайте начнем первые!

Баррер. Благоразумнее отсрочить выступление. Надо успокоить Робеспьера. Любой ценой заставить его вернуться в Комитет.

Колло. По-твоему, это так просто? Каким же образом?

Баррер. Любыми средствами. Хотя бы обещаниями уступок.

Билло. Ни за что!

Карно (*после некоторого раздумья, делает усилие над собой*). Ну, Билло, уж если я соглашаюсь, при всей моей ненависти к Робеспьеру, то ты и подавно можешь пойти на это.

Билло. Я не умею кривить душой. А если бы умел, презирал бы себя.

Карно. Военная наука велит нам иной раз отступить, чтобы завлечь противника.

Билло. И ты надеешься заманить его? Он даже и слушать нас не пожелает.

Баррер. Он послушает Сен-Жюста. Предоставь это мне,

Входит Сен-Жюст.

(Идет ему навстречу, ласково берет за руки.) Друг, ты давно не видел Максимилиана?

Сен-Жюст. Я прямо от него. Но с ним теперь трудно разговаривать. Он все пишет, сидит взаперти, а если выходит из своего уединения, то только в Клуб якобинцев. Народ — его единственный друг и поверенный.

Баррер. Неужели, по-твоему, достойно доброго гражданина совершенно не считаться с нашими Комитетами? Я уверен, что Робеспьеру ненавистна роль диктатора. Так зачем же он постоянно обращается прямо и непосредственно к народу и тем дает повод обвинять его в стремлении к диктатуре?

Сен-Жюст. Мне известна несправедливость этих обвинений. Однако — не боюсь заявить прямо — мне не по душе, когда Робеспьер уединяется, как весь прошлый месяц. Это вредит ему. Тот, кто предается горьким думам, мукам уязвленного сердца, перестает видеть действительность, понимать людей и события. Но кто виноват? Вы сами. Вы оттолкнули его своим недостойным поведением.

Баррер. Мы признаем, что обошлись с ним непочтительно и несправедливо. Но разве справедливы его резкие нападки на Комитет? Согласись, что при нашей утомительной, лихорадочной работе, без минуты отдыха, невозможно взвешивать каждое слово! Пусть он признает свою вину. Мы, со своей стороны, готовы признать нашу.

Сен-Жюст. Тут дело не только в словах. Вы мешаете проводить в жизнь законы, принятые по его предложению. Вы постоянно чините ему препятствия во всех его действиях.

Баррер. А зачем он действует, не считаясь с Комитетом? Впрочем, не стоит вспоминать наши взаимные заблуждения! Они одинаково губительны для Республики. Чтобы восстановить согласие, обе стороны должны пойти на уступки. Мы не хотим упорствовать. Поищем сообща почву для примирения. Пусть каждый внесет свой вклад. Чего требует Робеспьер, чтобы убедиться в нашей готовности к примирению? Мы стремимся к этому всей душой, призываю в свидетели любого из моих коллег.

Колло. Возможно, я был слишком резок. Признаюсь откровенно. Я протягиваю руку Робеспьеру. Мою честную руку.

Карно. У меня на родине виноградары иной раз дерутся, как черти. Но после потасовки дружба только крепнет.

Билло (с явным усилием). Робеспьер несправедлив ко мне. Отрава недоверия гнездится в его больном воображении. Я люблю Робеспьера. (Отвернувшись, сплевывает в сторону.)

Сен-Жюст (бесстрастно и высокомерно). Я не спрашиваю о ваших чувствах к Робеспьеру. Мне они известны. Я спрашиваю, что вы готовы сделать ради примирения с ним и какую цену за это запросите?

Баррер. Ну вот, желая доказать, что мы не чиним ему препятствий, мы предлагаем особым постановлением со временем ввести в действие Вантозовские декреты. Для начала можно образовать, скажем, четыре народных комиссии, которые отбирали бы подозрительных лиц и направляли в Революционный трибунал... Все согласны?

Остальные кивают головой.

Билло. Можно даже создать выездные сессии Революционного трибунала, чтобы вершить суд и выносить приговоры на месте.

Баррер (продолжает). Чтобы засвидетельствовать перед всеми наше доверие к тебе и Робеспьеру, мы поручаем тебе, Сен-Жюст, от имени Комитета представить Конвенту доклад о политическом положении в стране. Ты доложишь им с полной откровенностью о наших дружеских разногласиях и о решениях, принятых сообща. Однако, по справедливости, вы тоже, со своей стороны, должны отбросить вашу обидную подозрительность.

Карно. Уже много недель вы задерживаете приказ об отправке в Северную армию отряда парижских канониров, которые необходимы для продолжения кампании. Молва приписывает Робеспьеру намерение образовать из них свою преторианскую гвардию. Положите конец этим оскорбительным слухам ради нас и ради вас самих. Подпишите приказ! Это самое малое, чего мы можем потребовать.

Колло. Мы требуем доверия и прямоты и сами доверяем вам. В наших сердцах нет дурных помыслов.

Сен-Жюст. Сердце здесь ни при чем. В интересах Нации необходимо, чтобы мы отложили наши внутренние распри, которые мешают нам действовать сплоченно против внешнего врага. Мы возобновим спор, когда французская земля будет очищена от неприятеля. Я согласен стать посредником между вами и Робеспьером. Что касается меня, я принимаю ваши предложения. Я составляю доклад со всем беспристрастием, к какому обязывает меня долг перед высоким собранием.

Карно. А приказ об отправке на фронт артиллерийских отрядов?

Сен-Жюст. Я подпишу его.

Билло. Итак, все улажено. Приведи к нам Максимилиана. Он убедится, что ему нигде не найти более верных друзей, чем мы.

Все кипят в знак одобрения.

Баррер. Пора в Конвент. Заседание уже началось. Ты идешь, друг?

Сен-Жюст. Нет, мне надо поработать.

Баррер. Мы еще застанем тебя здесь. *(Пожимает ему руку.)*

Карно. Нам с тобой подчас было трудно ужиться. Но я тебя уважаю. Ты славный малый.

Колло. А я люблю тебя... *(Протягивает руки.)* Обними меня!

Сен-Жюст *(уклоняясь)*. Нет, нет! Мы не на сцене... Или ты играешь Нерона?

Колло *(со смехом)*. «Соперника я обнимаю...» Ты не видел меня в этой роли? Она мне удалась!

Сен-Жюст. Отчего бы тебе не вернуться к старому ремеслу?

Колло. С новым ремеслом я тоже недурно справляюсь!

Все уходят.

Сен-Жюст *(один, смотрит им вслед)*. Все они лгут!.. От них за двадцать шагов несет ложью. Неужели эти глупцы воображают, что я ничего не вижу?.. Колло паясничает... Карно корчит из себя добродушного дядюшку-виноградара... Неуклюжий Билло прямо давится от

ненависти, его так и распирает... Ну, а Баррер, этот уже сам не может разобрать, когда он лжет, когда говорит правду... Песок и навоз... На что, на кого положиться? И это опора Республики! Жизнь отдал бы за настоящего человека!

Входит Леба, он идет из Комитета общественной безопасности.

Леба (с радостным изумлением). Сен-Жюст! Ты один?

Сен-Жюст (погруженный в свои мысли). Вот, быть может, настоящий человек!..

Леба. Ты занят?.. Не хочу тебе мешать. (Собирается уходить.)

Сен-Жюст (удерживая его). Останься! Ты мне нужен.

Леба. Говори! Я весь к твоим услугам. Чего ты хочешь?

Сен-Жюст. Просто побыть с тобой. (Положив руки на плечи Леба, смотрит на него с юношески светлой улыбкой.)

Леба (радостно). Антуан! Значит, ты еще не лишил меня своей дружбы?

Сен-Жюст. То, что я дарю достойному, я никогда не отнимаю.

Леба. Так почему же ты так долго чуждался нас?

Сен-Жюст. Тебя — никогда.

Леба (тихо). Ты сердился на меня из-за Анриетты?

Сен-Жюст. Твоя прелестная сестра ни в чем не виновата. Если я и сержусь, то не на нее и не на тебя.

Леба. На кого же?

До этой минуты Сен-Жюст продолжал стоять в той же позе, положив руки на плечи друга. При этих словах он отстраняется от Леба.

Сен-Жюст. На самого себя... Видишь ли, Филипп, самую трудную борьбу не всегда ведешь с врагами. Подчас труднее бороться с самим собой. Когда я вступаю в этот поединок, я бегу от людей, пока не решится исход битвы.

Леба. Бой состоялся?

Сен-Жюст. Состоялся.

Леба (робко). Со счастливым исходом?

Сен-Жюст. Для меня исход несчастный. Но Анриетте лучше забыть обо мне. Она слишком бы страдала, если бы стала моей женой.

Леба. Она будет страдать гораздо больше, если не станет твоей женой.

Сен-Жюст. Нет, друг, если любимые существа готовы по неразумию погубить себя, наш долг быть разумными вдвоем ради них. Было бы безумием для молодой женщины связать свою судьбу с таким, как я, с обреченным.

Леба. Обреченным? На что?

Сен-Жюст. Приносить гибель и ждать смерти.

Леба. Друг, нам всем угрожает смерть. Но, я надеюсь, ей еще долго придется ждать.

Сен-Жюст. Она близко, она уже стучится в дверь.

Леба. Ты видишь все в слишком мрачном свете.

Сен-Жюст. Я вижу слишком ясно. И нас и тех, других.

Леба. Я знаю не хуже тебя, какой тяжелой тучей ненависть нависла над Робеспьером, я слышал о заговорах против него. Но он столько раз расстраивал самые коварные козни. Конвент покорен ему, и народ Парижа горой за него.

Сен-Жюст. Конвент только и думает, как бы его предать. Нам надо неотступно следить за нашими врагами. Иначе они ринутся и разорвут Робеспьера, как дикие звери. А за кого стоит народ, на чьей стороне он будет нынче вечером или завтра, я не знаю, да и сам он не знает. Это уже не прежний народ десятого августа. Он утомлен и растерян. Его сбила с толку, развратила подлая демагогия эбертистов, суливших высокие заработки и праздность. Чтобы подтянуть ослабевшие поводья, нужна поистине железная рука. А Робеспьер уже не владеет такой мощью. Он тоже не прежний Робеспьер, не тот, что в Первом году Республики вел Революцию в бой против внешних и внутренних врагов. Революция изматывает своих бойцов. Он и сейчас безупречно честен и неподкупен. Но он болен, озлоблен, подозрителен, чересчур занят самим собой. Он замыкается в себе и теряет связь с событиями как раз в те дни, когда их течение принимает роковой оборот. Чтобы остановить их неотвратимый ход,

надо решиться ввести диктатуру, как бы ненавистна она ни была для вольных и гордых людей, для всех истых республиканцев... Поверь, никого так не страшит, как меня, эта чудовищная угроза, нависшая над Республикой, вынужденной вести войну; угроза эта назревает в военных лагерях, и я с содроганием вижу, как надвигается военная диктатура... Но именно потому единственный способ преградить ей путь — это взять ее в свои руки, захватить мортиру, направленную в сердце Республики, и повернуть ее против врага. Я твердо убежден, Леба, что диктатура общественного спасения — ныне единственный путь к спасению Республики. И власть эта должна быть сосредоточена в руках одного вождя, а не тех десяти правителей, что пожирают друг друга в нашем Комитете. Нужна твердая власть, сила, стоящая над всеми другими силами, которые соперничают меж собой и сводят взаимные усилия на нет. Нужно, чтобы она разила неотвратимо, как молния, и, как молния, ударив, мгновенно исчезала. Только твердая власть может расчистить путь Республике и избавить ее от врагов. Но я знаю, что никто из нас не возьмет на себя это бремя, никто не отважится... Только один, пожалуй... Но он не хочет... Робеспьер, которого обвиняют в стремлении к диктатуре, страшится ее, отрекается от нее. Он убежденный законник и способен действовать только в рамках закона; если является необходимость преступить законы, он предпочитает создавать новые, а пока эти законы вводят в жизнь, время действия уже упущено. Он отдал всю свою энергию на то, чтобы заставить Конвент вотировать Прериальские декреты, а на то, чтобы ввести их в действие, у него уже не хватает сил. Так он возбуждает всеобщее недовольство, не пожиная плодов своих усилий. Робеспьер уступает поле действия врагам, а сам сгорает в бесплодных препирательствах и религиозных мечтаниях... Не думай, что я осуждаю его. Мне так понятна его горечь; его ожесточили гнусные нападки врагов, он поддался чувству усталости, отвращения, он более не в силах общаться с низкими душами — мне самому знакомо это чувство. Я люблю его и жалею. Но мы не вправе отступать и предаваться грезам; надо подавить отвращение, побороть его. Робеспьер обязан возвратиться в Комитет, я дал слово привести его туда. Чего

бы это ему ни стоило (а мне это еще труднее), мы должны восстановить на время единство фронта, чтобы сообща разгромить заговорщиков. Если он откажется, если ему претит лицемерное примирение, которое никого не обманет, но необходимо для пользы государства, я пойму Робеспьера. Но он погубит себя, погубит всех нас... Это еще полбеды: он погубит Республику.

Леба. Если так, возьми ты бразды правления. Твоя рука моложе и тверже.

Сен-Жюст. Нет! Я наткнулся бы на сопротивление единственного человека, чья опора мне нужна, — на Робеспьера. Его уносит потоком. Он силится ввести поток в русло, ища союза с умеренными против крайних. Он хотел бы восстановить в Республике законность и порядок. Слишком рано: Революция не должна останавливаться до тех пор, пока не выполнит свою социальную миссию до конца. Если остановить ее, она погибла, ибо новый порядок не может воцариться, пока не будет разрушен старый. Нельзя вступать в сделки с прошлым. Половинчатость губительна. Нам предстоит перекопать землю, чтобы выкорчевать сорную траву, иначе она разрастется и заглушит молодые всходы. Мы бросаем в почву семена Республики. Но почва заражена, ее может очистить только плуг диктатуры. А Робеспьер не соглашается. Он боится диктатуры, как чумы, и его же обвиняют в стремлении к диктатуре... Какая ирония судьбы!.. Он наш вождь... Пусть будет так! Я склоняюсь перед его волей, мы ведь только его помощники. Он превосходит нас обширным опытом, блеском личных достоинств. Он — оплот Республики. Куда бы он ни повел нас, я последую за ним. Я разделю его судьбу. Но ты, Леба, тебе бы лучше на несколько месяцев уехать из Парижа.

Леба. Разве я могу вас покинуть, если вам грозит хоть малейшая опасность?

Сен-Жюст. Зачем подвергать тебя опасности, если нам это не поможет?

Леба. Ты так мало меня ценишь?

Сен-Жюст. Я ценю тебя слишком высоко, чтобы дать тебе погибнуть без пользы для нашего дела. Ты лучше послужишь Республике, защищая ее интересы в провинции или в армии.

Леба. Только вместе с тобой. Как Кастор и Поллукс. Ведь уже не раз мы делили с тобой и славу и опасности.

Сен-Жюст. Как бы я был рад! Знаешь, Леба, только в армии я чувствую себя легко. Там ясно, в чем твой долг, там встречаешь врага лицом к лицу. А здесь враг жмет тебе руку, и ты принужден молча выносить это унижительное пожатие... Но с меня довольно! Карно не доверяет мне. Мои приказы отменяются. Я не хочу возвращаться в армию... К тому же развязка трагедии близка. Я должен оставаться здесь.

Леба. Тогда и я остаюсь!

Сен-Жюст. Вспомни о жене, о ребенке, которого ты ждешь! Увези семью из Парижа. Ты можешь, ты должен. Тебе лично никто не угрожает, не то, что мне. У тебя нет врагов.

Леба. Пускай ваши враги станут и моими. Не наноси мне обиды! Я достоин разделить с вами опасности.

Сен-Жюст. Прости меня, друг! Я страшусь за тебя, хоть и знаю, что ты бесстрашен. Но если я без сожаления принесу в жертву свою бrenную плоть и с презрением брошу ее в пасть смерти, то твою жизнь я хотел бы вырвать у нее. Тебя, твой светлый ум, твою молодую силу, жену, которую ты любишь, сына, которого ты зачал. И мне будет утешением мысль, что частица меня самого — самая лучшая, самая чистая — переживет меня и будет жить в вас.

Леба. Но я сам, мое самое гордое «я», мой светлый разум — это твои идеи, это ты, Сен-Жюст. Я не могу обойтись без тебя.

Сен-Жюст. У тебя есть любимая жена.

Леба. Ею полно мое сердце. Но душе этого мало. Ей нужна твоя дружба.

Сен-Жюст. Моя дружба всегда с тобой. При жизни и после смерти наши имена соединены навеки.

Леба. Имена меня мало заботят. Мне нужен ты, Сен-Жюст, и я. Живые и сильные. Я не верю в славу. Я верю только в эту бrenную землю, где мы живем всего лишь краткий миг. А ведь сколь прекрасной могла бы быть эта земля, которую мы обагрям кровью, родимая земля, залитая палящим солнцем термидора...

Сен-Жюст. Ты юный грек. Ты не выносишь мрака.

Леба. Я истый француз. Я люблю свет, лишь бы он не слепил глаза, люблю простые сердца, хороших людей.

Сен-Жюст. Вот потому-то я и люблю тебя. А ты за что меня любишь?

Леба. Ах, разве я знаю, за что? Я не выбирал тебя. Это я был избран. Покорен нашей дружбой.

Сен-Жюст. Да, дружба — чувство не менее властное, чем любовь.

Леба. Даже более. Любовь щедра, она дарит и берет полной мерой. Дружба скромна и довольствуется малым. Но это малое драгоценнее всего. Ради этого умирают.

Сен-Жюст. Еще недавно мне было все равно — жить или умереть. Ты пришел — и я возвратился к жизни, чтобы защищать тебя... Пойдем со мной, попытаемся спасти то, ради чего мы живем, — Республику.

Занавес.

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

На холмах Монморанси, 7 термидора (25 июля). Палящее после-полуденное солнце клонится к западу.

Справа из глубины подымается дорога, пересекает сцену под острым углом и полого спускается направо к авансцене. С вершины холма, возвышающегося над равниной, открывается широкий горизонт и вдалеке, в знойной, солнечной дымке, вырисовывается громада Парижа; там и сям кровли домов сверкают в косых лучах заходящего солнца. Налево, у края дороги небольшая дубовая роща — опушка леса, туда ведет узенькая тропинка.

Справа по дороге быстрым шагом подымается Робеспьер, держа шляпу подмышкой. На вершине холма он останавливается, запыхавшись, оглядывается направо и налево, на окрестные поля и далекий Париж, на дорогу. В изнеможении, словно ослепленный, закрывает глаза.

Робеспьер. Как палит солнце! Стоит зажмуриться — и перед глазами мелькают красные пятна. Голова кружится. (*Садится на откос слева, под тенью деревьев.*)

Вдалеке слышен голос Симона Дюпле, который кличет Робеспьера, не называя по имени.

Симон Дюпле. Эй!.. Ого-го!

Робеспьер. Нелегко скрыться от такого стража. Бедный Симон тревожится, должно быть. Ведь он считает своим долгом не отпускать меня ни на шаг... Ничего, пускай поищет. Иногда нужно побыть в одиночестве, среди природы, наедине с богом. Вырваться хоть ненадолго из отравленного воздуха большого города. (*Кивком указывает на Париж.*) Даже такой славный малый, как Симон, напоминает своим присутствием о роде человеческом, о людях, с которыми связала нас судьба, и о том гнусном скопище грязи, безумия и жестокости... Хоть час забвения! А дозволено ли это во время битвы? Голова кружится... Я слишком быстро шел в гору под солнцем... (*Закрывает глаза.*) Как дороги мне эти места, сколько воспоминаний! Десятки раз я мысленно возвращался сюда, ища душевного мира и доверия, которых не мог обрести... А тот лучезарный день, чей отблеск стоит у меня перед глазами даже теперь, через пятнадцать лет... (*Немного помолчав, начинает мечтать вслух.*) Мне не было тогда и двадцати лет... На этих холмах я встретил старика Жан-Жака. С тех пор ничто не изменилось. Только выросли деревья — тогда здесь была молодая рощица. Как и сегодня, в небе звенел жаворонок. (*Не раскрывая глаз.*) Я сидел здесь, на этом самом месте. И прямо на меня, вот по этой дороге, подымался в гору философ. Он шел один, слегка согнувшись, с непокрытой головой, с букетом в руках; изредка он нагибался, срывая цветок, и тихонько говорил сам с собой...

При этих словах на дороге показывается незнакомец, осанкой и чертами лица напоминающий Жан-Жака Руссо, и повторяет все жесты, описываемые Робеспьером. Но тот, сидя с закрытыми глазами, не видит его и продолжает вполголоса грезить вслух.

Он не заметил меня, он был погружен в свои одинокие думы. А я — я узнал его с первого взгляда, я был ошеломлен, не мог прийти в себя. На вершине холма он остановился, чтобы оглядеться вокруг... Потом двинулся дальше, опираясь на палку, по тропинке, которая сворачивает в лес... Проходя мимо меня, он поднял глаза — большие, как у филина, темные и без блеска, пронзающие нас сквозь, и заглянул мне прямо в душу...

Тут Робеспьер подымает глаза и видит перед собой незнакомца, который пристально смотрит на него, молча и неподвижно, затем проходит мимо; он сворачивает по тропинке, ведущей в лес, и исчезает, словно призрак... Пораженный Робеспьер несколько секунд сидит, не шевелясь, пробует крикнуть, подносит руки к горлу, порывается встать; наконец, овладев собой, зовет.

Робеспьер (кричит). Симон!

Голос Симона отвечает издалека, затем все ближе; справа на дороге появляется Симон Дюпле; он бежит прихрамывая.

Симон Дюпле. Насилу я нашел тебя, Максимилиан! Зачем ты скрылся от меня? Если бы ты знал, до чего я перепугался! (Замечает необычайное волнение Робеспьера.) Что с тобой?.. Ты весь дрожишь. Глаза блуждают... Куда ты смотришь? Что случилось?

Робеспьер (с усилием берет себя в руки). Ты не видал... человека... вон там, на дороге?

Симон. Что? Я никого не видел... Ах, да, верно, передо мной шел какой-то прохожий...

Робеспьер. Каков он с виду?

Симон. Не разглядел... Я думал только о тебе и не заметил ничего. Да и видел-то я его со спины... Теперь припоминаю. Как будто пожилой. Одет по-старомодному... Да, вспомнил: мне говорили в деревне, будто здесь скрывается один старик-изгнанник, какой-то философ из шайки Каритэ и Роландши. Это он, что ли, попался тебе навстречу? Так я догону его... Куда он удрал?

Робеспьер (останавливает его жестом). Оставь его... Дай на тебя опереться. У меня голова кружится.

Симон. Присядь здесь. (Ведет его в тень, к стволу срубленного дерева.) Отдохни немного. Ты столько месяцев сидел взаперти, а нынче такое солнце! Все поля выжгло.

Робеспьер (закрыв глаза). Солнце, ты выпиваешь недуги земли, о, если б ты выпило и мою жизнь! Этот дурной сон...

Симон. О чем ты говоришь?

Робеспьер. Жизнь... Что я сделал со своей жизнью? Нелепый вопрос! Следовало бы спросить: что сделала со мной жизнь? Не того я хотел, не о том мечтал,

Симон. Кто лучше тебя умел идти прямо к цели?

Робеспьер. Знай, Симон, «в Революции заходят далеко тогда, когда не знают, куда идут»¹.

Симон. Ты не из тех людей, которые не знают, куда идут.

Робеспьер. Да, ты прав. Я не из тех счастливцев, что живут изо дня в день, не страдая постоянно ни от предвидения будущего, ни от воспоминаний о прошлом. И, однако, Симон... «сила вещей приведет нас, быть может, к цели, о которой мы и не помышляем».

Симон. О чем ты задумался?

Робеспьер. Я думаю о кумире моей юности, о Жан-Жаке, моем учителе и спутнике. Я как будто слышу его голос. Он говорил: «Ничто на земле не стоит цены крови человеческой» и еще: «Кровь одного человека драгоценнее, чем свобода всего человеческого рода...»

Симон. И ты так думаешь?

Робеспьер. Я думал так прежде. Эти благородные слова когда-то врезались мне в душу. Я поклялся возвести их в закон и заставить людей признать его. Не сам ли я утверждал три года назад, что «если именем закона будет литься кровь человеческая и откроются взорам народа жестокие зрелища и истерзанные трупы, значит законы искажают в сердцах граждан идеи справедливости, зарождают в сознании общества дикие предрассудки, которые в свою очередь породят еще худшие»?

Симон. Кто же прав? Ты теперь судишь иначе?

Робеспьер. Нет. Сила вещей решила за меня — против меня. Так было надо. Я поступал, как повелевала жизнь. Но тяжело быть ее орудием!

Симон. Если так было надо для блага Республики — значит, остается только повиноваться. Значит, все хорошо.

Робеспьер. Ты рассуждаешь, как солдат, Симон. Счастливцев! Ты перелагаешь всю ответственность на плечи командира. А вот командиру не с кем ее разделить. Он сам должен доискиваться, обдумывать и находить решение. И это решение нигде не начертано, его не подсказывает сердце. Решение предписывается нам извне. Нам приходится изо дня в день распутывать змеиный клубок событий, изо дня в день менять решения, приспособляясь

¹ Подлинные слова Робеспьера. — Р. Р.

к тому, чего требует сегодняшний день, — так соединяются в одну цепь звенья неумолимого рока. Вырваться невозможно. А когда видишь, к чему нас привел рок, что он заставил нас совершить, то ужасаешься и спрашиваешь себя: чего же он потребует от нас завтра?

С и м о н. Ты утомлен, ты сомневаешься в себе, Максимилиан. Зато мы в тебе не сомневаемся. Мы тебя поддерживим.

Робеспьер. Верные мои друзья! Ты прав, то была минута слабости. Да еще эта недавняя встреча...

С и м о н. Какая встреча?

Робеспьер. Ничего... Все прошло... Пусть и для тебя это пройдет бесследно, Симон. Позабудь все, что я здесь говорил. Давай наслаждаться покоем этих мирных полей, золотым пурпуром заката, лучами солнца, прежде чем не наступит ночь и не придется выйти на мрачную арену, которая меня ждет.

С и м о н. Ты все-таки решил выступать завтра в Конвенте?

Робеспьер. Я должен.

С и м о н. Будь осторожен.

Робеспьер. Истине и добродетели незачем соблюдать осторожность.

С и м о н. Берегись, не нарушай перемирия, которое Сен-Жюст заключил от твоего имени.

Робеспьер. Никто не вправе давать обещания за меня. Я не заключаю перемирия с предателями!

С и м о н. Ты уверен, что Конвент пойдет за тобой?

Робеспьер. Он выслушает меня. А прочее пусть решают боги.

С и м о н. Я не слишком-то полагаюсь на богов. Куда надежнее иметь хорошо вооруженную охрану; позволь нам защитить тебя.

Робеспьер. Решительно запрещаю! Это дало бы новый повод обвинять меня в диктаторстве. Единственная диктатура, которую я согласен принять, — это могущество истины. Единственное мое оружие — это сила слова.

С и м о н. Разве тебе не известно, какие силы, какое оружие они втайне готовят против тебя?

Робеспьер. Мне все известно, известны малейшие подробности заговора. Но одно из двух: либо я сокрушу

его перед лицом всей Франции, либо не стоит жить там, где правосудие — один обман. Завтра я кликну клич, я обращусь с последним призывом к честным гражданам всех партий и вне партий. Пусть решают они.

Симон. Лучше бы ты обратился за поддержкой к народу.

Робеспьер. Я никогда не переставал черпать в нем вдохновение. Народ — моя сила.

Симон. А ты твердо уверен, что он попрежнему с тобой?

Робеспьер. Я с ним и за него. Отступившись от меня, он отречется от себя самого. А если он отречется, тогда для меня все кончено. Значит, мы прожили жизнь напрасно. Но я буду бороться до конца.

Симон. Пора в обратный путь. Скоро проедет дорожная карета на Париж. Пойдем на почтовую станцию.

Робеспьер. Это тот беленький домик, что там внизу?

Симон. Тот самый. А вон вьется дорога, по которой проедет почтовая карета.

Робеспьер. Ну, это недалеко отсюда, всего несколько шагов. Ступай вперед, займи нам места. А я еще побуду здесь немного. Чудесный вечер, не хочется терять ни минуты. Кликни меня, когда придет время.

Симон. Вон идет какая-то женщина, оставляю тебя на ее попечение. (*Указав на старуху с корзинкой за плечами, которая подымается на холм, Симон уходит направо по дороге, спускающейся к авансцене.*)

Старуха садится на ствол срубленного дерева рядом с Робеспьером.

Старуха. А ну-ка, гражданин, не в обиду будь сказано, подвинь свой зад и дай мне место.

Робеспьер. Садитесь, матушка. Снимите вашу корзину, она тяжелая.

Старуха. Ну уж нет. Коли скотина устала, не распрягай ее, пока не пригонишь на конюшню. Мне в упряжке удобнее. Ох, поясницу ломит!

Робеспьер. Тяжело подыматься в гору с такой ношей!

Старуха. Небось я старый муравей, привыкла тяжести таскать. Без ноши вроде не хватает чего-то.

Робеспьер. Откуда вы идете?

Старуха. С поля, из-под горы. Там у меня огород, хожу овощи поливать. Никак не напоишь их досыта в такую жару, — эдакие пьянчуги! Черпаешь, черпаешь воду, а колодезь-то все больше высыхает. Вот и топчешься с утра до ночи.

Робеспьер. Разве вам некому помочь? У вас нет внуков?

Старуха. Было у меня девять сыновей. Семеро уже на покой.

Робеспьер. Где?

Старуха. В сырой земле. А двоих старших у меня забрали. Говорят, будто послали их защищать землю от врагов. А от каких врагов — почему я знаю? Не то с запада, не то с востока. Уж больно их много. Вот у меня врагов нет, что с меня взять-то, кроме горя да беды?

Робеспьер. Вы говорите о горе, а сами улыбаетесь.

Старуха. Мы с горем-то век скоротали, уже свыклись друг с другом, не грех и посмеяться.

Робеспьер. Святая мудрость хижин! Я завидую вам.

Старуха. Хоть задаром ее бери, сынок. Я бы не прочь променять свою лачугу на домик побольше да побогаче.

Робеспьер. С богатством у вас будет больше тревог, больше забот, чем здесь, среди природы.

Старуха. Что за природа такая? Это земля-то? Да, как же, пока гуляешь по ней, она стелется бархатом, так и ластится, хитрая кошка. Ты ее не знаешь! За лето весь наш урожай пожгло. Вся работа пошла прахом.

Робеспьер. Бедная женщина, тяжела ваша доля, но и моя немногим легче. Нас вознаграждает сознание, что труды наши не пропадут даром. Верховное существо бодрствует и охраняет нас.

Старуха. Ну, стало быть, нынче летом господь бог всхрапнул маленько. Ничего не поделаешь: стар становится. Что ж, он поработал на своем веку. Всякому свой черед.

Робеспьер. Как, матушка, значит, вы не верите в бога?

Старуха. Да я и сама не знаю. Я не против. Отчего же не верить, это не повредит. Только есть ли хозяин или

нет, а ты на него не надейся, лучше сам не плошай. Дело вернее будет. По крайней мере всю работу сделаешь.

Робеспьер. Но разве мысль о лучшей жизни, о бессмертии души не приносит нам утешения в нужде и несчастье?

Старуха. Что ж, не так плохо и совсем уснуть. Нет охоты начинать все сызнова. Поработала я вволю, жаловаться грех. Коли все перечесть, жизнь недаром прожила. Да уж пора и на покой, пускай молодые покряхтят, теперь их черед. Я передам им свою поклажу. А ты свою никому не уступишь?

Робеспьер. Я не люблю уступать свою ношу, пока не довел дела до конца.

Старуха. Видно, тебе некуда спешить. Придется ждать до скончания века. Ну, а я не хочу все тяжести одна таскать. Оставляю чего-нибудь на долю и тех, кто придет после меня, — и радостей и горя. Им еще надолго хватит того и другого.

Робеспьер. Мы старались сделать так, чтобы будущее было лучше настоящего.

Старуха. Кабы вы постарались, чтобы настоящее стало чуть лучше, и на том спасибо.

Робеспьер. Для этого мы и совершили Революцию.

Старуха. Ах, так это вы пустили все кувыркком?

Робеспьер. Но ведь вы, гражданка, совершили Революцию вместе с нами. Вместе со всем народом. Революция — наше общее дело.

Старуха. Ну нет, у меня и своих дел по горло. Ваших дел я знать не хочу.

Робеспьер. Ах, гражданка, так не годится! Нельзя быть безразличной к общественному благу. Ведь мы не одни живем, соседи должны помогать друг другу. А на земле все, кто трудится, кто страдает — наши ближние и соседи. Может ли быть, чтобы у вас в деревне были равнодушны ко всему, что Революция делает для вас, к ее великим трудам, к ее борьбе?

Старуха. Да нет, у нас в церкви бывали собрания, наши горлодеры болтали там всякую всячину. А иной раз приезжал из Парижа красавчик, весь разряженный, и показывал нам волшебные картинки. Говорил, будто весь свет скоро перевернется. Мы смотрели, вылупив глаза,

ждали, ждали, да так ничего и не увидели. Народ устал. Дворян и попов мы прогнали, а что толку? Ни денег, ни скота нам не досталось. Теперь пошли новые богачи. А бедняки так и остались бедняками. И, правду сказать, никто не доволен. У нас в деревне ваши рабочие отказываются убирать урожай.

Робеспьер (*раздраженно*). Да, они готовы скорее сгноить на корню и хлеб и траву, чем согласиться на твердые ставки, назначенные Комитетом. Они дурные патриоты, они пользуются затруднениями государства. Но если они будут упорствовать, мы сломим их, они ответят перед Революционным трибуналом.

Старуха. Без них все равно не обойтись.

Робеспьер (*с возрастающим раздражением*). Мы призовем на помощь солдат. А если понадобится, пошлем на уборку урожая даже военнопленных. Надо, чтобы сила была на стороне закона.

Старуха. Так-то оно так! А почему закон-то не на нашей стороне?

Робеспьер. Все равны перед законом. Все обязаны его соблюдать.

Старуха. А по-нашему, пускай бы лучше кому победнее, тому бы и прав давали побольше.

Робеспьер (*пораженный, сразу смягчаясь*). Вы верно сказали, я тоже так думаю... (*С волнением.*) Ах, гражданка, как бы мы хотели строить Республику с помощью одних бедняков и для них одних. Нам отлично известно, что для богатых Революция была лишь поводом к незаконной наживе, хищениям, ростовщичеству, мошенничеству и воровству. Нам отлично известно, что истинные друзья Революции, преданные ей бескорыстно, — это бедный люд, крестьяне, рабочие, те, кого угнетают богачи. Мы не жалеем сил для защиты бедняков. Но разве они не видят, что пока Республика со всех сторон окружена врагами, мы вынуждены требовать жертв от бедняков, наших верных друзей, и идти на уступки богачам, ибо нуждаемся в них для защиты от натиска королевских армий. Ничего не поделаешь, добровольно или силой мы должны создать общий фронт богатых и бедных — ведь дело идет сейчас о жизни и смерти тех и других, о жизни и смерти всей Франции и того немногочисленного, что мы успели сделать

для Республики... Позднее, когда отчизна будет спасена, Революция снова пойдет вперед: она уже выиграла немало битв и одержит еще новую победу, великую победу народа. Но до этого надо дожить, а чтобы жить, надо победить. Потерпите немного!

Старуха. Мне не к спеху, я ничего не жду, я терпеливая. Но у других-то терпения не хватает, уж им столько всего наобещали. Как говорится, «лучше грош, да в кармане...» Мы не больно-то верим посулам этих молодчиков из Парижа. Чего они только не наплели! Думаешь иной раз: на что они там время тратят? А они только и делают, что грызутся промеж себя. Кто из них выиграет, кто проиграет — нам-то какое дело? Кто бы ни ударил — побой-то ведь нам достаются.

Робеспьер. Вы несправедливы, матушка. Нельзя же сваливать всех в одну кучу.

Старуха. Да разве в них разберешься? Все их путают... Был у нас когда-то добрый господин Марат. Был у нас тоже наш Робеспьер... Но он уже давненько ничего для нас не делает.

Робеспьер. Говсрят, однако, что несколько месяцев назад он обещал разделить между бедняками имущество подозрительных лиц.

Старуха. Это так... Обещать-то нетрудно... А на деле ничего не видать!

Робеспьер. Вероятно, он не в состоянии сделать все, что хотел бы...

Старуха. Может, и так... Вот у нас и говорят: пусть лучше каждый работает на своем поле, а те, в Париже, пуской выпутываются, как знают... Верно я говорю? Чего ты голову повесил?

Робеспьер (с грустью). Да, матушка, я думал... Но я ошибся... Я верил, что у нас будет великое братство, союз всех честных людей...

Старуха. Когда-нибудь и будет, только не скоро, не скоро, сынок. Не унывай! Мы уже пометим, когда это будет. Но раз будет, то не велика важность, живы мы или померли. Знать, что это случится, даже без тебя — и на том спасибо, верно я говорю?

Робеспьер (пораженный). Как вы догадались, матушка? Разве вы знаете меня?

Старуха (лукаво). А может, и ты его знаешь, этого самого Робеспьера?

Они обмениваются ласковой, понимающей улыбкой. Внизу слышен голос Симона.

Голос Симона (зовет). Максимилиан!

Робеспьер встает и уходит.

Занавес.

КАРТИНА ДВЕНАДЦАТАЯ¹

Вечер с 8 на 9 термидора (26—27 июля). Последние лучи заката. Широкий двор; в глубине — низкое деревянное строение со стеклянной крышей, похожее на мастерскую. Справа и слева — глухие стены домов. Слева узкий проулок выводит на пустыри. Главный выход на улицу — через коридор в углу стены, справа. Действующие лица входят и выходят с двух сторон, через коридор и через проулок; у правого и левого входов сторожат дозорные и опрашивают вновь прибывающих. При поднятии занавеса двор полон народу; все волнуется, окликают, спрашивают друг друга; образуются и тут же распадаются небольшие группы², все движется вокруг главной оси, в центре которой — Фуше. Несмотря на общее возбуждение, все стараются говорить тише; стоит громкому возгласу выделиться из общего хора, тотчас же раздается шиканье, и снова возобновляется гул, точно сердитое жужжанье ос, накрытых колапаком.

В начале сцены среди смутного шума и гомона, гневных восклицаний, жалоб и горьких упреков выделяются негодующие возгласы: Лекуантр, Тальен, Баррас, Бурдон, Карье, Реньо в бешенстве насккивают на Билло и Колло, смущенных и мрачных. Фуше, не принимая участия в перепалке, следит за всеми и в нужный момент вмешивается в спор.

Тальен. Все потеряно! Мы пропали!

Баррас. Зачем вы допустили, как вы могли допу-

¹ Двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая и семнадцатая картины составляют одно действие, которое разворачивается на протяжении полусуток, с 9 часов вечера до 10 часов утра. — *Р. Р.*

² Основные группы:

1. Билло, Колло, Реньо, Карье и др.

2. Тальен, Баррас, Бурдон, Лекуантр, Фрерон и др.

3. Сийес, Дюран-Майян, Буасси д'Англа — представители Болота.

4. Роялисты.

5. Бабеф держится особняком, колеблется, Фуше направляет его действия.

6. Сыщики и шпионы, Межан, Коллено и др. — *Р. Р.*

стить, чтобы он вернулся и выступил в Конвенте? Уже много недель он там не появлялся, мы надеялись, что его позабыли...

Колло. Среди якобинцев распространился слух, будто мы препятствуем его выступлениям в Конвенте. Мы опасались, что народ поддастся на его подстрекательства и восстанет против Конвента. Наша тактика состояла в том, чтобы вернуть Робеспьера, при условии, что он согласится на примирение.

Баррас. Никаких условий он не принял, ничего не обещал. Вас одурачили, как баранов.

Колло. Кто мог предполагать, что через три дня после соглашения он сорвется с цепи и не пощадит никого из нас.

Карье. Вы сами поощряете его, подлые трусы! Пока он говорил и поливал вас грязью, никто из вас и пикнуть не посмел.

Матьё Реньо. Да разве можно было его прервать? Все слушали, затаив дыхание. Мы не подумали о силе его проклятого красноречия.

Лекуантр. Почему никто не заткнул ему глотку? Чего ты смотрел, Билло? Ты же его знаешь и так люто ненавидишь. Тебе надо было разоблачить его, пока он не успел взойти на трибуну.

Билло. Уж кому-кому, а не тебе меня учить, Лекуантр! Бесстыдный хвастун! Похвалялся, что заколешь кинжалом Пизистрата, а не успел он замолчать, ты же первый стал вопить, чтобы речь его отпечатали. А кто помешал этому? Я!

Лекуантр. Верно, я просто краснею! Сам не знаю, что со мной случилось. Все кругом приветствовали его. Меня точно волной подхватило.

Фуше. Пока он говорит, ничего нельзя поделать. Главное — это заткнуть ему рот. Но сначала мы должны обо всем толковаться. Мы больше не можем позволить себе роскошь доверяться случаю. Надо все обсудить заранее. Еще одно такое поражение, как сегодня, и все сроки будут упущены. Завтра все решится. Либо вы объединитесь, чтобы сокрушить тирана, либо погибнете все до одного. Вы слышали, как он угрожал всему Конвенту?

Матьё Реньо. Он не захотел назвать тех, кого имел в виду.

Фуше. Ему пришлось бы назвать нас всех. И он боялся. Но скоро вас всех арестуют, вы не успеете ни защититься, ни убежать. Вы читали списки?

Лекуантр. Они у тебя?

Тальен. А меня там нет?

Беспорядочно толпясь вокруг Фуше, вырывают у него и друг у друга листки, с трудом разбирая имена в надвигающихся сумерках. При каждом новом имени раздаются возгласы тех, кто упомянут в списках.

Баррас. Нет, я не попал в списки!

Фуше. Не радуйся раньше времени. Вот еще листок...

Баррас хватается за список, находит там свое имя и злобно вскрикивает. Равнодушно читают чужие имена и яростно возмущаются, находя свое. Через несколько секунд все приходят в исступление.

Тальен. Чудовище! Он нас всех перережет, если мы не убьем его.

Лекуантр. Я заколю его перед всем Конвентом!

Билло. Ты уже раз двадцать это обещал. Ничего ты не сделаешь.

Лекуантр. Нет, заколю. Вот мой нож!

Тальен. А вот и мой!

Матьё Реньо. И мой! Я всегда ношу его при себе. И не промахнусь, сражу злодея, а если меня схватят, то убью себя.

Фуше (*устало*). В девяти случаях из десяти такие покушения не достигают цели и оборачиваются против самих же нападающих. Толпа разорвет вас на части. Да, мы поразим Робеспьера, но только другим, более надежным оружием.

Матьё Реньо. Каким же?

Фуше. Мы навалимся на него всей массой, всем Конвентом.

Матьё Реньо (*с презрением*). Конвентом? Ты же видел, как они все запуганы.

Фуше. Их слабость — в раздорах. От вас зависит положить этому конец, создав общий союз против тирана. Если угодно, такой союз уже подготовлен. Я трудился над этим много месяцев. С минуты на минуту я жду сюда

Сийеса, Буасси д'Англа, Дюран-Майяна — главарей Болота. Нам предстоит обсудить условия соглашения. Я твердо рассчитываю, что вы его подпишете.

Билло (*запальчиво*). Как? Чтобы я согласился на сговор с этими трусами, мошенниками, которые нас ненавидят? Да я презираю их, как последнюю мразь!

Фуше. Никто не просит тебя их уважать, тебе предлагают воспользоваться их помощью.

Билло. Никогда!

Фуше. Я не требую у вас согласия на долговременный союз. Я бы первый отверг его. Я только предлагаю им и вам заключить соглашение на короткий срок, ради одной, строго определенной цели.

Билло. Ни за что на свете! Не желаю иметь никакого дела с этими жабами!

Фуше. Но мы можем добиться победы только при поддержке большинства.

Билло. Нет, нет и нет! Лучше быть побежденным, но только не быть с ними.

Фуше. Ты нас погубишь! Что ты уперся, как бык?

Карье. Соглашайся, Билло. Как только мы нанесем удар, я сумею столкнуть их в пропасть, даю тебе слово.

Матьё Реньо. А я одобряю тебя, Билло. Вся наша сила в непримиримости. Нас запятнает подобный союз.

Карье. Запятнает?! Велика важность! Если понадобится, я пойду на любую подлость ради победы Республики.

Матьё Реньо. Хороша победа, если она играет на руку реакции. Реакция только и ждет, как бы оседлать нас.

Фуше. Я знаю, с кем имею дело, и не спускаю их с глаз. Вы сами поможете мне наблюдать за ними. На другой же день после падения Робеспьера я выдам вам их с головой. Но сегодня мы не можем без них обойтись. Только крайность заставляет нас прибегнуть к их помощи. Уступи, Реньо! Согласись, Билло!

Колло. Для достижения цели все средства хороши. Билло, соглашайся!

Билло (*Фуше*). Единственное, что я обещаю, — это не мешать тебе возиться с этим дерьмом. Но лучше мне ничего не знать и не присутствовать при ваших перегово-

рах, иначе я за себя не ручаюсь; я передую изменников своими руками.

Фуше (пожав плечами). Ну что же, тогда я сделаю все сам. Но прошу предоставить мне полную свободу действий... Можете быть спокойны! Лучшей гарантией моей верности служит их ненависть ко мне. В их глазах я навеки заклеямен тем, что я сделал для Революции; и что бы я ни делал теперь, реакция никогда не простит мне моего прошлого. Из нас всех я им наиболее ненавистен. Как же я могу об этом забыть? Предоставьте мне действовать!

Билло, взбешенный, отходит в сторону вместе с Матьё Реньо. Группа, окружавшая Фуше, рассеивается.

Фуше (один). Справиться с врагами было бы нетрудно, если бы друзья не доставляли столько хлопот... Бесполезно говорить с этими безумцами... А какой вой они бы подняли, если бы знали, с кем еще мне приходится вступать в сделку! Э-э, если гонишься за товаром, — плати или по крайней мере обещай заплатить... А обещать — это все равно что дать задаток.

Из коридора направо появляется Сийес с компанией. Дозорные у порога, после короткого совещания, пропускают их; один из них спешит предупредить Фуше, но тот уже заметил вновь прибывших.

(С поклоном, обращаясь к Сийесу.) Дорогой коллега, как я признателен вам, что вы пришли! Вы сумели понять, что наступил исторический поворот в судьбах Революции. Вам досталась в удел бессмертная слава отворить в восьмидесят девятом году врата Революции, вы удостоитесь не меньшей чести и теперь, направив ее по верному пути.

Сийес (столь же осторожный, как Фуше, но еще более бесстрашный). Решающим историческим событиям предуготован свой определенный день, свой час и минута. Немногим раньше, немногим позже — и все потеряно. Иногда приходится ждать годами.

Фуше. Вы доказали, что владеете великим даром — умением выжидать.

Сийес. Я сумел уцелеть. Согласитесь, дорогой коллега, что это было не так-то просто.

Фуше. Никто лучше меня не может оценить подобной заслуги. Это нелегкая задача для людей нашего

склада... Сейчас речь идет об одном весьма щекотливом предприятии, которое не может удалиться без содействия столь прославленного и опытного политика, как вы.

С и й е с. Весь вопрос в том, действительно ли это предприятие столь необходимо и неотложно, как вы изволите предполагать.

Ф у ш е. Не сомневайтесь, уважаемый коллега. Вы же сами слышали на сегодняшнем заседании, какие угрозы выкрикивал этот помешанный.

С и й е с. У меня, как и у моих товарищей, нет оснований принимать эти угрозы на свой счет. Напротив, оратор протягивал нам руку в залог дружбы.

Ф у ш е. Разумеется, он щадит вас до поры до времени. Пока он соблюдает видимость законности, он нуждается в вас, в вашей группе, чтобы обеспечить за собой большинство. Но я слишком убежден в вашей чувствительности и высокой человечности, чтобы допустить мысль, что вы поддадитесь на эту кровавую игру — жестокою резню в рядах Конвента.

С и й е с (холодно). Признаюсь, это было бы весьма прискорбно, почтенный коллега, и нестерпимо для нашего чувствительного сердца. Но оно уже так часто подвергалось испытаниям, что выдержало бы их и на сей раз. Ведь в политике, — как вам известно не хуже, а может быть, и лучше моего, — человечность является далекой целью, которой можно достичь лишь весьма извилистыми и порою жестокими путями. Вы и сами прибегали к ним не раз!

Ф у ш е. Надо стремиться, по крайней мере, чтобы эти пути привели к цели, — я уже не говорю о той далекой цели, которой мы не всегда надеемся достичь, а хотя бы к самой близкой и определенной цели — спасти себя и вас, а в вашем лице те высокие идеи, носителем коих вы являетесь.

С и й е с. Эти высокие идеи, бесспорно, не находят в наше время благоприятной почвы для полного расцвета. Но все же они могут жить в надежде на лучшее будущее. Робеспьер вызывает им должное уважение.

Ф у ш е. При вашей прозорливости вы должны понимать, что он терпит эти идеи лишь до тех пор, пока, при вашей поддержке, не сломит окончательно сопротивление Конвента. Неужели вы допускаете хоть на миг, что вслед

за тем он не повернет оружия против вас с целью установить свою диктатуру? Тогда в глазах всего света вы станете живым укором тирании и стяжаете славу пред-указанной жертвы. Не надейтесь, что вам удастся получить гарантии. Никогда тиран не считает себя связанным своими обязательствами.

Си й е с. Опасность есть, не спорю. И немалая. Но разве в другом лагере меньше опасностей? В данное время положение наше крайне выгодно, ибо от нас зависит склонить чашу весов в ту или другую сторону.

Фу ш е. Но от вас не зависит продлить это время. И завтра чаша весов склонится независимо от вашего решения. Если, покинув нас, вы предоставите все судьбе, то завтра останетесь одни, без всякого противовеса, лицом к лицу с диктатором.

Си й е с. А чего мы можем ожидать на другом берегу?

Фу ш е. В общем смятении ваша партия будет единственной не запятнавшей себя, прославленной партией, представляющей самые здоровые силы, самые священные традиции великой Революции, партией, овеянной славой нашего Учредительного собрания. Вот вам случай, которого вы так долго и терпеливо ждали, случай взять бразды правления в свои руки. Мы вам их вручаем.

Си й е с. Вы вручаете нам то, чем не обладаете сами. Кто поручится, что, захватив власть, вы согласитесь уступить ее?

Фу ш е. Мы не рассчитываем на слепое доверие. Это не к лицу серьезным государственным людям. Порукой вам служит наша очевидная выгода. После падения тирана, как мы с вами прекрасно знаем (не понимать этого могут только безрассудные, одержимые страстью глупцы), тотчас подымется безудержная волна реакции. Вы послушайте нам плотиной против ее натиска. Мы многим рискуем, объединившись с вами. Гораздо больше рискуем, чем вы.

Си й е с. Значит, вы сами признаете, что мы рискуем?

Фу ш е. Кто же это отрицает? Во всяком деле чем-нибудь да рискуешь. Но когда ничего не делаешь, рискуешь всем. Надо рисковать или погибнуть.

Си й е с. Нет. Рисковать и жить.

Фу ш е (*порывисто*). Значит, вы решились?

Си й е с (*холодно*). Увидим завтра, в Конvente.

Фуше. Но мы не можем полагаться на волю случая. Все должно быть согласовано. Успех возможен, только если заранее разработан план действий.

Сийес. Ничто не мешает нам составить план.

Фуше. Это невозможно без взаимных обязательств.

Сийес. Составим план. Дать обязательства всегда успеем.

Фуше. И нарушить их — также?

Сийес. Разумеется. Осторожность не мешает.

Продолжая беседовать, они удаляются медленным шагом.

Межан (*наблюдая за ними издали, обращается к Коллено*¹). Две старые лисы... Кто-то из них кого перехитрит?

Коллено. Я ставлю на рыжего. Ему надо спасти свою голову любой ценой. Он на все пойдет. Тот, другой, умеет только вилять. В конце концов он окажется между двух стульев.

Межан. Тот ли победит, или другой — будем ставить на себя!

Фуше, заметив, что за ним наблюдают, оглядывается и, предоставив Сийесу совещаться со своими спутниками, подходит к Межану.

Фуше. Гражданин Межан, могу я задержать вас на два слова?

Межан униженно кланяется и улыбается.

Как ни мало значения имеет мой отзыв, мне хотелось вам сказать, что никто больше моего не ценит ваших исключительных талантов. Комитет воздаст им должное, но... (*подчеркивает конец фразы, пристально глядя на Межана*) Комитет, вероятно, не знает, насколько они разносторонни. Я обращаюсь сейчас именно к вашим талантам.

Межан (*на миг озадачен, но тут же отвечает с обычной самоуверенностью*). Вы все видите, все знаете, гражданин Фуше. Стало быть, вам известно, что все мои скромные способности направлены на благо родины и, следовательно, все к вашим услугам. Разумеется, мои

¹ Межан и Коллено, напоминаем, чиновники Комитета общественного спасения и тайные агенты роялистов. — Р. Р.

знания далеко уступают вашим, однако... (*подчеркивает последние слова, пристально глядя на Фуше*) однако я тоже располагаю кое-какими сведениями, которые не подлежат разглашению.

Фуше. Таким людям, как мы с вами, бесполезно препираться. Мы знаем то, что знаем. Итак, перейдем к делу. Необходимо предвидеть, к каким последствиям приведет завтрашнее заседание Конвента. Мы должны подумать о том, как на это откликнется народ Парижа. Насколько мне известно, в часы досуга вы с большим успехом выступаете как эбертист в кварталах, прилегающих к Ратуше, особенно в Гравилье. В случае столкновения очень важно, чтобы там не встали на защиту известного вам лица. Займитесь этим, не откладывая, еще сегодня ночью. Вам будет нетрудно их убедить: они не простили ему, что он зарезал Папашу Дюшена. С вашим другом и коллегой... (*указывает на Коллено, который, отступив на несколько шагов, явно подслушивает их разговор*) повидимому, не стоит беседовать отдельно, ибо он и так все слышит. Он тоже мог бы принести нам пользу, взяв на себя буржуазные кварталы. Не давая им точных сведений (даже лучше оставить людей в тревожной неизвестности), было бы неплохо нарушить их сон и держать их в готовности к действию или, вернее, к поддержке наших действий. Пусть они будут вооружены. Впрочем, военная смекалка подскажет, что надо делать. Я убежден, что в этом у вас нет недостатка. Вы черпаете из верных источников как на севере, так и на юге...

Межан беспокожно настораживается.

Быть может, я слишком нескромен. Но не тревожьтесь. Ведь мы с вами союзники.

Межан. Такой человек, как вы, всего опаснее именно для своих союзников.

Фуше. Этим-то я и силен, так же как и вы. Я не прошу вас слепо следовать за мной. Вы все видите, и я все вижу. Тем лучше. Мы знаем, что завтра будем действовать заодно. Ну, а послезавтра — там видно будет.

Межан. Стало быть, поденная работа? Ну что ж, по рукам! Постараемся выполнить завтрашний урок как можно лучше. Пока что позвольте представить вам ново-

обращенного, который, надеюсь, вам пригодится. Этот озлобившийся писака только что вышел из тюрьмы. Он спит и видит пойти по стопам братьев Гракхов и даже носит имя Гракх Бабеф. *(Представляет его.)*

Бабеф *(с наивной восторженностью обращаясь к Фуше)*. Гражданин, правду ли говорят, что вы собираетесь свергнуть тиранов? Я с вами заодно. Но довольно слов! Пора за дело! Вот уже пять лет, как нас обманывают. Все пять лет Революции. Это насмешка!.. К чему привели наши чаяния, наши неисчислимые жертвы? Только к тому, что всякие темные дельцы да биржевые игроки набили себе карманы. Все пошло на пользу богачам. А народу — ничего! Ни один из его вероломных представителей в Конвенте никогда не общался с народом, никогда не понимал его вопиющей нужды, его страданий. Пять лет, целых пять лет я выбивался из сил, отстаивая священные права обездоленных, требуя равенства для всех... Меня преследовали, травили, бросали в тюрьму приспешники власти, слуги богачей, меня гнали, предавали, терзали те самые люди, что должны были бы меня защищать... Довольно! Надо покончить с этим — или нет, пора начинать! Ведь до сего дня ничего еще не сделано. Чем была Революция? Ничем. Чем должна она стать? Всем... Что надо сделать, чтобы придать новый размах Революции? Прежде всего свергнуть подлое правительство, извратившее демократические принципы, свалить Робеспьера (а как я верил в него!) и его прихвостней. Это они пустили в ход свои сатанинские идеи якобы во имя общественного спасения, провозгласили отечество в опасности и тем заставили народ передать в их руки свои верховные права, это они убедили народ из патриотизма отречься на время от своих прав, дабы тем вернее осуществить их впоследствии. По примеру попов-обманщиков лицемерные тираны украли у нас Свободу, уверяя глупцов, будто лучший способ обеспечить Свободу в будущем — это отказаться от нее в настоящем. Смерть тиранам! Долой обман! Дорогу великому народу!

Межан. Мы всецело разделяем твои чувства. Ты не мог сделать лучшего выбора, как излив их на груди этого добродетельного гражданина. *(Указывает на Фуше.)* Этот бесстрашный, неподкупный человек произвел в Не-

вере и Мулене проверку имущества и разделил между всеми урожай, он отстоял право Республики отбирать излишки у богачей в пользу неимущих, он провозгласил равные права всех граждан на достаток, словом сделал все, чтобы осуществить полную Революцию.

Фуше (*скромно*). Не стоит говорить о моих стараниях: все они были безуспешны. Именно за то, на что я дерзнул, меня преследовали, отозвали с поста, мне угрожают тюрьмой. Но я не жалеюсь. Во все времена таков был удел человека, который честно исполняет свой долг.

Бабеф (*растроганно*). Я слышал о тебе. Но твой облик и мудрая речь превзошли мои ожидания. Доблестный гражданин, подобная стойкость и достоинства не могут не вызывать уважения. Ты мне сразу пришелся по душе. Никто еще не внушал мне такого доверия с первого взгляда. Я предан тебе всецело.

Межан (*наблюдая за ним издали, с усмешкой шепчет Коллено*). Надо сознаться, у этого Гракха поразительный нюх в выборе привязанностей. Все те, кому он был предан, оказались отъявленными мошенниками, обманщиками и пройдохами. Наш любезный Фуше отнюдь не испортит коллекции.

Фуше (*Бабефу*). Честные граждане понимают друг друга с первого слова. В их глазах горит огонь добродетели. Я испытываю к тебе такое же доверие, каким ты почтил меня. У меня для тебя весьма ответственная задача — поднять недовольных рабочих, которых на основании возмутительных декретов прерияля и мессидора общественные обвинители преследуют судом как контрреволюционеров. Необходимо, чтобы завтра, девятого термидора, на улицах и на площади перед Ратушей состоялась манифестация против максимума. Я надеюсь на тебя.

Бабеф. От всего сердца отвечаю тебе: будет сделано! Спешу туда! (*Стремительно уходит.*)

Фуше провожает его взглядом и направляется к Межану, тихонько потирая руки.

Межан (*Фуше*). Рыбка клюнула. Он сам просится на крючок.

Фуше. Он ненасытен. Это человек пылких страстей.

Межан. У каждого своя страсть.

Фуше. Да, но один управляет своими страстями, а другой становится их рабом. Таких большинство.

Межан. Искусство политики в том, чтобы направлять все страсти к единой цели.

Фуше. Безусловно. Вы владеете этим искусством не хуже меня, господин Межан. Однако к делу! Итак, вы обещаете, господин Коллено, держать наготове буржуазные кварталы; вы, дорогой собрат (обращаясь к Межану), будете поддавать жару в Гравилье, а наш приятель Гракх подольет масла в огонь среди недовольных рабочих... Вы позволите...

Один из единомышленников Сийеса, Дюран-Майян, отделившись от группы, подходит к Фуше, который, заметив его, идет ему навстречу. Немного в стороне, на авансцене, они ведут вполголоса переговоры.

Дюран-Майян. Я пришел сообщить вам наше решение. Надеемся, что оно вас удовлетворит. Вы достаточно рассудительны, чтобы не ждать от нас невозможного. Вы ведь не требуете от нас действий?

Фуше. Я способен быть умеренным. Я прошу вас только держаться в стороне, не мешать нам действовать, оставаться молчаливыми зрителями до тех пор, пока чаша весов не склонится в нашу сторону. Тогда вы безмолвно поддержите нас всем своим весом и ускорите развязку.

Дюран-Майян. Мы согласны. Нашей партии не подобает ронять свое достоинство в уличных схватках. Но мы поддержим победу.

Фуше. На большее мы и не рассчитываем. Примите нашу благодарность.

Простившись, Дюран-Майян присоединяется к свите Сийеса, который, издали поклонившись Фуше, уходит со сцены через коридор.

(Возвращается к группе Билло-Варенна, Колло и Матьё Реньо.) Надо уметь довольствоваться малым. Самая красивая девушка на свете не может дать больше того, что ей дано природой. Мы заручились их бездействием. Теперь дело за нами!.. Что с тобой, Билло?

Билло. Я чувствую себя запятнанным, опозоренным — как можно сговариваться с такой сволочью?

Фуше. На что ты жалуешься? Ведь ты ни в чем не принимал участия.

Билло. Довольно и того, что ты в этом принял участие от нашего имени.

Фуше. Твое имя не упоминалось. В будущем ты всегда можешь поклясться, что ничего не знал.

Билло. Разве я способен лгать, как ты? Ведь для тебя солгать — все равно, что плюнуть. Не такой я человек, чтобы отрицать свою причастность к подлому делу. Мне остается только искать искупления в опасной схватке.

Фуше. Не беспокойся! Завтра опасностей будет хоть отбавляй, на всех хватит! Но если тебе не терпится, отправляйся сейчас вместе с Колло в Клуб якобинцев и сразись с Робеспьером. Там на тебя накинется вся его свора.

Билло. Я распорю брюхо этим псам! Идем, Колло. Не найду покоя, пока не отомщу.

Колло. За что?

Билло. За самого себя! За свою слабость, за малодушие там, в Конвенте. И за позор... (*Уходит вместе с Колло.*)

Фуше (*остальным*). Предлагаю вам всем собраться завтра к десяти часам утра, чтобы обсудить план боя. Мы выработаем последние распоряжения и условимся, как преградить ему путь к трибуне и как начать атаку.

Тальен. Пускай мне поручат нанести первый удар. Моя Тереза называет меня трусом. (*Потрясает письмом.*) Я докажу ей, я отомщу за нее, я брошусь на них, как лев!

Баррас (*язвительно*). Лев из «Сна в летнюю ночь»...

Тальен (*не слушая*). Поручите мне главную роль!

Фуше. Завтра увидим, останешься ли ты львом, когда ночь пройдет.

Баррас. Когда начнется сражение в Конвенте, оставьте за мной место в первых рядах.

Фуше. Я приберегу для тебя место получше.

Баррас. Что же ты мне предлагаешь?

Фуше. Мы должны предвидеть и другое сражение — артиллерийский бой... (*Берет его под руку и направляется к выходу, продолжая разговор.*)

КАРТИНА ТРИНАДЦАТАЯ

Вступление¹ перед спущенным занавесом.
Проходят Билло и Колло. Билло останавливается. Он взволнован и удручен.

Колло. Скорее, Билло. Заседание уже началось. Чего ты ждешь?

Билло. Что мы делаем? Что мы сделали? Если войти — бой с Робеспьером неминуем. Я себя знаю: уж если ввяжусь в борьбу, то пойду на все. Сожгу за собой все мосты.

Колло. Мосты уже сожжены. Нам нечего терять.

Билло. Что мы наделали? Кому мы доверились?

Колло. Не отступать же теперь, раз дело решено. Что тебя мучает? Ты сомневаешься в честности Фуше?

Билло. Я не верю больше ни одному человеку. Но я верю в Республику. И не могу примириться с тем, что мы в сговоре с ее врагами.

Колло. Только ради того, чтобы спасти Республику. Мы избавимся от врагов, как только они сослужат нам службу.

Билло. Нас втянули в преступную игру... Это азартная игра, Колло! А вдруг мы проиграем? Мы и так уже пошли на риск. Я проклиная себя, что согласился.

Колло. Ты дал слово. Ты не имеешь права отречься от него.

Билло. Я дал слово пойти к якобинцам и выступить против Робеспьера. И пойду. Но я предложу ему союз.

Колло. Ты с ума сошел! Разве ты забыл, как ты его ненавидишь, забыл, как он тебя ненавидит?

Билло. Я забыл обо всем. Я вижу только пропасть, куда мы летим. И цепляюсь за камни, чтобы не сорваться вниз... Ах, все лучше, чем союз с врагом!

Колло. Но ведь он тоже враг.

Билло. Он мой личный враг. Но что я такое

¹ Вступление исполняется по желанию. На занавесе декорация улицы; направо фасад Клуба якобинцев. Можно воспользоваться и обыкновенным занавесом. — Р. Р.

в сравнении с нашей священной Революцией? Ради нее я готов поступиться своей ненавистью... Я протяну ему руку.. Если он сделает шаг мне навстречу, я сделаю два... Пойдем, Колло, я решился! Пойдем туда! (*Быстрым шагом, нагнув голову, устремляется вместе с Колло к дверям Клуба якобинцев.*)

На пороге они сталкиваются с кучкой якобинцев в красных колпаках и карманьолах; те узнают прибывших по шарфам и пристально разглядывают.

Группа якобинцев. Откуда принесло этих псов, членов Комитета? Ба, да это Билло, главарь той подлой шайки, что нападает в Конвенте на нашего Робеспьера!.. И вы посмели явиться сюда, чтобы оскорблять его!

Билло. Пусти меня войти!

Якобинцы. Нет, не войдешь! Морду разобью! Все кости переломая!

Мускадены под предводительством Коллено, которые следовали издали за Билло и Колло, прибегают на помощь, расталкивают якобинцев и расчищают дорогу Билло.

Мускадены. Пропусти их!.. Тебе что, Робеспьер не велел пускать сюда Конвент?.. Может, ты откажешься пустить и Республику? Ведь они хотят послушать Робеспьера, это же честь для него!

Якобинцы. Они хотят сорвать его выступление.

Мускадены. Робеспьер не ребенок, он сам сумеет с ними поговорить.

Якобинцы. Ладно, пропусти их! Входи, негодяй. Но если ты только пикнешь, смотри у меня! Сейчас кулаком по башке... Да здравствует Робеспьер! Кричи и ты, скотина: «Да здравствует Робеспьер!»

Билло. Долой тирана!

Негодующие крики, угрозы. Мускадены освобождают проход.

Колло. Хорошо же ты начал, если пришел мிரиться, нечего сказать!

Входят.

Занавес поднимается.

КАРТИНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зал Клуба якобинцев.

Действие происходит поздним вечером с 8 на 9 термидора (с 26 на 27 июля), около часу спустя после двенадцатой картины. Живописная архитектура монастырского зала якобинцев¹; направо возвышается трибуна, бывшая церковная кафедра, высокая и узкая, точно клетка; видна только голова и грудь оратора. Под трибуной четыре ряда скамей, расставленных вдоль стен, перпендикулярно к зрительному залу. Напротив, с левой стороны, разделенные проходом, еще четыре ряда скамей, расположенных так же. На уровне четвертого ряда — стол и кресло для председателя. Сзади другой стол подлиннее, для президиума. Зал монастыря — длинный и узкий, под цилиндрическим сводом. В глубине видна единственная дверь, узкая и низенькая, подходящая скорее для кельи, чем для обширного зала. Робеспьер, стоя на трибуне, читает свою речь, уже произнесенную днем в Конвенте и названную им «Завещание». Слышатся пронзительные, неистовые крики толпы.

Робеспьер в больших очках; он поднимает их на лоб во время пауз между периодами, окидывая взглядом возбужденную, взвинченную аудиторию. Его обычная холодность дается ему нелегко; это также и ораторский прием, которым он пользуется в начале речи и при отдельных репликах, как бы окатывая ледяной водой своих разгоряченных противников. У него скорбное, мученическое лицо праведника, которого преследуют нечестивцы. Но временами речь его становится вдруг резкой, язвительной и запальчивой. Он очень скуп на жесты. И потому, когда он изредка к ним прибегает, они тем сильнее волнуют людей, которые слушают его жадно, с открытым ртом, живо на все отзываясь и как бы отражая всю гамму чувств, звучащих в его речи. (В этой восприимчивости толпы, которая, не отрывая глаз от Робеспьера, чутко и бурно откликается на каждое его слово, и состоит основной эффект сцены.)

Среди присутствующих Леб а, Ку то н, Пэ й а н, Ко фи на л ь и другие.

Робеспьер (*продолжая чтение*). ...Все объединились против меня...

Толп а. Нет, нет! Не все! Мы с тобой!

Толпа гудит, и этот непрерывный, взволнованный гул вторит словам Робеспьера, словно басы органа или морской прибой, не заглушая, однако, его ясной, отчетливой речи.

¹ Старинный монастырь якобинцев, где происходили заседания клуба, находился, как известно, близ улицы Сент-Оноре, между Вандомской площадью и церковью св. Роха. — Р. Р.

Робеспьер. Презренные! Они хотели, чтобы я сошел в могилу опозоренным!

Толпа (*возмущенно кричит*). Никогда!

Из узкой двери на заднем плане появляются Билло и Колло, проходят между рядами, но, не найдя свободного места, остаются стоять в глубине налево. Робеспьер, скользнув по ним взглядом, как будто не замечает их.

Робеспьер. ...И я остался бы в памяти народа, как тиран...

Негодующие возгласы.

Они называют тиранией мою преданную любовь к вам, доверие, которым вы меня почтили, мое нравственное влияние — единственное оружие истины... Что может быть отвратительнее тирании, которая карает народ в лице его верных защитников? Эти чудовища пытаются наложить запрет на самое священное, самое свободное чувство — на нашу дружбу!..

Толпа (*в порыве восторга и любви*). Друг! Друг! О наш друг!

Робеспьер. ...Это я тиран? Я? Кто же я, которого все обвиняют? Раб Свободы, мученик Республики.

Старая женщина (*рыдая*). Максимилиан, ты святой!

Робеспьер. Разве я не жертва преступлений и не враг их? Эти преступники вменяют мне в вину действия самые законные, чувства самые невинные. Они порицают и клеймят мое ревностное стремление служить вам. Мне все запрещено, вся моя жизнь оклеветана. Отнимите у меня сознание правоты, и я стану несчастнейшим из людей!

Девушки (*плача, простирают к нему руки*). Не говори так, не будь несчастным, Максимилиан... Ведь мы обожаем тебя!

Робеспьер. У меня отнимают права гражданина. Да что там! Мне не дозволено даже выполнять обязанности народного представителя. Мне запрещают говорить от вашего имени. Мне препятствуют говорить с вами!

Колло (Билло). Фигляр! Нашел о чем жалеть! Будто нельзя обойтись без его речей!

Билло (перебивая Робеспьера с огромным волнением, выдающим жестокую внутреннюю борьбу). Робеспьер! Мы не враги тебе!

Робеспьер (подняв на лоб очки, вливается взглядом в Билло и Колло). Посмотрите на этих вероломных врагов. Как они умели злоупотреблять моим доверием! Как лукава и вкрадчива была их дружба!

Билло (порываясь говорить). Робеспьер!

Робеспьер. Но вдруг лица их помрачнели, злобой радостью засветились их глаза. В тот час они верили, что их происки увенчались успехом, что им удалось сокрушить меня...

Билло (взывая к Робеспьеру с яростным отчаянием). Мы хотим мира, мы предлагаем единение!

Робеспьер (как бы не слыша). ...А теперь, когда вы встали на мою защиту, они испугались, они снова заискивают передо мной.

Билло (кричит). Это неправда! Я говорю искренно.

Робеспьер. Они стараются выиграть время, чтобы возобновить свои подлые заговоры. Как они презренны и отвратительны!

Толпа. Гадюки! (Указывает пальцами на Билло и Колло.) Вон двое из этой шайки... Раздавим их.

Билло. Я хочу говорить!

Колло. Председатель, дай мне слово!

Угрожающие крики и гиканье заглушают их голоса.

Билло (пробиваясь к трибуне). Робеспьер, в последний раз, я хочу объяснить. Дай мне ответить!

Его грубо отрывают от трибуны и, осыпая оскорблениями, вталкивают вместе с Колло в толпу. Робеспьер притворяется, что ничего не видит.

Робеспьер. Они посягают на мою жизнь! О, я расстанусь с ней без сожаления!

Толпа (простирая руки). Не покидай нас! Останься с нами!

Робеспьер. Опыт прошлого научил меня предвидеть будущее. Стоит ли жить в мире, где коварство неизменно торжествует над истиной, где правосудие — один обман, где самые гнусные страсти берут верх над священными интересами человечества? Какая невыносимая пытка глядеть на чудовищную вереницу предателей, скрывающих свою мерзкую душу под покровом добродетели и даже дружбы! Видя, как неудержимый поток Революции выносит на поверхность попеременно с добродетелями всевозможные пороки, я содрогался от ужаса при мысли, что в глазах потомства буду обесчещен ненавистной близостью с этими развращенными людьми. Но теперь я благословляю их слепую ненависть, отделившую меня от них надежной преградой. Они убьют меня!

Толпа (*вопит*). Нет! Никогда!

Робеспьер. История учит нас, что защитников Свободы всегда преследовали и предавали смерти. Но гонителей тоже не пощадила смерть. Имена их покрыты позором. А праведнику смерть отворяет врата в бессмертие...

Кажется, будто он изнемогает от волнения. Голос его дрожит, прерывается, он низко наклоняет голову, точно стараясь скрыть слезы.

Толпа громко рыдает, протягивая к нему руки.

Женщина (*всхлиывая*). Не плачь!

Толстая кумушка (*рыдая*). Сокровище мое! Приди ко мне на грудь!

Молодая девица (*старается пробиться к Робеспьеру, прижимая платок к глазам*). Ах, позволь утереть тебе слезы!

Старая женщина. О мой Иисус!

Мужчины (*гневно*). Негодяи! Они заставили плакать нашего Робеспьера! Повесить их! Нет, сжечь их живьем!

Давид (*плача*). Неподкупный, ты бессмертен!

Робеспьер (*поднимает голову и, прекрасно владея собой, без единой слезы, восклицает резким, грозным, страшным голосом*). Пускай я умру! Но я завещаю народу ненависть к угнетателям. Я завещаю страшную для них правду и смерть.

Н а р о д (повторяет за ним). И смерть!

Р о б е с п ь е р. Революционное правительство спасло отчизну. Надо спасти правительство от изменников, которые его губят. Мы поставили перед собой возвышенную цель: создать великую Республику на основах разума и добродетели. Там, где разум не властвует, где добродетель гонима, там неминуемо воцаряется преступление и честолюбие. Без владычества разума и добродетели сама победа лишь откроет путь честолюбцам и поработителям... Выпустите на минуту из рук поводья Революции, и вы увидите, как ими тотчас завладеет военная деспотия, мятежные вожаки опрокинут и растопчут народное представительство. Долгие гражданские войны опустошат нашу страну, обрекут ее на бедствия и разорение, и народ предаст проклятию самую память о нас, а ведь она могла бы стать священной для человечества. Воспрянем же! Возьмем в свои руки бразды правления! Пусть Революция возобновит свое победное шествие. На том перевале, которого мы достигли, остановиться раньше срока — значит погибнуть; а мы уже отступили... Вперед! На врагов!

Т о л п а (подхватывает на мотив «Марсельезы»). Вперед! К оружию! Вперед на врага!

Всеобщее бурное волнение, крики, пение «Марсельезы», над головами развеваются красные шарфы, колышутся знамена.

Р о б е с п ь е р (бесстрастно, повелительно, одним жестом прекращает шум. Потом, со всею силой красноречия, впервые простерши вперед руки, которые до тех пор прижимал к груди, восклицает). Народ, о мой народ! Тебя страшатся, тебе льстят и тебя же презирают. Ты властелин, которого все еще угнетают, как раба. Помни, помни: если в Республике не установлена верховная власть справедливости, то Свобода там — лишь звук пустой. Покуда не уничтожена несправедливость, не уничтожены и твои оковы, — они лишь заменены новыми... Помни, что твоя слабость помогла шайке преступников пробраться к кормилу власти, и теперь не ты, а они распоряжаются твоими делами; они трепещут и угодничают перед народными массами, и поодиночке преследуют

тебя в лице всех добрых граждан. Эта нечестивая клика врагов добродетели, этот заговор против общественной Свободы свили себе гнездо в недрах самого Конвента, нашли сообщников в Комитете общественной безопасности. Враги Республики противопоставили Комитету общественного спасения Комитет общественной безопасности как второе правительство, правительство преступное. В их гнусном заговоре замешаны даже сами члены Комитета общественного спасения. Эта банда замышляет погубить верных сынов родины и самую родину. Что же нужно делать? Раздавить предателей, изгнать их из Конвента, очистить Комитет общественной безопасности, очистить Комитет общественного спасения, крепко сплотить правительство вокруг обновленного Конвента, который должен стать собранием честных граждан. Ибо, я заявляю со всей торжественностью, отныне я знаю только две партии — партию добрых граждан и партию дурных граждан. Патриотизм не есть достояние той или иной группы, патриотизм есть добродетель. С сердцем, истекающим кровью, после горького опыта измен и предательств, я призываю на помощь Республике всех честных людей. Откуда бы они ни явились, я протягиваю им руку. Объединимся против преступления и на обломках крамолы и мятежа возродим всемогущую власть Нации, олицетворенную в Конвенте. Пусть Конвент станет очагом, горящим пламенем справедливости и свободы... Справедливость!

Толпа повторяет хором: «Справедливость!»

Свобода!

Толпа повторяет: «Свобода!»

Два великих принципа. Два оплота Республики. Если грозят тому, кто борется за эти принципы, если его оскорбляют, — значит эти принципы растоптаны и воцарилась тирания, но это не заставит нас молчать. Ибо клевета, оскорбления и угрозы бессильны против того, кто прав, кто готов умереть за отчизну. Пускай убивают меня — они никогда не заставят меня примириться с их злодеяниями, никогда не принудят меня молчать. Я призван бороться с преступлением, а не руководить им. Я все

сказал. (*Сразу обрывает свою речь среди нарастающего гула голосов.*)

Короткое молчание, затем бурные, неистовые крики. Робеспьер одним движением руки заставляет толпу умолкнуть.

Друзья мои, я прочел вам свое завещание, свою предсмертную волю.

Толпа протестует.

(*Спокойно*). Я говорю вам правду...

Старая женщина (*в экстазе*). Иисус! Иисус!

Робеспьер. Я знаю эту клику злодеев, знаю их силу, знаю, что дни мои сочтены. И умру без страха и сожаления. Завещаю вам память обо мне, предаю ее в ваши руки. Защитите ее от клеветы... А теперь простимся, друзья мои. Близится час, когда слуги тирании поднесут мне чашу цикуты. Я выпью ее без колебаний.

Давид (*кидаясь к нему*). И я выпью ее вслед за тобой.

Толпа (*исступленно*). И мы, мы тоже!

Новый приступ рыданий. Часть толпы переходит сразу от горя и уныния к яростному гневу.

Мы заставим твоих убийц выпить яд!

Указывают друг другу на Билло и Колло, стоящих у выхода, бросаются к ним.

Билло (*отталкивая нападающих*). Изменники, посмейте только поднять руку на представителя великого Комитета!

Якобинец (*трясет его за шиворот*). И посмею, я даже ногой тебя пну! (*Дает ему пинка.*)

Обезумев от ярости, Билло отбивается и хватает его за горло. Колло пускает в ход кулаки.

Коллено (*бросаясь, вместе со своими людьми, на помощь Билло и Колло*). Не мешкайте, граждане! Улепечивайте! Мы прикроем ваше отступление.

Билло и Колло скрываются. Мускадены, после драки с якобинцами, тоже рассеиваются и исчезают.

К у т о н (*сидя у подножия кафедры*). Узнаю этих франтов, это гвардия Фуше. Сам он слишком хитер, чтобы явиться сюда. Он ускользнул у нас из-под носа. Надо найти его. Надо его поймать. (*Велит вынести себя на улицу.*)

К о ф и н а л ь (*поднявшись на трибуну, откуда сошел Робеспьер*). Граждане, все вы слышали бессмертные слова нашего Робеспьера. Нынче днем в Конвенте решили не печатать эту речь. Подлые враги перепугались. И тем выдали себя с головой. Я предлагаю исключить из Клуба якобинцев всех изменников, причастных к этому гнусному делу.

Толпа бурно выражает свое одобрение. Среди шума и криков Кофиналь читает список имен.

П э й а н (*подойдя к Робеспьеру, который вышел на авансцену*). Робеспьер, час настал! Одно твоё слово — и мы подыдем народ Парижа. Еще до утра Конвент будет разогнан. Ты хозяин положения. Одно только слово. Мы ждем!

Друзья, окружившие Робеспьера, повторяют: «Мы ждем!»

Р о б е с п ь е р. Нет, Пэян, я не признаю для себя иного оружия, кроме слова, ни иного щита, кроме закона. Ты сам видел, как велика его власть над людьми.

П э й а н. Здесь самые верные твои сторонники, твой священный отряд. Не суди по ним о всех остальных. Нам нужно немедленно привлечь на свою сторону армию; она ненадежна, там орудуют изменники. Измена проникла и в Конвент.

Р о б е с п ь е р. Я сражусь с ней завтра.

П э й а н. Берегись, как бы она не нанесла тебе удар в спину.

Р о б е с п ь е р. Я ничего не боюсь. Охраной мне служит истина и добродетель. Моими устами будет говорить истина, и она победит.

П э й а н. Она победит, если ей дадут говорить. А если они ее задушат?

Р о б е с п ь е р. Нельзя задушить истину.

К о ф и н а л ь (присоединяясь к Пэйану). Робеспьер, позволь нам защитить тебя.

Р о б е с п ь е р. Только истина! Такая, как есть! Она не нуждается в защите. (Толпе, которая обступила его.) Теперь, друзья, возвращайтесь по домам! Сегодня мы не даром потеряли время. А нам, Дюпле, пора спать, (Уходит.)

З а н а в е с.

КАРТИНА ПЯТНАДЦАТАЯ

В ту же ночь, с 8 на 9 термидора (с 26 на 27 июля). Около часу
ночи. Комитет общественного спасения.

К а р н о, Л е н д э, П р и е р из Кот д'Ор, Б а р р е р молча работают. Немного поодаль сидит С е н - Ж ю с т, погруженный в работу над докладом.

К а р н о (передает бумаги сидящему рядом Лендэ). Подпиши, Лендэ. (Взглянув на подпись Лендэ, передает папку Приеру.) Приер... (Разражаясь гневом.) Негодяй!

Л е н д э. Кого это ты так?

К а р н о. Предателя, которого мы снова приняли в свою среду и который в Конвенте нанес нам удар в спину.

Л е н д э. Ты все еще думаешь о нем? Полно, давай работать. Дела не ждут.

К а р н о. Я никогда дела не откладываю. Но это не мешает думать.

Л е н д э. Где уж тут думать! Успеть бы только проверить счета по снабжению двенадцати армий!

К а р н о. Неужели завтра в эту пору на наших местах будут сидеть другие? Вот что меня мучит.

Л е н д э. Тем более надо оставить им дела в образцовом порядке.

К а р н о. Преклоняюсь перед тобой! Но стоит ли так стараться, раз они все равно попадут в руки болванам и невеждам?

Л е н д э. Ничего, справятся. Мы-то ведь научились. Нужда кого угодно работать научит.

К а р н о. Меня бесит, когда ты повторяешь их дурацкие выдумки! Ты сам этому не веришь. Ты же знаешь не

хуже меня, сколько надо времени и труда, чтобы воспитать хорошего работника. Чудес на свете не бывает. И нам с тобой и Приеру пришлось выдержать немало битв, чтобы оставить в Комитете старых служаек, прошедших, подобно нам, суровую школу еще в мирное время. Я подумать не могу без ужаса, что наши выученики будут истреблены, начнется развал, станут хозяйничать все, кому не лень¹.

Лендэ. Человек не так глуп, чтобы действовать во вред самому себе. Уничтожив нас, они пойдут по нашим же стопам. Настоящее дело продолжает жить. И хорошему работнику можно найти замену.

Карно. Поди-ка скажи это Пизистрату. Он того и гледи проглотит Республику.

Приер. Где ему — подавится! Кусок застрянет в глотке.

Карно. Он нас передушит поодиночке. Неужели мы допустим это?

Баррер (подойдя к Карно с бумагами, шепчет ему на ухо). Не допустим! Да и ты начеку, как я слыхал. Только тише.

Карно (поняв, что Баррер кивает ему на Сен-Жюста, с виду невозмутимого и безразличного ко всему, что говорится вокруг). Ах, да! В отсутствие тирана у нас есть его уши. Погоди, я их обрежу.

Приер. Перестань, Карно, не кипятись! Помолчи, если можешь, не мешай работать.

Карно (вскочив с места, большими шагами прогуливается по залу, подходит к настезь растворенным окнам). Уф! Душно! Все окна открыты, а дышать нечем. (Скидывает сюртук.)

Приер и Лендэ развязали галстуки и распахнули ворота рубашек. Только Баррер и Сен-Жюст застегнуты на все пуговицы. Все, кроме Сен-Жюста, раскраснелись от жары. Карно обращается к секретарю, который входит с докладом в зал Комитета.

Что нового за сегодняшний вечер?

¹ Разговаривая и возмущаясь, Карно, как и другие, продолжает работать, перелистывает, читает и подписывает дела. Секретари то и дело приносят и уносят донесения и приказы. — Р. Р.

Секретарь. В Якобинском клубе дерутся.

Карно. Вот и отлично. Было бы хуже, если бы Робеспьер служил там мессу, а его паства внимала ему с благоговением. *(Садится на место и принимается писать.)*

Баррер *(понижив голос, указывает Приеру на Сен-Жюста и Карно)*. Бедняга Карно из кожи вон лезет, до того ему хочется разозлить этого юношу. А тот и ухом не ведет.

Приер. Что это он там сочиняет?

Баррер. Комитет поручил ему составить доклад к заседанию Конвента.

Карно *(продолжая писать)*. Хоть бы Билло и Колло скорее вернулись!

Баррер. А они пошли туда, к якобинцам?

Карно. Мы натравили их на Пизистрата. Билло весь кипит после своего поражения в Конvente. Он жаждет отомстить. Ну, а нашего Колло никто не перекричит.

Баррер. Настоящая труба иерихонская. Как рявкнет — стены рушатся.

Приер. Если так, спасайся, кто может. Вон она трубит, слышите?

Из коридора доносятся вопли Колло.

Карно *(вставая)*. Это они? Так скоро? Что случилось?

Двери с грохотом распахиваются. Врываются Билло и Колло. Глаза их злобно вытаращены, одежда разорвана. Билло бледен от сдерживаемой ярости. У Колла на губах пена, лицо налилось кровью.

Колло. Мщения! Мщения! Неслыханный позор! Честь Комитета оскорблена!

Билло. Закройте Якобинский клуб!

Баррер. Что там случилось?

Колло. Они осмелились поднять на меня руку! Они заткнули мне рот, мне, мне!

Карно. И ты им позволил?

Билло. Там были сотни, тысячи... Вся его собачья свора. Мы не успели рта раскрыть, как они набросились на нас.

Колло. Нас едва не растерзали.

Билло. Меня ударили.

Карно. Подлецы!

Билло (с яростью отчаянья). Они облили меня грязью. Меня, а ведь я пришел к ним, чтобы в последний раз предложить примирение...

Карно. Чего ты совался не в свое дело? Разве для этого тебя туда послали? И поделом тебе!

Колло (рыча). Мщение! Бейте тревогу, подымайте секции!

Сен-Жюст (единственный из всех с начала сцены не вставал с места и теперь в первый раз вмешивается в спор). Граждане, вы потеряли рассудок. Опомнитесь! Что с вами?

Колло (повернувшись, вливается в Сен-Жюста налившимися кровью глазами). Ты еще спрашиваешь? Будто не знаешь! Гаденыш!

Билло. Цепной пес Робеспьера! Чего ему здесь надо, этому предателю?

Карно. Он шпионит за нами. Это его ремесло!

Колло (бросается на Сен-Жюста, который, поблдевав, встает во весь рост и опирается руками на стол, отделяющий его от Колло). Скорпион, притаился тут в углу! Прихлопнуть его, и все!

Карно. Дай ему в морду, Колло!

Баррер (становится между ними). Нет, граждане коллеги! У нас в Комитете не место дракам.

Билло. Он не наш!

Колло. Я раздавлю его, как вошь!

Билло. Он не наш! Прогоним его, как прогнали нас его прихвостни!

Колло. Убирайся вон, а то я вышвырну тебя в окно!

Карно. Нет, нет, не надо, Билло! Не выгоняй его, он только этого и ждет. Пусть лучше сидит здесь. Как заложник.

Билло. Допросите его. Пускай даст отчет во всем.

Колло. Ладно! Мы всегда успеем его повесить.

Карно. Он что-то писал. Что это он писал? Ты что кропал, дьявол? Говори!

Сен-Жюст надменно выдерживает взгляд Карно, не отвечая ни слова, и высокомерно вскидывает голову. Все обступают его с угрожающим видом.

Б а р р е р (обернувшись к Колло). Отними у него бумаги!

Сен-Жюст, положив руки на стол, крепко держит бумаги.

Л е н д э (Приеру.) Уйдем отсюда, Приер. Нет никакой возможности работать.

Оба встают, невозмутимо складывают бумаги и с папками подмышкой выходят из зала, не обращая внимания на спорящих.

К о л л о (тянет к себе бумаги). Давай сюда! Пусти! Я тебе глотку перерву!

Б а р р е р (становясь между ними, высокомерным тоном, еще более оскорбительным, чем ругань остальных). Оставь его в покое, Колло, он не опасен. Вы оказываете ему слишком много чести. Это просто зазнавшийся мальчишка, который корпит над школьным сочинением.

К а р н о. Он оттачивает свои фразы, как нож гильотины.

Б и л л о. Он готовит обвинительный акт против нас.

К о л л о. Вот и надо отнять у него доказательства его измены! (Старается вырвать бумаги.)

К а р н о. Он крепко их держит. Не отдерешь, они словно приросли к его шкуре.

К о л л о. Тогда я сдеру с него шкуру! (Вытаскивает из-за пояса пистолет.)

Б а р р е р (удерживая его за руку). Стой! Слишком много шума из-за какого-то мальчишки. Он заслуживает самое большее доброй порки.

С е н - Ж ю с т (бледный, как смерть, ледяным тоном). Презренные! Гнусности, которые вы изрыгаете, пятнают вас самих, бесчестят весь Комитет. Вы позорите Революцию!

Его противники отступают, пристыженные. Ярость их утихает, но только внешне.

К а р н о (язвительно). Держи вора — первым кричит вор.

С е н - Ж ю с т. Я презираю вас! Вы подло клеветеете на меня. Я прочту вам сейчас свой доклад Конвенту. (Собирается читать.)

К о л л о. К черту! Ты все равно не выступишь в Кон-
венте.

К а р н о. Еще бы он выступил! Ты у нас в руках.
Тебя не выпустят отсюда.

С е н - Ж ю с т. Я свободен.

К о л л о. Нет, уже не свободен. Мы запрем тебя под
замок в Комитете.

С е н - Ж ю с т. Вы не имеете права.

К о л л о. На нашей стороне сила.

С е н - Ж ю с т *(пожимает плечами)*. Сила обернется
против вас. *(Садится за стол и снова погружается в ра-
боту, не удалявая взглядом окружающих. Те совеща-
ются между собой.)*

Б а р р е р *(вполголоса)*. Вы неправы. Мы не можем
явиться в Конвент, арестовав без его согласия члена
Комитета.

К а р н о. Конвент не обязан этого знать.

Б а р р е р. Все узнается. Там ждут доклада Сен-
Жюста.

Б и л л о. Пусть противник первый употребит насилие
и нарушит законность. Опередив его, мы тем самым
оправдаем его действия.

Б а р р е р. Не ставьте под угрозу успех сегодняшнего
заседания.

К а р н о. А чем же мы обеспечили успех? На чем по-
решили?

Б а р р е р. С минуты на минуту должен явиться
Фуше, и мы узнаем, к чему привели ночные переговоры.
Когда он придет, хорошо бы спровадить отсюда этого
молодчика.

Б и л л о. Так прогоним его. Мое первое побуждение
было правильным.

К а р н о. А как же доклад?

Входит секретарь и что-то шепчет на ухо Барреру.

Б а р р е р. Мы уже не успеем его прослушать. Фуше
здесь.

Б и л л о. Возьмем с юноши обещание, что он вернется
к утру и представит доклад на наше рассмотрение.

К а р н о. А ты веришь его обещаниям?

Билло. Я рассчитываю на его тщеславие. (*Подходит к Сен-Жюсту.*) Ты хотел прочесть нам свой доклад. Он окончен?

Сен-Жюст. Нет еще.

Билло. Ступай домой и окончи его. Я знаю, что ты наш враг. И я тебе враг. Но я не считаю тебя трусом. Среди нас нет трусов. Ты выйдешь отсюда беспрепятственно. И по доброй воле вернешься в Комитет к утру — тогда мы и обсудим твой доклад. Заседание начнется в полдень. Будь здесь ровно в десять часов. Согласен?

Сен-Жюст. Согласен. (*Поднявшись с места, спокойно собирает бумаги и направляется к выходу. На пороге оборачивается.*) Вы нанесли мне смертельный удар, коллеги. Но что значит моя жизнь? И ваша тоже? Важна только судьба Республики. Республика недолго будет существовать. Вы убиваете ее сами. Подумайте над этим. (*Уходит.*)

Билло (*потрясенный*). Что он сказал? Это неправда! Мы спасем Республику.

Карно. Мы вырвем ее из рук Робеспьера, даже если нам суждено погибнуть вместе с ней!

Билло. Нет, нет, Республика не погибнет! Пусть погибнем мы все. Но она должна жить!

Баррер, который выходил навстречу Фуше, возвращается вместе с ним.

Баррер. Тебе пришлось подождать, гражданин Фуше. Нам нужно было сначала удалить отсюда Сен-Жюста.

Фуше. Как? Сен-Жюст был здесь и вы упустили его?

Колло (*остальным*). Вот видите? Я же говорил, что надо его задержать.

Билло. Он дал слово вернуться.

Фуше. Надежное обязательство, нечего сказать! Ты все еще веришь клятвам, Билло?

Билло. Своим я верю.

Фуше. Тем хуже для тебя. Когда доходит до дела, не стоит обременять себя присягой. Вы поступили глупо, ну, да сделанного не воротишь. Запишем проигрыш и поставим на следующую карту.

Б и л л о. Я не принимаю твоих упреков! Мы поступили по закону.

Ф у ш е. Сделай милость, Билло, избавь меня от этого старого хлама. Хочешь ты выиграть сражение или нет? Во время боя отбрось к черту все, что тебе мешает. Завтра, если мы победим, если останемся в живых, можешь снова извлечь на свет божий свои законы... А теперь прошу тебя, прошу всех вас: не перебивайте! У меня времени в обрез. Дома у нас несчастье. Мне надо домой.

К а р н о. Что у тебя случилось?

Ф у ш е. Ничего.

Б а р р е р (тихо). Твоей дочке стало хуже?

Ф у ш е (утвердительно кивнув головой, продолжает). Я не собираюсь говорить здесь о моих делах. Я пришел сообщить вам, какие обязательства взяли на себя участники заговора. Нелегкое было дело заручиться поддержкой Болота. Они чуть было не отступились от того малого, что обещали. Они дали слово молчать. И их молчание станет могилой Робеспьера. Вам останется только столкнуть его туда. Он потерял большинство в Конвенте.

К о л л о. Воображаю, чего ты им за это наобещал!

Ф у ш е (пожимая плечами). Не все ли вам равно, раз я не сдержу обещаний? Вот здесь я набросал план действий во время завтрашнего заседания. (Передает записку Карно.) Просмотрите. Мне некогда обсуждать его с вами. Само собой разумеется, кое-что придется изменить в зависимости от обстоятельств. Но помните: главное — это не дать Робеспьеру выступить. Ни в коем случае он не должен говорить. Захватите все подступы к трибуне, окружите ее. Прочно завладейте ею. Кто завтра председатель? Ты, Колло?

К о л л о. Я.

Ф у ш е. Устрой так, чтобы получили слово только свои. Кто выступит первым?

Б и л л о. Я!

К а р н о. Я!

К о л л о. Я! Я откажусь от поста председателя.

Ф у ш е. Нет, Колло. Ты будешь там полезнее. Своим ревом ты заглушишь голоса противников. И не забудь: в этот день трибуна станет Мысом Бурь. И на него обрушит свои громы Робеспьер.

К о л л о. Или сам о него разобьется.

Ф у ш е. Ну, а ты, Карно, ты слишком его ненавидишь. Когда ты в ярости — мысли у тебя путаются, язык заплетается. А нам нужна для начала речь-секира, речь-топор, чтобы каждый удар бил по цели. Пускай начнет Билло — он рубит плеча.

Б а р р е р. Вы забываете, что заседание начнется с доклада Сен-Жюста.

Ф у ш е. Он сыграет нам на руку. При первых же его нападках риньтесь на него! Тут я надеюсь на Тальена, он уж сумеет заварить кашу.

Б и л л о. Этот шут?

Ф у ш е. Я раздражил его до бешенства. Он просто ярится от похоти. Они с Лекуантром да Бурдон с Фрероном будут запальщиками. Они разожгут страсти в Конвенте. Но это еще не все. Надо уловить подходящий момент и найти человека, который был бы нашим рупором, подал бы сигнал. Он и потребует ареста Робеспьера. Тут всего нельзя предвидеть заранее. Это решится в разгаре боя, на месте.

К о л л о. Ты там будешь?

Ф у ш е. Не могу обещать.

Б и л л о. Как? Ты сбежишь в минуту опасности?

Ф у ш е. Я все время живу среди опасностей, Билло. Приду я на заседание или нет, опасность не уменьшится. Мне нечего больше терять.

Б а р р е р. Зато мы много потеряем, Фуше, если тебя там не будет.

Ф у ш е. Я все вам подготовил. Теперь дело за вами. Вы же видите: я в полном изнеможении. Я притащился сюда из последних сил, чтобы вручить вам ключи к победе. Я их готовил и подбирал целые месяцы. Не требуйте же от меня большего. Есть предел, после которого человеку все равно: пусть потолок рухнет, он и пальцем не шевельнет.

Б и л л о. Ты просто измучен, да и мы все тоже. До начала заседания остается еще восемь часов. Ступай поспи.

Ф у ш е. А где я усну? Дома? Там мне не придется отдыхать. Моя дочка умирает. Прощайте. *(Идет к двери.)*

потом возвращается.) Победа в Конвенте — это еще не победа. Ведь неизвестно, как откликнется на это Париж. Прежде всего надо заранее прибрать к рукам Коммуну. Велите вызвать сюда Пэяна и Флерио-Леско. Арестуйте Анрио. Между секциями идут раздоры, я их разжигаю. Даже секции, прилегающие к Ратуше, не могут простить Робеспьеру, что он обезглавил их штабы, — они пойдут за вами куда угодно. Кроме того, вам обеспечена помощь секций центра — там у меня есть свои агенты. В случае уличных боев с якобинцами можете рассчитывать на железную гвардию — я имею в виду молодчиков-буржуа, у них есть все, что нужно, — а также на вооруженных мускаденов.

Б и л л о. Как? На этих разбойников? Парижских шуанов? Изменник, ты хочешь предать нас в их руки?

Ф у ш е. Дурак, я предаю их тебе.

Б и л л о. Я бы пригвоздил этих филинов к дверям их домов! Чтобы я стакнулся с этой шайкой? Да я скорее пойду против них во главе якобинцев Робеспьера.

Ф у ш е. Делай, как знаешь. Тебя самого пригвоздят ножом к доске твои якобинцы. Ты забыл, как они встретили тебя в клубе нынче ночью? Если бы не пришли на помощь мои мускадены, тебе бы не уйти оттуда живым!

К о л л о. У Республики и без них немало защитников из числа добрых патриотов.

Ф у ш е. Немало, это верно. Они явятся по нашему зову со всех концов Франции. Но уверен ли ты, что успеешь собрать их раньше вечера? *(Показывает на окна.)* Вон уже светает. Прежде чем наступит ночь, партия будет сыграна. Неужели вы откажетесь от козырей, которые я вам предлагаю? Пускай карты крапленые, засаленные. Берите! Потом можете их сжечь.

Б и л л о. Скорее я сожгу себе руку!

Ф у ш е. Сожги! Но сначала возьми карты. К тому же сделка уже заключена. Возврата нет.

Б и л л о. Мерзавец!

Ф у ш е *(отворив дверь, говорит устало)*. И ты, Билло, и вы все можете поступать, как вам угодно. Я все подготовил для вашего спасения. Воспользуетесь ли вы этим, или нет, дело ваше. Теперь мне безразлично, что

будет, — спасусь ли я, спасетесь ли вы. Все на свете безразлично. (Уходит.)

К о л л о. Бедняга! Он при последнем издыхании.
Б а р р е р. Не верь ему!

Занавес.

КАРТИНА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Та же ночь несколько часов спустя. Брезжит рассвет. Дом, где живет Фуше. Четвертый этаж. Лестничная площадка перед запертой дверью. По витой лестнице подымается дюжий якобинец в красном колпаке, неся на закорках Кутона.

К у т о н. Высоко все-таки, а во мне вес немалый. Прости, товарищ! Ссади меня здесь и постучись. Это двери Фуше.

Красный колпак сажает Кутона на ступеньки лестницы, ведущей в следующий этаж, и стучит в дверь. Никто не отпирает.

Колоти сильнее.

Якобинец стучится снова. Никакого ответа. Но из соседней квартиры приотворяется дверь. Выглядывает грязная старуха с лхматыми седыми космами.

Я к о б и н е ц. Там никого нет.

К у т о н. Не может быть. Правда, из осторожности он почти никогда не ночует дома. Но как раз сегодня он у себя. Я знаю наверное. За ним следили. Во всяком случае дома его жена. Эй, гражданка, не знаешь ли, дома гражданин Фуше?

С о с е д к а. Он у себя. Я видела, как он вошел.

К у т о н. Почему же он не отпирает?

С о с е д к а. У него ночью дочка померла. Гражданина Фуше не было дома. Гражданка оставалась одна. Я помогла ей. Когда гражданин вернулся, они с женой заперлись и никого не хотят видеть.

К у т о н. Меня ему все-таки придется увидеть. Мне надо с ним поговорить. (Велит поднести себя к двери и зовет, колотя в дверь кулаком.) Жозеф Фуше! Это я, Кутон. Неотложное дело! Отвори!

Внутри ни звука.

Соседка. Они в большом горе.

Кутон. Не такой он человек, чтобы из-за траура запускать свои дела.

Соседка. Когда он узнал про дочку, у него ноги подкосились, даже заплакал.

Кутон. Такой сухарь? Ты что-то путаешь, гражданка.

Соседка. Он возился с ребенком, как нянька. Ночей не досыпал, баюкал ее, я сама слыхала.

Кутон. Однако успевал баламутить повсюду, как сатана, целых два месяца. За сегодняшнюю ночь он побывал в сотне мест. Я должен его видеть. Стучи сильнее.

Якобинец. Так не годится. Эти люди имеют право погоревать о покойнице. Давай лучше вернемся сюда завтра.

Кутон. Завтра уже наступило. Или теперь, или никогда!

Якобинец. Что тебе от него надо?

Кутон (*знаком велел ему замолчать, прощается с соседкой*). Ну что ж, гражданка, покойной ночи.

Она запирает дверь.

(Кутон делает вид, что собирается спускаться обратно. Пока носильщик подсаживает его на спину, он говорит ему шепотом.) Весь заговор сосредоточен в его руках. Чтобы спутать им карты, надо вывести из игры Фуше.

Якобинец. Арестовать его?

Кутон. Нет, войти в соглашение.

Якобинец. А Робеспьер знает?

Кутон. Узнает, когда все будет сделано. Я спасу его, хотя бы против его воли.

Якобинец (*прислушивается*). Кто-то идет...

Кутон (*перегнувшись через перила, смотрит вниз и говорит вполголоса*). Карье... Лекуантр... Не торопись спускаться.

Карье (*над ступенями показывается сначала его голова; он видит Кутона*). Это ты, чудовище?

Кутон (*спокойно*). Да, разбойник.

Лекуантр (появляется вслед за ним; оба видны только по поясу). Как? Ты идешь от Фуше? Ты виделся с ним?

Кутон. Виделся.

Смотрят друг на друга вызывающе. Носильщик тащит Кутона на спине вниз по лестнице. Лекуантр и Карье, грубо толкнув его, всходят на площадку.

Якобинец (спускается вниз, тихо спрашивает Кутона). Зачем ты им так сказал?

Кутон (тоже тихо). Пускай думают, что он их предал.

Лекуантр (яростно, к Карье). Говорил я тебе, что этот пройдоха ведет двойную игру!

Карье (в бешенстве стучит в дверь). Если бы я знал, я задушил бы его. погоди у меня! (Кричит.) Отопри сейчас же! Это я, Карье.

Внутри полная тишина.

Лекуантр. Не отпирает.

Оба изо всей силы колотят в дверь кулаками.

Карье. Подлец! Мошенник! Негодай!

На лестнице во всех этажах отворяют двери, раздаются возмущенные крики.

Соседи (вопят). Убирайтесь к черту!

— Не мешайте спать!

— Дайте же людям покой!

Начинается перебранка.

Кутон (своему носильщику, который спускается по ступенькам). Видишь, мы все-таки прогулялись не напрасно.

Уходят.

Занавес.

КАРТИНА СЕМНАДЦАТАЯ

Несколько часов спустя. Утро 9 термидора. Комитет общественного спасения. Часы в глубине зала показывают половину одиннадцатого. Те же действующие лица, что в конце пятнадцатой картины, только измученные, растрепанные, с воспаленными после бессонной ночи, осунувшимися лицами. Видно, что здесь спали по-походному: на полу валяются разостланные и свернутые плащи, объедки пищи, три пустые бутылки и всякий мусор.

Карно. Его все еще нет.

Билло. Он придет!

Часы бьют половину.

Колло. Половина одиннадцатого. Он не придет.

Билло. Не прийти значило бы признать свою трусость. Сен-Жюст горд.

Баррер. Тогда надо было щадить его гордость. Раз мы так жестоко оскорбили его, незачем было его отпустить.

Карно. Ты же сам уговорил его отпустить.

Колло. И твои оскорбления были самыми убийственными.

Баррер. Вы, очевидно, забыли, что произошло.

Колло. Зато наш красавец Сен-Жюст отлично все помнит.

Карно. Мы теряем зря время. После ухода Фуше мы ровно ничего не сделали. Битых два часа бесплодно препирались с Пэйаном и Флерио-Леско, которых только по дурацкой слабости не засадили под замок. До сих пор еще не задержали Анрио. Близится час заседания, а у нас ничего не решено. Нас застигнут врасплох.

Баррер. Фуше нам все расписал, как по нотам.

Колло. А сам удрал. Кто же будет дирижировать?

Билло. Надо отобрать у Сен-Жюста доклад, который мы ему поручили.

Карно. Поди-ка поищи его теперь!

Билло (*прислушиваясь к шагам в коридоре*). Стойте! Идет! Я не ошибся в нем.

Дверь распахивается, появляется Кутон, которого катят в кресле.

Карно (*пронзительно хохочет*). Вот она, райская птичка! (*Напевает.*)

Ах, мамаша, что за птичка...

Билло (*сердито поворачивается спиной к Кутону*). Шайка разбойников! Они сговорились.

Кутон. Я вижу, вы ждали меня с нетерпением. Я и рад бы прийти пораньше, но уж извините — дела. Зато я не потерял времени даром.

Колло. Ты нам не нужен. Мы ждем Сен-Жюста, а не тебя.

Кутон. Знаю, знаю. Подождем его вместе.

Билло. Ты его видел? Где его черт носит? Уже три четверти часа, как он должен быть здесь.

Кутон. У него множество дел, как у всех нас. Он очень сожалеет, что заставляет вас ждать.

Билло. Но он придет?

Кутон (*спокойно*). Разумеется. Он послал меня предупредить вас, чтобы вы запаслись терпением.

Карно. Ты что, шутки шутишь?

Кутон. Что ты! Куда вы так спешите?

Колло. Да ты забыл, что сегодня заседает Конвент?

Кутон (*словно дразня их своим невозмутимым спокойствием, хотя временами его сотрясает нервная дрожь*). Знаю. Как обычно.

Колло. А ты не слыхал, что там произойдет?

Кутон (*так же*). Ничего не произойдет. Много болтовни, как и всегда. Незачем так торопиться к поднятию занавеса.

Карно. Он издевается над нами! Пусть лучше объяснит свои нелепые угрозы в Клубе якобинцев.

Кутон (*та же игра*). Какие угрозы?

Билло. Да, да, отвечай, мошенник, кого ты поносил, не называя по имени, о каких это «бесчестных людях» ты говорил?

Кутон. Я сказал, что их немного, совсем немного.

Карно. Обычная твоя манера нападать исподтишка.

Билло. Ты называл третьего дня каких-то «пять или шесть пигмеев» и призывал Конвент раздавить их, как насекомых. Кто это такие? Осмелюсь посмотреть им в лицо.

Кутон (*невозмутимо*). Я и смотрю им в лицо.

Б и л л о (*угрожающим тоном*). Это я, по-твоему?

К о л л о. Это я-то «пигмей»? ¹ Как ты смеешь, безногий обрубок?

К у т о н. У вас просто печень не в порядке. И нечистая совесть. Вы сами себя обличаете.

К а р н о. Я тебя обличаю первым, проклятый калека! Ты домогаешься трона. Ты хочешь взобраться на него по нашим трунам, как по ступеням.

К у т о н (*спокойно и насмешливо*). С моими-то ногами, приятель? (*Показывает на свои парализованные ноги.*) Вы бредите, коллеги... Что говорить, я и сам заплатил дань общему безумию. Слова, слова — они заразительны, как горячка. Они передаются через язык и проникают в мозг. Мы слишком много говорим... Да еще вдобавок палящее солнце термидора жарит двадцать дней без передышки, бешеный энной, от которого стучит в висках...

К а р н о. Просто подохнуть можно! С ума сойти...

К о л л о. Дышать нечем, ходишь весь в поту... Стены трескаются. Череп лопается.

Б и л л о. А ночью еще хуже, чем днем. Невозможно заснуть.

Б а р р е р. Никто не спал в Париже этой ночью.

К у т о н. Ошибаешься, друг, — один человек спал спокойно. Это Робеспьер. У него чистая совесть.

Карно опять раздражается скрипучим смехом.

К а р н о. У пресмыкающихся кровь холодная.

К у т о н. А вот меня всего жжет.

К о л л о. Это твои преступления.

К у т о н. Нет, мой друг, просто ревматизм.

Б а р р е р. Всем нам не мешало бы полечиться прохладой и тишиной.

К у т о н. А где ее найдешь? Разве только в могиле.

К а р н о (*с горечью*). Вот почему ты хочешь поскорее отправить нас туда!

К у т о н (*спокойно*). Я предпочел бы жить с вами

¹ Колло — огромного роста. — Р. Р.

в мире. Вы должны отдать мне справедливость — насколько я мог, я старался всех примирить.

Колло. Ради своей выгоды!

Кутон. Но, друг мой, кто же ищет мира себе во вред? Выигрывает самый искусный или самый мудрый, предоставляю тебе поступать так же.

Бьют часы.

Билло (*подскакив*). Часы пробили!

Кутон. Они у вас бегут вперед.

Билло. Одиннадцать часов! А Сен-Жюста еще нет.

Кутон. Не беспокойся о нем. Я оставил его здоровым и невредимым.

Билло (*в сердцах*). Мне дела нет до его здоровья. Нам нужно просмотреть его доклад, прежде чем он прочтет его в Конвенте.

Кутон. Успеете еще.

Карно (*в гневе*). Они издеваются над нами!

Кутон (*благодарно*). Кто?

Карно. Ты и он. Он и ты. Оба вы заодно.

Баррер. Теперь он уже не придет.

Кутон (*добродушно*). Что вы, что вы!

Карно. Я требую, чтобы его арестовали на дому.

Колло. Да, не теряя ни минуты! Нельзя допустить, чтобы он явился в Конвент.

Кутон. Вы этого не сделаете.

Билло. Нет, сделаем! (*Пишет приказ об аресте Сен-Жюста.*)

Остальные, нагнувшись над столом, читают.

Кутон (*равнодушно пожимая плечами*). Ну, как знаете. (*Ждет, пока они подписывают. Но когда Карно с приказом в руке идет к двери, чтобы передать его посылному, Кутон произносит кротким и ясным голосом.*) Только его дома нет.

Карно возвращается.

Билло. А где он?

К у т о н. Почем я знаю. Когда я его видел, он выходил из дому.

К а р н о. Проклятый черт! (*Комкает бумагу в руке.*)

К о л л о. Куда он пошел?

Участники этой сцены, теснясь вокруг Кутона, наседають на него.

К у т о н (*равнодушно*). Вероятно, сюда... или в другое место... Самое лучшее спокойно подождать его здесь.

К а р н о (*топая ногами*). Он плюет на нас!

Б а р р е р. Он играет нами, он забавляется.

К о л л о. Я с тебя за это шкуру сдеру! (*Грозит Кутону кулаком.*)

К у т о н (*невозмутимо*). Сдирай.

В коридоре снова слышны торопливые шаги.

Б и л л о. Ну, уж теперь это он!

Дверь открывается, посыльный приносит письмо.

П о с ы л ь н ы й. От гражданина Сен-Жюста.

К а р н о (*Билло*). Дурак! Теперь ты сам видишь!

Билло хватает письмо, распечатывает неловкими, нервными движениями. Остальные окружают его и читают все вместе. Кутон, сидя у стола, искоса наблюдает за ними, не теряя своего насмешливого спокойствия.

Б и л л о (*читает вслух*). ...«Вы испепелили мое сердце, я открою его Конвенту...»

На миг все замирают в оцепенении, затем раздражаются неистовым гневом. Карно и Колло с руганью мечутся по сцене, воздевая руки и грозя кулаками.

Б а р р е р (*остановившись перед Кутонем, пронзительно смотрит на него*). Хитрая лиса... Ты отлично это знал...

К у т о н (*с шутливым сочувствием*). Бедный мальчик! Что же вы такое с ним сделали, зачем испепелили его сердечко?

К а р н о (*грозя ему кулаком*). Вот по ком гильотина плачет!

Баррер (отстраняя от Кутона Колло и Карно). Мы после с ним расправимся. Время не терпит.

Часы бьют половину.

Билло. В Конвент! (Выходит вместе с Колло и Карно.)

Баррер задерживается последним; берет из конторки сверток бумаг, затем возвращается, открывает конторку и, после некоторого колебания, берет второй сверток.

Кутон (наблюдает за ним, не двигаясь с места; когда Баррер идет к двери, говорит ему вдогонку шуточно и добродушно). Это твоя речь? Так, так, возьми-ка обе. Оно лучше будет. Одну речь — за, другую — против. Так ты выиграешь наверняка.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Конвент. Заседание 9 термидора. Прямо против публики, посредине сцены, на помосте¹, к которому ведет деревянная лесенка в восемь ступеней, установлена ораторская трибуна; за ней, на возвышении, стол и кресло председателя, позади — полукруглая ложа. По обеим сторонам висят доски с текстом Конституции и Декларации прав человека и гражданина. Ярусом выше нависает галерея для публики, подпираемая тонкими колонками. Посреди галереи — громадные эмблемы ликторских связок и знамена. В стенных нишах между трибуной для публики и председательской ложей — статуи Ликурга (слева) и Солона (справа). Несколько дальше, справа, — статуя Платона. Над галереей для публики высокие окна, узкие, как в церкви, со светлыми стеклами. Над залом цилиндрический свод. Справа и слева от центральной площадки (где расположены ораторская трибуна, ложа председателя, галерея для публики) идет двумя полукружиями амфитеатр со скамьями для депутатов (рядов по десять с каждой стороны); к ним ведут справа и слева лесенки по пятнадцати ступеней. Рампа срезает эти две дуги, соединяя их с рядами партера зрительного зала; таким образом, зритель театра как бы принимает участие в заседании Конвента. Благодаря такому расположению, ораторская трибуна снизу представляется гораздо выше, чем была в действительности. Над рядами амфитеатра

¹ На самом деле помост был, вероятно, совсем невысок. На гравюре Дюплесси-Берто, по рисунку Монне (май 1795 года), трибуна возвышается над полом не более, чем на метр. Можно легко достать рукой до края. Но нам необходимо создать впечатление высоты; поэтому мы показываем сцену как бы из глубины оркестра зрительного зала. Наличие амфитеатра, расположенного двумя полукружиями, как увидим дальше, будет способствовать этому впечатлению. — Р. Р.

выступают широкие галереи для публики, которые скорее угадаешь, чем видишь. (В действительности они были построены в два яруса и уходили вглубь.)

Входы в зал заседаний помещаются справа и слева от просцениума, около рампы. (В народном театре можно устроить вход прямо из оркестра, чтобы создать еще большую связь между сценой и зрительным залом.)

На площадке между двумя полукружиями амфитеатра стоят и расхаживают депутаты Конвента; они сошли со своих мест и шумной толпой заполняют зал. Скоро пробьет полдень. Остаются считанные минуты до открытия заседания. Видно, как из правого и левого входов (даже, по возможности, из оркестра) один за другим появляются заговорщики.

Галереи для публики переполнены. На переднем плане — Тальен, Баррас, Матьё Реньо, Бурдон, Лекуантр и другие из их группы.

Тальен. Где же Фуше?

Баррас. Что-то не видно.

Бурдон. Он запаздывает. Вот странно! Обычно он приходит первым.

Тальен. Уж не арестовали ли его?

Бурдон. До открытия заседания осталось всего пять минут!.. Черт! Что же нам делать, если он не придет?

Баррас. И не стыдно тебе? Пора бы уже ходить без помочей!

Бурдон. Необходимо установить порядок, план действий.

Баррас. Все распоряжения сделаны. Выходы оцеплены. Трибуны заполнены нашими людьми. Остается только дерзнуть. Лишь бы никто не сбежал! В разгар битвы самое главное не дрогнуть. Это о тебе, Бурдон, и о тебе, Лекуантр. Вы храбро горланите против Робеспьера, когда его нет, а едва завидите его тень на трибуне — и уж хвосты поджали.

Бурдон. Мы не допустим его до трибуны.

Тальен. Я заколю его на ступеньках!

Баррас. И думать не смей! Он должен пасть не от нашей руки, а под ударом всего собрания.

Лекуантр. А вдруг нас подведет большинство?

Баррас. Они обещали.

Бурдон. Мало ли что обещают!

Лекуантр. Ничего они не обещали. Разве можно полагаться на этих трусов?

Баррас. Тише! Вон они идут!

Входят Сийес, Дюран-Майян и прочие. Тальен, Бурдон, Лекуантр бросаются им навстречу, горячо пожимают им руки.

Бурдон. Дорогие коллеги!

Лекуантр. Достойные граждане!

Тальен. Привет вам! Мы счастливы стоять рядом с вами на страже Республики!

Лекуантр. Вы ее неприступный оплот!

Бурдон. Настал великий день! Будем держаться твердо!

Тальен. Мы полагаемся на вас.

Сийес (*уклончиво*). Республика может быть уверена в нашей неизменной преданности. (*Удаляется со своими спутниками.*)

Баррас (*посмеиваясь*). Неизменные, как хамелеоны.

Матьё Реньо (*Баррасу*). До чего они мне противны! Как можно заискивать перед этими жабами! Уж лучше протянуть руку Робеспьеру.

Баррас. Не забывай, что Робеспьер тоже перед ними заискивает... Тише! Вон Робеспьер-младший. Катит безногого черта...

Появляется Кутон, которого везет в кресле Огюстен Робеспьер. Он оглядывает залу и сразу все замечает.

Кутон (*указывая Огюстену на террористов и представителей Болота, которые обмениваются низкими поклонами.*) Смотри-ка, как снюхались эти псы. Надо держать ухо востро да смотреть за ними в оба, тогда они и пикнуть не посмеют. Ведь они даже друг другу не доверяют. (*Поднимает глаза на галерею для публики.*) А вот трибуны мне что-то не нравятся. Откуда эти скверные рожи, мускадены, сутенеры? Нам подменили публику. Это неспроста... Будь так добр, Огюстен, дай знать нашим друзьям якобинцам, — пусть явятся сюда, да чтоб их было как можно больше. И поскорее! Хорошо бы также предупредить Анрио. Пусть он держится наготове со своими канонирами.

Огюстен Робеспьер. Да где его найти? Он отправился кутить куда-то, кажется в Антуанское предместье.

Кутон. Нечего ему еще нагружаться. Он уже с самого утра пьян вдрызг... Ну что ж, пошли хотя бы за якобинцами.

Огюстен, поспешно набросав несколько слов на листке бумаги, передает его секретарю. Тот идет к дверям, но почти сразу возвращается.

Секретарь (Огюстену). Не пропускают.

Кутон (оборачиваясь). Как так?

Огюстен Робеспьер. Теперь уже поздно выяснять. Президиум занимает места. Сейчас начнется.

Проходит мимо Сен-Жюст, надменный и суровый, держа в руке доклад. Робеспьер-младший окликает его.

Сен-Жюст!

Сен-Жюст, не повернув головы, продолжает свой путь сквозь толпу депутатов, которые расступаются перед ним.

Даже не отвечает, даже взглядом не удостоивает. Он иногда не прочь поиграть в Великого Могола.

Кутон. Он отдалился от всех. Равно, как и твой брат. Это бедствие! В час, когда так важна сплоченность, прочность нашего союза, каждый замыкается в своей оскорбленной гордыне, растревает свои обиды, скрывает свои замыслы. Мы даже не знаем, о чем этот юноша будет говорить с трибуны. Мы верим ему, как и он нам, ибо ведем общую борьбу, и все же он решил сражаться в одиночку, как и твой брат, они не желают советоваться с нами. Нам остается лишь молча подписываться под их ошибками и, если возможно, их исправлять.

Огюстен. Да, ты прав, и корень зла в отчуждении Максимилиана. За полтора месяца, что он отошел от руководства, в наших действиях нет прежнего единства: каждый решает по-своему. К счастью, он, наконец, сам в этом убедился и сегодня вновь становится у руля.

Кутон. Слишком поздно!.. Уже полдень...

Часы бьют двенадцать. Билло и Колло врываются в зал.

Билло (запыхавшись). Началось?

Колло. Мы пришли вовремя. Сен-Жюст еще не

начал говорить. (*Поспешно подымается на председательское место.*)

Заседание открывается, при общем невнимании, монотонным чтением текущих дел и донесений. Его заглушает гул голосов. Депутаты не спеша занимают места. Сен-Жюст, стоя у подножия трибуны, ждет своей очереди.

Тальен (*Билло*). Ты видел Фуше?

Билло. С ночи не видал.

Тальен. Должно быть, его арестовали.

Карье (*входя*). Его подкупили. Я был у него на дому. Он продан Робеспьеру.

Билло. Это ложь!

Карье. Продан! Спроси у Кутона. Он может даже назвать точную сумму.

Билло. Не теряйте времени. Будьте наготове. Сен-Жюст всходит на трибуну.

Сен-Жюст подымается с левой стороны, справа от председателя.

Матьё Реньо. А Робеспьер? Где же он?

Билло. Как, Робеспьера нет?

Баррас. В самом деле?

Бурдон. Он и не придет. Почуял недоброе.

Тальен. Если он не придет, все пропало! Мы, как дураки, сидим, запершись в этой клетке, а он тем временем велит канонирам Анрио обложить нас кругом. Он захватит нас, как мышей в норе.

Билло. Не посмеет!

Баррас. Почему? Я бы осмелился на его месте.

В группе термидорианцев смятение.

Бурдон. Надо проверить, не прервана ли связь с Парижем.

Лекуантр. Кому-нибудь из нас придется пойти в секции, поднять там тревогу.

Карье. Ты задумал удрать, я вижу. Только посмей!

Матьё Реньо. Всем оставаться на местах! Победим или умрем, но все вместе!

Тальен. Сен-Жюст уже на трибуне. А Робеспьера все еще нет.

Карье. Он улизнул от нас. Видно, у барсука в логове два выхода.

Матьё Реньо. Молчите! Он пришел!

Входит Робеспьер. Термидорианцы поспешно расступаются. Холодно смерив их взглядом, Робеспьер проходит перед их притихшим строем. В эту самую минуту Сен-Жюст начинает свою речь.

Баррас. Оцепите все выходы.
Карье. Зверь в западне!

Робеспьер пересекает амфитеатр слева направо (слева от председателя). Все почтительно уступают ему дорогу и раболепно улыбаются, встречаясь с ним взглядом. Он не удостоивает ответом на поклоны. Спокойно, не спеша он садится в первом ряду амфитеатра, справа, на виду у всего зала. Баррас, Тальен, Бурдон, Лекуантр и прочие протискиваются к лесенкам, ведущим на трибуну и загораживают их.

Сен-Жюст (начинает свою речь среди полной тишины спокойным, бесстрастным, но ясным и твердым голосом¹). Я не принадлежу ни к одной из мятежных клик; напротив, я буду бороться с ними беспощадно. Пускай эта трибуна, если угодно судьбе, станет Тарпейской скалой для человека, который счел своим долгом сказать вам здесь, что наши правители сошли с верного пути. Я полагаю, что вы должны знать правду, что я не вправе нарушить обет, данный перед лицом своей совести, — дерзать на все ради спасения отечества. Оба Комитета поручили мне составить доклад о причинах разногласий, имевших место в последнее время в недрах самого правительства. Я польщен доверием, оказанным мне. Но этой ночью меня глубоко оскорбили, и ныне я говорю не для тех, кто нанес мне смертельную рану, я обращаюсь прямо к вам. Я хочу обличить перед вами людей, пытавшихся заставить меня погрешить против совести. Я раскрою перед вами свою душу, свои правдивые уста. Я скажу все, что думаю, все, что знаю, не ведая ни злобы, ни сострадания...

При последних словах клика термидорианцев приходит в волнение.
Билло (к остальным). Довольно! Долой! Заткнуть ему глотку!

Карье. Вырвать ему язык!

Тальен взбегает на трибуну и становится рядом с Сен-Жюстом².

¹ Сокращенный текст подлинной речи. — Р. Р.

² Тальен начинает говорить, еще подымаясь по ступенькам на трибуну. — Р. Р.

Тальен. Бесстыдный фарс. Смотрите, вон там сидит человек, который дергает за веревочку этого паяца. (Показывает на Робеспьера.) А этот дохлый Пьеро смеет еще уверять, что не связан ни с каким заговором... Вот я действительно ни с кем не связан, и я разоблачу их гнусный заговор. Сорвите личину с тех, кто ведет эту вероломную игру! Сорвите завесу!

Билло (пригнув голову, бросается на трибуну, откуда с помощью Тальена сталкивает Сен-Жюста. Сен-Жюст до конца заседания неподвижно стоит, прислонясь к трибуне с правой стороны — слева от председателя. Билло, оттеснив Тальена, становится рядом с ним. Оба выкрикивают угрозы и обвинения, перебивая друг друга). Я сорву завесу!.. Граждане, среди нас есть предатели, которые замышляют погубить Конвент!..

Тальен (указывая на Сен-Жюста). Вот один из них!

Билло. Но гнуснее всех тот, что притаился там, внизу. Я видел его ночью у якобинцев... Он призывал к мятежу и требовал уничтожить Конвент. Я выступил против. Тогда он стал подстрекать толпу к убийству, и я едва спасся...

Леба (с места). Неправда!

Билло. Меня ранили вот сюда! (Показывает на грудь.)

Леба (вскочив с места). Подлый шут! Ты сам себя пырнул!

Колло (с председательского кресла). Леба, призываю тебя к порядку.

Голос с галереи. А ну-ка, Билло, повернись задом, покажи нам, как я тебя саданул каблуком по заднице!

Билло (обезумев от ярости). Арестуйте его! Держите убийцу!

Смех и шум на галерее для публики. Оттуда выталкивают какого-то горлана. При первых словах обвинения, брошенных ему Билло, Робеспьер быстро поднимается, но после вмешательства Леба остается на месте.

Леба (выходя из амфитеатра на площадку). Я был свидетелем столкновения в Клубе якобинцев. Я хочу вос-

становить истину, которую так возмутительно искажают здесь. Прошу слова.

Колло (с председательского места). Молчи, я не дам тебе слова. Я сам был свидетелем. Запрещаю тебе извращать факты, которые точно излагает Билло.

Леба. Председатель, ты не имеешь права выступать в качестве свидетеля. Иначе сойди с трибуны.

Билло (Леба, с высоты трибуны). И ты еще смеешь ссылаться на право? Почему ты молча смотрел, как этот заговорщик, сам будучи членом правительства, подло попирает священнейшие наши права, как он незаконно выдал на расправу разъяренной толпе членов Комитета, с которым его связывает долг?

Леба. Комитеты заткнули ему рот и предали народные интересы. Ему пришлось воззвать к народу.

Колло. Леба, я лишил тебя слова. Лишаю тебя слова вторично. Если ты будешь упорствовать, я удалю тебя из собрания.

Робеспьер (сойдя со своего места, выходит на площадку; повелительным жестом останавливает Леба, который собирается возражать). Молчи, Леба! Нападают на меня. Значит, мне и отвечать.

Робеспьер идет к трибуне. Бурдон, Баррас, Лекуантр и другие бросаются наперерез и преграждают ему путь.

Билло. Катилина ушел из Комитета общественного спасения, ибо не мог больше диктовать нам свою преступную волю. Он коварно злоупотребил властью Комитета и провел за нашей спиной чудовищный декрет от двадцать второго прериаля, отдающий всех патриотов на милость узурпатора. Он возбуждал чернь против законного правительства Нации. Он замышлял погубить Конвент.

Робеспьер (рвется к трибуне, но натывается на стену заговорщиков). Это ложь! Это ложь! (С помощью брата и Леба, вступивших в борьбу с Лекуантром и Бурдоном, он пробивается на первые ступени деревянной лесенки, ведущей на трибуну.)

Заговорщики (снизу). Долой тирана!

— Назад!

— Слезай. (*Вцепившись в него, тащат его вниз.*)

Робеспьер вырывается.

Робеспьер. Я буду говорить. (*Поднявшись на трибуну, сталкивается с Тальеном, который грубо хватается за ворот.*)

Тальен. Ты не будешь говорить, Кромвель! Я запрещаю тебе доступ на эту трибуну, на священный бастион Свободы... Свободы, которую ты хочешь погубить. Я загорожу ее собственным телом. Прежде чем ее коснутся твои преступные руки, мой кинжал пронзит тебе грудь. (*Заносит кинжал над головой Робеспьера.*)

Робеспьер (*бесстрастно*). Ударь, но выслушай!

Билло (*оттаскивая Тальена за руку*). Не убивай его, Тальен. Ему уготован другой нож.

Невообразимый шум и смятение охватывают зал. Почти все депутаты вскакивают с мест, за исключением представителей Болота на правых скамьях; их молчание и неподвижность составляют разительный контраст с волнением, царящим в зале. Огюстену Робеспьеру и Леба удается, прорвав цепь термидорианцев, пробиться к Робеспьеру и встать на его защиту против наступающего на него Тальена. Но они принуждены спуститься вниз вместе с ним, чтобы уберечь его от толчков и наскоков. Амфитеатр наводняют вопящие, беснующиеся люди. Трибуну осаждают группы термидорианцев — по двое, по трое, вчетвером, впятером (Карье, Бурдон, Лекуантр, Вадье, Лежандр). Все они жаждут выступить, меж тем как Билло и Тальен цепляются за перила, продолжая говорить. Вся эта толча, напоминающая дьявольский шабаш, страшна и нелепа. Среди оглушительного шума раздаются отдельные бессвязные возгласы: «Смерть тирану! Катилина! Калигула! Тарквиний! Тиберий! Гелиогабал!» Все наперебой стараются выкрикнуть новые обвинения против Робеспьера, не замечая, что противоречат друг другу.

Билло. Изменник противился аресту Дантона!

Карье. Он защищал Дантона, своего тайного сообщника!

Лежандр. Он убийца Дантона!

Вадье. Он лебезил перед попами!

Тальен. Он предавался оргиям вместе с Сен-Жюстом и Анрио!

Колло (*вскочив с председательского места, наклоняется над этим жужжащим осиным гнездом*). Он подкуплен Англией!

Вадье. Он заставлял служить себе мессы!

К о л л о. Он шпионил за всей Фрāнцией, он и его полиция!

В а д ь е. Он собирался восстановить смертную казнь за богохульство!..

Публика на галерее присоединяется к беснующейся банде заговорщиков, крича, улюлюкая, грозя кулаками и завывая.

Робеспьер, отесненный с трибуны, напрасно пытается подняться туда то по правой, то по левой лесенке. Укрепившись на нижних ступеньках, он простирает руки к Горе.

Р о б е с п ь е р. Я взываю к вам, друзья! Неужели вы позволите посягнуть на свободу слова, на святость этой трибуны? Ведь это ваш голос стараются заглушить!

Депутаты Горы поднимаются с мест, яростно вопят и шумят, но не отвечают; те, к кому в упор обращается Робеспьер, отворачиваются, делая вид, что не слышат, или злобно смотрят на него исподлобья. Леба, Кутон, Огюстен Робеспьер беспорядочно спорят с остальными.

Р о б е с п ь е р. Измена! *(В отчаянье бросается на другой конец амфитеатра и взывает к представителям Болота.)* Вас, честные, достойные граждане, я призываю выступить против этих разбойников. У нас общий враг, и вы это знаете. Я защищал вас неустанно, я ограждал вас от ударов. Если враги восторжествуют, они беспощадно расправятся с вами.

Левые в бешенстве отесняют Робеспьера от скамей правых, осыпая его градом оскорблений. Правые — Сийес, Дюран-Майян, Буасси д'Англа и другие — сидят бесстрастно и неподвижно с каменными лицами, без единого жеста, скрестив руки на груди. Они смотрят перед собой невидящими глазами. Волнение Робеспьера возрастает, он устремляется к ступенькам трибуны, хочет взойти туда. На трибуне толкуются ораторы, наперебой требуя предоставить им слово, препираясь друг с другом. Билло на миг покрывает все голоса своими воплями.

Б и л л о. Конвент под угрозой! Я требую объявить заседание непрерывным и не расходиться, пока меч закона не упрочит безопасность Республики.

Б а р р а с. Я требую ареста Анрио и его штаба.

Б у р д о н. Арестовать Дюма!

Л е к у а н т р. Арестовать Буланже!

Т а л ь е н. Арестовать Лавалетта!

В а д ь е. Арестовать Дюфресса!

Никто не осмеливается произнести имени, которое у всех на языке. В игре актеров должны угадываться эти недомолвки и опасения.

Робеспьер. Я требую слова! *(Тщетно пытается взобраться на трибуну, то по одной, то по другой лесенке; заговорщики грубо толкают его и стаскивают обратно.)*

Матьё Реньо *(К Карье, который злорадно посмеивается)*. Дайте же ему говорить! Даже если он преступник, он имеет право защищаться.

Карье *(хихикая)*. В уме ли ты? Наконец-то мы поймали его. Крыса попалась и мечется в крысоловке. Остается только ее прихлопнуть.

Матьё Реньо *(с омерзением отвернувшись от Карье, обращается к Барреру, который наблюдает за этой сценой как бы со стороны)*. Недостойная игра! Такой сильный противник, такой выдающийся человек имеет право на уважение. Его процесс должен вестись открыто, с соблюдением свободы обвинения и защиты. Иначе приговор будет недействителен. Баррер, тебя послушают, скажи им это!

Баррер. Слишком поздно. Будь то в моей власти, я скорее спас бы юношу. *(Указывает на Сен-Жюста, который в течение всей сцены стоит неподвижно, прислонясь к трибуне, застывший, как статуя, безразличный ко всему, что творится вокруг.)* Но все уже решено. Игра сыграна. Слишком долго дрожали они перед ним и теперь, сбросив с себя гнет страха, пойдут до конца и уничтожат его. Он обречен. Но и мы тоже. Возврата нет.

Матьё Реньо. Это позор для Конвента. Как? Неужели у нас не хватит сил ответить, опровергнуть его доводы, если он выступит?

Баррер. Ничего не поделаешь, друг мой! Улисс затыкал уши своим спутникам, чтобы уберечь их от пения сирен. Они поступают так же. Даже хитрее. Они затыкают рот самой сирене.

Матьё Реньо. Трусы! Мне стыдно называться человеком.

Баррер. Это у тебя впервые? При нашем-то ремесле!

Во время их диалога ярость в Конvente нарастает.

Робеспьер (стоя на площадке у трибуны, под охраной Леба и Огюстена Робеспьера, откинув голову назад и прижимая руки к груди, как на рисунке Давида «Клятва в Зале для игры в мяч», Робеспьер кричит председателю Колло, который сидит, подперев кулаком подбородок; лицо его искажено злобной улыбкой). Председатель убийц!

Занавес падает, заглушая своим шумом его слова.

З а н а в е с.

КАРТИНА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Занавес тут же подымается, открывая ложу на галерее для публики, расположенную над председательской ложей и ораторской трибуной. Зала не видно, но слышен гул толпы и голос Робеспьера, который заканчивает свою знаменитую фразу.

Робеспьер. Председатель убийц! В последний раз я требую слова!

Голос Колло¹. Ты получишь слово в свой черед.

Межан (сидит в первом ряду ложи, рядом с Коллено и бандой мускаденов, вооруженных дубинками. Возле них робко жмутся перепуганные биржуа). Болван! Неужели он так глуп, что даст ему слово?

Коллено. Это не всерьез. Они играют с ним, как кошка с мышью.

Межан. Ты их плохо знаешь. У них все еще не хватает духу с ним разделаться. Этих скотов в пот бросило от страха.

Коллено. Чего они топчутся кругом да около, чего юлят? Надоело! Требуют ареста Жана, Жерома, Жака, всей этой безвестной мелюзги! Пора бы взяться за крупную дичь, за Робеспьера! Они ищут вшей у него в голове... Черт их дер! А давно пора бы и голову долой!

¹ В действительности Тюрю уже сменил Колло на председательском месте. Но для театра это не имеет значения. Сценически наша версия оправдана. — Р. Р.

Один из зрителей, мелкий буржуа (боязливо). А за что? Что он такое сделал, наш Робеспьер?

Межан (*пронзив его грозным взглядом*). Твой Робеспьер? Стало быть, ты заодно с этим предателем?

Зритель (*перепуганный*). Нет, нет! Я этого не говорил...

Коллено (*угрожающе*). А что ты говорил? Ты за кого?

Зритель (*сбитый с толку*). Я не знаю... Ни за кого...

Коллено (*мускаденам, которые грозно поднялись с мест*). Ну-ка, пустите в ход дубинки, вышвырните к чертям этого олуха.

Мускадены хватают буржуа, невзирая на его вопли, и выталкивают за дверь. Его соседи в ужасе поспешно начинают уверять, что они ничего не говорили.

Говорили или молчали, вам здесь не место! Убирайтесь вон!

Мускадены очищают ложу.

Межан. Пора кончать! Все будто ждут сигнала.

Коллено. Они ждут Фуше. Этот пройдоха подвел нас всех. Уполз в нору.

Межан. Тем лучше. Он был нужен, чтобы открыть бал. А теперь мы обойдемся и без музыки. Он только стеснил бы нас.

Коллено. Да, рано или поздно пришлось бы от него избавиться. Он работал не только на красных, но и на себя самого.

Межан. Дурачье! Завтра они у нас попляшут!.. А пока поддавай жару, накаливай докрасна.

Коллено. Хватит красного! Белое каление пожарче будет.

Межан. Слишком долго они вертятся на одном месте. Так можно сбиться со следа и упустить зверя... Пошлите ко мне Луше из Лозера. Нет! Лозо из Шаранты. Нет, погодите... (*Обращаясь к стражнику с дубинкой, в красном колпаке.*) Слушай, Фабриций! Спускайся в зал. Отзови в сторону Луше и Лозо. Сунь им

под нос вот это. (*Дает ему какую-то вещьцу.*) Ну, пошел! Живо! Сейчас самый подходящий момент.

Стражник выходит.

Коллено. А ты в них уверен?

Межан. Небось, уплачено наличными. Это наши люди.

Коллено. Да им грош цена. В Конвенте их никто не знает.

Межан. Не велика беда. Их дело сказать слово, которого все ждут. А там уж его подхватит сорок глоток.

Коллено (*прислушиваясь к южному говору оратора, который разглазольствует на трибуне*). Кто это там тараторит? Так и несет луком и чесноком!

Межан. Это Вадье, пожиратель попов. Он никак не может переварить верховное существо. У него до сих пор отрыжка.

Коллено. Пускай ему дома рыгается. Только зря время отнимает.

Межан. Кажется, там внизу тоже выходят из терпения.

Снизу слышны крики: «К делу! К делу!»

Голос Тальена. Довольно, Вадье! Ты отклоняешься от главного.

Голос Робеспьера. Могу вам напомнить о главном!

Разные голоса. Пускай он замолчит! Довольно!

Голос Луше (*запинаясь*). Главное вот в чем..., сейчас скажу... Я требую... ареста Робеспьера!

Внезапно наступает мертвая тишина.

(*Повторяет более уверенно, его поддерживает Лозо.*) Мы требуем декрета об аресте Робеспьера...

Вся свора тотчас поднимает крик и вой.

Арестовать Робеспьера!

Межан и Коллено подхватывают крик в ложах для публики, которая присоединяет свои голоса к общему хору в зале.

Межан. Ату его! Ату его!
Коллено. Ну, вот!.. Наконец-то их прорвало!

Среди общего гама слышен охрипший голос Робеспьера, который надсаживается, стараясь перекрычать шум.

Голос Робеспьера. Изверги! Вы не посмеете убить меня, не выслушав! (*Обращается к публике, на трибунах.*) Народ, ты видишь это беззаконие! На помощь! Спасай Республику!

На трибунах отвечают воем и гиканьем.

Межан (*исступленно*). Он хочет поднять народ против Конвента!

Коллено (*неистово*). Арестовать его!

Голос Робеспьера срывается.

Голос из зала. Ага, подавился! Его душит кровь Дантона!

Голос Робеспьера. Трусые! Если вы мстите за Дантона, почему же вы его не защищали?

Раздается звонок председателя.

Голос Колло. Декрет об аресте Робеспьера принят!

Вой и рев одобрения.

Голос Огюстена Робеспьера. Я тоже ношу имя Робеспьер. Я и мой брат — одно целое. Я делил его славу, я хочу разделить его судьбу.

Голос Колло. Решено. Декрет об аресте обоих Робеспьеров принят.

Голос из зала. Арестовать Сен-Жюста и Кутона!

Голос Баррера. Не трогайте Сен-Жюста!

Голос Карно. Это почему? Куда волка, туда и волчонка!

Межан (*кричит*). Браво, Карно! Сен-Жюст опаснее всех!

Коллено. Ты только погляди! Ничем его не проймешь. Кругом бушует гроза, а он не шелохнется.

Межан. Какая жалость, что его нельзя купить... Придется его прикончить.

Голос Колло. Декрет об аресте Сен-Жюста и Кутона принят!

Голос Леба. Я не желаю брать на себя позор...

Голос из зала (*прерывая его*). Эй, Леба, замолчи!.. О тебе и речи не было.

Голос Леба. Я не могу принять на себя позор этого гнусного решения. Я требую, чтобы меня тоже арестовали.

Смятение в зале. Противоречивые возгласы за и против.

Межан. Есть же на свете дураки, которым не терпится умереть.

Голос Колло. Пусть будет, как ты желаешь. Декрет об аресте Леба принят!

Слышен голос Робеспьера, который отбивается от наскоков и протестует.

Коллено. Как, этот скот все еще смеет требовать слова?

Межан (*кричит*). Замолчи, предатель!

Голос из зала. До каких же пор Робеспьер будет командовать в Конвенте?

Голос Колло. Приказываем немедленно взять под стражу всех пятерых преступников...

Крики одобрения. Да здравствует Республика!

Голос Робеспьера. Республика погибла! Торжествуют разбойники!

Шум заглушает его слова.

Голос Бурдона. Ох, до чего же трудно свергнуть тирана!

Межан. Двести против одного! И они еще чванятся! Слышишь, уже требуют лаврового венка!

Коллено. Что ни говори, а кинжал не так надежен. Чтобы прикончить врага, нет ничего лучше такого собрания. Как навалятся всей тяжестью, так насмерть человека задавят. Даже крови не видно.

Занавес.

КАСТИНА ДВАДЦАТАЯ

Занавес падает и тут же подымается снова. Виден широкий коридор, нечто вроде фойе, прилегающего к зале заседаний. Сквозь открытую дверь доносится рев толпы; в глубине видна часть амфитеатра с опустевшими депутатскими скамьями. В дверях непрерывно теснятся беспорядочно движущаяся толпа, и на освещенной стене отражаются как бы китайские тени. Входят пятеро арестованных депутатов. За ними следуют растерянные и смущенные стражники. Впереди, высоко подняв голову, идет Сен-Жюст. Леба держит его руку в своей руке. За ними удрученный Робеспьер; брат говорит ему что-то. Кутон, которого несут пристава, шутит с ними.

Кутон (*приставам*). Ведите же нас, господа жезлоносцы! Вам приказано нас арестовать.

Пристава. Прощенья просим, граждане. Сами не знаем, что и делать.

Кутон. Разве вы не слышали приказа председателя?

Пристава. Дело-то какое! Просто не верится. Может, мы ослышались? Может, вышла ошибка?

Кутон. А все-таки медлить не годится. Или нас надо арестовать, или председателя. Что-нибудь одно.

Пристава. Коли так... просим разрешения у гражданина Робеспьера...

Кутон. Он разрешает. Ну, скажи им, Максимилиан.

Робеспьер (*еще не оправившись от потрясения, вызванного недавней сценой*). Республика, отечество — все погибло. Все наши надежды на силу разума, на добродетель, справедливость — рухнули. Человечество обречено на гибель.

Кутон. У человечества еще много времени впереди. А у нас времени в обрез. Однако, какой бы приговор ни угрожал человечеству, Максимилиан, мы, к счастью, пока еще не приговорены.

Робеспьер (*овладев собой*). Нет. Пока еще нет. Ты прав. Еще не все решено.

Огюстен Робеспьер. Марат тоже был арестован. Он защищался и добился оправдания.

Кутон. Главное, мы должны строго блюсти закон. Ведь закон охраняет нас.

Робеспьер. Да, нашим врагам было бы на руку, если бы мы нарушили закон. (*К приставам*.) Чего вы ждете, граждане? Арестуйте нас,

Пристава. Коли на то твоя добрая воля, гражданин, объявляем тебя арестованным. Уж ты прости!

Робеспьер. Вы исполняете свой долг. Это похвально.

Пока пристава выполняют связанные с арестом формальности, Сен-Жюст и Леба, не обращая внимания на окружающих, дружески беседуют.

Сен-Жюст. Ты сам отдался им в руки, а ведь даже эти изверги готовы были забыть о тебе.

Леба. Неужели ты считал меня способным снести подобное оскорбление — воспользоваться их забывчивостью?

Сен-Жюст. Нет. Я знал, что ты, как и в прежних битвах, всегда будешь рядом со мной.

Леба. Отчего не дано мне, как и в прежних битвах, защищать тебя своим телом?

Сен-Жюст. Ты погубишь себя, друг, а меня не спасешь.

Леба. На что мне спасение, если я спасусь один? Раз невозможно спастись вместе, погибнем вместе!

Сен-Жюст. Для меня это значит погибнуть дважды.

Леба. Живой или мертвый, я не расстанусь с тобой.

Сен-Жюст. О мой Пилад! *(Обнимает его.)* Но у Пилада не было, как у тебя, молодой жены и ребенка. Он не приносил их в жертву.

Леба. Эта жертва — бесценный дар моему сыну. Наши страдания станут радостью и славой для наших детей.

Сен-Жюст. Ты прав. Средь бурь и ураганов бросим якорь в будущее.

Пристава *(подходя к ним)*. Граждане, сделайте милость, пройдите в соседний зал.

Пятеро арестованных послушно следуют за ними. Из глубины коридора, стоя у дверей в зал заседаний, за ними наблюдают Баррас, Межан и Коллено. Как только осужденные удаляются, они выходят на авансцену.

Межан. Они что-то чересчур уж спокойны. Что они замышляют?

Коллено. Не все ли равно? Они у нас в руках,

Межан. Мы еще не содрали с них шкуры. Я им не доверяю. Ты заметил, как сразу остыла ярость Робеспьера? Видно, они еще надеются улизнуть.

Баррас. Опаснее всего дать им возможность предстать перед общественным трибуналом.

Межан. Можно обойти законный путь; надо постараться, чтобы они сами доставили нам повод объявить их вне закона.

Баррас. Они не пойдут на это добровольно.

Межан. Ничего, мы им поможем.

Баррас. Угадываю твою мысль! Пожалуй, не так уж трудно сыграть на усердии безмозглых сторонников Робеспьера. Они только и ждут сигнала.

Межан. Надо разжечь ярость Коммуны. Это совсем просто. Кофейник бурлит на огне. А присматривать за ним некому.

Баррас (*один из агентов шепчет ему что-то на ухо*). Мне доносят, что в секции Пик и в секции Санкюлотов¹ народ вооружается и идет сюда с криком: «На Конвент!»

Межан. Они предупреждают наши желания. Пустим им на подмогу Анрио!

Баррас. Стоит помахать у этого быка перед носом красным лоскутом, и он сам ринется на нож.

Межан. А кто же будет тореадором?

Баррас. Это уж я беру на себя.

Занавес.

КАРТИНА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Вечер 9 термидора, между девятью и десятью часами. Еще светло. На небе собираются зловеющие тучи с багровым отблеском. Площадь перед Ратушей. На площади, у набережной, волнуется и шумит большая толпа. Многие вооружены. Прерывисто бьет в набат тонким дребезжащим звоном колокол Ратуши. Из окна второго этажа кто-то громко кричит: «Народ, подымайся! Восстань против бесчестного Конвента!»

Симон Дюпле (*вооруженный*). Сюда, секция Пик! Мы готовы к выступлению.

¹ Секция Пик — на Вандомской площади. Секция Санкюлотов — Ботанический сад. — Р. Р.

Рабочие и буржуа секции Пик. Они посмели поднять руку на нашего Робеспьера!

— Смерть им!

— Сотрем их с лица земли, чтобы даже памяти о них не осталось!

— А кто же они?

Симон Дюпле. Вот список изменников, врагов народа, которых Коммуна постановила арестовать. *(Читает.)* Колло, Карно, Вадье, Фуше, Тальен, Бурдон, Фрерон...

Остальные имена тонут среди шума и гомона.

Списки читают хором, перебивая друг друга:

— Здесь кое-кого недостает: Билло, Баррера...

— Весь Конвент надо вымести метлой!

Симон Дюпле. Верно! Вот и пойдем на них с вилами и метлами!

Подходят отряды двух секций.

Командир одной секции. Вот вилы!

Командир другой. А вот и метла!

Симон Дюпле. Секции Обсерватуар и Санкюлотов, как всегда, самые доблестные и верные.

Командиры секций. Мы бросили всё и по первому зову явились сюда.

Симон Дюпле. Сплотимся! Построимся в две колонны. Одна пойдет в атаку по набережной, другая — по улице Сен-Мартен.

Командир одной из секций. Нет, нам дан приказ оставаться на площади и охранять здание Коммуны.

Симон Дюпле. Для охраны достаточно двух секций. Лучшая тактика при обороне — нападение. Прежде всего сделаем переключку.

Командиры секций. Из сорока восьми секций только двадцать семь явились принести присягу.

Симон Дюпле. Кто эти трусы? Кто уклонился от присяги?

Голоса секционеров. Западные секции отсутствуют поголовно.

Симон Дюпле. Ну, еще бы! Подлые буржуа! Толстосумы, тюфяки проклятые... Ничего, завтра они за это поплатятся.

Голоса секционеров. Недостает секции Ом-Арме из квартала Марэ.

Симон Дюпле. Это секция Тальена, чертова разбойника.

Голоса секционеров. Мы решили ударить в набат в соборе Парижской Богоматери, а секция Ситэ не позволила.

Симон Дюпле. Нечего было спрашивать у них разрешения!

Голоса секционеров. Хуже того: не явились секции Мэзон Коммюн, Гравилье и Арсис.

Симон Дюпле. Измена! Как? Рабочие с улицы Сен-Мартен и набережной Пелетье, бешеные, которые по сигналу тревоги всегда первыми шли навстречу опасности, неужто они трусили, забились в свои норы?

Голоса секционеров. С тех пор как у них отняли Жака Ру и Панашу Дюшена, они затаили обиду на Робеспьера.

Симон Дюпле. Дурацкие обиды! Сами себя губят... Ну, ладно, обойдемся без них. За нас народ, сердце Парижа, предместья Антуан и Марсо.

Голоса секционеров. Не больно-то ручайся! Оба предместья ненадежны. Если Санкюлоты и пойдут за нами, то секции Монтрейль, Попенкур, Финистер и Гоблен с места не двинутся.

Симон Дюпле. Да они рехнулись! Не понимают они, что ли, что этой ночью решается их судьба, судьба всего народа!

Командир одной из секций. Послушай, Симон, мы уж и сами не пойдем...

Симон Дюпле. Как? Чего не поймете?

Командир. Все запуталось, такая неразбериха! Одни стоят за то, те за другое... А при чем тут народ, еще не известно!

Симон Дюпле. Вспомните, что в течение всех пяти лет Революции всюду, где был Робеспьер, он защищал дело народа! Разве не ясно?

Командир. Так-то оно так... да ведь и другие стояли за нас. А где они? Две трети посланы на гильотину. А те, что остались, уничтожают друг друга. В такой свалке и не разберешь, за кем идти.

Симон Дюпле. Как вы можете хоть минуту колебаться между продажным Конвентом и нашим Неподкупным? Это вы-то, секция Кенз-Вен, старая гвардия!

Голоса секционеров Кенз-Вен. Наше решение твердо. И сейчас не поддадимся!

— Никого и ничего мы не признаем, кроме Республики, единой и нерушимой!

Симон Дюпле. Это похвально. Но настал час выбора. Или Коммуна, или Конвент!

Голоса секционеров. И Коммуна и Конвент. Не желаем Коммуны без Конвента.

Симон Дюпле. Стало быть, вы уперлись, точно осел меж двух охапок сена, — ни туда ни сюда! Таким «твердым решениям» грош цена!

Командир одной из секций. Оставьте их в покое! Если ты принудишь их выступить, еще не известно, на чью сторону они переметнутся. Враги давно мучили народ в предместьях. Пускай уж лучше соблюдают нейтралитет.

Симон Дюпле. Тогда пойдем одни! Решает дело не количество, а быстрота и стремительность. Надо ударить сразу и крепко. Вперед! На Конвент!

В ту минуту, когда секция Симона и две-три верные ему секции собираются выступить, на площадь с грохотом въезжают канониры Кофиналя; во главе их, верхом на лошади, пьяный Анрио.

Канониры (секционерам, которые маршируют к набережной). Вы куда?

Симон Дюпле. На Конвент!

Канониры. Опоздали! Мы только что оттуда. Дело сорвалось.

Симон Дюпле. А кто виноват?

Кофиналь. Вот этот пьяница! (В бешенстве указывает на багрового и смущенного Анрио, который едва держится в седле.) Его связали, как овцу, и заперли в Комитете общественной безопасности. Мы вышибли дверь и освободили его. И зря. Уж пусть бы там подышал! С утра нализался вдрызг. Когда мы ворвались туда, изменники растерялись, — можно было захватить всю шайку в самой берлоге. А этот пьянчуга вдруг приказывает отступить к Ратуше!

А н р и о (хныча, еле ворочает языком). Зря ты, Кофиналь, меня попрекаешь... Слушай... Я все объясню.

К о ф и н а л ь. Нечего тут объяснять. Ты просто трус!

А н р и о. Да пойми ты, черт эдакий, говорят тебе, я получил приказ вернуться сюда и защищать Коммуну.

К о ф и н а л ь. Но раньше, балбес, надо было разгромить Конвент! Ты мог захватить их голыми руками. Они там голову потеряли. Всех бы разом и уволокли.

А н р и о. Верно, верно, Кофиналь, ты прав... Ну что ж, повернем обратно!

К о ф и н а л ь. Станут они тебя дожидаться! Наверное, давно уж спохватились. Вызвали на помощь своих «молодых патриотов» из лагеря Саблон. Теперь к Тюильри уж не прорваться.

А н р и о. Что же я наделал? Я и сам не понимаю!

К о ф и н а л ь. Дурья голова! У тебя мозги набекрень. Ты и в седле-то еле держишься.

А н р и о. Врешь, я крепко держусь... (*Шатаясь в седле.*) Это моя кляча спотыкается.

Кругом смеются.

Кто там зубы скалит? Сукины дети! Всех в полицию засажу... Генерал я вам или нет? (*Размахивает саблей и роняет ее на землю. Удрученный, начинает хныкать.*) Правда, у меня туман в голове, того гляди даже с лошади съеду... Как скотина, нализался, наклюкался, назююкался... Простите меня, товарищи, честь свою потерял... Застрелюсь... (*Канонирам.*) Ребята, вы же знаете, нет у меня привычки напиваться... Но теперь такая жара, да еще гроза никак не разразится... Подохнуть можно... Вот и не удержался... свихнулся... Не достоин я быть вашим командиром.

К а н о н и р ы. Ну, ладно, ладно... Всякое бывает! Поди окуни голову в воду. (*Стаскивают Анрио с лошади и ведут к водоему.*)

Анрио окунает голову в воду. Потом выпрямляется, отряхиваясь и таращит глаза.

А н р и о. Клянусь, с этой минуты буду пить только воду... (*Фыркает и плюется.*) Бррр! Мерзость какая! Зато я пришел в себя. Канониры, подвезти орудия, дер-

жать под прицелом все выходы с площади. Нам поручена оборона Коммуны. Я пойду за распоряжениями.

К о ф и н а л ь. А Робеспьер уже прибыл?

С и м о н Д ю п л е. Нет. Нет еще. Он отказался принять делегацию, которая просила его покинуть тюрьму. Сейчас послали вторую.

К о ф и н а л ь. Что с ним? Какие ему еще нужны просьбы?

С и м о н Д ю п л е. Он не хочет нарушать закон. Воображает, что враги тоже будут соблюдать законы и дадут ему защищаться по всей форме перед трибуналом.

К о ф и н а л ь. Как же, дожидайся! Они столько времени его подстерегали, теперь уж не упустят. Сейчас не до судов ни им, ни нам, — сейчас или мы их истребим, или они нас,

А н р и о. Я уже наткнулся на отказ, когда хотел освободить его в Комитете. Нельзя терять времени на споры. Надо просто ворваться в тюрьму и увести его силой.

С и м о н Д ю п л е. Силой от Максимилиана ничего не добьешься. Надо, чтобы он убедился сам.

К о ф и н а л ь. Ничего, он окажется перед свершившимся фактом. Ради него мы поставили на карту свою жизнь. И уже поздно брать ставку обратно. Теперь он не вправе отречься от нас.

С и м о н Д ю п л е. И не отречется. Брат его уже здесь, в Ратуше. А вон идет Леба.

К р и к и в т о л п е. Да здравствует Леба!.. И его хо-рошенькая женка!

С и м о н Д ю п л е. Молодец! Он сам потребовал ареста, хотя эти разбойники готовы были забыть о нем.

Под приветственные возгласы входит Леба, обнимая одной рукой Элизабету. С другой стороны рядом с ним идет Анриетта.

Э л и з а б е т а. Слышишь, слышишь, как радостно тебя встречают!

А н р и е т т а. И тебя тоже, сестренка.

Э л и з а б е т а. Спасибо вам, спасибо! (*Посылает в толпу воздушные поцелуи. Обернувшись к Леба.*) Какое счастье, что ты свободен! Я знала, что злодеи будут посрамлены... Как все нас любят! Тебя любят!.. Почти так же, как я... Ах, какие молодцы, освободили тебя из

тюрьмы! А как извинялся тюремщик, как уверял в своей преданности! А те грозились разнести тюрьму, не оставить камня на камне... Когда же они узнали, что я твоя жена и она — сестра, они стали такими ласковыми, приветливыми... «Ах, гражданка, — говорят они, — пускай нас хоть на куски изрубят, но мы не допустим, чтобы тронули нашего Леба, нашего Сен-Жюста, нашего Максимилиана! Мы себе покоя не найдем, покуда не отомстим их подлым врагам!...»

Леба. Они славные ребята, только бестолковые. Уж лучше бы они оставили нас там.

Элизабета. Как? В тюрьме? Неблагодарный! Как тебе не стыдно!

Анриетта. В чем ты винишь своих спасителей?

Леба. Мое положение и положение моих товарищей было лучше, или, вернее, не так безнадежно, пока они не вмешались.

Анриетта. Почему же?

Леба. Пока мы не выходили из рамок закона, врагам было трудно со мной расправиться. Мне ничего не стоило расстроить их козни. Теперь же мы поступили противозаконно, и они не обязаны выслушивать нас. Значит, преимущество на их стороне: мы поставили себя вне закона.

Элизабета. Ну и что же?

Леба (*не желая объяснять*). Ничего. Не стоит говорить об этом. Словами не поможешь.

Элизабета (*не поняв*). Чему не поможешь? Ты же свободен! Вернемся домой!

Леба. Нет, дорогая. Именно сейчас надо отстоять Свободу, которую нам возвратили. Я приду домой не раньше, чем битва будет выиграна.

Анриетта (*тихо*). А ты убежден, что она будет выиграна?

Элизабета. Не понимаю, зачем же еще сражаться, когда весь народ за тебя?

Леба. Хорошо бы, если бы так!

Анриетта (*вполголоса*). Филипп, скажи мне, разве ваше положение опасно?

Леба (*вполголоса*). Положение серьезное. Скорее возвращайтесь домой, дорогие мои! Анриетта, поручаю ее тебе. (*Указывает на Элизабету.*)

Анриетта. Позволь нам подождать тебя в Ратуше.

Леба. Нет, нет, не теряйте времени! С минуты на минуту Ратуша будет оцеплена. Торопитесь, пока путь еще не отрезан.

Элизабета. Пускай будет отрезан! Мы же все вместе. И останемся вместе.

Леба. Здесь для вас опасно. Вспомни нашу поездку в Эльзас. Я не мог взять тебя и Анриетту с собой в лагерь. И вам пришлось вернуться к себе. Отведи ее домой, Анриетта. Элизабета, сердце мое, твое место около нашего малютки. Если все пойдет благополучно, я вернусь к утру. Что бы ни случилось, поручаю вас друг другу и вам обоим поручаю ребенка. Если же... мало ли что может случиться... берегите его, не дайте ему изведать чувство ненависти: этот яд отравляет человека, от него гибнет наша прекрасная Революция!.. Скажите моему сыну, что его отец всегда стремился уберечь себя от этой отравы. Внушите ему любовь к родине! Не сетуйте на меня, дорогие, что я всегда любил отчизну горячее, чем вас! Право же, я люблю вас гораздо больше, чем себя самого.

Элизабета. Ах, значит ты не любишь меня. Ты должен любить меня больше всего на свете. А больше, чем себя, — этого мало.

Леба (*улыбаясь*). Мало?

Элизабета (*обнимая его*). Нет, много. Ты для меня все... Ну, зачем только родина отнимает у меня любимого... ненавижу ее!

Леба. Нет, дружок, люби ее всем сердцем, если любишь меня. Ведь родина — это я, это ты, это все, что мы любим, о чем мечтаем, все, что останется, когда нас уже не будет на свете. Родину зовут матерью, а ведь она наше дитя...

Элизабета. Наш дорогой малыш! О да, защищай его, я тоже буду его защищать.

Появляется Сен-Жюст. Подходит сзади и кладет руку на плечо Леба.

Сен-Жюст. Привет, друг.

Леба. Сен-Жюст! Тебя тоже тюрьма не приняла?

Сен-Жюст. Да! Судьба торопит нас. Мы не сумели управлять ею, что ж, она поведет нас за собой.

Леба. Куда же?

Сен-Жюст. Если отдаешь себя в руки судьбы, все уже наполовину потеряно.

Леба. А быть может, мы одолеем судьбу?

На башенных часах бьет одиннадцать.

Сен-Жюст. Мы узнаем об этом еще до наступления полуночи. Прощайте, Анриетта. Не жалейте ни о чем. Вы видите, нам было отпущено слишком мало времени. Я не мог дать вам счастья, да и сам не знал его.

Анриетта. Я и не хочу счастья. Я хочу разделить вашу судьбу, какова бы она ни была, — и здесь, и в вечности. В этом вы не можете мне отказать.

Сен-Жюст. Ну что ж, пусть будет так. Вы достойный друг. И простите меня — ведь я хотел уберечь вас от своей злосчастной судьбы. *(Долго глядит ей в глаза, потом порывисто целует в губы и быстро уходит.)*

Леба, вырвавшись из объятий Элизабеты, следует за Сен-Жюстом. Оба в одно мгновение исчезают в толпе. Молодые женщины остаются одни. Анриетта стоит, безвольно опустив руки, вся трепещущая, прерывисто дыша, с блуждающим взглядом. Элизабета дотрагивается до ее плеча.

Элизабета. Анриетта!.. Милая, приди в себя! Пойдем домой! Теперь уже я поведу тебя. *(Насильно уводит ее в сторону набережной.)*

Анриетта все еще не может произнести ни слова. В толпе начинается ропот.

Толпа. Какого черта мы толчемся здесь, на площади?

— Ну как? Выступаем? Или ночевать здесь будем?

— Еще нет приказа.

— Куда это запропастился Кофиналь с нашим пьянчужгой?

— Они пошли в Ратушу. Бросили нас здесь — поступайте, мол, как знаете!

— Неужто нам всю ночь здесь торчать?

— Секции Мюзеем давно уже был дан приказ разойтись по домам. Коммуна, правда, запретила им это, но они, один за другим, давай удирать с площади! Я сам видел.

— Я бы тоже дал тягу, кабы только Симон отвернулся. (*Пытается улизнуть.*)

Симон Дюпле. Эй, ты, не выходи из строя! Куда пошел?

Секционер. Помочиться.

Симон. Помочишься тут, в ряду.

Секционер. Мне совестно.

Симон. Ну, секцию Пик этим не испугаешь.

Секционер. Слушай, Симон, чего это ради мы торчим посреди площади? Делать нам здесь нечего. Только стоим зря. Уж лучше бы подождать в кабачке на углу, если что случится — прибежим. У меня в глотке пересохло.

Симон. Ступай к фонтану. Испей водицы, как Анрио.

Секционер (*с презрением*). Не мужское это дело. Для нас вода не подходит.

Симон. А для кого же она подходит?

Секционер. Для скотины.

В глубине сцены толпа начинает волноваться и шуметь. Слышны возгласы и угрозы.

Симон (*оборачивается, стараясь разглядеть в чем дело*). Что там случилось?

Голос. Робеспьер идет!

Второй голос. Давно пора! Решился-таки наконец!

Симон. Что они там кричат? (*Забыв о своем приказе, расталкивает толпу и бросается вперед, чтобы увидеть Робеспьера. Отсутствует всего несколько секунд.*)

Семпроний. Живее, не зевай! Вы как хотите, а я удержу... Довольно с меня! Жена ждет, бегу домой... (*Убегает.*)

Сципион. А я пойду промочить горло. (*Убегает.*)

Эпаминонд. Погоди, и я с тобой. (*Хочет убежать.*)

Симон возвращается и сразу замечает исчезновение секционеров.

Симон. Кто улизнул? Семпроний... Сципион... Вот скоты! Отвернуться нельзя... Стой, ты куда? Эпаминонд, вернись-ка в строй! Неужто вам не стыдно?

Слышны невнятные крики.

Секционер. Что это они орут?

Симон. Ну и люди! Подлое отродье! Родились на свет рабами, рабами и умрут. Не стоит и освобождать их.

Секционер. Кого это ты честишь?

Симон. Когда Робеспьер появился, нашлись подлецы из рабочих, которые, вместо приветствия, заорали ему: «Долой! К черту максимум!» Его освистали... Им наплевать на Свободу. Ни до чего им дела нет, кроме собственного кармана.

Секционер. Есть-то всем хочется.

Симон. Пускай потерпят, черт подери! Не жалко подтянуть пояс потуже, чтобы выиграть великую битву за счастье. Эх, да никто из вас на это не способен. Все вы готовы продать будущее за несколько лишних грошей.

Секционер (*прибегая с набережной*). Симон, Симон! На нас идут две колонны войск Конвента, одна по набережной, другая по улице Сент-Оноре. Ведут их Бурдон и Фрерон, а командует Баррас.

Симон. Идем им наперерез. Секция Санкюлотов строит баррикады на улицах Эпин, Ваннери и Таннери. Секция Обсерватуар охраняет ворота Ратуши. А мы, секция Пик, марш по набережной, атакуем их в лоб.

Секционеры разбиваются на три отряда и расходятся по указанным направлениям. На набережной начинается давка, толпа в панике отступает.

Толпа (*шарахаясь назад*). Идут! Идут!

— Путь отрезан!

— Живо! Бегите в другую сторону!

Симон (*останавливая беглецов*). Где вы видели войска?

Голос. Возле моста Шанж.

Симон. Кто ими командует?

Голос. Леонар Бурдон. Во главе идет секция Гравилье.

Симон. Проклятые изменники! А что у тебя в руках? (*Выхватывает у него листок.*)

Голос. А ну, Симон, почитай-ка! Они расклеивают такие листки на стенах и выкликают на перекрестках под барабанный бой.

Симон (*торопливо читает*). «Декрет департамента города Парижа. Объявляются вне закона: Анрио, Флеррио-Леско, Робеспьер, Коммуна»... Ладно, молчи. Никому ни слова! Вне закона? Мы сами объявим их вне закона.

Вбегают, запыхавшись, Анриетта и Элизабета.

Симон. Как? Вы здесь, сестренки? Я думал, вы уже дома.

Анриетта. Нас оттеснили. Дорога к набережной отрезана.

Симон. Скорее! Бегите по улице Кокиль и Верри. Не теряйте ни минуты. Я не могу проводить вас. Ты умница, Анриетта, позаботься о Лизетте. Бегите! (*Спешит в сторону набережной догонять свой отряд.*)

Элизабета. Мне страшно! Мне страшно! Ах, Анриетта, кто эти вооруженные люди?

Анриетта. Это отряды Конвента.

Элизабета. А кто эти трое, такие страшные, в шарфах? Они ехали верхом и кричали.

Анриетта. Я узнала их: это Бурдон, Баррас и Фрерон.

Элизабета. Они точно взбесились, звери, а не люди... А что это они кричали?

Анриетта. Не знаю.

Элизабета. Я расслышала имена наших любимых... Зачем они их называли?

Анриетта. Не знаю.

Элизабета. Они орали: «Вне закона!» Что это значит?

Анриетта. Не знаю.

Элизабета. Неправда, ты знаешь... Скажи мне!

Анриетта. Пойдем отсюда! Нам нельзя мешкать.

Элизабета. Скажи, что это значит: «вне закона»?

Прохожий (*пробегая мимо, слышит ее вопрос*). Это значит, красотка, что им крышка!

Элизабета (*вскрикнув*). Я не хочу!.. Нет, нет, я не уйду отсюда! Я хочу к ним!

Анриетта (*увлекая ее за собой*). Мы должны исполнить их волю. Они велели нам идти домой. Мы не имеем права послушаться.

Прохожий (*пробегая мимо*). Бегите со всех ног на улицу Тиссандри. Путь через Сен-Мерри уже отрезан.

Анриетта (*наильно увлекая за собой Элизабету*). Бежим! Мы должны спасти твоего ребенка.

Убегают налево вглубь сцены.

Площадь быстро пустеет. Начинает накрапывать дождь.

Канониры Кофиналя (*задрав головы*). Наконец-то освежимся. Хоть сверху закапало.

— Долго же мы дожидались!

— Ишь ты, видно бочка на небе треснула.

— Так бы и растянулся на мостовой кверху брюхом и насосался вволю!

— Ну, нет, уж если пить, так лучше из другой бочки.

Сверкает молния, раздается сильный удар грома.

— Ишь, как запукало верховное существо!

— Это чертов боженька Робеспьера палит из пушек в его честь.

— Ай да ливень, как хлещет! Не укрыться ли нам под навес?

— А на кого же пушки бросим?

— А мы присматривать будем из кабачка. Их дождем помочит, мы же глотку промочим.

Убегают вправо, в сторону кабачка. Темнеет.

Кофиналь (*выходит из Ратуши*). Где же мои канониры? Ах, проклятые! (*Догоняет убегающих канониров и хватает первого попавшегося.*) Чертовы свиньи! Куда ты удираешь? Вернись сейчас же!

Канонир. Да ведь дождь идет...

Кофиналь. Подумаешь, беда какая! Сукины вы дети! Растаять боишься, что ли? (*Обернувшись, кричит офицеру, который сопровождает его.*) Не видно ни черта! Обрадовались темноте и удрали. На площади черно, как в погребке... Велика осветить фасад.

Офицер поспешно убегает, и через минуту весь фасад здания Ратуши озаряется огнями, но при свете еще заметнее становится, как безлюдна площадь. Дождь льет потоками. Поблескивает булыжник на мостовой. Кофиналь оглядывается по сторонам.

Все улизнули, как крысы... Погоди, уж я их вытащу из нор! *(Бежит им вдогонку, в сторону кабачка.)*

В эту минуту на площадь, под проливным дождем, стремительно въезжает Кутон в своем высоком кресле на колесах¹.

Вцепившись в рукоятки, он вращает их с невероятной быстротой, оглашая всю площадь скрипом и треском. Он мчится, подавшись всем телом вперед и стиснув зубы. По бокам бегут два жандарма (Мюрон и Жавуар), крича: «Стой! Стой!» Страшный удар грома. Трехколесное кресло Кутона, наткнувшись на ступени крыльца, круто останавливается под высокими ярко освещенными окнами второго этажа. Башенные часы бьют час ночи.

Занавес.

КАРТИНА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Ратуша. Небольшой зал Равенства. Ночь с 9-го на 10 термидора, между часом и двумя пополудни, после ливня. В центре, за столом Исполнительного комитета Коммуны, между мэром Флерио-Лескф и прокурором Коммуны Пэйаном, сидит Робеспьер. Против него, по другую сторону стола, сидит в своем кресле Кутон, который только что прибыл². Огюстен Робеспьер стоит за спиной брата, склонившись над бумагами, которые тот держит в руках. Сен-Жюст сидит в конце стола с задумчивым видом, не принимая участия в споре. Леба, подойдя к окну и раздвинув занавески, смотрит на освещенную площадь. Зал находится во втором этаже, над рампой.

Окна растворены настежь. Слышно, как журчит дождевая вода. Расстегнув куртки, все тяжело и жадно дышат. Все смертельно устали. Последующие реплики подают несколько членов Исполнительного комитета Коммуны, исключая Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона.

- Дождь идет!.. Давно пора!.. Какая прохлада!
- Наконец-то можно дышать!
- Только теперь чувствуешь, как мы смертельно устали за этот день.
- Сил больше нет! Прямо с ног валишься... Прилечь бы...

¹ Смотри в муниципальном музее Карнавалé большое кресло с высокими подлокотниками, обитое лимонного цвета бархатом, с подставкой для ног и вращающимися рукоятками, наподобие ручной мельницы; рукоятки соединены с зубчатой передачей, приводящей в движение колеса, два больших передних и маленькое заднее; кресло тяжелое, деревянное, трехколесное. — *Р. Р.*

² Робеспьер сидит лицом к публике, Кутон — спиной или боком. — *Р. Р.*

— Будь что будет...
— Нет, нет! Надо держаться.
— Заснуть бы хоть на часок! Хоть на четверть часа!
— Ни на минуту! А то все пропало. Заснешь, тогда уж не проснешься.

Огюстен Робеспьер (*склонившись над братом*). Ну, Максимилиан, нельзя больше медлить, подпиши.

Флерио-Леско. Мы упускаем из рук Париж. Мы даром теряем время.

Пэйан. В десять часов вечера здесь собрались комиссары двадцати семи секций из сорока восьми. Они явились за распоряжениями. Мы не могли отдать приказ без тебя. Мы прождали тебя целых два часа. Они устали и разошлись по домам.

Леба (*у окна*). Площадь опустела. Дождь разогнал толпу. (*Подойдя к Сен-Жюсту*.) Сен-Жюст, вокруг Ратуши нет охраны. Канониры бросили свои орудия. Пойдем со мной, проверим оборону.

Сен-Жюст (*не двигаясь*). Бесполезно. Чтобы обороняться, надо нападать.

Леба. Что же делать?

Сен-Жюст. Ничего. Слишком поздно.

Пэйан (*Робеспьеру*). Мы было арестовали штабы двух подозрительных секций: Мюзеем и Друа-де-Л'ом. Но Анрио упустил их. Они разбежались.

Флерио-Леско. Мы хотели ударить в колокол собора Парижской Богоматери. Секция Ситэ отказала нам в этом, несмотря на все наши требования. Только твоим именем, Максимилиан, можно поднять народ Парижа. Кликни клич, обратись к народу.

Огюстен Робеспьер. Подпиши воззвание! Воззвание к народу!

Кутон. Этого мало. Теперь уже этого недостаточно. Что это за народ, который бросает поле битвы, испугавшись дождя? Обратись с призывом к войскам.

Робеспьер. Никогда! Я отказываюсь отдать Республику во власть военного деспотизма.

Кутон. Республика не отказывается от помощи своих генералов, когда надо защищаться от внешних врагов,

Робеспьер. Республика погибнет в тот час, когда разрешит своим войскам принять участие в гражданской войне.

Кутон. Она погибнет, если мы допустим ее гибель. *(Внезапно его сводит судорога.)*

Леба *(подбежав к нему)*. Что с тобой?

Кутон. Не могу больше. Голова кружится, в висках точно молотком стучит... В глазах темно... Держись, жалкая кляча!

Огюстен Робеспьер *(брату)*. Победить любой ценой! Подпиши воззвание к народу!

Робеспьер. От чьего имени?

Флерио-Леско. От своего.

Робеспьер. Я только слуга Республики, только один из ее представителей в Конвенте, в числе трехсот других.

Огюстен Робеспьер. Ну, так от имени Конвента!

Робеспьер. Конвент умер. Никто более не в силах его возродить.

Леба. Тогда от имени французского народа!

Робеспьер. Народ должен сам поручить мне это, а не вы.

Леба. Народ — это мы!

Робеспьер. Мы — этого недостаточно.

Кутон *(взяв себя в руки)*. В Лионе мы были в худшем положении, и все-таки я нашел выход. Надо действовать решительно и разить молниеносно. Я готов действовать. Упорнее вас всех я противился призыву Коммуны выйти из тюрьмы. Я полагал, да и теперь считаю, что мы совершили крупную тактическую ошибку: мы первыми нарушили закон. Но раз решение принято, отступить уже поздно. Надо собрать все силы и довести дело до конца. Если Конвент объявил нас вне закона, мы должны выбить меч закона из рук Конвента. Следуй за мной, кто хочет! Я, жалкий, безногий калека, я пойду во главе патриотов, во главе канониров Кофиналя, я поведу их на Конвент!

Огюстен Робеспьер. Я с тобой. Идем!

Пэян. За нами пойдут все секции, которые остались нам верны. Обсерватуар, Санкюлоты...

Леба. Слово за тобой, Сен-Жюст! Отчего ты молчишь?

Сен-Жюст. Я пришел сюда не для того, чтобы говорить, а для того...

Леба. Чтобы действовать?

Сен-Жюст. Нет, Леба, чтобы умереть. Время действовать упущено. Вы не сумели или не захотели им воспользоваться. Мы сами дали себя обезоружить.

Кутон. Ты тоже несешь ответственность за это, Сен-Жюст! Четыре дня назад по твоему приказу были отправлены в Северную армию лучшие, самые верные войска парижского гарнизона.

Сен-Жюст. Я признаю свою вину. Я виноват в том, что взывал к вашей доброй воле. Я полагал своим долгом установить мир в Комитете, в последний раз уговорить противников пойти на соглашение. Ни та, ни другая сторона не сдержала своих обещаний. Я и сам, подписывая соглашение, не питал особых надежд. Но это было последнее средство, раз никто из вас, боясь обесславить себя, не соглашался сделать единственный шаг, который мог спасти Республику.

Кутон. Что ты имеешь в виду?

Сен-Жюст. Диктатуру. Нам следовало, как римлянам в годину испытаний, сосредоточить всю власть, гражданскую и военную, в руках одного человека, доверить ему разящую секиру Республики. В течение всего нескольких месяцев, быть может даже недель, он сумел бы уничтожить стоглавую гидру заговора и мятежа, сокрушить все преграды на славном пути Революции. Выполнив свою миссию, вновь введя могучий поток Революции в его державное русло, этот человек сам сложил бы к вашим ногам окровавленную секиру, и вы сломали бы свое орудие.

Робеспьер. Нет! Пока я жив, ни один человек, как бы надежен он ни был, не завладеет мечом диктатуры. Даже если он, подобно Цинциннату, выполнив свою миссию, добровольно отрекся бы от власти, все равно Республика и Нация остались бы обесчещенными, допустив посягательство на свои верховные права.

Кутон (ему вторят Леба, Огюстен и Пэян). Обратись же с призывом к верховному властелину, к народу!

Подыдем вооруженное восстание против изменников народа.

Робеспьер. Я не верю в это.

Огюстен. Год назад ты верил.

Робеспьер. А больше не верю.

Кутон. Ты был в первых рядах народного восстания против жирондистов.

Робеспьер. Прошли времена тридцать первого мая!

Огюстен. Что же изменилось с тех пор?

Робеспьер. Все изменилось. Тогда действовали в согласии самые могучие, самые животворные силы Революции: Марат, Дантон, Эбер... Теперь же — признаем это — вокруг нас пустыня.

Кутон. Кошунственные речи! Неужели, по-твоему, надо было сохранить Дантона и Эбера?

Робеспьер. Это было невозможно. Если бы пришлось начинать сызнова, я поступил бы так же.

Кутон. Но ты жалеешь о том, что произошло?

Робеспьер. Я никогда не переставал сожалеть об этом. Истинное бедствие, что деятельность таких людей стала гибельной для Революции. И что ныне мы снова вынуждены сражаться против искренних республиканцев — таких, как Билло, Баррер, Карно...

Кутон. Против тех, кто тебя ненавидит.

Робеспьер. Кого я сам ненавижу.

Кутон. Ты нынче обуян евангельскими чувствами, Максимилиан.

Робеспьер. Я люблю Республику больше самого себя. И с горечью сознаю, какой непоправимой утратой являлась каждая из этих смертей, как много пролито крови лучших людей Республики. Не будь я убежден, что эти безумцы погубят Революцию, я поборол бы свою личную неприязнь. Но если братоубийственная война неминуема, вести ее можно лишь при условии, что мы найдем опору среди честных людей Конвента... Я искал такой опоры и не нашел ее. Честные люди отвергли протянутую им руку. Они предали меня. Где, в ком нам теперь искать опоры? Сен-Жюст прав. Единственное спасение — диктатура. Но мы не хотим ее. Это значило бы отречься от самих себя.

Сен-Жюст. Я понимаю тебя, Максимилиан, и покоряюсь. Сохраним наше доброе имя незапятнанным, хотя бы для будущего.

Кутон. Мы сохраним его, если одержим победу. Можешь быть уверен, Максимилиан, и ты, Сен-Жюст, что поражение покроет вас позором на веки веков.

Робеспьер. Я это знаю, Кутон. Меня оклеветают. История — трусливая прислужница успеха.

Сен-Жюст. Но после бесславия настанет черед справедливости. В конце концов она восторжествует. Минуют столетия. Придут иные времена, и наш прах станет священным для счастливого и свободного человечества будущих веков.

Кутон. У побежденных нет будущего.

Сен-Жюст. Я никогда не буду побежденным! У тех, кто, подобно нам, дерзал на все ради Свободы, можно отнять жизнь, но нельзя отнять смерть-избавительницу, освобождающую от рабства, нельзя отнять наш свободный, независимый дух, который будет жить в веках и на небесах¹.

Флерио-Леско. Какое нам дело, что Сен-Жюст сохранит свой независимый дух даже в могиле? Мы боремся за жизнь. И будем защищать ее до последнего дыхания. Максимилиан, мы пошли за тебя на смерть! Ты не вправе отстраняться от борьбы. Ты должен подписать!

Робеспьер. Это бесполезно.

Пэян и Огюстен Робеспьер. Подпиши!

Леба (*повернувшись к окну, глядит на площадь*). Кто эти люди? Чьи это колонны пересекают пустую площадь?

Входит Кофиналь.

Кофиналь, посмотри!

Кофиналь (*не глядя*). Все идет хорошо. Наши войска вполне надежны. Я отпустил их немного освежиться. Надо только дожидаться подкреплений, которые мне обещали, и выступать. Подпиши, Робеспьер.

Леба (*у окна*). Они направляются к главному входу. (Сен-Жюсту, который подходит к окну.) Погляди, Сен-Жюст! Ты знаешь, кто эти люди?

¹ Подлинные слова Сен-Жюста. — Р. Р.

Сен-Жю ст. Не все ли равно? Дай мне спокойно подышать ночной прохладой.

Леба. Давно я не видел тебя таким просветленным. Твое чело, твои глаза словно излучают счастье.

Сен-Жю ст. Да, я счастлив, друг. Я вышел из пучины жизни.

Леба. А я нет. Я привязан к жизни, я держусь за нее всем существом.

Сен-Жю ст. Насладись же этими последними минутами. Скоро эту тишину нарушат, эту дивную ночь осквернят.

Леба. Не могу... Меня томит тревога... Они входят... Подымаются... Слышишь, Сен-Жюст? Кто это идет?

Дверь распахивается. Друзья, столпившиеся вокруг Робеспьера, не оборачиваются. Робеспьер, наконец, подписывает бумагу.

На пороге появляется Бурдон с отрядом жандармов.

Бурдон¹ (указывая на Робеспьера молодому жандарму). Вот он, предатель! Стреляй, Мерда!

Молодой жандарм стреляет в Робеспьера. Робеспьер падает лицом на стол. Все окружающие вскакивают в смнении.

Кофиналь (бросившись к Бурдону, хватая его за горло). Мерзавец!

Жандармы врываются в зал. Вступают в борьбу с Флерио-Леско и Пейаном. Огюстен Робеспьер пытается выскочить в окно. За большим столом остался только Робеспьер, упавший лицом в лужу крови, и напротив него беспомощный Кутон, покинутый друзьями на произвол судьбы. Напрасно он взывает то к одному, то к другому: «Унесите меня!» Наконец, он пытается подняться сам, но при первом же усилии падает на пол, возле ramпы. Жандармы Бурдона топчут его ногами, затем поднимают, как куль, и с размаху выбрасывают на лестницу. Стоя неподвижно спиной к окну, Сен-Жюст все время не шелохнулся. Он бесстрастно наблюдает за роковым исходом, который сам предрекал. Леба бросился было к столу, но сразу вернулся к Сен-Жюсту.

Леба. Они убили его! Республика погибла... На что мне жизнь! Прощай, брат мой! (Стреляет себе в грудь.)

Сен-Жюст подхватывает его на руки.

¹ Бурдона, который был историческим «героем» этой развязки, может заменить на сцене Баррас как личность более известная публике. — Р. Р.

Сен-Жюст. Прощай, Леба! Вот ты и свободен! Ты избежал нашей участи... Но я не вправе это сделать. Остается самая тяжелая часть пути. Я пройду ее без тебя... Спи спокойно, брат мой, я завидую тебе. (*Бережно опускает его на пол.*)

Бурдон (*приподняв голову Робеспьера*). Он еще не умер. Но он умрет.

Жандарм Мерда (*самодовольный фатоватый молодой парень, усмехаясь и покручивая усы, глазеет на свою окровавленную жертву и ударяет себя в грудь*). Меткий выстрел! Ай да Мерда!

Бурдон (*обернувшись к нему и хлопнув по плечу, говорит торжественно*). Мерда! Твое имя навеки войдет в историю.

Сен-Жюст идет к Робеспьеру, которого с руганью укладывают на стол. Жандармы оттесняют Сен-Жюста и связывают ему руки.

Сен-Жюст (*через стол обмениваясь взглядом с Робеспьером*). Учитель, я здесь... Я буду твоей поддержкой.

Занавес.

КАРТИНА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Утро 10 термидора (28 июля). Павильон Равенства во дворце Тюильри. Приемный зал Комитета общественного спасения, куда принесли раненого Робеспьера. Он лежит лицом к публике на столе с медными золочеными гербами в стиле Людовика XV, под головой у него патронный ящик. Глаза его открыты, взгляд неестественно напряжен и неподвижен. Он утирает губы белым кожаным мешочком, который тут же окрашивается кровью. В нескольких шагах от него, высоко подняв голову, сидит Сен-Жюст с изможденным от усталости лицом, без галстука, с разодранным воротом. Немного дальше в углу залы сидят Дюма¹ и Пейан. На стене, прямо против публики, над столом, где лежит Робеспьер, висит на видном месте Декларация прав человека и гражданина. Зал набит жандармами, секционерами, канонирами, газетчиками, зеваками и простолудинами, которые топятя и спуют взад и вперед.

Голоса. Король предателей!

— Вот ему и крышка!

¹ На сцене Дюма можно заменить Флерио-Леско, который участвовал в предыдущей картине. — Р. Р.

— Надо бы прибить его гвоздями, как сову, на главных дверях Конвента.

— Какая мерзкая рожа!

— А ведь считал себя красавцем. Говорят, он распутничал в одном замке: кругом зеркала да свечи, а с ним сотни голых баб, — гетер, что ли, как их там называют. Приведут к нему жен и дочерей арестованных. «Ложись со мной, говорит, коли хочешь его спасти». Уж понятно, бедняжка ничего этим не спасала — ни отца, ни дружка, ни своей девичьей чести...

— А под замком нашли подземелье, где зарыты горы трупов... Ведь он хотел зарезать шесть тысяч парижан...

— Не может быть!

— Верно говорю. Вон тот молодчик (*указывает на Сен-Жюста*) послал на гильотину одну бедную девушку, а из ее кожи велел шить себе штаны.

— Экий изверг! С него бы самого содрать кожу живьем!

Жандармы оттесняют толпу.

Жандармы. Тише, граждане! Не напирайте! Надо уважать закон. Тут все по закону, тут вам не самосуд. Будьте покойны, закон расправится с ними. Еще до вечера все под бритву попадут.

Голос. Их мало казнить!

Жандармы. Довольно с тебя! Мы ведь не людоеды.

Один из толпы (*в тринадцатой картине, в Клубе якобинцев, он восторженно приветствовал Робеспьера*). Дай мне поглядеть!

Второй. Ты, кажется, был с ним знаком?

Первый. Нет, нет!.. Я видал его только издали... Как все...

Робеспьер глядит на него в упор. Человек отворачивается в замешательстве и старается улизнуть.

Второй. А я слышал, будто ты с ним приятель.

Первый. Тебе наврали. Ей-богу, нет.

Второй. Если ты правду говоришь, плюнь ему в лицо.

Первый. Плюю и проклинаю. (*Поспешно скрывается в толпе.*)

Пэян. Экая сволочь! Я отлично помню этого труса. У якобинцев он пресмыкался перед Робеспьером.

Дюма. Спасает свою шкуру. А вот мы, дураки, шкуру свою не сберегли. И все ради него. (*Указывает на Робеспьера.*) И все из-за него. Мы погубили себя, чтобы его спасти. А он не способен был ни себя защитить, ни нас. Связал нас по рукам и ногам. Ох, если бы меня вовремя послушались!

Пэян. Теперь поздно охать, все равно ничего не поправишь. Мы погубили наше дело. И сами погибли. Это бы еще полбеды, но Республика погибла. Надежды больше нет... Это конец. Конец всему.

Дюма. В этой жаре и пылице подохнешь от жажды... (*Жандармам.*) Граждане, даже осужденным на смерть нельзя отказывать в глотке воды.

Жандарм. Что ж, я с охотой. Что бы там ни было, все мы люди. (*Уходит за водой.*)

Второй жандарм (*останавливая его*). Постой, Регул! А это разрешено?

Первый жандарм. Я буду в ответе. Мне велено их стеречь, а не мучить.

Дюма. Принеси две кружки.

Пэян. Принеси три. (*Указывает на Сен-Жюста, который сидит застывший и неподвижный; он слишком горд, чтобы просить, и слишком погружен в свои думы, чтобы замечать страдания.*) Посмотри на него! Он совсем без сил. Три ночи подряд глаз не смыкал. Точно прирос к стулу. Слова от него не добьешься. Кажется, так и рухнет сразу.

Дюма. Нет, его поддерживает гордость. Она у него на первом месте. Всё — и нас в том числе — принес в жертву своей гордыне. Ему все безразлично, лишь бы держаться с достоинством до самой казни.

Пэян. А если и так, что ж тут дурного? Я люблю юношу и жалею его.

Дюма. Слишком уж ты жалостлив. А я больше себя жалею.

Пэян. Стоит ли рассуждать, что мое, что твое, когда жить-то осталось всего пять или шесть часов!

Дюма. Тем более.

Жандарм приносит три кружки воды. Пэян кивает ему на Сен-Жюста, который сидит не шевелясь.

Пэян (ласково). Выпей, Сен-Жюст.

Сен-Жюст на миг выходит из задумчивости и, обернувшись к Пэйану, безмолвно благодарит его взглядом.

Первый жандарм (глядя на Робеспьера, который судорожно прижимает к челюсти скомканный окровавленный кожаный мешочек). А этому бедняге нечем даже кровь утереть... (Вынимает из корзины клочки бумаги и сует в руку Робеспьеру, отобрав у него мешочек.) На тебе, утри рожу!

Второй жандарм (подбирает с полу брошенный мешочек и разглядывает его). Что это тут написано? (Читает.) «Поставщик великого монарха». Ага, вот улика, значит он замешан в заговоре! Снюхался с королем...

Первый жандарм. Да будет тебе, болван! «Поставщик великого монарха» — это вывеска парфюмерной лавки на улице Оноре.

Второй жандарм. Нет, меня не проведешь! Там написано «мо-нарх» (читает по складам), с буквой «М», а это значит «король». Чего еще надо?

Третий жандарм. Должно быть, это у них вроде пароля. А то зачем бы ему держать в руках эту дрянь?

Первый жандарм. Что ж, по-твоему, он и ночью, при всей этой кутюрье, таскал с собой мешочек из-под духов?

Второй жандарм. А по-твоему, как?

Первый жандарм. А так, что ему это подсунули.

Второй жандарм. Где же? Кто?

Первый жандарм. Да здесь. Один из этих шпигов. (*Указывает на шпионов, которые рыщут вокруг.*) Давеча я заприметил одного... он тут околачивался...

Четвертый жандарм. Ты бы лучше не пялил глаза да держал язык за зубами... Со шпиками шутки плохи!

Первый жандарм. Да что ж... Мне наплевать...

Второй жандарм (*упрямо*). А все-таки что написано, то написано. Смотри (*читает по складам*): «монарх», через букву «М»... Долой Капета!

Зеваки (*подойдя к Робеспьеру*). Глянь-ка на эту обезьяну! Ишь, как морщится! Вашему величеству нездоровится?

В эту минуту лицо Робеспьера искажается от муки; чтобы скрыть свои страдания, он закрывает глаза.

Сцена темнеет, заволакивается багровым, затем пепельно-желтым туманом, под покровом которого реальная сценическая картина сменяется такой же картиной на экране: Робеспьер лежит на столе. Затем лицо его приближается, и все окружающее исчезает. Крупным планом дается лицо Робеспьера, его глаза, расширенные от боли, словно заполняющие весь экран...

Потом этот кадр исчезает, и все погружается во тьму. Внезапно сцена освещается, и на экране разворачиваются, сменяя друг друга, видения Робеспьера.

По мере того как они проходят одно за другим, к ним дает скупые пояснения голос Робеспьера, печальный, протяжный и немного монотонный.

Видения.

1. Пейзаж Арраса под серым, туманным небом.
2. Весна, запоздалая и ненастная. Первые зеленые побег.
3. Редкие безрадостные солнечные лучи пробиваются сквозь дождевые облака, которые набегают, рассеиваются и снова заволакивают небо. Короткий весенний ливень.
4. Старая улица. Старый дом.
5. На темной каменной лестнице с почерневшими стертymi ступеньками, возле слухового окошка, сидит мальчик лет шести-семи, одетый в траур. Прислонясь головой к стене, он мечтательно смотрит, как по небу пробегают облака.
6. На грязном дворе старого провинциального коллежа, в уголке, прикорнувшись у стены, читает книгу школьник лет десяти — двенадцати, не обращая внимания на шумные игры товарищей.

Голос. Печальные дни детства, старый город, неприютный дом у чужих людей, ребенок, выросший без матери, как Руссо... Он не был создан для счастья.

Душа его искала в книгах сердечного тепла, которого ей недоставало в жизни.

В и д е н и е.

В неопленной комнате коллежа Людовика Великого юноша лет восемнадцати — двадцати, сняв камзол, дрожа от холода, штопает продранную на локтях одежду, не отрывая глаз от книги. Дверь отворяется. Входит учитель, аббат. Юноша поспешно вскакивает, в смущении пряча книжку и заплатанную одежду. Аббат, насмешливо и покровительственно улыбаясь, делает вид, что ничего не заметил.

Г о л о с. Нищета, одиночество, упорный труд. Двенадцать лет ученья на казенный счет, жизнь в большом городе, где он не может даже выйти на улицу, стесняясь своей ветхой одежды и дырявых башмаков. Богатые ученики презирают его; наставники, снисходя к бедности способного ученика, унижают его самолюбие. К приезду королевской четы его облачают в новое платье и посылают перед воротами коллежа прочесть приветственную речь королю в момент проезда их величеств.

В и д е н и я.

1. Улица Сен-Жак, перед порталом коллежа Людовика Великого. Виден пологий склон и королевский кортеж, поднимающийся на гору Святой Женеьевы. Прямо на мостовой, под дождем, в парадном новом костюме, стоит на коленях юный Робеспьер перед окошком кареты, откуда выглядывают скучающие лица царственных путешественников.

2. Внутри кареты виден король, он жадно обглаживает крылышко цыпленка, не глядя на юношу за окном, который декламирует свою приветственную речь. Королева зевает, обмениваясь насмешливыми замечаниями с сидящей напротив княгиней Ламбаль, которая презрительно смеется, лорнируя стоящего на коленях бедного школьника.

3. Снова улица под дождем. Карета следует дальше, обрызгав юношу грязью. Он встает с колен, скомкав в руке рукопись, которую так и не успел дочитать, смущенный и мрачный. Карета медленно удаляется в гору по улице Сен-Жак...

4. И в тумане, сгустившемся над этой сценой, появляются очертания гильотины...

Эти четыре видения не поясняются ни единым словом. В словах нет надобности. *Silet, sed loquitur...*¹

Н о в о е в и д е н и е.

Вскоре туман рассеивается.

Солнечный день в Эрменонвиле, на острове Тополей. Перед могилой Жан-Жака Руссо, увенчанной урной, юный Робеспьер стоит

¹ Красноречив в своем молчании (лат.).

на коленях, как некогда перед королевской каретой. Но теперь лицо его выражает скорбь и благоговение. Он приник лбом к могильной плите. На гробнице высечена надпись: «Здесь покоится друг Природы и Истины». Могилу окружают высокие тенистые деревья. Щебечут птицы.

Голос. О Жан-Жак, о мой учитель! Я видел твои величавые черты, отмеченные печатью горьких невзгод, на которые обрекла тебя людская несправедливость. Взирая на тебя, я постиг тяготы благородной жизни, посвященной служению истине. Я тоже жажду нести это бремя. На чреватом опасностями поприще, которое открывает перед нами небывалая, невиданная доселе Революция, я даю клятву следовать по стопам своего учителя!

Видение.

Над распростертым у могилы юношей появляется тень Жан-Жака Руссо и кладет руку на плечо Робеспьера, который, не оборачиваясь, выпрямляется.

Голос Жан-Жака. Несчастный, знаешь ли ты, что сулит тебе этот путь?

Голос Робеспьера. Если даже мне суждены твои страдания, я благословлю их, они священны для меня. Я не боюсь неблагодарности и ненависти людей, ибо подобно тебе я твердо знаю, что всегда желал только блага людям.

Голос Жан-Жака. Горше всего не то зло, что причиняют тебе люди.

Голос Робеспьера. А что же?

Голос Жан-Жака. Для души, подобной твоей, горше всего то зло, которое ты сам причиняешь людям, желая сделать им добро...

Видения.

Сцена меняется.

1. Париж, вооруженный народ, улица в Сент-Антуанском предместье. В глубине высятся башни Бастилии. Шумная, ликующая толпа устремляется туда бурным потоком. Ружейные выстрелы, пушечная пальба. Вопли и крики. Толпа с ревом пронесится мимо. На острие пики качается отрубленная голова... Тридцатилетний Робеспьер, депутат третьего сословия, в темном строгом сюртуке, отступив к стене дома, смотрит на толпу, бледнея от ужаса.

2. Зал Учредительного собрания. На трибуне заканчивает свою речь Мирабо. Собрание внимает ему с бурным энтузиазмом. Депу-

таты толпятся, ходят, собираются группами, шумно спорят между собой. Со скамьи поднимается, никем не замеченный, молодой депутат из Арраса, неловкий и застенчивый, в больших очках. Он нерешительно пробирается сквозь толпу к переполненной трибуне, откуда по ступенькам спускается Мирабо. Столкнувшись с ним, Мирабо меряет взглядом с ног до головы юного депутата, похожего на педантичного классного наставника; тот, растерявшись, невольно уступает ему дорогу. Заметив смущение новичка, Мирабо хлопает его по плечу, благодушно подталкивает к трибуне и удаляется, тут же позабыв о нем. Поднявшись на трибуну, Робеспьер листает свою рукопись, откашливается, начинает говорить. Никто в зале его не слушает. Все громко болтают, повернувшись к оратору спиной.

3, 4, 5. В последующих трех картинах упорно повторяется все та же декорация: на переднем плане слева возвышается трибуна, общий тон — нарочито смутный, туманно-серый. (Робеспьер близорук, и зал представляется ему неясно, в виде шумной, движущейся массы, откуда, как из темной бездны, выплывают и приближаются к трибуне какие-то фигуры.) И в каждой картине неизменно, три раза подряд, виден Робеспьер, поднимающийся на трибуну. Но с каждым разом окружающая его обстановка меняется.

Во второй раз, лишь только Робеспьер начинает говорить, два-три депутата сразу же перебивают его язвительными шутками, и в собрании раздаются смешки; оратор на миг приходит в замешательство, но тут же овладевает собой и упрямо продолжает свою речь. В третий раз на лицах депутатов вокруг трибуны появляется совершенно иное выражение, серьезное, внимательное, но враждебное. Видно, как нарастает злобное сопротивление Робеспьеру. На экране, по мере того как он говорит, расступаются стены, и в глубине, за трибуной, открывается парижская улица. Там, на заднем плане слева, толпа мужчин и женщин, пока еще редкая; но постепенно она растет и сгущается позади Робеспьера, словно могучей волной омытая подножие трибуны.

В четвертый раз — в Конвенте взрыв возмущения против Робеспьера. Робеспьер на трибуне. Он говорит бесстрастно, вполне владея собой, шум и ропот жирондистов стихает. Справа видны иступленные лица, гневные жесты, сжатые кулаки, угрожающие оратору. А с другой стороны, слева, приближается и растет, наводняя зал, захлестывая ступеньки трибуны, волна народа, — народа бедного, бо-гого, в лохмотьях; в конце картины вооруженный люд с пиками в руках заполняет уже всю сцену, громко прославляя Робеспьера.

И в шуме начинающейся схватки слышны голоса.

Голоса из народа (громко и отчетливо). Неутомимый защитник народа!

— Неусыпный страж!

— Опора бедняков!

— Апостол! Друг угнетенных!

Голос Робеспьера. Угнетенные — сила земли...

Голоса из народа. Неустрашимый!

- Неподкупный!
- Знаменосец равенства!
- Вождь народа-властелина!

Г о л о с Р о б е с п ь е р а. Народ — наш подлинный властелин. Во Франции есть только две партии: народ и его враги. Есть только два класса: одни — это защитники бедных и обездоленных, другие — покровители несправедливого обогащения, приспешники тех, чья тирания зиждется на крови и золоте.

Вот как в действительности разделена Франция. Кто не стоит за народ, тот наш враг¹.

В и д е н и я.

1. Открывается улица Парижа. Толпа народа с пиками и знаменами несет петицию на Марсово поле.

2. Марсово поле. Народная делегация хочет возложить петицию на алтарь отечества. Национальная гвардия под начальством Лафайета и Байльи разгоняет народ. Барабанный бой, грубые окрики.

3. Издали слышны ружейные выстрелы, стоны раненых и изувеченных. Расстреливают народ. Крики доносятся в залу Клуба якобинцев, где идет непрерывное заседание. Выступает Робеспьер.

Г о л о с а. Враги народа разоблачили себя. На Марсовом поле отряды буржуа по приказу Лафайета расстреливают народ. Робеспьеру угрожают убийством.

Г о л о с Р о б е с п ь е р а. Я обвиняю богатей, я обвиняю буржуа, которые совершили Революцию лишь ради наживы и барышей и теперь стремятся преградить ей путь. Я обвиняю Конвент, который предал народ и призывал к резне. Я знаю, что после этих слов над моей головой будут занесены сотни кинжалов. Пусть придет смерть и избавит меня от зрелища стольких злодеяний.

Г о л о с а н а р о д а. Мы все умрем с тобой!

— Нет! С тобой мы победим!

В и д е н и я.

1. Улица. Робеспьера с триумфом несут на руках под звуки фанфар и ликующие клики. На нем венок из дубовых и лавровых листьев. Матери протягивают ему детей под благословение. Юноши склоняют перед ним знамена.

2. Колесница Революции. Она торжественно движется посреди несметной толпы по широкой дороге, уходящей вдаль к багровому горизонту. На троне восседает прекрасная женщина, олицетворяю-

¹ Из речи Робеспьера в Клубе якобинцев 8 мая 1793 года. — Р. Р.

щая Республику. У нее в руках меч, перевитый пшеничными колосьями. За колесницей шествуют депутаты Конвента. Впереди, ведя под уздцы белых коней, выступает Робеспьер. Рядом с ним — Сен-Жюст, Леба, Кутон, члены обоих Комитетов. Колесница катится меж двойного ряда пик, ружей, знамен и щитов с обозначениями одержанных побед. Но движется она под грохот битв и треск пожаров, дым которых временами заволакивает весь горизонт и, застилая пеленой торжественное шествие, совершенно скрывает его от глаз...

Каждый раз, как рассеивается дым и кортеж появляется снова, толпа все редет, лик Республики меняется, становится грозным и страшным; растрепанная, окровавленная, она встает во весь рост, потрясая мечом (сноп колосьев уже брошен наземь и затоптан), иступленная и яростная, как статуя Свободы, изваянная Рюдом. По краям дороги, словно веки, вырастают могилы, холмы, подобные курганам: король, жирондисты, Эбер, Дантон...

Потом исчезает и сама колесница... Только Робеспьер с горсткой приверженцев продолжает свой путь, пробиваясь сквозь хмурую и безмолвную толпу, к которой он взывает в тревоге.

Голос Робеспьера (*Робеспьер простирает руки к народу*). О мой народ, мой единственный друг! Что бы ни случилось, мы останемся навеки вместе. Счастье и горе, радость и страдание, жизнь и смерть — все я поделю с тобой. В твоей любви, в твоём доверии — единственный смысл моей жизни. Не отнимай же их у меня! Я твой. Я так долго боролся за тебя. Ночь приближается. Я так устал. Не покидай меня!

Голос народа. Я не покину тебя. Я последую за тобой, куда бы ты ни шел.

Голос Робеспьера. А знаешь ли ты, куда я иду?

Видение.

В конце проспекта, уходящего вдаль, как аллея Елисейских полей, в самой глубине, вместо Триумфальной арки появляются очертания гильотины... И вдруг эта картина, эти видения — все исчезает. Робеспьер попрежнему лежит на столе. Вокруг него шумит и толпится народ.

Голос народа (*слышны возгласы*). На гильотину!..

— Ты спишь, предатель?

— Просыпайся!

Лицо Робеспьера искажается от боли. Сен-Жюст встает с места и старается через головы людей увидеть Робеспьера, но ему мешает шеренга зевак, которые толпятся вокруг стола и осыпают раненого оскорблениями.

Первый жандарм (*заметив Сен-Жюста*). Дайте же ему посмотреть на своего учителя!

Толпа расступается и пропускает Сен-Жюста, который, подойдя к столу, склоняется над Робеспьером. Они без слов обмениваются долгим взглядом, полным любви и преданности... Сен-Жюст выпрямляется и глазами указывает Робеспьеру на доску¹, прибитую к стене над его изголовьем.

Сен-Жюст. Декларация прав человека... Наше создание... Она победит!

Занавес.

КАРТИНА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Заключительная сцена для народного театра. В тот же день, 10 термидора (28 июля), около 6 часов вечера. Площадь Революции (ныне площадь Согласия). Вид на площадь с угла, возле террасы Тюильрийского сада (со стороны нынешней улицы Риволи). Находящиеся на сцене видят гильотину посреди площади, но из зрительного зала ее не видно.

Густая толпа внимательно, тревожно, настороженно смотрит на площадь. Многие поднимаются на цыпочки, некоторые держат на плечах детей.

В заднем ряду (ближе к публике), прижавшись к стене террасы, стоят Билло, Баррер, Матьё Реньо, Бабсф, потрясенные и безмолвные. Карье с трудом сдерживает прерывистое дыхание. Поодаль стоят Межан, Коллено, шпионы, подвизающиеся в Комитете мускадены.

Впечатление огромной толпы, которая, простираясь за пределы сцены, бушует и волнуется, словно океан. Занавес подымается в ту самую минуту, когда, под резкую барабанную дробь, падает голова Робеспьера. При этом звуке толпа содрогнулась и отхлынула назад с громким криком «а-а!»

Голос из толпы. Ты слышал, как волк завыл? Карье (*в неистовстве*). Скатилась с плеч голова тирана!

Голос (*из группы Межана и мускаденов*). Смотри, Карье, как бы и твоя не скатилась! Держи-ка ее покрепче.

На площади наступает глубокая тишина. Реньо и Билло, опустив головы, не смеют поднять глаз.

¹ См. гравюру Дюплесси-Берто, где Робеспьер делает судорожные усилия, чтобы повернуться и увидеть у себя над головой доску с текстом Декларации. — Р. Р.

Реньо (*удрученный*). Приди в себя!

Билло (*та же игра*). Уже кончено?

Голоса в толпе. Нет, еще один.

— Кто это?

— Сен-Жюст.

— Он будет говорить?

— За весь день он не разомкнул губ...

Мгновение полной тишины; толпа затаила дыхание. Затем из тысячи грудей разом вырывается «а-а!» — и больше ни звука.

Коллено. Счет закрыт.

Межан (*искося взглянув на Билло, Реньо и других*). Нет, пока еще нет. Счет остается открытым. (*Направляется к Бабефу, который отвернулся, чтобы не видеть площади.*) Поздравляю, Бабеф. Не прошло и недели как ты вышел из тюрьмы, а времени даром не потерял.

Бабеф (*со стоном*). Нет, нет, я этого не совершал!

Матьё Реньо. Мы это совершили! Мы все, и ты тоже, Бабеф, мы совершили самоубийство!

В этот миг Билло, до сих пор молчавший, в отчаянье хватается за голову и, расталкивая соседей, бросается прочь.

Реньо (*удерживая его за руку*). Нет, Билло! Теперь не время бежать... Ты слышишь? Мы должны держаться вместе.

Остервенелая, бушующая толпа подступает к ним... Вой, рев, визгливые плясовые мотивы, ликующие злорадные песни. Вся реакция сразу подняла голову, она страшна в своем неистовом, разнузданном натиске. Тайные агенты и мускадены Межана направляют людской поток против якобинцев, которые инстинктивно сплотились вместе на углу площади.

Беснующаяся толпа (*остановившись против якобинцев*). А про этих забыли?

— Им тоже не миновать ножа!

— И по ним гильотина плачет!

— На фонарь их!

В один миг группа вожаков термидора становится одинокой, как скала, на которую обрушиваются морские валы, и в один миг она смыкает ряды, стараясь сдержать разъяренный людской поток. В этой ожесточенной самозащите чувствуется ужас перед свершившейся непоправимой катастрофой. Термидорианцы обмениваются с толпой яростными возгласами.

М а т ь ё Р е н ь о (*кричит*). К оружию! Враг про-
рвался на площадь!

Б и л л о. Революция в опасности! Сюда, Колло! Бар-
рер! Сюда, Фуше!

Б а б е ф. Сюда, якобинцы, кордельеры! Сюда, рабо-
чий люд!

Б а р р е р (*увидев солдат, подает им знак*). К нам,
солдаты Республики!

С о л д а т ы (*пробивая себе путь среди враждебной
толпы*). Мы с тобой, Баррер! (*Яростно расталкивая
мускаденов*.) Назад, сволочь, вон отсюда, королевские
псы! Мы отогнали врагов от границ Франции. Мы не
дадим им завладеть Парижем.

Г о ш (*появившись среди солдат, становится рядом
с группой якобинцев*). Я — Гош. Я только что из тюрьмы.
Я встретил там Сен-Жюста, который заточил меня в кре-
пость. Я обнял его. Мы так горячо любили Республику,
что ревновали к ней друг друга. Но сейчас, когда Рес-
публике грозит опасность, мы все как один встанем на
ее защиту.

М а т ь ё Р е н ь о (*взобравшись на выступ тер-
расы, позади других, громко взывает*). Встанем все
как один, живые и мертвые! Сюда, Марат! Восстань
из могилы!

Ревущая толпа, потрясенная этим призывом, на мгновение замирает.
Реньо продолжает в восторженном порыве.

На помощь, Шалье, Лепелетье, к нам, Верньо, сюда,
Шометт, сюда, Дантон, к нам, Сен-Жюст и Робес-
пьер!

М е ж а н. Вы сами их убили!

Р е н ь о. Сюда, наши мертвецы! В бою они живы.
Пока битва продолжается, они с нами. К нам, бессмерт-
ная Революция!

Б и л л о. Умрем за нее!

Г о ш. Она победит!

М а т ь ё Р е н ь о. Народы мира, грядущие поколе-
ния, сюда, сюда!

Г о ш. Пойдем им навстречу!

Бабеф. Они идут, они идут! Я слышу их поступь!..
Матьё Реньо. Вот они!

Гош запекает «Марсельезу». И мне бы хотелось, чтобы в музыке Дариуса Мило или Оннегера, в свободном, страстном и пламенном контрапункте, «Марсельеза» перешла в мощные звуки «Интернационала», который, родившись из «Марсельезы», все более разрастаясь, затмил бы ее и поглотил.

Эта заключительная сцена должна проходить в атмосфере пламенного, самозабвенного порыва, которым охвачен священный отряд якобинцев, сплотившихся вокруг Реньо, Гоша, Билло и Бабефа.

Они на несколько ступеней возвышаются над ревушей толпой, которая отпрянула назад, но собирается с силами, готовясь вновь ринуться на них.

З а н а в е с .

СЛОВО ПРИНАДЛЕЖИТ ИСТОРИИ

В этой драме, как и во всем цикле моего «Театра Революции», я больше придерживался психологической правды характеров, чем правды исторических фактов. Однако в «Робеспьере» я гораздо ближе следовал фактам, чем в какой-либо другой своей пьесе. Смею надеяться, что истинное лицо истории вернее отражено в «Робеспьере», чем мне удалось это в «Дантоне», написанном слишком рано, еще до того, как история нашей Революции обогатилась новыми плодотворными исследованиями. В числе тех вольностей, весьма редких и во всяком случае несущественных, когда я погрешил против истории, есть две, касающиеся Гоша и Бабефа. Гош не мог появиться в Пале-Рояле 22 мая 1794 года, так как в то время уже сидел в тюрьме. Командуя Мозельской армией, он готовился в Тионвиле к новому походу на Германию, когда 10 марта 1794 года его неожиданно заменили Журданом и перебросили на итальянский фронт. Он выехал из Тионвиля 18 марта, но, не успев прибыть в Ниццу, был арестован и под солидной охраной препровожден в Париж. Приказ об его аресте был подписан Колло и Карно. 11 апреля его заточили в тюрьму Карм. Оттуда он написал Робеспьеру, заботясь более о его добром мнении, чем о спасении собственной жизни. Но Фулье-Тенвиль перехватил письмо, и Робеспьер так его и не получил. Гоша выпустили из тюрьмы только 17 термидора, а не 10-го, как сказано в моей драме.

Что касается Бабефа, то он был арестован за растрату 24 брюмера (14 ноября 1793 года) и освобожден 30 мессидора (18 июля 1794 года). Даже новейшие его биографы не могли установить, чем он занимался в течение десяти дней между выходом из тюрьмы и 9 термидора. Потеряв направление в шквале событий, этот неустойчивый человек яростно ополчался в те дни на «Максимилиана Жестокого», которого прежде превозносил и чьей памяти после термидора воздал должное. Он испытал на себе все невзгоды, все ужасы нищеты и, более чем кто-либо из выдающихся революционеров, был призван отстаивать права угнетенного, обманутого народа, но при своем беспокойном уме вечно попадал впросак и становился игрушкой в руках всевозможных авантюристов: то бывшего плантатора в Сан-Доминго, Фурнье-Американца, то владельца пекарни спекулянта Гарена, то благодушного с виду негодяя депутата Дюфруа и других. Глубина и благородство политических убеждений сочетались в нем с поразительной психологической слепотой. Он был обречен на неудачи.



Я пытался с возможной точностью изобразить роковую трагедию последних месяцев Французской революции, с апреля до июля 1794 года, ибо после 9 термидора революция умерла: термидорианцы убили ее.

Теперь для нас совершенно ясно, что Робеспьер выделялся среди деятелей Французской революции не только цельностью своей натуры, но своим прозорливым умом и непоколебимой преданностью делу народа.

Даже враги его, его убийцы, заговорщики 9 термидора, принуждены были с горечью признать это на другой же день после катастрофы. Я предоставляю слово их беспокойным теням. Прямодушный Билло-Варенн, которому уже через год пришлось искупить свою ошибку на каторге в Кайенне, а затем в ссылке на Гаити, где он и умер в 1819 году, писал:

«Мы совершили в тот день роковую ошибку... Девятого термидора Революция погибла. Сколько раз с тех

пор я сокрушался, что в пылу гнева принял участие в заговоре! Отчего люди, взяв в руки кормило власти, не умеют отрешиться от своих безрассудных страстей¹ и мелочных обид?.. Несчастье революций в том, что надо принимать решения слишком быстро; нет времени на размышления, действуешь в непрерывной горячке и спешке, вечно под страхом, что бездействие губительно, что идеи твои не осуществляются... Восемнадцатое брюмера не было бы возможно, если бы Дантон, Робеспьер и Камилл сохранили единство».

Баррер, находясь в изгнании, говорил Давиду Анжерскому: «Я много думал об этом человеке (Робеспьере). И убедился, что его господствующей идеей было установление республиканского строя... Мы не поняли его. Он обладал натурой великого человека, и потомство несомненно дарует ему это имя!.. То был человек честный, безупречный, истый республиканец».

Вадье, прежде чем отправиться в изгнание в 1815 году, призвал к себе одного из друзей и сказал ему:

«Прости мне девятое термидора!»

В Брюсселе он часто говаривал с горечью:

«Мы не оценили Робеспьера, мы убили его».

В возрасте девятидесяти двух лет он заявил:

«За всю мою жизнь я не совершил ни одного поступка, в котором бы после раскаивался, за исключением того, что я не оценил Робеспьера».

Камбон: «Девятого термидора мы думали, что убиваем только Робеспьера. Но мы убили Республику. Сам того не ведая, я послужил орудием для ненависти кучки негодяев. Зачем не погибли они в тот день и я вместе с ними! Свобода была бы жива и поныне!»

Левассер: «Робеспьер! Не произносите при мне его имени. Это единственное, в чем мы раскаиваемся. На Гору нашел туман ослепления, когда она погубила его».

Субервьель (на смертном одре): «Робеспьер был совестью Революции. Его принесли в жертву, потому что не умели понять».

¹ В другом месте он с проклятием вспоминает о своей «бешеной ненависти». — Р. Р.

Мерлен де Тионвиль: «Робеспьер был пламенным другом отчизны; он любил ее так же, как я, быть может сильнее, чем я».

Даже Леонар Бурдон, арестовавший его, даже Лекуантр, который замышлял заколоть его кинжалом, Амар, Тюрьо — и те признали, что совершили ошибку.

Мало того, даже Баррас, в рукописных заметках к своим «Мемуарам», признает величие Робеспьера и объясняет его гибель тем, что он бесстрашно сопротивлялся террору и стремился восстановить в республике принципы справедливости и умеренности.

Как могло случиться, что после стольких свидетельств со стороны его врагов и убийц пришлось ждать свыше столетия, чтобы было, наконец, пересмотрено отношение к Робеспьеру? Да и пересмотрено ли оно? Нет еще, несмотря на благородные домыслы Ламартина, на слепое поклонение Гамеля, на самоотверженные архивные изыскания Матьеа и его школы. Самому выдающемуся деятелю Французской революции до сих пор не поставлено во Франции ни одного памятника (а следовало бы во искупление содеянного воздвигнуть ему статую). С тех пор как существует Французская республика, ни одно правительство не осмелилось встать на защиту его доброго имени. Зато ненависть врагов республики, более прозорливая, никогда не слагала оружия. Я всегда считал, что злобный нюх врага открывает грядущим поколениям величие гения гораздо раньше, чем его признают друзья.

Однако я не имел намерения идеализировать Робеспьера. Умный и проницательный Баррер ясно понимал, что «его погубило тщеславие, болезненная раздражительность и несправедливое недоверие к своим соратникам. Это большое несчастье...»

Надо добавить, что Робеспьер 1794 года уже не был тем, каким он был между 1789 и 1793 годами. На мой взгляд, его величие ярче всего проявилось в период Учредительного собрания, когда он выступал в роли смелого, прозорливого и бесстрашного борца. В те времена он поистине олицетворял собой глас народа и его разум. Но революции изнуряют людей. Робеспьер, отличавшийся слабым здоровьем, нес на себе нечеловечески тяжелое бремя. И так уже чудо, что он продержался до июля

1794 года. Еще 29 мая 1793 года, выступая в Клубе якобинцев, он говорил, что его «истощили четыре года Революции», что он «обессилен длительной лихорадкой». После контрреволюционного восстания 31 мая, выступая 12 июня у якобинцев, он заявил, что «силы его подорваны». «Я уже не обладаю, — сказал он, — необходимой энергией, чтобы бороться с происками аристократов. Я надорвался за четыре года утомительных и бесплодных трудов, я сознаю, что мои физические и моральные силы уже не находятся на уровне задач великой Революции, и я заявляю, что ухожу со своего поста». Его отставку не приняли, больше того: никогда еще его деятельность не была столь напряженной, как в последующие страшные месяцы, когда террор был поставлен в «порядок дня». После выступления в Конвенте 5 февраля 1794 года против дантонистов и эбертистов Робеспьер, надорвавшись, совсем отстранился от дел. С 9 февраля по 12 марта он не появлялся ни у якобинцев, ни в Конвенте. Но 22 вантоза (12 марта) он дотащился через силу, совсем больной, на заседание Конвента, чтобы добиться принятия беспощадных декретов по докладу Сен-Жюста, направленных против обеих мятежных партий. Той же ночью эбертисты были арестованы и заговор разгромлен.

«Имейте некоторое снисхождение, — говорил он в мае 1794 года, — к тому состоянию усталости и подавленности, в какое меня приводят порою мои непосильные труды».

Постоянное напряжение и изнуряющая работа, вероятно, немало способствовали развитию в нем болезненной подозрительности и пессимизма.

Четырнадцатого июня 1793 года он говорил в Клубе якобинцев: «Смею заверить, что я один из самых недоверчивых, самых печальных патриотов, какие только были со времени Революции». Он видел слишком ясно и глубоко продажность, разложение и предательство, разъедавшие Конвент. Давнишний пессимизм Робеспьера, побудивший его еще в декабре 1792 года утверждать, что «добродетель на земле всегда была в меньшинстве», со временем развился до болезненных размеров. После процесса Ост-Индской компании, разоблачившего мошенников, которых он считал честными республиканцами, он

пришел к убеждению, что революция погибла. Однако он боролся до конца, так как его пессимизм никогда не мешал ему действовать. Он был одарен острым чувством реальности и умением взвесить возможности, меняющиеся день ото дня. Но ему недоставало непоколебимой твердости, которую героический пессимизм Сен-Жюста черпал в абсолютном господстве разума. Сен-Жюст, по его собственным словам, «бросил якорь в будущее». И его пессимизм в настоящем был в сущности оптимизмом дальнейшего прицела. Робеспьер же, вероятно, относился к будущему с тем же пессимизмом, как и к настоящему. Он был вскормлен горьким стоицизмом и находил утешение в боге Жан-Жака Руссо, в провидении. Это еще сильнее способствовало его одиночеству, так как встречало мало сочувствия вокруг. Он слишком обособился, отдалился даже от самых верных друзей и товарищей, даже от Сен-Жюста и Кутона. Опасаясь, что они не одобряют тех или иных его шагов, он не посвящал их в свои планы и часто ставил перед свершившимся фактом. Между Кутоном и Сен-Жюстом также не было прежнего согласия, и каждый из них действовал самостоятельно, на свой риск. Девятого термидора все трое оказались разобращенными. Но из чувства верности и солидарности они приняли общий приговор, что соединило их навеки в смерти и в бессмертии.

В одном из своих замечательных и, как всегда, чеканных изречений Сен-Жюст говорит «о человеке, который принужден отрешиться от мира и от самого себя, человеке, который бросает якорь в будущее».

Робеспьер познал это трагическое отрешение от мира; особенно мучительно оно было среди толпы, которая с истерической страстностью отзывалась на его речи, его исповеди и которая завтра — он знал — неминуемо его предаст. Гораздо труднее было ему «отрешиться от самого себя». Один Сен-Жюст был способен в самый разгар борьбы сохранять гордое бесстрашие юного героя Гиты. Его поддерживала вдохновенная уверенность, что он действует в согласии с «силой вещей, что ведет нас, быть может, к цели, о которой мы и не помышляем» (эта фраза, приписанная мною Робеспьеру, принадлежит Сен-Жюсту), в согласии с великими законами, управляющими

историей человечества. Этой чудесной уверенностью он был обязан тому глубокому ощущению природы, которое Жорес подметил в его речи от 23 вантоза (13 марта 1794 года) — той романтической интуиции, что прорезала, словно молнией, туман его подчас непонятных речей. И не успел краткий день его жизни, еще окутанный утренней дымкой, озариться лучами солнца, как юный герой погиб.

Ромен Роллан.

1 января 1939 года.

ВАЛЬМИ

Перевод
В. ПАРНАХА

История — отнюдь не собрание анекдотов или мало-достоверных рассказов. Нет, в ней подытоживается опыт человечества, изучая который, мы узнаем не только прошлое, но и настоящее, и увереннее идем к будущему.

В истории Франции периода Французской революции можно найти немало черт, напоминающих новейшую историю Франции, России и Испании. Пусть же история поучает и вдохновляет нас!

Революционный взрыв во Франции прогремел на весь мир. Энтузиазм охватил другие народы, а императоры и короли всполошились. Три крупнейших европейских монархии того времени — Австрия, Пруссия и Россия — враждебно следили за Францией и выжидали удобного случая, чтобы вмешаться. Впрочем, надеясь, что внутренние раздоры и революционная анархия ослабят Францию, эти державы не слишком торопились, хотя к ним настойчиво взывала французская королевская чета.

Нас пытались разжалобить трагической судьбой Людовика XVI и Марии-Антуанетты, которых Конвент впоследствии судил и приговорил к смертной казни. Что говорить, искупление было суровым. Они заплатились головой. Но они стократ заслужили приговор. Король и королева совершили тягчайшее преступление: они предали родину, вызвав войну и вторжение неприятеля. Они состояли в переписке со всеми правительствами, а их тайные агенты, с бароном де Бретейлем и шведом Ферсеном во главе, разжигали ненависть к Франции при всех европейских дворах. Королева-австриячка пользовалась поддержкой своего брата императора, который не

скупился на угрозы, особенно после неудачной попытки Людовика и Марии-Антуанетты бежать в Рейнскую область, где они собирались принять командование над войсками, подготовляемыми для вторжения во Францию.

Вся французская знать собралась в Кобленце и Майнце под предводительством обоих братьев короля и маршалов Франции Дебрейля и Кастри. Вся «королевская квартира» — мушкетеры, легкая и тяжеловооруженная конница, конные гренадеры и все «королевские ординарцы», провинциальное дворянство из Лангедока, Оверни, Бретани, где служил Шатобриан, три армейских полка, множество эскадронов под белым флагом, представители самых аристократических фамилий — все это кинулось у границ Франции, остервенев от ярости и жажды мести, как волки, готовые броситься на добычу. Они поклялись все предать огню и мечу. И если б дали волю хищникам, Франция, по словам очевидца, «скоро стала бы огромной могилой». Неистовство французских эмигрантов внушало ужас даже пруссакам, которые благодушно держали их в стороне, в тылу своей армии. И главнокомандующий, герцог Брауншвейгский, не скрывал своего презрения к этим изменникам.

Во все времена белые армии похожи одна на другую.

* * *

В наших внутренних спорах многие старались и стараются еще и теперь воспользоваться мнением Робеспьера о войне, разразившейся между революционной Францией и европейскими монархиями. Правда, Робеспьер воспротивился безотчетному порыву, охватившему тогда многих. Но смысл его поведения грубо исказили. В своей знаменитой речи 18 декабря 1791 года в Обществе друзей конституции Робеспьер вовсе не говорил, что он против войны вообще. Он сказал, что не надо объявлять ее «в данное время» (и подчеркнул эти слова). Он считал французскую нацию неподготовленной; вот почему, признавая смертельную опасность вторжения неприятеля и армии эмигрантов из Кобленца, Робеспьер воскликнул: «Прежде чем ринуться на Кобленц, надо подготовиться

к войне!» Он видел ясно, что французский двор и враги Революции рассчитывают на войну, чтобы захватить власть и взорвать Революцию изнутри. Он требовал, чтобы Революция сначала возбудила преследование против королевского правительства и разоружила внутренних врагов. Он осуждал всякую завоевательную войну, но тем более восхвалял «внезапный и благотворный взрыв народного негодования, вызванного вражеским нападением на его территорию».

А это нападение весной 1792 года была неминуемо. Австрийские войска собирались на границах. Французский министр иностранных дел Дюмуре потребовал заверений, что Австрия воздержится от всякого вмешательства во внутренние дела Франции, но в ответ венский двор заявил 7 апреля, что попрежнему будет действовать в согласии с другими монархиями, «пока кровавые заговорщики во Франции будут стремиться ограничить свободу короля и нанести ущерб монархии». Третьего апреля австрийский император назначил герцога Брауншвейгского верховным главнокомандующим войск, которые должны были «спасти от анархии Францию и Европу».

Итак, Франции оставалось только воевать, и правительство можно упрекнуть лишь в том, что оно объявило войну, недостаточно подготовившись. Конечно, король Людовик XVI, предложив 20 апреля Национальному собранию открыть военные действия, рассчитывал на поражение французской армии. Через своих тайных агентов король дал знать врагам, что при объявлении войны семь восьмых буржуазии, две трети парижской Национальной гвардии, вся кавалерия и швейцарцы немедленно станут на его сторону. А депутаты-жирондисты, также желавшие войны, надеялись, что она окончится победой и поможет им свергнуть королевскую власть.

Начало военных действий, казалось, подтверждало мнение короля, благоприятствовало его изменническим замыслам. При первых же схватках в Бельгии французская армия обратилась в бегство и в панике перебила своих начальников. Да и как могло быть иначе? В армию проникла измена. Из 9 тысяч кадровых офицеров 6 тысяч перешли на сторону врага. Остальные пали жертвой вполне законных подозрений солдат. Крепости были

разрушены и скрыты. Волонтеры плохо одеты и плохо вооружены. За неимением ружей изготовляли пики. Казалось, невозможно было устоять против старых армий — австрийской и прусской; ведь последняя славилась в Европе и слыла непобедимой.

Но оказалось, что Франция обладала силой духа, о которой не подозревали не только ее враги, но и она сама. Буржуазный класс, который шел к власти, насчитывал достаточно даровитых, деятельных людей, не имевших возможности проявить себя при старом строе. С началом эмиграции армия избавилась от тщеславных, невежественных, своевольничавших дворян, а из рядов армии выдвинулись сотни пылких, одаренных младших офицеров. Достаточно напомнить, что среди тех, кого выбрали своими начальниками волонтеры 1791 года, оказались почти все будущие генералы Революции и империи: Марсо, Даву, Журдан, Моро, Лекурб, Сюше, Удино, Сульт, Брюн, Массена, Ланн, Десекс, Гувьон-Сен-Сир, Лефевр, Аксо, Бессьер, Виктор, Фриан, Бельяр, Шампионне. Гош был произведен в лейтенанты 24 июля 1792 года, Бонапарт — в капитаны 11 сентября того же года. У волонтеров было только 8—10 месяцев на обучение. Их присоединили к трем оставшимся у французов небольшим армиям, и так составилось войско, о котором Дюмюрье говорил, что оно «одушевлено храбростью, гражданской доблестью и в особенности чувством братства».

Французской армии посчастливилось: выдвинутые ею генералы сумели создать новую тактику применительно к сильным и даже слабым сторонам своих войск. Геометрически правильному и застывшему строю Фридриха II французы противопоставили мобильность, применили для прикрытия рассыпной строй стрелков, конную артиллерию, упорно избегали сражений сомкнутым строем в открытом поле и окружали неприятеля, словно рой пчел, тревожа его мелкими стычками и умело нападая на передовые посты.

* * *

Вторжение пруссаков началось с неслыханной по наглости провокации, возмущившей всю Францию: 25 июля был издан так называемый манифест герцога Браун-

швейгского. Враг требовал, чтобы французская армия немедленно выразила покорность королю, чтобы Национальная гвардия обеспечила безопасность Людовика, и возлагал ответственность за малейшее оскорбление особы короля или его семьи на всех членов Национального собрания, на департаменты и муниципалитеты, угрожая карами по законам военного времени; при малейшем посягательстве на жизнь или честь обитателей Тюильрийского дворца герцог Брауншвейгский грозил Парижу карательной экспедицией и полным разрушением. То же самое ждет любой французский город, если он проявит непокорность королю. Со всеми французами, которые осмелятся обороняться от оккупационных войск, будет поступлено как с бунтовщиками, а дома их сожгут.

Никогда еще великому народу не бросали в лицо столь гнусной и вместе безрассудной угрозы. И невероятнее всего было то, что под манифестом стояла подпись верховного главнокомандующего, герцога Брауншвейгского, человека старого, благоразумного, почитаемого всей Европой и даже Францией, знатного вельможи-философа, способного понять новые идеи и в сущности не одобрявшего крестовый поход против якобинцев. Но герцогу не хватало силы воли, главное же он был вассалом прусского короля, а этот последний, возглавив крестовый поход, начал действовать с безрассудной яростью. В действительности манифест был от начала до конца написан французскими эмигрантами под диктовку принцев и агентов французского двора. Вдохновляли их и торопили с сбродованием этого текста король и королева. Безумцы воображали, будто манифест вызовет ужас во французском народе и повергнет его к стопам монархов! И никто из этих королевских особ, принцев, аристократов не подумал о том, что французы — гордый народ!

Безудержный гнев охватил всю Францию. «Оскорбленная нация встала как один человек, и миллионы рук схватились за оружие». Манифест ускорил падение королевской власти. Напрасно Людовик XVI пытался отречься от этого документа 3 августа. Лицемерие было слишком явным, и вся Франция разоблачила коронованного обманщика. Через неделю Тюильрийский дворец был взят приступом, а король свергнут.

Враги поздно поняли свою ошибку. Герцог Брауншвейгский всю жизнь раскаивался, что подписал манифест, запятнавший его имя.

Но вражеское вторжение началось; известие о восстании в Париже 10 августа лишь ускорило события — враги хотели попытаться спасти королевскую семью.

Девятнадцатого августа 1792 года пруссаки уже вторглись во Францию близ деревни Реданж. В тот день задул резкий, прямо ноябрьский ветер; разверзлись небесные хляби, начавшийся ливень не прекращался два месяца, затопляя биваки, сковывая их ледяной зловонной грязью, сея болезни. Казалось, вмешалась сама стихия, и новый Моисей поражал врага египетскими казнями.

Тем не менее Франция сначала терпела поражения. Двадцать третьего августа сдался без единого выстрела Лонгви. Второго сентября пал Верден, несмотря на усилия Марсо и Бореппера, покончившего самоубийством. Изменник, маркиз де Булье, бывший комендант Меца, составил для пруссаков план атаки и похода на Париж. Лучший французский генерал, командовавший Северной армией, Лафайет, после 10 августа пытался поднять войска против Парижа, но они отказались ему повиноваться, и Лафайет перешел границу вместе со всем своим штабом как раз в день вторжения пруссаков во Францию.

Трагический час! Франция и Революция были в опасности. Но нашелся спаситель — Дюмуре.

* * *

В нем не было ничего от настоящего республиканского героя, от Гоша, Десекса или Марсо. Дюмуре в ту пору было 53 года. В жилах его текла провансальско-фламандская кровь; малорослый, черноволосый, некрасивый, очень подвижной, с огненными глазами, этот старый искатель приключений объехал весь свет, побывав и кондотьером и тайным агентом. Чрезвычайно храбрый и остроумный, с проблесками настоящего дарования, но интриган и честолюбец, Дюмуре сначала примкнул было к королю, но, поняв, что игра короля проиграна, нацепил

красный колпак, публично облобызал Робеспьера в Клубе якобинцев и предложил низложить короля. Дюмуре назначили на место Лафайета главнокомандующим Северной армией, и в несколько дней он установил на всем фронте единство командования; более того, он стал непререкаемым диктатором в дипломатических и военных делах, нисколько не заботясь об указаниях, шедших из Парижа. Это могло привести Францию к гибели, а привело к спасению.

Сорок дней судьба Дюмуре была не отделима от судьбы Революции, и хотя этот человек впоследствии гнусно предал Францию, в августе — сентябре 1792 года он был живым воплощением духа Революции в армии. В нем было то легкомыслие, которое иногда, в часы смертельной опасности, граничит с величайшим бесстрашием. Он не боялся ответственности. Он мог весело повести своих юных необстрелянных солдат против ветеранов Фридриха II. Французские войска пали духом после измены Лафайета. В несколько дней Дюмуре воодушевил их своим красноречием, пылом и молодцеватостью. От него веяло верой в победу.

Он замыслил отнять у Австрии Нидерланды. Вынужденный 1 сентября покинуть Фландрию под стремительным натиском врага, он решил бросить на произвол судьбы Монмеди, Седан и Мезьер, чтобы преградить врагу путь на Париж. Он говорил: «Пожертвuem ветвями, лишь бы спасти ствол!»

Надо было как можно скорей завладеть переходами в Аргоннах, где лесистые плоскогорья отделяют бассейн Мааса от долины реки Эн. Дюмуре предпринял смелый поход на Гранпре и 3 сентября расположился лагерем между реками Эр и Эн. Частью его авангарда командовал креол Миранда из Каракаса, который впоследствии пытался стать освободителем испанской Америки. Капитуляция Вердена и беспорядочное бегство гарнизона вызвали панику в войсках, посланных на подмогу, и чуть не разложили армию. Но Дюмуре восстановил порядок. Он написал Собранию, что держит в руках французские Фермопилы и надеется быть счастливее Леонида.

Однако враг обошел эти Фермопилы. Герцогу Брауншвейгскому удалось обмануть Дюмуре, и враг

прорвался в Аргонны через теснину Круа-о-Буа. Дюмуре под угрозой окружения при Гранпре в ночь с 14 на 15 сентября в полном порядке отступил за реку Эн. И пока жирондисты метались в Париже и уже вели разговоры о переводе правительства в Тур, в Овернь или еще дальше¹, Дюмуре вопреки приказаниям министра отказался отступить к Марне, смело расположился на подступах к Сент-Менегульду и прикрыл левый берег Эн и Шалонскую дорогу.

Он вызвал туда Бернонвиля и Келлермана; первый командовал подкреплением, находившимся во Фландрии, второй — армией центра. Оба долго отмалчивались; они заявляли, что Дюмуре идет к гибели и хочет увлечь их за собой. Они соединились с ним только в последнюю минуту, накануне битвы при Вальми. Пришлось насильно навязать Келлерману славу, которая впоследствии принесла ему титул герцога Вальмийского.

Келлерман представлял полную противоположность Дюмуре. Великан, силач, крикун и бахвал, круглый невежда, но храбрый, как Дюмуре, деятельный, старательный служака, горячий патриот и якобинец, он гордо именовал себя «первым истинно санкилотским генералом».

Он расположился за Ов, на холме Вальми, который в то время называли просто Мельничный холм. Это был неширокий, крутой склон, увенчанный вострой мельницей. Дюмуре занял вторую линию высот, шедших параллельно первой и отделенных от нее болотами; с горы Иврон его превосходная артиллерия под начальством Абевиля поддерживала с фланга войска Келлермана. Внизу проезжая дорога из Сент-Менегульда на Шалон поднималась к плоскогорью Ла-Люн — там, напротив Вальми, ночью расположились пруссаки. Была глубокая ночь. Ветер яростно дул на просторах огромной, мрачной, нищей Шампани. Передвижение неприятельских войск

¹ Барбару, Серван, Ролан советовали предоставить Северную Францию королевской власти и основать Южную республику. Барбару предлагал отступить в Веллийские горы, в Севенны и даже на Корсику. Негодование Дантона помогло воспрепятствовать этому плану. К Дантону присоединились Петийон, Верньо и Кондорсе. — Р. Р.

совершалось в темноте и тумане; окружая французскую армию, пруссаки не видели ее и решили, что их появление вызовет полное расстройство в рядах французов и обратит их в бегство.

* * *

Двадцатое сентября 1792 года. Двенадцать часов дня. Все утро передвигались войска и происходили артиллерийские бои под завесой непроницаемого тумана. Вдруг завеса упала. Резкий ветер разодрал туманную пелену. Прусский король, герцог Брауншвейгский и их штаб помчались вперед, горя нетерпением увидеть позиции неприятеля. И застыли от изумления...

По обоим склонам холма Вальми, который возвышался над всею местностью, выстроились в строжайшем порядке французские войска, невозмутимо, спокойно ожидая неприятеля: оба фланга армии были подтянуты к центру, а впереди стояла кавалерия.

Прусский король и герцог Брауншвейгский были так потрясены этим зрелищем, что целый час не могли ни на что решиться, несмотря на яростные подстрекательства эмигрантов.

Наконец, король приказал наступать. Это было в час полудни. Под барабанный бой церемониальным маршем по двум направлениям двинулась прусская армия. Тучи рассеялись. Сияло солнце.

На вершине Келлерман построил свои войска тремя колоннами: он приказал им не начинать стрельбы, пока враг не поднимется на холм, и только тогда броситься в штыки. Поддев кончиком сабли свою широкополую шляпу с трехцветным султаном, он поднял ее и воскликнул: «Да здравствует Нация!» Вся армия подхватила этот клич. И, следуя его примеру, солдаты надели шляпы на острия штыков.

Обе армии разделяло теперь расстояние не больше чем в 2200 метров. С горы Иврон французские пушки производили опустошения в первых рядах прусских полков. Солдаты Келлермана все еще неподвижно ждали сигнала и пели «*Ça ira*». Армию пруссаков охватило смятение... Вот он каков, вооруженный народ! А ведь им столько

твердили, что он обратится в бегство, если не сдастся при первом же выстреле. А народ этот стоял непоколебимой стеной, и, словно неистовый хохот, звучала прямо в лицо пруссакам его песня. По всему холму, сверху до низу, гремела здравица в честь Нации... Так перед прусской армией воочию предстала Революция!

Герцог Брауншвейгский скомандовал: «Стой!» Полки Фридриха II, успевшие пройти две сотни шагов, остановились... Вторжение было остановлено.

Ни в эту минуту, ни позднее сражения собственно не было. Только артиллерийская дуэль не утихала до вечера, и обе неподвижные армии исходили кровью; с обеих сторон равно отважные военачальники подвергались опасности: здесь — Келлерман и Дюмурье, там — прусский король и наследный принц, а с ними великий Гёте, чей ясный взор вбирал в себя все детали этой картины. Совершалось нечто более значительное, чем просто битва: здесь мерялись силами два мира. И старому миру, остолебневшему от неожиданности, какой-то внутренний голос говорил: «Дальше тебе не пройти!» Он был побежден без боя.

Между пятью и шестью часами затихли последние выстрелы. Едва отгрохотала канонада, как разразилась страшная гроза. (Природа все еще принимала участие в эпосе.) Прусская армия отступила на плоскогорье Лалюн; ночью, под ледяным ветром и потоками дождя, она окончательно пала духом и пришла в полное расстройство, как после сражения. Герцог Брауншвейгский был подавлен; он провел ночь в горьких размышлениях. Все оторспели: никто не понимал, что собственно произошло. Но Гёте сказал: «Сегодня здесь началась новая эпоха всемирной истории».

Побежденные почувствовали это сильнее, чем победители. Примечательно, что победители даже не знали, что они победили. Ночью Келлерман в тревоге покинул Вальми вместе с армией, чтобы расположиться поближе к Дюмурье. Он опасался, что на следующий день дорога на Париж будет отрезана. Дюмурье тоже ждал, что на следующий день подвергнется атаке. Передо мной письмо Дюмурье к Келлерману, написанное на заре 21 сентября:

«Ваша очередь взглянуть, как я сражаюсь, и помочь мне».

Но враг больше и не помышлял об атаке. Его дух был сломлен. Прусские войска не двигались еще целую неделю, неспособные что-либо предпринять. Тридцатого сентября, терпя лишения во всем, страдая от болезней и изнурения, пруссаки в смятении отступили к Рейну, усеивая путь умирающими. Ни один солдат не ушел бы, если бы Дюмуре (по причинам слишком сложным, чтобы излагать их здесь) не предпочел дать неприятельской армии уйти.

И в те же самые дни, когда старый мир разбился о мельничный холм Вальми, открылись заседания Национального конвента в Париже. Монж объявил, что Конвент «узаконил волю всех французов, избавив их от бедствий монархии». И подобный реву голос Дантона грозно возвестил миру, что, избрав новое Национальное собрание, Франция тем самым «создала великий Комитет всеобщего восстания народов».

* * *

Сыны Революции, вы, мои современники, способны ли вы еще без смущения и страха слышать эти гордые отзвуки вальмийской канонады?

1938 г.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Уже в самом начале творческого пути Роллана у него возник замысел создать цикл драм о Французской буржуазной революции 1789—1794 годов. Сорок лет он работал над осуществлением своего грандиозного плана. За это время из двенадцати задуманных драм он написал восемь. Первой была написана драма «Волки» (1898), затем последовали драмы «Торжество разума» (1899), «Дантон» (1899), «Четырнадцатое июля» (1901); потом, после 23-летнего перерыва, Роллан пишет еще три драмы — «Игра любви и смерти» (1924), «Вербное воскресенье» (1926), «Леониды» (1927). Наконец, в 1939 году Роллан публикует драму «Робеспьер».

В первом томе собрания сочинений помещены драмы «Четырнадцатое июля», «Дантон» и «Робеспьер»; они расположены не в хронологической последовательности их написания, а в исторической последовательности изображенных в них событий: сначала драма «Четырнадцатое июля» (рассказывающая о событиях 1789 года), потом «Дантон» (о событиях марта — апреля 1794 года) и затем «Робеспьер» (о событиях апреля — июля 1794 года).

Драма «Четырнадцатое июля», написанная в 1901 году, была опубликована в журнале «Двухнедельные тетради», серия 3, № 11 за 1902 год. В отдельном издании она появилась в 1909 году. На русском языке драма была издана в 1906 году петербургским издательством «Новый мир».

Особенности драмы заключаются в том, что ее главным действующим лицом является народ и что она вся целиком состоит из массовых сцен. Роллан рисует в драме революцию 1789 года, мощный напор народа, сметающий феодалов. На первом плане драмы стоят образы людей из народа. Роллан выводит на сцену рабочих

и показывает их как самых прозорливых и решительных борцов против аристократии.

В 1899—1900 годах в журнале «Театральное обозрение» (тт. VIII, IX) появилась драма «Дантон». В 1900 году вышло отдельное издание драмы. На русский язык она была переведена в 1920 году.

Стержнем драмы является резкий конфликт якобинцев с иезуитами революции Дантоном и Демуленом и суд над ними. Накануне второй мировой войны Роллан пишет драму «Робеспьер», являющуюся кульминационным пунктом всего величественного цикла. Драма появилась в печати в 1939 году; сначала из нее были опубликованы отрывки в журнале «Эроп», а затем она вышла отдельным изданием. В том же 1939 году драма была переведена на русский язык.

Роллан показывает якобинский период Французской революции, когда она достигла своей высшей точки. Все симпатии автора на стороне Робеспьера и его соратников.

К «Драмам Революции» тесно примыкает исторический очерк «Вальми». Очерк, создававшийся Ролланом к 150-летию юбилею Французской революции и в ее защиту, был написан в 1938 году. Орывки из него опубликовала 22 декабря 1938 года газета «Регар», и в этом же месяце очерк вышел отдельным изданием. На русский язык он был переведен в 1939 году. Тогда же и по тому же поводу была написана Ролланом и статья «Неизбежность революции 1789 года», опубликованная в специальном номере журнала «Эроп», вышедшем 15 июля 1939 года, в дни годовщины взятия Бастилии. На русском языке статья была напечатана в журнале «Историк-марксист» № 3 за 1939 год.

В очерке «Вальми» Роллан показывает героическую борьбу французской революционной армии против прусских интервентов и победу над ними в знаменитой битве при Вальми 20 сентября 1792 года. Он решительно выступает против искажения облика Робеспьера буржуазными историками.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Анисимов. Ромен Роллан (1856—1944)</i>	<i>V</i>
Драмы революции	
Четырнадцатое июля. Перевод <i>Т. Ивановой</i>	3
Дантон. Перевод <i>Н. Любимова</i>	117
Робеспьер. Перевод <i>М. Вахтеровой</i>	209
Вальми. Перевод <i>В. Парнаха</i>	429
Историко-литературная справка	441

Редактор *Т. Кудрявцева*
Оформление художника *Н. Ильина*
Художест. редактор *А. Ермаков*
Технич. редактор *Д. Ермоленко*
Корректор *А. Кашин*

Сдано в набор 8/V 1954 г. Подписано
к печати 4/IX 1954 г. А-05938. Бумага
84×108¹/₃₂ — 31,75 печ. л. = 26,03 усл.
печ. л. 24,68 уч.-изд. л. + 1 вкл. =
24,73 л. Тираж 240 000 экз. Заказ № 1267.
Цена 9 р.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
«Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

ТОЧНИК
1954